

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

8



1994

НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 8(832)

Август, 1994 г.

УЧРЕДИТЕЛИ:

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР», АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО «ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ „АРМАН”»,
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА
«БИОТЕХНОЛОГИЯ», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ”»

СОДЕРЖАНИЕ

Д. С. ЛИХАЧЕВ — Культура как целостная среда 3

ГАЛИНА З-ИНА — Повесть. Вступительное слово Олега Чухонцева 9
СТИХИ: ПОЭЗИЯ И ПРОЗА — Александр Ревич, Юрий Виноградов,
Игорь Калугин, Эдуард Бабаев 67
ДАНИИЛ ГРАНИН — Бегство в Россию, роман. Продолжение 73
СТИХИ: ПОЭЗИЯ И ПРОЗА — Леонид Григорьян, Владимир Файн-
берг, Леонард Лавлинский 155

ПУБЛИЦИСТИКА

МОДЕСТ КОЛЕРОВ — Самоанализ интеллигенции как политическая
философия. Наследство и наследники «Вех» 160
ЮЛИЙ ШРЕЙДЕР — Ценности, которые мы выбираем 172

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Н. Н. ПОКРОВСКИЙ — Политбюро и Церковь. 1922 — 1923. Три ар-
хивных дела 186
А. К. ВИНОГРАДОВ У ЛЬВА ТОЛСТОГО. Предисловие, публикация,
подготовка текста и примечания Ст. Айдиняна 214

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ИРИНА РОДНЯНСКАЯ — Преодоление опыта, или Двадцать лет
странствий 222

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

Алена Злобина. Фанатик скептицизма	233
М. Кораллов. С точки зрения Кенгира	237

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

НИКОЛАЙ СЛАВЯНСКИЙ — Голос сирены	244
КОРОТКО О КНИГАХ:	248
Олег Ларин. — I. «Живая старина». Журнал о русском фольклоре и традиционной культуре. II. Архангельский областной словарь. III. Виктор Бердинских. Россия и русские	
РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ	252
КНИЖНАЯ ПОЛКА (5)	254
SUMMARY	256

«Новый мир» — 70-й год издания.

«Новый мир» — более 800 номеров с момента основания.

«Новый мир» — зеркало сегодняшней российской словесности.

Не забудьте вовремя продлить вашу подписку на первую половину 1995 года!

Наш индекс — 70636 в каталоге издательства «Известия».

Свободная подписка во всех отделениях связи.

В розничную продажу журнал не поступает.

Зарубежные читатели могут подписаться на **«Новый мир»** в германской фирме «КУБОН УНД ЗАГНЕР».

Kubon & Sagner, Postfach 340108 D 8000 München 34 Germany
Tel. (089) 522027. Telex: 5216711 kusa d

Д. С. ЛИХАЧЕВ



КУЛЬТУРА КАК ЦЕЛОСТНАЯ СРЕДА

Сегодня много говорится о единстве различных «пространств» и «полей». В десятках газетных и журнальных статей, в теле- и радиопередачах обсуждаются вопросы, касающиеся единства экономического, политического, информационного и иных пространств. Меня же занимает прежде всего проблема пространства культурного. Под пространством я понимаю в данном случае не просто определенную географическую территорию, а прежде всего пространство среды, имеющее не только протяженность, но и глубину.

У нас в стране до сих пор нет концепции культуры и культурного развития. Большинство людей (в том числе и «государственных мужей») понимают под культурой весьма ограниченный круг явлений: театр, музеи, эстраду, музыку, литературу, — иногда даже не включая в понятие культуры науку, технику, образование... Вот и получается зачастую так, что явления, которые мы относим к «культуре», рассматриваются в изоляции друг от друга: свои проблемы у театра, свои у писательских организаций, свои у филармоний и музеев и т. д.

Между тем культура — это огромное целостное явление, которое делает людей, населяющих определенное пространство, из просто населения — народом, нацией. В понятие культуры должны входить и всегда входили религия, наука, образование, нравственные и моральные нормы поведения людей и государства.

Культура — это то, что в значительной мере оправдывает перед Богом существование народа и нации.

Если у людей, населяющих какую-то географическую территорию, нет своего целостного культурного и исторического прошлого, традиционной культурной жизни, своих культурных святынь, то у них (или их правителей) неизбежно возникает искушение оправдать свою государственную целостность всякого рода тоталитарными концепциями, которые тем жестче и бесчеловечнее, чем меньше государственная целостность определяется культурными критериями.

Культура — это святыни народа, святыни нации.

Что такое, в самом деле, старое и уже несколько избитое, затертое (главным образом от произвольного употребления) понятие «Святая Русь»? Это, разумеется, не просто история нашей страны со всеми присущими ей соблазнами и грехами, но — религиозные ценности России: храмы, иконы, святые места, места поклонений и места, связанные с исторической памятью.

«Святая Русь» — это святыни нашей культуры: ее наука, ее тысячелетние культурные ценности, ее музеи, включающие ценности всего человечества, а не только народов России. Ибо хранящиеся в России памятники античности, произведения итальянцев, французов, немцев, азиатских народов также сыграли колоссальную роль в развитии российской культуры и являются российскими ценностями, поскольку, за редкими исключениями, они вошли в ткань отечественной культуры, стали составной частью ее развития. (Русские художники в Петербурге учились не только в Академии художеств, но и в Эрмитаже, в галереях Кушелева-Безбородко, Строганова, Штиглица и других, а в Москве в галереях Щукиных и Морозовых.)

Святыни «Святой Руси» не могут быть растеряны, проданы, поруганы, забыты, разбазарены: это смертный грех.

Смертный грех народа — продажа национальных культурных ценностей, передача их под залог (ростовщичество всегда считалось у народов европейской цивилизации самым низким делом). Культурными ценностями не может распоряжаться

ся не только правительство, парламент, но и вообще ныне живущее поколение, ибо культурные ценности не принадлежат одному поколению, они принадлежат и поколениям будущим. Подобно тому как мы не имеем морального права расхищать природные богатства, не учитывая прав собственности, жизненных интересов наших детей и внуков, точно так же мы не вправе распоряжаться культурными ценностями, которые должны служить будущим поколениям.

* * *

Мне представляется чрезвычайно важным рассматривать культуру как некое органическое целостное явление, как своего рода среду, в которой существуют свои общие для разных аспектов культуры тенденции, законы, взаимоотношения и взаимоотгалкивания...

Мне представляется необходимым рассматривать культуру как определенное пространство, сакральное поле, из которого нельзя, как в игре в бирюльки, изъять одну какую-либо часть, не сдвинув остальные. Общее падение культуры непременно наступает при утрате какой-либо одной ее части.

Не углубляясь в частности и детали, не останавливаясь на некоторых различиях между существующими концепциями в области теории искусства, языка, науки и т. д., обращу внимание только на ту общую схему, по которой изучаются искусство и культура в целом. По этой схеме существуют творец (можно назвать его автором, создателем определенного текста, музыкального произведения, живописного полотна и т. д., художником, ученым) и «потребитель», получатель информации, текста, произведения... По этой схеме культурное явление разворачивается в некотором пространстве, в некоторой временной последовательности. Творец находится в начале этой цепи, «получатель» в конце — как завершающая предложение точка.

Подобная культурологическая схема не позволяет достаточно полно и всесторонне понять и оценить культурные явления, сам процесс культурного творчества, восприятия его результатов и в конечном счете ведет к недооценке культуры, к недооценке факта присутствия в ней человека.

Первое, на что необходимо обратить внимание, восстанавливая связь между творцом и тем, кому предназначено его творчество, это на сотворчество воспринимającego, без которого теряет свое значение и само творчество. Автор (если это талантливый автор) всегда оставляет «нечто», что дорабатывается, домысливается в восприятии зрителя, слушателя, читателя и т. д. Особенно очевидно это обстоятельство сказывалось в эпохи высокого подъема культуры — в античности, в романском искусстве, в искусстве древней Руси, в творениях XVIII века.

В романском искусстве при одинаковом объеме колонн, их одинаковой высоте капители все же значительно отличаются. Отличается и сам материал колонн. Следовательно, одинаковые параметры в одном позволяют воспринять неодинаковые параметры в другом как одинаковые, иными словами — «домыслить одинаковость». Это же самое явление мы можем уловить и в древнерусском зодчестве.

В романском искусстве поражает и другое: чувство принадлежности к священной истории. Крестоносцы привозили с собой из Палестины (из Святой земли) колонны и ставили их (обычно одну) среди сходных по параметру колонн, сделанных местными мастерами. Христианские храмы воздвигались на поверженных остатках языческих храмов, тем самым позволяя (а в известной мере и принуждая зрителя) домысливать, довоображать замысел творца.

(Реставраторы XIX века совершенно не понимали этой особенности великого средневекового искусства и обычно стремились к точности симметричных конструкций, к полной идентичности правой и левой сторон соборов. Так, с немецкой аккуратностью был достроен в XIX веке Кёльнский собор: две фланкирующие фасад собора башни были сделаны абсолютно одинаковыми. К этой же точной симметрии стремился великий французский реставратор Виолле ле Дюк в парижском соборе Нотр-Дам, хотя различие оснований обеих башен по размерам достигало более метра и не могло быть произвольным.)

Не привожу других примеров из области зодчества, но примеров в других искусствах довольно много.

Жесткая точность и полная законченность произведений противопоставлена искусству. Не случайно, что многие произведения Пушкина («Евгений Онегин»), Достоевского («Братья Карамазовы»), Льва Толстого («Война и мир») не были завер-

шены, не получили полной законченности. Благодаря своей некоторой незавершенности на века остались актуальными в литературе образы Гамлета и Дон Кихота, допускающие и даже как бы провоцирующие различные (зачастую противоположные) истолкования в разные исторические эпохи.

* * *

Культуру объединяет прежде всего явление, названное югославским ученым Александром Флакером стилистической формацией. Эта весьма емкая дефиниция имеет прямое отношение не только к зодчеству, но и к литературе, музыке, живописи и в известной мере к науке (стиль мышления) и позволяет выделить такие общеевропейские культурные явления, как барокко, классицизм, романтизм, готика, и так называемое романское искусство (англичане называют его норманнским стилем), которое также распространяется на многие стороны культуры своего времени. Стилистической формацией может быть назван стиль модерн.

В XX веке корреляция разных сторон культуры наиболее отчетливо проявилась в так называемом авангарде. (Достаточно вспомнить и назвать ЛЕФ, конструктивизм, агитискусство, литературу факта и кинематографию факта, кубофутуризм (в живописи и поэзии), формализм в литературоведении, беспредметную живопись и т. д.)

Единство культуры в XX веке выступает в некоторых отношениях даже ярче и теснее, чем в предшествующие века. Не случайно Роман Якобсон говорил о «едином фронте науки, искусства, литературы, жизни, богатом новыми, еще неизведенными ценностями будущего».

Для понимания единства стиля важно, что это единство никогда не бывает полным. Точное и неукоснительное следование всем особенностям какого-либо стиля в любом из искусств — удел малоталантливых творцов. Настоящий художник хотя бы частично отступает от формальных признаков того или иного стиля. Гениальный итальянский зодчий А. Ринальди в своем Мраморном дворце (1768 — 1785) в Петербурге, в целом следуя стилю классицизма, неожиданно и умело использовал и элементы рококо, тем самым не только украсив свое здание и чуть-чуть усложнив композицию, но и как бы пригласив истинного ценителя зодчества искать разгадку своего отступления от стиля.

Одно из величайших произведений зодчества — Стрельнинский дворец под Петербургом (находящийся сейчас в ужасном состоянии) создавался многими архитекторами XVIII — XIX веков и являет собой оригинальнейшую, своеобразную архитектурную шараду, заставляющую искушенного зрителя додумывать замысел каждого из принимавших участие в строительстве архитекторов.

Соединение, взаимопроникновение двух и более стилей отчетливо дает себя знать и в литературе. Шекспир принадлежит и барокко и классицизму. Гоголь соединяет в своих произведениях натурализм с романтизмом. Примеров можно было бы привести множество. Стремление создавать для воспринимающего все новые и новые задачи заставляло зодчих, художников, скульпторов, писателей менять стиль своих произведений, задавать читателям своего рода стилистические, композиционные и сюжетные загадки.

Единство творца и сотворяющего с ним читателя, зрителя, слушателя — только первая ступень единства культуры.

Следующая — это единство материала культуры. Но единство существующее в динамике и различии...

* * *

Одно из самых главных проявлений культуры — язык. Язык не просто средство коммуникации, но прежде всего творец, создатель. Не только культура, но и весь мир берет свое начало в Слове. Как сказано в Евангелии от Иоанна: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог».

Слово, язык помогают нам видеть, замечать и понимать то, чего мы без него не увидели бы и не поняли, открывают человеку окружающий мир.

Явление, которое не имеет названия, как бы отсутствует в мире. Мы можем его только угадывать с помощью других связанных с ним и уже названных явлений, но как нечто оригинальное, самобытное оно для человечества отсутствует.

Отсюда ясно, какое огромное значение имеет для народа богатство языка, определяющее богатство «культурного осознания» мира.

Русский язык необычайно богат. Соответственно богат и тот мир, который создала русская культура.

Богатство русского языка обусловлено рядом обстоятельств. Первое, и главное, то, что он создавался на громадной территории, чрезвычайно разнообразной по своим географическим условиям, природному многообразию, разнообразию соприкосновений с другими народами, наличию второго языка — церковнославянского, который многие крупнейшие лингвисты (Шахматов, Срезневский, Унбегаун и другие) даже считали для формирования литературных стилей первым, основным (на который позже уже наслаивалось русское просторечие, множество диалектов). Наш язык вобрал в себя и все то, что создано фольклором и наукой (научная терминология и научные понятия). К языку, в широком смысле, относятся пословицы, поговорки, фразеологизмы, ходячие цитаты (допустим, из Священного Писания, из классических произведений русской литературы, из русских романсов и песен). В русский язык органично вошли и стали его неотъемлемой частью (именами нарицательными) имена многих литературных героев (Митрофанушки, Обломова, Хлестакова и других). К языку относится все увиденное «глазами языка» и языковым искусством созданное. (Нельзя не учесть, что в русское языковое сознание, в мир, увиденный русским языковым сознанием, вошли понятия и образы мировой литературы, мировой науки, мировой культуры — через живопись, музыку, переводы, через языки греческий и латинский.)

Итак, мир русской культуры благодаря ее восприимчивости необычайно богат. Однако мир этот может не только обогащаться, но и постепенно, а иногда и катастрофически быстро, беднеть. Обеднение может происходить не только потому, что многие явления мы просто перестали «творить» и видеть (например, исчезло из активного употребления слово «учтивость» — его поймут, но сейчас его почти никто не произносит), но потому, что сегодня мы все чаще прибегаем к словам пошлым, пустым, стертým, не укорененным в традиции культуры, легкомысленно и без видимой надобности заимствованным на стороне.

Колоссальный удар русскому языку, а следовательно, и русскому понятийному миру принесло после революции запрещение преподавания Закона Божия и церковнославянского языка. Стали непонятными многие выражения из псалмов, богослужения, Священного Писания (особенно из Ветхого Завета) и т. д. Этот огромный урон русской культуре еще придется изучать и осмысливать. Двойная беда, что вытесненные понятия были к тому же понятиями в основном именно духовной культуры.

* * *

Культуру народа как единое целое можно уподобить горному леднику, движущемуся медленно, но необычайно мощно.

Это хорошо видно на примере нашей литературы. Совершенно неверно бытующее представление, будто литература только «питается» жизнью, «отражая» действительность, прямолинейно стремится ее исправить, смягчить нравы и т. п. На самом же деле литература в огромной мере самодостаточна, чрезвычайно самостоятельна. Питаясь во многом за счет ею же самой созданных тем и образов, она бесспорно влияет на окружающий мир и даже формирует его, но весьма сложным и зачастую непредсказуемым способом.

Давно было указано и исследовано такое, например, явление, как развитие культуры русского романа XIX века из сюжетопостроения и образов пушкинского «Евгения Онегина», саморазвитие образа «лишнего человека» и т. п.

Одно из самых ярких проявлений «саморазвития» литературы мы можем найти в произведениях Салтыкова-Щедрина, где персонажи древнерусских летописей, некоторых сатирических произведений, а затем книг Фонвизина, Крылова, Гоголя, Грибоедова продолжают свою жизнь — женятся, рожают детей, служат — и при этом наследуют в новых бытовых и исторических условиях черты своих родителей. Это дает Салтыкову-Щедрину уникальную возможность характеризовать современные ему нравы, направление мысли и социальные типы поведения.

Такое своеобразное явление возможно только при двух условиях: литература должна быть чрезвычайно богата и развита и, второе, — она должна быть широко и заинтересованно читаема обществом. Благодаря этим двум условиям вся русская литература становится как бы одним произведением при этом про-

изведением, связанным со всей европейской литературой, адресованной читателю, знающему литературу французскую, немецкую, английскую и античную — хотя бы в переводах. Если обратиться к ранним произведениям Достоевского, да и любого другого крупного писателя XIX и начала XX века, мы видим, какую широкую образованность предполагали в своих читателях (и находили, конечно!) русские классики. И это тоже свидетельствует об огромном масштабе российской (или, точнее все же, русской) культуросферы.

Русская культуросфера одна способна убедить каждого образованного человека в том, что он имеет дело с великой культурой, великой страной и великим народом. Для доказательства этого факта нам не требуется в качестве аргументов ни танковых армий, ни десятков тысяч боевых самолетов, ни ссылок на наши географические пространства и залежи природных ископаемых.

* * *

Сейчас вновь вошли в моду идеи так называемого евразийства. Когда речь идет о проблемах экономического взаимодействия и цивилизованного сотрудничества Европы и Азии, идея евразийства выглядит приемлемой. Однако когда сегодняшние «евразийцы» выступают с утверждением некоего «туранского» начала русской культуры и истории, они уводят нас в область весьма сомнительных фантазий и, в сущности, очень бедной мифологии, направляемой больше эмоциями, чем научными фактами, историко-культурными реалиями и просто доводами рассуждения.

Евразийство как некое идейное течение возникло в среде русской эмиграции в 20-х годах и развилось с началом издания «Евразийского временника». Оно сформировалось под влиянием горечи потерь, которые принес России октябрьский переворот. Ущемленная в своем национальном чувстве часть русских мыслителей-эмигрантов соблазнилась легким решением сложных и трагических вопросов русской истории, провозгласив Россию особым организмом, особой территорией, ориентированной главным образом на Восток, на Азию, а не на Запад. Отсюда был сделан вывод, будто европейские законы не для России писаны и западные нормы и ценности для нее вовсе не годятся.

Между тем азиатское начало в русской культуре лишь мерещится. Мы находимся между Европой и Азией только географически, я бы даже сказал — «картографически». Если смотреть на Россию с Запада, то мы, конечно, находимся на Востоке или, по крайней мере, между Востоком и Западом. Но ведь французы видели и в Германии Восток, а немцы в свою очередь усматривали Восток в Польше.

В своей культуре Россия имела чрезвычайно мало собственно восточного. Восточного влияния нет в нашей живописи. В русской литературе присутствует несколько заимствованных восточных сюжетов, но эти восточные сюжеты, как это ни странно, пришли к нам из Европы — с Запада или Юга. Характерно, что даже у «всечеловека» Пушкина мотивы из Гафиза или Корана почерпнуты из западных источников. Россия не знала и типичных для Сербии и Болгарии (имевшихся даже в Польше и Венгрии) «потурченцев», то есть представителей коренного этноса, принявших ислам.

Для России, да и для Европы (Испании, Сербии, Италии, Венгрии), гораздо большее значение имело противостояние Юга и Севера, чем Востока и Запада.

С юга, из Византии и Болгарии, пришла на Русь духовная европейская культура, а с севера другая языческая дружинно-княжеская военная культура — Скандинавии. Русь естественнее было бы назвать Скандовизантией, нежели Евразией.

* * *

Для существования и развития настоящей, большой культуры в обществе должна наличествовать высокая культурная осведомленность, более того — культурная среда, среда, владеющая не только национальными культурными ценностями, но и ценностями, принадлежащими всему человечеству.

Такая культуросфера — концептосфера — яснее всего выражена в европейской, точнее в западноевропейской, культуре, сохраняющей в себе все культуры прошлого и настоящего: античность, ближневосточную культуру, исламскую, буддистскую и т. д.

Европейская культура — культура общечеловеческая.

И мы, принадлежащие к культуре России, должны принадлежать общечеловеческой культуре через принадлежность именно к культуре европейской.

Мы должны быть русскими европейцами, если хотим понять духовные и культурные ценности и Азии и античности.

* * *

Итак, культура представляет собой единство, целостность, в которой развитие одной стороны, одной сферы ее теснейшим образом связано с развитием другой. Поэтому «среда культуры», или «пространство культуры», представляет собой нерасторжимое целое и отставание одной стороны неизбежно должно привести к отставанию культуры в целом. Падение гуманитарной культуры или какой-либо из сторон этой культуры (например, музыкальной) обязательно, хотя, быть может, и не сразу очевидно, скажется на уровне развития даже математики или физики.

Культура живет общими накоплениями, а умирает постепенно, через утрату отдельных своих составляющих, отдельных частей единого организма.

* * *

Культура имеет типы культур (например, национальные), формации (например, античность, Ближний Восток, Китай), — но культура не имеет границ и обогащается в развитии своих особенностей, обогащается от общения с другими культурами. Национальная замкнутость неизбежно ведет к обеднению и вырождению культуры, к гибели ее индивидуальности.

Умирание культуры может быть вызвано двумя, казалось бы, различными причинами, противоположными тенденциями: или национальным мазохизмом — отрицанием своей ценности как нации, небрежением собственным культурным достоянием, враждебностью к образованному слою — творцу, носителю и проводнику высокой культуры (что мы нередко наблюдаем сейчас в России); либо — «ущемленным патриотизмом» (выражение Достоевского), проявляющим себя в крайних, зачастую бескультурных формах национализма (также сейчас чрезвычайно у нас развившихся). Здесь мы имеем дело с двумя сторонами одного и того же явления — национальной закомплексованности.

Преодолевая в себе эту национальную закомплексованность справа и слева, мы должны решительно отвергнуть попытки увидеть спасение нашей культуры исключительно в нашей географии, исключительно в поисках прикладных геополитических приоритетов, обусловленных нашим пограничным положением между Азией и Европой, в убогой идеологии евразийства.

Наша культура, русская культура и культура российских народов, — европейская, универсальная культура; культура, изучающая и усваивающая лучшие стороны всех культур человечества.

(Лучшее доказательство универсального характера нашей культуры — положение дел, спектр и объем исследовательских работ, проводившихся в дореволюционной Российской императорской Академии наук, в которой при незначительном числе ее членов были на самом высоком научном уровне представлены тюркология, арабистика, китаеведение, японистика, африканистика, финноугроведение, кавказоведение, индология, собраны богатейшие коллекции на Аляске и в Полинезии.)

Концепция Достоевского об универсальности, общечеловечности русских верна лишь в том отношении, что мы близки к остальной Европе, обладающей как раз этим качеством общечеловечности и одновременно позволяющей сохранить собственное национальное лицо каждому народу.

Наша первейшая и насущная задача сегодня — не дать ослабнуть этой европейской общечеловечности русской культуры и посылить поддержать равномерное существование всей нашей культуры как единого целого.



ГАЛИНА З-ИНА

*

ПОВЕСТЬ

Разбирая недавно старые бумаги, я наткнулся на ксерокс, сделанный когда-то с бледной машинописи, раскрыл, начал читать.

..Было это, видимо, в конце 70-х. Мой коллега по внештатной работе в «Юности» поэт Виктор Коркия обратил внимание на тонкую ученическую тетрадь со стихами, присланную откуда-то с Поволжья. Галина З-ина. Стихи были горькие, жесткие, при сугубо женском содержании совсем неженские, с детской обидой и отнюдь не детской усталостью прожившего человека, они не говорили — кричали. Редакторским чутьем почуяв запах таланта, Коркия написал автору письмо с предложением прислать что-нибудь еще и получил по почте бандероль, на этот раз с прозой. Ту, вторую, тетрадь трудно забыть: аккуратно перепечатанный на машинке текст без пробелов и полей. Надо же было сперва разброшировать тетрадку, найти машинку с широкой кареткой (а такие доходят обычно в конторах), спечатать набело с черновиков написанное. Что же до содержания, скажу одно: присланная рукопись в те годы и в том журнале не имела никаких шансов быть напечатанной, что вскоре и подтвердилось. Взяв командировку, Виктор Коркия слетал в поволжский город, нашел автора, пригласил в Москву. Некоторое время спустя он привел ее ко мне домой для знакомства.

Красивая черноволосая девушка лет двадцати, в белом платье, с бледным лицом и напряженными глазами, за весь вечер обронившая пять-шесть фраз, — она была похожа на свою прозу. Впечатление произвела странное. Потом другой редактор повела ее знакомиться к Лакшину. Владимир Яковлевич, как мне передали, похвалив слегка повесть, стал, возможно из педагогических соображений, что-то рассказывать про «Капитанскую дочку». Гостья молчала.

Когда через несколько лет, встретившись с Лакшиным на Рижском взморье, я посоветовал, что мы не смогли помочь молодому автору (впрочем, что мы могли, будучи не у дел), Владимир Яковлевич, вздохнув, напомнил мне притказку Бунина о щенятах в проруби: выплывет — будет писатель, нет — туда ему и дорога. И рассказал о другой девушке, приславшей свою первую повесть в старый «Новый мир» Это была, по его словам, история о провинциальной искательнице счастья, приехавшей поступать в ленинградский вуз, провалившейся на экзаменах и, чтобы не огорчать родителей и не возвращаться домой, оставшейся одной в большом городе. Разные люди, разные судьбы, увиденные ее глазами. В. Я. сказал, что повесть в редакции понравилась и ее предполагали печатать, но главный попросил, чтобы автор показала еще что-нибудь. Вероятно, опасаясь случайности. А у автора ничего другого не было, кроме ее двадцати лет. И повесть не увидела света. «Вот видите, — заметил Владимир Яковлевич, — каким дальновидным редактором был А. Т.» «И что стало с той девушкой?» — спросил я. «Вышла замуж за молодого офицера и уехала в Среднюю Азию. Писателя из нее не вышло» А я подумал тогда, что выплывшие из проруби щенята, может быть, не самые умные.

Предлагаемая повесть — это, если можно так выразиться, щенок, поднятый со дна ледяной проруби. Те, кто выплыл, давно заматерели, научились показывать зубы и вилять хвостом, а эта маленькая собачонка так и осталась в том безвременье.

Я многое мог бы сказать об этой юношеской, несовершенной, местами вязкой, а иногда голой, как сценарий, но подлинной в своей боли истории, однако воздержусь: мое дело ее представить, а читатель пусть судит сам. Если на строгий нынешний суд она покажется кому-то недоделанной — что ж, готов согласиться. Но пусть останется она хотя бы как захлебнувшийся свидетельский голос из того страшного

омута, который ласково назовут застоем. Удивительно — столько воды утекло, а ее старуха с вечной «беломориной» в зубах и ногами иксом так и стоит в глазах! И ведь было это до новой прозы, до Ларисы Ваняевой, Светланы Василенко.

Ничего не знаю, что стало с автором, жива ли, написала ли что еще или поставила на сочинительстве крест. За дюжину пролетевших лет я ни разу не встретил ее имени в печати. В конце концов, есть авторы одной книги. Последнее, что помню о ней, а это сведения десятилетней давности: работала электрообмотчицей на ламповом заводе, уехала куда-то в Сибирь, кажется в Братск.

Возможно, редакция поступает опрометчиво, публикуя повесть без ведома автора, без его правки, без названия (в машинописи оно отсутствовало, и мы сочли возможным оставить рабочее название) и поэтому с усеченной фамилией. Нам кажется тем не менее, что и в этом виде повесть имеет право на читателя. На последней странице рукописи с трудом можно разобрать ее прежний адрес, написанный кем-то от руки. 420066 Казань, ул. К. (неразборчиво, может быть, Короленко или Королева), д 17, кв. 34.

Олег ЧУХОНЦЕВ.

Пятого января был ужасный мороз. Все градусники города А показывали минус тридцать один градус по Цельсию. В девять часов вечера я стояла в аэропорту и ждала, когда объявят посадку на самолет в В. Я, Елагина Татьяна, девушка девятнадцати лет, студентка Инженерно-строительного института, стояла в темной телефонной будке вдали от людских скоплений и дрожала от холода. Это был не совсем обычный холод. Это был сложный холод, который разлагался на составляющие. В него, конечно же, входил и минус тридцать один градус по Цельсию, но главным образом он состоял из того, что Сергей Нинашев не приходил к Тане целых двадцать пять дней. Осенью Нинашев убедительно попросил Татьяну не курить. И для первого юноши, взволнованного проблемой, «гробит ли Елагина свой организм никотином», Таня бросила это занятие. Пятого января в темной телефонной будке Татьяна достала из кармана нетронутую пачку «Ту-134». Для девушки стало невозможным каждый день с первой минуты пробуждения посвящать ожиданию Сергея Нинашева, отмечать дни, прожитые без него, как умершие бесполезно, и с первой минуты пробуждения чувствовать, что он больше не придет.

Именно это послужило толчком для поездки в В к подруге детства. Татьяна давно обещала приехать к Надежде Черкасовой, еще в августе. Первую возможность в ноябрьские праздники она не реализовала по той причине, что не захотела расстаться с Нинашевым даже на неделю. И вот пятого января, имея в распоряжении неограниченный запас времени академического отпуска, Татьяна ехала к подруге затем, чтобы вдали от А иметь возможность сказать себе: «Таня, не волнуйся! Вдруг сегодня Сережа пришел к тебе и расстраивается, узнав, что ты уехала».

Я поступлю несправедливо к Татьяне, если не замечу, что Надю Черкасову она очень хотела видеть и что пятого января в ее голове рождалось доброе намерение найти контакт с Лидией Николаевной Багрянской — Надиной бабушкой. Рождалось это намерение долго — шесть лет, с того дня, как двенадцатилетняя Надя рассказала тринадцатилетней Тане о том, как не выдержали ее молодые нервы.

Девочка пила молоко. На кухню вошла бабушка девочки и начала ее за что-то ругать, поставив ноги иксом (Надя здорово изображала как). Девочка внимательно выслушала свою бабушку и плеснула остатки молока ей в лицо (Надя употребила слово «харя»).

Тринадцатилетняя Таня не могла совместить добрую Надю, жалевшую всех бездомных кошек, и молоко, выплеснутое в лицо старушке, и захотела убедиться в том, действительно ли Надина бабушка заслуживает такого нехорошего поступка. Пятого января это желание убедиться, пройдя медленное шестилетнее развитие, родилось самоуверенным желанием найти контакт. В телефонной будке, курия «Ту-134», Татьяна объяснила его примерно такими мыслями: «И почему бы мне в самом деле не стать тем человеком, возле которого бабка отогреется. У меня есть для этого все: я хочу людям добра, я умею

слушать, сопереживать и сама интересный собеседник, черт возьми! Хотя это меньше всего важно для старого человека. Может, эту бабушку тыщу лет никто не слушал?..»

Я опять поступлю несправедливо, если не замечу, что уверенность Татьяны в осуществлении решения была твердолоба не в той степени, чтоб достичь контакта малой кровью. В противном случае она бы не начала курить пятого января.

Летом меня сильно занимала мысль о полезной роли вина и сигарет в деле прогресса. «Случайностей быть не должно, — рассуждала я. — Если какое-то явление имеет место, значит, прямым или косвенным путем оно служит делу прогресса. К примеру, война: жертвы, страдания, нравственные потери... Во имя чего? Но до сороковых годов двадцатого века война неплохо подталкивала человечество к изобретениям. Именно войне мы обязаны появлением ракет. Сейчас, когда придумали слишком страшные вещи, война стала бессмысленной»

А после того как в разговоре с торговым работником выяснилось, что на каждого жителя нашей страны, и на младенца годовалого, и на мужчину в расцвете сил, приходится в год по ведру водки, что продуктовые магазины, по его мнению, только за счет спиртных напитков выполняют планы, я решила, что все уходит корнями в экономику. Но я не стала после этого вывода относиться к вину с особым уважением. Роль его в деле прогресса показалась мне ничтожной, хотя бы в сравнении с одним из Надиных писем:

«...Сегодня у нас в школе вечер. Я сижу в бигулях. Сегодня я буду петь в красивом платье, сшитом моей мамой, веселая и праздничная, как игрушка. И никому не суждено узнать, никому, кроме Люды (это лучшая Надина подруга), что вчера было, вернее, что могло случиться».

Я пришла домой: бабушка пьяная, мама тоже. К бабушке пришла соседка спать, ужасная пьяница и скандалистка. Я ела под привычные зудящие пререкания мамы, бабушки и этой соседки. Не успела я доесть последний кусок, как скандал начал перерастать в драку. Бабушка, которая что-то ляпнула, спокойно отошла в сторону, а соседка схватила мою маму за волосы. Я оттащила соседку и, зная, что бабушка вступится за нее, пошла к соседкиной дочери и попросила ее забрать мать. Мы еле-еле выпихнули соседку. Я от жалости к маме, которая плакала беспомощно и трогательно, как следует съездила бабушке по шее и по башке. Пошла допивать чай. Тут в дверь постучала соседка тетя Света, полная, добродушная женщина. Она пришла успокаивать маму, с которой в это время, видимо, началась белая горячка: она ринулась к балкону. Я привыкла к маминим выходкам и не обращала на нее внимания. Но когда тетя Света в беспомощности закричала: «Надя! Надя! Что она делает?» — я вмиг была на балконе. Моя мама была уже по ту сторону. Сидя на корточках, руками держась за прутья, она кричала: «Всё! Всё!» — и так яростно размахивала всем своим телом, что вот-вот оторвалась бы... Не знаю, что было в этот миг у меня на душе. В эти мгновения происходила борьба между жизнью и смертью, исход которой зависел только от меня. Перегнувшись больше чем наполовину через перила, я обеими руками вцепилась в маму, другая рука которой уже ни за что не держалась. А она судорожно повторяла: «Всё! Всё!» — и раскачивалась, отнимая этим самым мои силы. Волосы закрыли меня. И я кричала. Не помню что. Только с каждым криком сил оставалось все меньше и меньше. Тетя Света, кудахтая «пощади ребенка», ничего не могла сделать. Она тащила через прутья мамину руку к себе и тем самым мешала мне вытянуть маму

И вот я обняла мою маму под мышки, подумав, что она уже у меня, но та быстро подняла руки вверх, и я снова держала ее за запястья, которые успела схватить в последнюю секунду. Меня охватило оцепенение, слезы ужаса хлынули из глаз. И... последняя сила, может еще что-то, помогла мне, и, перетянув ее к себе, я в изнеможении рухнула на снег. Мама начала собираться и прощаться. Я ничего не говорила. Я понимала, что теперь, когда жизнь ее только в ее руках, она ничего с собой не сделает. Потом я помыла ноги и легла спать».

А потом я решила, что не мне судить, ничтожна роль вина в деле прогресса или нет. Может, соседка, вцепившаяся в волосы Надиной мамы, крики «всё! всё!» и бессмысленные глаза алкоголиков окупаются? Может, они мелочь по сравнению с той пользой, которую вино нам неведомыми путями препод-

носит или преподнесет? Над полезной ролью сигарет я долго голову не ломала: они тоже делали какой-то баланс в экономике, а люди за это расплачивались ничтожно малой ценой — увеличением числа раковых заболеваний легких.

О том, что не мне обо всем этом судить, я решила правильно. Выводы, пришедшие в голову по прочтении одной статейки, заставили меня относиться к вину и сигаретам, как к благодетелям человеческим, и настолько большим, что я им простила и бессмысленные глаза алкоголиков, и увеличение числа заболеваний раком легких, и крики «всё! всё!».

В этой статье шла речь об энергии адаптации. Выяснилось, что в человеке есть система, при внешних воздействиях возвращающая его в состояние равновесия. Мне очень понравилось, как она работает. Если мир дарит тебе нечто не соответствующее образу, сидящему в голове (например, кто-то делает гадость), то ты выведен из состояния равновесия (сердишься, плачешь, негодуешь). И это длится не вечно оттого, что сразу начинает действовать эта система, в результате работы которой ты адаптируешься, приспосабливаешься. Но как! Либо меняешь взгляды на мир (мне сделали гадость, и я буду), либо изменяешь сам мир в соответствии с твоими взглядами (учишь человека не делать гадости). Любой из выбранных путей адаптации предполагает затрату энергии, и не простой (это не калории), а адаптационной. Ее количество строго выделено каждому с рождения до самой смерти. И вот тут природа очень умно поступила: она не дала человеку права самостоятельно распорядиться этой энергией. При желании можно растратить ее в один день. Адаптационная энергия поступает в организм порциями, и ее поступление регулирует пока никому не известный механизм. В экстренных случаях он может выдать норму дня за два или три, и тогда человек совершает чудеса: никогда не страдавшая любовью к спорту, можно перепрыгнуть высоченный забор, если сзади несется бешеная собака. Но в тех случаях, когда о том, чтоб переделать мир, не может быть речи и взгляды на него при всем желании сменить невозможно, возникает перерасход адаптационной энергии — СТРЕСС: образы, навязываемые миром, сильны настолько, чтоб разрушить старые, а старые сильны настолько, чтоб не дать укрепиться новым. В этом случае адаптационная энергия поступает и поступает, тратится и тратится вхолостую — явление в наш век, стремительный и быстро меняющийся, очень распространенное. И посему жизненной порции адаптационной энергии человеку перестает хватать. Автор статьи предположил, что, возможно, в этом причина увеличения числа курящих мужчин и женщин, а также пьющих и употребляющих наркотики. После этой статьи я зауважала сигареты. Они делали свое дело чисто и аккуратно, а вино заодно со спасением адаптационной энергии позволяло себе валять человека в грязь, толкало на жестокие поступки.

Вот поэтому я начала курить пятого января, чтоб заранее организовать минимальную трату драгоценной энергии.

Во взаимодействие с двумя составляющими сложного холода вступило чувство одиночества. Это была не тяжесть духовного одиночества: в городе, который я покидала, оставались люди, хорошо понимающие мои мысли и поступки. Это было тревожное одиночество, которое я испытывала всякий раз, покидая родной город. В день отъезда рвались все ниточки-связи, благодаря которым я делала свое маленькое дело в сложном организме людских отношений. Я стояла в будке, облепленной со всех сторон чернотой зимней ночи и ревом самолетных двигателей, и представляла, как взмывающий в небо самолет натянет все эти ниточки-связи, поработает моторами и, порвав их, исчезнет в черном небе. Это было одиночество человека, которому уже никто ничего не был должен и который сам, в свою очередь, никому и ничего не был должен. Чувство тревожного одиночества вместе с молчанием Сергея Нашева и минус тридцатью одним градусом чувствовало себя превосходно — докуривая сигарету, я была уверена, что еду к Надежде на могилу. Письма ее не приходили уже два месяца, последние не сообщили ничего радостного из Надиной жизни, а за девять лет знакомства Надежда совершила три неудачных попытки уйти в мир иной. Я затушила сигарету носком сапога и услышала сквозь рев моторов приглашение на посадку.

Сидеть в самолете было ужасно неудобно: справа круглое окошечко, почти у самого носа спинка переднего кресла, а слева женщина, у которой на

лице написано желание найти собеседника. Самолет набирал высоту. То, что недавно было городом, превратилось в кучу сметенных огоньков. Я почувствовала дружелюбные толчки женщины слева. Зажав нос двумя пальцами, она посоветовала мне сделать то же самое, чтоб избавиться от пробок в ушах от слишком резкого подъема. Я послушно взяла нос двумя пальцами, проделала глотательное движение и, не избавившись от пробок, благодарно улыбнулась женщине слева. После этого я поспешила с интересом прильнуть к иллюминатору, за которым ничего не было видно, кроме черноты. Я представила, как над кучей огоньков развеваются оборванные ниточки-связи. Порывы ветра заставляют их проделывать волнообразные прошальные колебания. А нос самолета, в котором я лечу, тянет одна-единственная ниточка-связь, длинная и крепкая, а эту ниточку Надежда дома наматывает в клубок.

Мы познакомились маленькими девчонками в городе С. В самом заурядном провинциальном городишке для тех, кто не провел там своего детства. А мы с Надей приехали в С каждое лето. И нас нисколько не угнетало, что в городе один пивзавод, один пединститут, что типовые здания в духе времени можно сосчитать по пальцам. Днем в С поражало прежде всего обилие старух. Они сновали по городу взад-вперед, прижимая к животам сумки. В тени деревьев безжизненными трупами валялись собаки. А на ступеньках магазинов сидели небритые мужчины и озабоченно матерились. Вечером же поражало обилие девушек, заполняющих главную улицу и гуляющих по ней парами, тройками, четверками и больше. В прошлом С был купеческим городом. Об этом говорили его солидные деревянные дома и три полуразрушенных церкви. Последние были когда-то белоснежными красавицами. Но к нашему появлению на свет они, с ржавыми крестами и куполами, красными заплатами кирпичной кладки, никому не нужные, возвышались среди радостной зелени с видом суровым и даже оскорбленным. С был создан для детства. Его речка, овраги, пыльные улицы с лавочками подружили трех местных девчонок со мной и Надеждой. Ни о какой симпатии не может быть речи: в нашей группе шли непрерывные процессы разделения на враждующие подгруппы. Но всех пятерых всегда соединяли земные предметы, которыми нельзя было наслаждаться в полной мере в одиночку и даже вдвоем. Как и в любой группе, в нашей выделялся лидер. Им была я. Хотя если кто-то считал необходимым называть меня дурой, то никаких сомнений и опасений у этой девочки не возникло. И при купании на речке я не всегда первая владела огромным надувным баллоном. Я не была типичным лидером-диктатором. Моя власть приходила вместе с начинающейся скукой, когда все сидели прокисшие на лавочке и перебирали надоевшие игры и занятия. Оттого что я была старше всех на год и много читала, никто лучше меня не мог придумать новое и интересное. Особенно ярко проявилось это после пятого класса, когда я приехала в С с полным собранием библиотеки приключений в голове. В родном городе А среди людных улиц и мчащихся машин я не подозревала, что во мне засела романтика действия. Помню, была тоска оттого, что в книгах жизнь красива, а в моей ничего, кроме контрольных и ссор с родителями, не происходит. Только по приезде в С к бабушке с дедушкой эта романтика обнаружила себя. Мы начали делать приключения. Вот именно делать. Если просто так сидишь сложа руки, совершая обыкновенные поступки, то и жизнь будет дарить тебе обыкновенные события. Как в законе упругости: сделай из ряда выходящий поступок — сожми пружину, и она откинет тебя в интересные события, в парадоксы людских отношений. Если бы никому не нужные девчонки с исцарапанными загорелыми ногами спокойно направлялись туда, куда им нужно, разве бы посетила их жизнь таинственная неразрешимая загадка? Но никому не нужные девчонки если шли куда-то, то непременно в обход, а под окнами иначе как на четвереньках не проходили. И в конце концов они своего добились — за ними стали следить. Мать Ларисы Егошиной всякий раз, как мы с великими предосторожностями добирались до ближайшего собора и гуляли около него, узнавала об этом, даже если отсутствовала дома целый день. Мы начали следить, кто за нами следит. Усилили бдительность, проползая участок под Ларискиными окнами чуть ли не по-пластунски. На следующий год мы узнали ответ таинственной неразрешимой загадки, и он оказался до обидного простым. Мать Ларисы пила около окна чай и увидела спины, проплывающие

одна за другой. Высунувшись, она узнала в выпрямившихся девчонках свою дочь и ее подруг. Заинтригованная Ларискина мать не допила чай и пошла вслед за нами. Она посмотрела, как мы бродим по церковному двору, и, твердо убежденная в том, что дети не будут просто так пробегать под окнами на четвереньках, зашла к своей родственнице, живущей по соседству, и попросила ее дочь следить за нами, как только мы появимся около собора.

А мы действительно ходили туда не просто так. Мы банально искали сокровища. Рылись на участке захоронения попов, дьяконов и других священнослужителей, но ничего не извлекли, кроме ребра и еще каких-то костей. Потом обнаружили темное подвальное помещение все в трубах и лабиринтах, забирались с фонариком далеко в темноту и слушали, как Лариска рассказывает про подземные ходы, которых, по ее словам, до революции было огромное множество. Они соединяли все три церкви и вели в лес. А при советской власти все замуровали, потому что стены ходов были утыканы финками и соваться туда было делом опасным. Мы бродили по лабиринтам подвального помещения в надежде, что хоть один ходик остался незамурованным и его узкие проходы уведут нас далеко-далеко — и там мы найдем что-то драгоценное и золотое. Мне, засыпающей с игрушечным пистолетом в руке, это представлялось не иначе как рядом с черепом и костями. Я была уверена, что, как только свершилась Великая Октябрьская революция, все попы бросились по подземным ходам прятать сокровища. «И не может быть, — думала я, — чтоб хоть один из них не сдох либо от недостатка, либо от потери дороги назад». Но лабиринты неизменно выводили нас к светлomu квадрату раскрытой двери. Сама церковь была надежно закрыта ржавыми замками. Один раз двери открыли какие-то мужчины, и мы сумели заглянуть внутрь, где увидели нагромождение красных и зеленых диван-кроватей. Их полированные ножки были простерты к куполу. В один прекрасный день ничего не осталось изучать, кроме колокольни.

Мое предложение полезть на колокольню приняла Надежда. Меньше всего я хотела в попутчики ее. Наша пятерка всегда разбивалась на неустойчивые пары. Симпатию, соединяющую двух девочек, неизбежно подтачивала нарастающая агрессивность, и пара распадалась. Так вот, эти неуправляемые процессы ни разу не соединили нас с Надеждой. Меня раздражал ее дикий восторг по поводу каждой кошки, именно она чаще всех называла меня дурой, если считала нужным, и часто именно из-за нее надувной баллон не попадал в мои руки первым. Это был тайный лидер, и она согласилась полезть со мной вопреки установившейся в книгах традиции рисовать детей большого города трусоватыми и не приспособленными к жизни. Исцарапав ноги, мы забрались внутрь и увидели двух дохлых ворон. Надя предложила испугать девчонку. Я выкинула одну птицу, она другую.

А потом началось самое потрясающее в моей жизни. Мы с Надеждой полезли на колокольню. Лестниц не было, вернее, не было ступенек, оставались лишь выемки по бокам, в которые мы вставляли края своих сандалий. Сначала внизу была небольшая пропасть, которая, естественно, увеличивалась с каждым этажом подъема, и упасть туда становилось все неприятнее. Но мы молча цеплялись за сгнившие доски и лезли. А потом была доска, узенькая такая. Она лежала под углом в сорок пять градусов над пропастью и соединяла плоскости с разницей уровней метра в три. Не помню, было ли мне страшно. А вот то, что доска качалась над пропастью, то, что кирпич из-под уцепившейся руки обвалился, это было.

А потом нас ослепил солнечный свет. Он врвался со всех сторон. Что мы почувствовали? Что солнце — это здорово? Что видим его по-настоящему впервые? Мы сказали об этом дикими криками, прыжками на месте и крепким объятием. Или я не знаю таких слов, или действительно есть такое, о чем лучше всего сказать руками и ногами.

Мы с Надеждой смотрели на речку, поля, деревья, небо с белыми облаками. Они тоже поразили нас, но не так сильно, как свет, неожиданно ворвавшийся со всех сторон. Может, мы еще раз хотели повторить неповторимое, и, понимая, что для этого доску нужно снова заставить качаться над пропастью, кирпич — обвалиться из-под уцепившейся руки, мы лезли на колокольню еще семь раз. Оттого что солнечный свет не ослеплял и не было потребности кричать и прыгать, восхождения не стали скучными. Колокольней проверя-

лись люди. В то лето я подразделяла человечество на тех, которые откажутся лезть, которые полезут, но заплачут на доске под углом в сорок пять градусов, и на тех, которые после первого раза захотят лезть еще. Первых я ненавидела: это были разумные взрослые и дети-старички. Вторых презирала, третьих считала за равных нам. После этого лета мы с Надей начали переписываться.

На следующее лето я предложила организовать общество спасения животных. И называть мы себя стали не иначе как благородными именами героини Великой Отечественной войны. Я была Любовью Шевцовой, и мне доверили почетную должность командира отряда. Надежда носила имя Ульяны Громовой и занимала не менее почетную должность начальника разведки. Еще были директор приюта, главный наблюдатель и комиссар по снабжению. Весь отряд состоял из почетных должностей. Мы долго благоустраивали Надин чердак, на стене повесили плакат «Молоко питательно!», а под ним эмблему нашей организации: пол-лица кошки и пол-лица девушки на рыцарском щите. Время, затраченное на приготовления, относилось ко времени, затраченному на полезную деятельность, примерно как пять к одному. Первый, и последний, котенок, который попал в поле зрения бинокля главного наблюдателя, от нас убежал после того, как мы избавляли его от блох. Посыпали дустом, а чтоб неразумное существо себя не облизало и не отравилось, надели на котенка чулок с дырками для лап. Потом кошачьи благодетели катались от смеха по траве, глядя, как котенок печально бредет в чулке и где-то на расстоянии в семьдесят сантиметров за ним волочатся пятка и носок. Еще мы хотели взять шефство над теленком в овраге, сытый вид которого ясно говорил, что вряд ли он в нашем шефстве нуждается. Только мы к нему приблизились, как теленок побежал на привязи вокруг колышка, да так резво, что Надя с Лариской, подсеченные веревкой, рухнули на землю.

В благоустроенном чердаке было очень уютно. Мы часто сидели там вдвоем с Надей. Она много рассказывала, и большей частью про свою маму. В ее рассказах слово «мама» неизменно стояло со словом «моя». Эти беседы наедине не сделали для меня Надежду ближе. Она вносила в мой мир красивые слова «прелесть», «обожаю», которые делали мой мир серым и неполноценным в сравнении с ее, где все для меня было красиво и необычно. Непонятно тоже.

Дочь с матерью едут ночью в трамвае. Вагон пустой. (Тут надо представить трамвай старого типа, с висящими ручками.) И вот мать поднимает дочь, которая сжимает ручки и начинает раскачиваться. Мать тоже берется за ручки, поджимает ноги и начинает качаться. Обе они едут в пустом вагоне и качаются на ручках, мать и дочь.

Мать берет двенадцатилетнюю дочку и ее подругу в ресторан. Им весело, и они, не стесняясь, громко смеются, обращая на себя всеобщее внимание. По возвращении домой мать дарит подруге своей дочери золотое кольцо с рубином.

Надина мама не укладывалась в моей голове. Я пыталась понять ее сравнением, и в первую очередь со своей мамой. И опять сравнение было не в пользу моего мира. Моя мать казалась мне серой уже тем, что Надина мама была потрясающе красива. Один раз она проходила мимо нового ювелирного магазина, который оформлялся. Ей предложили сфотографироваться для витрины, но она отказалась.

Чувство неполноценности заставило меня замолчать. Надя рассказывала, а я строила в голове мысли, якобы тайно принадлежащие ей. Примерно так это занятие выглядело:

«Надя с матерью как подруги. Вместе играют. Мама ей все рассказывает. А у меня не так. Совсем не так. Конечно, у Тани мама не дарит золотых колец и на ручках в трамвае не качается. Надина мама лучше, чем Танина... Дядя Коля... У Тани папа, а у Нади дядя Коля. У Тани все обыкновенно, а у Нади нет. У Нади интересней, чем у Тани...»

По этой причине откровенные разговоры не приближали меня к Наде. Гораздо веселее и свободнее я чувствовала себя, когда рядом находились все четверо сразу.

Женщина слева зажала нос двумя пальцами. Самолет делал посадку. За окном была та же чернота и те же огоньки, сметенные в кучу. Будто три часа самолет повисел над городом А, пошумел моторами и пошел на снижение. К

трапу подъехал точно такой же автобус, который подвозил меня к самолету. Я прошла по потрясающе красивому аэропорту, надавила на стекло огромной двери и очутилась лицом к лицу с незнакомым городом.

Он встретил меня примерно той же температурой. От этого особенно четко проступило, что Сергей Нинашев не приходил ко мне уже двадцать пять дней. В незнакомом городе, около огромной коробки стеклянного аэропорта чувство тревожного одиночества заявило о себе как о самом сильном. Все это вновь вступило во взаимодействие, и в том, что Надежда покончила с собой, не осталось ни малейшего сомнения. Люди бежали к автобусу, садились в такси, а я стояла, спрятав нос в воротник, и не могла пошевелиться. Неизвестно, сколько бы я простояла таким образом, если б не вопрос: «Хорошая моя, куда едешь?» — который задал мне высокий парень в дубленке. Я увидела раскрытую дверь такси и облегченно сказала: «На Достоевского». «Садись, моя хорошая», — предложил парень. Я кинула сумку в раскрытую дверь, села и спросила, сколько времени. Оказалось, что полседьмого. «Ну, поехали!» — сказала я, имея в своем распоряжении мало денег и уверенность в том, что шоферы такси не дают сдачи.

К следующему лету запасы моей положительности иссякли. Я предложила начать разбойничью жизнь. Любовь Шевцова стала Ферзем, Ульяна Громова — Джонсоном по забытым мною причинам. На Надином чердаке, вместо прежнего герба с половинками лиц, появились два скрещенных кинжала. С их острых кончиков капала кровь. Ничто не напоминало о том, что молоко питательно. «Грабь и убивай!» — призывал новый плакат. Я вела дневник нашей разбойничьей жизни. Он хранится у меня до сих пор. Его страницы запечатлели деградацию нашего разбойничьего пыла. Первые листы заполнены событиями важными и жестокими: Лариска ворует у своего деда папиросы «Волна», Джонсон разрушает могилу крысенок, которого старательно, со всеми почестями захоронили малыши. И т. д. и т. п. Потом в журнале стали появляться сомнения в важности совершаемого: «Я не знаю, зачем мы зовемся разбойниками?» Закончился дневник приговором самой себе: «И никакие мы не разбойники».

Я повзрослела, и поступки, даже красивые, которыми двигала пустота, меня перестали удовлетворять. Мои подруги тоже повзрослели и стали получать большее удовольствие от бесед на тему «Дружба мальчика с девочкой», чем от порчи лавок добрых соседей.

Это лето сделало для меня Надежду совсем чужой, потому что ее признание в любви доставило мне душевное мучение. «Ты такая хорошая», — говорила Надя. Зря такими словами никто не будет кидаться и не смеет. Я растягивала рот в смущенной улыбке. «Ну вот, теперь я тоже должна ей сказать, что люблю ее. Надька ведь ждет этого. А я не могу сказать, хоть расшибись! И целовать не могу. И обнимать. Чего она заставляет меня притворяться? Конечно, ей это легко, а я не могу. Надя хорошая, а Таня плохая. Таня не любит».

Представление о Надиной маме и отношение к ней перевернулись вверх ногами, но не стали от этого понятней. Надина мама начала пить. «Знаешь, Танюша, — рассказывала Надежда, — напьется и придирается. Ко мне, к дяде Коле. Сама ведь первая начинает. А дядя Коля потом с ней дерется, и пошло... И еще она ревнует меня к нему и всячески избегает, чтобы мы были вместе. Господи! До чего же это глупо! Никто не знает об этом, я только тебе говорю». В ответ на подаренную жизнь Таня лепит на лице жалость и дарит ее Надежде как юридической. «Надо ведь плакать вместе с ней. Когда жалеют, то плачут. А я не могу! Чего она заставляет меня притворяться?! Конечно, у Нади мама пьет, а у Тани не пьет. Тани хорошо, а Наде плохо. Ее жалеть надо. А мне самой тоже плохо. Можно подумать, что только тогда плохо, когда матери пьют...»

Чего вы хотите от мира, где никогда не дрались, где никогда не напивались, где мамы не качались на трамвайных ручках и не дарили золотых колец подругам, а читали нудные проповеди, где контрольная по математике возводилась в ранг события? Уж не чувств ли? А чувства-игрушки не хотите? Настоящих слез, сопереживания, а не уroda жалости ищите у тех, кто вырос на реальных житейских конфликтах. И простите Таню Елагину. Она сама хотела

настоящего, и настоящих слез в частности, но ей не о чем было плакать. Не о контрольных же по математике! Не из-за нравоучения же по поводу туфель, положенных не на место!

Пока Таня сидит и гадает Наде на картах. Она говорит всякую чушь самым серьезным голосом, потому что верит в нее. А в это время в ней зреет протест против ее мира. Она не знает об этом. Не знает, что начнет курить и выпивать, что возьмет на вооружение романтику привлекательного зла и так же старательно, как приключения, сделает разочарование в жизни. Как следующим летом заодно с ненавистным миром сметет и сломает многое другое. А пока она сидит и гадает на крестового короля — мальчика Володю, которого Надя безумно любит. Карта идет плохая: Володя должен бросить Надю.

Это случилось. Впервые отняли у Нади ее любовь-привязанность, которая ничего не требовала, кроме доброго отношения: ни того, чтоб говорили в ответ «я тебя тоже люблю», ни того, чтоб ее жалели. Это послужило причиной для первой попытки Нади покончить с собой. В письме, рассказывающем про это, красивый, смелый, добрый мальчик нарисовался настоящим Володей с очень неожиданной для меня стороны:

«Танюша! Права ты была! Не ввали твои карты. Володя меня бросил. Ты не представляешь себе того унижения и горя, которое мне пришлось испытать. Мы с Ольгой собирались в школу на вечер. Она хорошая девчонка, только испорченная. Общается с разболтанными мальчишками. Я была уже одета для вечера, а Ольга еще нет. Она крутила волосы, а я гладила ее платье на кухне. Вдруг раздался звонок. И вошел Володя со своим другом Толькой. Увидели меня и ухмыльнулись, думали, что Ольга одна будет. Толька сказал Володе: «Ладно, чего бояться-то». Сели в большой комнате, и Володя достал из кармана бутылку вина. Представляешь?! Налили всем в чашки и предложили мне выпить с ними. Я, конечно же, отказалась и ушла на кухню доглаживать платье. Глажу, а из глаз слезы текут. Потом в кухню ввалилась Ольга, пьяная и тоже вся в слезах. Начала меня обнимать, целовать, а сама шепчет: «Наденька, прости! Я не виновата. Володя сейчас предложил мне с ним дружить. Но мы ведь с тобой подруги, Надюша! Я ему отказала». Плачет, а от самой вином пахнет. Я ее оттолкнула и выбежала в коридор. Там стоял Володя. Никогда не забуду этого унижения. Он улыбался, а я как дура со слезами на глазах спросила: «Володя! Раньше я нравилась тебе хоть немного, или все было просто так?» Он ничего не ответил. Тогда я спросила у Тольки. Он помялся и сказал: «Летом нравилась и еще потом долго нравилась. А потом он с одной девкой загулял просто так и остыл. А Ольга ему недавно понравилась...» Ты чего-нибудь понимаешь? Они ушли. Только дверь за ними захлопнулась, как постучались Маринка и Люда. Они зашли, чтоб вместе идти на вечер, и спросили, где мы так напились. Ты представляешь, какой у меня был вид, если меня сочли за пьяную! Я дынула один раз на Маринку и два раза на Люду со словами «да не пьяная я!!!» и зарыдала как ненормальная, уткнувшись в пальто, висевшее на вешалке. Потом я выбежала в подъезд и услышала, как одна женщина говорила другой про то, что купила хлорофос морить тараканов. Я попросила у нее немного, сказав, что у нас дома тоже тараканы. В туалете я растворила комки хлорофоса, а потом увидела чайной соды и ее тоже выпила. Тут девчонки потащили меня на улицу. А Ольга хотела избить Маринку за то, что та много треплет, и я одобрила ее намерение. Но сейчас, когда она была пьяная, я не позволила себе это сделать. Ольга сказала, чтоб я зашла к ней после вечера и что она заставит Володю дружить со мной. Я ей обещала. Ведь она была пьяная, но я-то была трезвая: и раз я Володе не нравлюсь, то дружить он со мной не будет. Я это знала. Мы вышли втроем из подъезда, и я сообщила, что выпила хлорофос. Девчонки сказали, что сейчас же надо идти домой, иначе со мной в школе что-нибудь случится. У меня уже кружилась голова и подкашивались ноги. Мы зашли в подъезд и сели в лифт, думая, что сказать, если мама спросит, почему я плакала. А это она сделает наверняка, потому что вместо глаз у меня были щелочки, до того я опухла от рева. Мы зашли в квартиру, я улыбалась. Бабка сразу спросила, почему я плакала. Я не сказала, что упала, как мы договорились с Людой, т. к. я никогда не плачу, когда падаю. Я начала отпираться. Мол, ничего подобного, я и не думала плакать. К моему удивлению, мама сказала: «Не надо спрашивать ее об этом. Есть вещи, которые мы не можем знать» Я зашла в свою комнату, и меня начало тошнить...»

А Таня Елагина начала в конце девятого класса делать разочарование в жизни. Мальчики ее ни разу не бросали, их вообще не было, и они ей не были нужны. Но она начала шлаться с ними в обнимку, чтоб иметь право на разочарование в любви. Она начала курить и выпивать, чтоб выглядеть все в жизни испытавшей. Таня спорила со своими родителями по любому поводу. Истина ее не волновала. Лишь бы ходом своих рассуждений возвести на пьедестал то, что принято у вас порицать, и наоборот. В отношении дружбы Таня пошла методом от противного: сказала себе, что дружбы нет, а есть притворство. И ей осталось подбирать факты, доказывающие это, и не замечать остальных. Человеческие ценности, разойдитесь — идет шестнадцатилетний! Таня успокаивалась только тогда, когда находила в человеке какую-нибудь дрянь. Часто после упорных поисков.

В С, где Таню дождалась Надежда проводить очередное лето, она послала ужасное письмо. Но честное. Тане говорили: «Ты мой друг. Как ничтожно это слово по сравнению с тем, что ты есть для меня на самом деле». Она знала, что не заслужила таких слов, и начала свое письмо с сухого приветствия:

«Здравствуй, Надежда! В С я не собираюсь приезжать. Зачем? Чтобы снова сидеть в зрительном зале не на своем месте. Все люди играют во что-то. И ты. Хорошо свой внутрэнний мир устроила и меня там поставила на комод своего благородства, как статуэтку. А я, может, унитаз? Я вот вчера, например, сидела на коленях у мальчика и курила. Прощай!»

«Родная, милая моя! — ответила Надежда из С. — За что ты меня так называешь?! Ты все такая же. И не только для меня, в моем представлении. Я знаю, в маленьком письме нельзя понять, что дело обстоит гораздо проще. Я обязательно дождусь тебя. Я хочу рассказать тебе обо всем, что было со мной. Да и у тебя жизнь, наверное, пошла веселее. Ты еще не влюбилась? А если не влюбившись сидела у мальчика на коленях, то я ни в коем случае не осуждаю тебя. Ведь до этого ты была такой примерной в этом отношении. Поэтому такого крутого поворота от тебя и следовало ожидать. Ты не из тех тихонь, которым долго приходится перестраиваться. Я понимаю тебя. Тебе просто надоела скучная жизнь, и ты решила внести в нее по этому поводу разнообразие. Я никогда не корпела над уроками, но и гуляла в меру. А ты способная, тебе надоело быть примерной. Ведь на самом деле ты же не такая, как натуральные забитыши. Наверное, я зря паникую. Ведь у тебя сильный характер, иначе зачем же он твой? Целую. Твоя Надя».

Таня ни за что бы не ответила на свое письмо. Но Надя написала и простыми, до оскорбления добрыми словами изложила суть всего происходящего. К Надиной привязанности добавилась потребность понимать того, кого она любит. Таня этого не заметила. Из всего письма она выбрала одну нужную для доказательства строчку: «Я хочу рассказать тебе обо всем, что случилось со мной за этот год». «Вот-вот! — подумала Таня. — Друг только того и ждет, чтобы навязать тебе разговор о своем удивительном внутреннем мире. А я эгоист! Заявляю честно. Я хочу обсуждать с другом свой собственный внутренний мир».

В С Таня все же поехала. Увидев ее, Надя побежала, отталкиваясь от земли крепкими ногами (Таня с особым удовольствием подметила это), сжала ее голову руками и смотрела своими большими черными глазами в Танины глаза. «Ага! В глазах слезы, а на земле крепко стоим», — думала Таня раздраженно. Неподдельность и искренность слез мешали ей быть плохой. Она сделала все, что могла, чтоб разочароваться в дружбе. Толкая свою шестнадцатилетнюю философию, Таня выбирала трудные слова и запутанные мысли, чтоб можно было назвать себя непонятой: «Автор — Альфред де Мюссе. Книга — «Исповедь сына века». Читали? (Подруги отрицательно покачали головами.) В этой книге охвачен тот период, когда прошлое ушло, а настоящее не наступило. И волны, для борьбы с которыми юноши напрягли свои мускулы, отступили. (Девочки слушали внимательно, но глаза их не горели.) Люди того времени были похожи на человека, который собрался строить дом. Старый он, естественно, развалил. Приготовил известку, засучил рукава и стал ждать новых кирпичей. Тут к нему приехали и сообщили, что новых кирпичей нет и вряд ли они скоро будут. И человеку предложили строить дом из старых обломков. — Таня скорбно затянулась. — Мы похожи на этого человека...» «Ну ладно, девочки, я пошла. Мне поросенка кормить надо», — сказала Наташка.

А когда все гуляли по парку и Таня предложила пойти на танцы, никто не захотел. «Там грязно», — сказала Надя. «Ах там грязно... Я чистая, а Таня грязная. Хорошую вы меня любили. Посмотрим, будете ли любить плохую». И Татьяна Елагина достала деньги, которые все сложили в ее модную сумочку. Она купила билеты, не дожидаясь согласия подруг. Надя повернулась и пошла, а за ней впервые двинулись остальные, оставив в Таниной душе смесь уязвленного самолюбия с досадой на себя.

Через полгода Надежда первая написала письмо, которое возродило нашу дружбу.

«Дом номер какой, моя хорошая?» — спросил шофер. «Двадцать седьмой, — ответила я. — Сколько с меня?» Счетчик показывал три рубля и двадцать копеек. Я сунула пятирублевую бумажку, не надеясь получить сдачу, но получила. Сказала «большое спасибо» и вылезла на улицу Достоевского. Здесь меня снова сковал приступ волнения, и с минуту я стояла не шевелясь.

Черт! Уже семь часов, а темно, как в танке... Двадцать девятый. Можно концы отдать от холода... Какой противный город этот В. Все прямоугольное... Двадцать седьмой. Я у цели... Вон в том доме жила Надежда Черкасова. В вот эту самую дверь входила... Не-е. В лифт я не сяду. Мне надо где-нибудь покурить... Этаже на третьем... Когда кончится эта чернота? В А уже давно светло. Мне кажется, эта чернота никогда не кончится... И так противно. Когда чернота и желтый электрический свет... На нервы действует... Тетка!.. Чего ты на меня уставилась?.. Вытряхивай свои пищевые отходы и мотай... Нет. В другом месте я не могу курить... Мне здесь удобно. Правильно... Наглотать всегда удобно. Это точно... Кстати, в двадцатой квартире никто не умирал?.. Вы не в курсе. Она с достоинством удалилась, показывая Тане Елагиной возмущенную спину... Ну ладно... Встали. Потушили окурок. И пошли. Бодрым шагом... Квартира двадцать... Нажимаем на звонок... Надежда. Живая. С чего я взяла, что она умерла?.. Стоит в черной шапке и валенках... И я стою... И долго мы будем так стоять?.. Таню Елагину сейчас задушат... А вот и бабка.. Ноги иксом. Тощие и жилистые. Лицо типичное для старух-алкоголиков склеры вспухшие, четко выделенные. Губы тонкие, как полоски. Черт! Кажется, эта старуха так и плюнет в лицо. Морщины так интересно стремятся к губам. Со всех сторон... Глаза потрясающие. Огромные, черные. Смотрят внимательно. Губы-полоски улыбаются, а глаза смотрят. Оценивают. Ну-ну! лиса черно-бурая, сапоги — made in England... В руке «Беломор» Как баба-яга в этой синей косынке с белым горохом... Вася?!.. Какой Вася? Кот? Чего они смеются?.. Ага... Значит, Надя все-таки вызвала Веснухина. А че это он. Разве у них живет? Не в общежитии... А вот и сам Вася. Здравствуй, молодой человек!.. Нормально он себя представил — «так сказать, Василий» Так сказать, Татьяна... Руку жмет крепко, а в глаза не смотрит. Все хорошие люди при знакомстве смотрят в глаза... Девушка, придержите его руку И заставьте посмотреть... Давно бы так. Табачные глаза. Пустые какие-то. Как у мальчишки-хулигана... Двадцать три года — и как пацан. Ей-богу, девятнадцати и то не дашь... Глаза пустые. А черт его знает!.. Ты не опаздываешь на работу? Еще насидимся вместе... Ну пошли, раз Вася еще не позавтракал... Сама рассказывай. Я потом... Правда! На одном заводе работаете?!.. А когда у вас светло бывает? В десять!.. Ничего себе. Дай-ка сюда руку! Давай, давай!.. Что это за украшение? Бригачкой?!.. Ладно. Потом расскажешь. Бегите на свой завод. Нет, скучно не будет... Я с твоей бабулей начну искать общий язык.

Как только за Надеждой и Василием захлопнулась дверь, Таня Елагина отправилась на кухню создавать контакт. Лидия Николаевна мыла посуду.

Таня села на табуретку, вытряхнула из головы все Надеждины оценки, губы-полоски для плевок, оценивающие глаза. Освободившееся место она заполнила доброжелательностью и услышала:

— Танечка, ты кушать хочешь?

— Нет, — приятно ответила Танечка.

— А спать? Устала, наверное, с дороги-то?

— Не знаю.

— Ты, наверное, сама не знаешь, чего хочешь. После дороги всегда так, — рассмеялась Лидия Николаевна.

— Точно, сама не знаю, — согласилась с нею Таня.

— А где вы, Танечка, с Наденькой познакомились? Кажется, в С. Но я тебя что-то не припомню.

Татьяна приступила к осуществлению своей задачи. Каждому человеку приятно, когда с ним говорят про него, и поэтому Таня сказала Лидии Николаевне:

— А я вас помню. Только тогда вы показались мне высокой. У вас еще завивка была и маникюр...

— Да... Когда-то я за собой следила. А сейчас... Сама видишь! — Лидия Николаевна показала на синюю косынку в белый горох.

— Нам тогда было по двенадцать лет. Мы валялись в траве перед вашим домом и разучивали приемы самбо. Вы вышли и спросили, в чем причина такого дикого визга. Надя ответила, что мы учим приемы самбо, чтоб при случае можно было дать отпор бандиту. А вы засмеялись и посоветовали бросить это занятие. «Никакого отпора вы не дадите, — сказали вы. — Разве что трусики придется менять».

Тут, по Таниным расчетам, Лидия Николаевна должна была засмеяться благодарным смехом за то, что ее шутка хранилась в чьей-то памяти семь лет. Но она этого не сделала.

— Да... — вздохнула Лидия Николаевна. — Я за собой следила. Всегда завивка, маникюр, шпильки. Я, Танечка, была красивая: кожа смуглая, зубы белые, глаза большие...

— Я видела. Мне Надя показывала ваши фотографии. Вы действительно были очень красивые, даже...

И опять Таня ошиблась в своих расчетах. Лидию Николаевну не тронуло, что ее красоту оценили.

— Танечка, — сказала она деловым голосом и оставила мыть посуду, — ты не заходила перед отъездом к Виктору Сергеевичу, Наденькиному папе?

Таня никак не предполагала такого вопроса и поежилась на табуретке. Она не ожидала, что Лидия Николаевна заведет с ней разговор о мужчине, жестоко отвергнувшем ее дочь, когда та была уже в положении. Таня не ходила к Виктору Сергеевичу перед отъездом, она вообще не собиралась к нему заходить никогда в жизни. Но Лидии Николаевне объяснить все это было невозможно. Чувствуя свою правоту, Таня сказала жалкое оправдание: «Знаете, у меня времени не было» — полным достоинства голосом. Губы-полоски раздвинулись в понимающей улыбке:

— Можно, можно было найти время при желании.

И сознание собственной правоты не помещало Тане покраснеть от стыда.

— Я вот собиралась к нему ехать и не знаю, жив он или нет. Наденька рассказывала, что он очень болен, а ты не нашла времени навесить ее папочку. Я бы ему написала, но он просил ему не писать: не любит писем.

Пораженная великодушием женщины, которая должна была ненавидеть Виктора Сергеевича, Таня решила сделать все возможное, чтобы спасти Лидию Николаевну от этой поездке:

— Знаете, лучше вам туда не ездить. Чувствуется, что когда-то Виктор Сергеевич был интересным, талантливым человеком. Но сейчас это обломок великого. Вам будет просто больно смотреть... И к тому же у него так изменен характер...

— Сколько лет его матери? — перебила Лидия Николаевна. — А ему шестьдесят. — Лидия Николаевна насмешливо улыбнулась. — Квартира-то государству останется... Мужик был широкий. Ничего не скажешь. Женщин любил. Надежду отсюда выписывать нельзя. А я съезжу, поговорю — может, он меня пропишет.

После этого просчета в голове Татьяны были такие мысли: «Ну вы, Лидия Николаевна, даете! Куда вам столько? Здесь же трехкомнатная...» Но вслух Таня подавала деловые советы по поводу выписки и прописки, не оставляющие для Лидии Николаевны сомнений в том, что сама она поступила бы на ее месте точно так же. Отсутствие предположенного великодушия не заставило Таню бросить доброжелательство. Лидия Николаевна вернулась к мытью посуды.

— Кто твой папа, Танечка? — спросила она.

— Инженер.

— А мама?

— Врач-психиатр.

— Семья, значит, интеллигентная. Да. Наденька мне рассказывала, что ты очень умная и очень начитанная девочка. Где ты, кстати, учишься?

— В Инженерно-строительном. Но в данное время я взяла академический отпуск и не знаю, учиться ли мне дальше.

Говоря это, Татьяна знала, что продолжит учебу. Академический она взяла, предчувствуя, что завалит сессию с Нинашевым в голове. Но внучка Лидии Николаевны никуда не поступала после школы и не собиралась. Поэтому Таня дала знать, что высшее образование не представляет для нее особой ценности.

Лидия Николаевна кончила мыть посуду и стала собираться за мясом. Надежда старомодное пальто и шляпу, предупредила строго-настрога, чтоб на стук и звонки дверь не открывалась, ушла.

Оставшись одна, я начала ходить по пустой квартире и все рассматривать. В первой комнате стояла кровать и огромное множество чемоданов и ящиков. Из-под кровати виднелись бутылки. Заглянув за дверь, я увидела еще один ряд бутылок и, заинтересовавшись, просмотрела все промежутки между стопками чемоданов. И там не обошлось без бутылок. Причем поражала чистота чемоданов и аккуратность построения блестящих бутылок. Этим предметам неплохо бы было стоять в беспорядке, утопая в пыли.

Вторая комната была очень светлая, с двумя окнами. В ней стояли пианино, письменный стол и диван. На подоконнике были цветы и на многочисленных полочках, вбитых в стену, тоже.

В третьей комнате, самой большой, собралась старая и мрачная мебель. На столе лежали книги, нагоняющие тоску одними только названиями. В углу телевизор с маленьким экраном, сундук, покрытый плюшем, и проигрыватель на окне.

Я открыла его и, не глядя на название пластинки, поставила иглу:

Печальной будет эта песня
О том, как птицы прилетали...

Я вспомнила, как мы спорили с Сергеем Нинашевым, просмотрев «Роман о влюбленных». Мне фильм понравился, а Нинашеву нет. Почувствовав, что к единому мнению мы не придем, я перевела разговор на песни. Спросила, какая ему больше всех понравилась. Ссутулившись и шатаясь, он хрипло пропел: «Эх! Заг-загу-загулял, загулял мальчо-о-нка, парень молодо-ой, молодо-о-о-ой! В красной ру-ба-шоночке... Хорошенькой такой!» А я сказала, что мне понравилась песня про птиц.

...А в них охотники стреляли
И попадали в птиц небесных...
А птицы падали на землю...

Я пошла за сигаретой, решив, что буду курить открыто. Во-первых, потому что курила сама Лидия Николаевна, а во-вторых, даже вдали от А «Таня, не волнуйся! Он к тебе пришел и расстраивается, узнав, что ты уехала» звучало неубедительно.

...И умирали в час печали.
А в них охотники стреляли
Для развлечения и веселья...

Я разревелась, выключила проигрыватель и уснула лицом вниз на диване в светлой комнате, которая понравилась мне больше всех.

Меня разбудила Надежда. Было уже светло, и, отвечая на мой недоуменный взгляд, Надя объяснила, почему пришла так рано:

— Деталей не привезли. Я ведь на сдельной работаю. Вожусь с эпоксидной смолой и еще какой-то дрянью. Так что заработать можно. Еще и за вредность платят. Сегодня не подвезли деталей, и можно было уйти в час.

— А я знаю, что ты сейчас будешь делать!

— Что? — спросила Надежда.

— Пойдешь мыть ноги, — торжествующе сказала я.

— Правильно. А ты откуда знаешь?

— Помнишь свое старое письмо, — ответила я, — где ты писала, как мама хотела прыгнуть с балкона? Так вот, после всего случившегося ты пошла мыть ноги. Ну, думаю, если после такой встряски она не забыла это сделать, то, видимо, это ее ежедневная потребность.

Надя поцеловала меня и пошла мыть ноги.

— Начнем с того, — сказала я, когда она вернулась, — что ты объяснишь мне про украшения на заплатах.

— Это я хотела задушить душевную боль физической. Василия вызвала к ноябрьским праздникам. Насовсем. Чего качаешь головой? Он уже прописан. Бабка за два дня все это дело провернула. В праздники он не приехал. А бабку я видеть не могла. Мне хотелось ее убить или задушить. Поэтому я жила у Нинки Сарафановой (у нее мать часто в командировках) или у Люды. Вася приехал четырнадцатого и зашел за мной к Люде. А бабка моя до того обнаглела. Пока они были наедине несколько часов, она такой поклеп возвела на Нинку и Людку, что они меня портят, что я дома не ночую. Представляешь! И это она говорила Васе, человеку, заставить которого мне поверить стоило стольких усилий. А Вася такой ревнивый! Когда мы с ним пришли домой, бабка заорала: «Ах ты проститутка! Ты его не ждала! Изменяла! Шлялась с кем попало». Я ничего не говорила в свое оправдание. Молча воспринимала все гадости. Бабка поработала отлично. В следующую ночь Вася тихо произнес: «А ведь ты, Наденька, летом, в первый раз, нечестная была».

— Сказал все-таки. Помнишь, в августе, когда мы легли спать, ты все начинала эту фразу и никак не могла довести до конца, потому что задыхалась от смеха. И когда мы вконец обессилели, ты выдавила: «Между прочим, я могу его потерять». Я сказала: «А что в этом смешного?» — и мы снова заржали как идиоты.

— Он, оказывается, тоже тогда удивился, почему все было чисто. После того как мои руки зашили, я ему все по-научному объяснила (он ни черта не понимает), что такие случаи есть. А после тех его слов я была до того унижена его позорным недоверием...

— Да! Вы не расписаны?

— Мне же нет восемнадцати. В апреле распишемся.

— Ну давай дальше.

— Так вот, зашла я в туалет, перерезала лезвием руки, перевязала тряпкой и надела кофту. Васю сразу предупредила, что спать будем в отдельных комнатах. Он спросил — почему, и тут закапала кровь. Я очень глубоко пропахала. Вася закричал, двинул мне по морде. Бабка вбежала, спрашивает, в чем дело. А я ничего не могу сказать. Пытаюсь вернуть челюсть в исходное положение.

— Наденька! Ты очень интересно показываешь, как это выглядело, но мне почему-то не смешно. Зачем ты позволяешь ему себя бить?

— Он же испугался, Танюша! Ты знаешь, как он меня одел? За минуту, по-солдатски. И мы побежали в больницу. Врач попался молодой. Спрашивает: «Ну что с тобой?» «Ручку, — говорю, — порезала». И протягиваю свои лапы, а на них разрезы ровные, как по линейке. «Порезала ручки? — спрашивает — А чем?» Я ему отвечаю, что бритвочкой. Тут он говорит: «Эх ты, дурочка, дурочка! Ведь жизнь так прекрасна и удивительна. — Помолчал, подумал. — Верней, она больше удивительна, чем прекрасна». На улице Вася заплакал. «Смотри, Наденька, — говорит, — я плачу. Неужели тебе этого мало? Неужели тебе этого мало? Ведь я же тебя люблю. Понимаешь ты это или нет?»

— Врач здорово сказал про жизнь... Знаешь что? Давай пойдем в большую комнату. Я там покурю. И возьмем альбом с твоими фотографиями. Я ужасно люблю смотреть альбомы, и чтоб непременно начиналось с детства.

— Давай. Сейчас я достану альбом... Какие у тебя сигареты?

— Уж не собирается ли Надя Черкасова курить вместе со мной?

— Собирается.

— Но ей же было неприятно в пятнадцать лет узнать, что Таня Елагина курит, а в шестнадцать — что начала мама... Да у тебя профессионально выходит! Не ожидала.

— Как приехала в августе из А, только этим и жила до Васиного приезда. Не дай бог он узнает. Терпеть не может курящих. Поцеловать курящую девчонку, говорит, все равно что облизать пепельницу.

— Эту фразу я говорила в тринадцать лет. Давай смотреть.

— Это я. Это опять я. Это меня мама держит. Здесь мне три года. Дальше все фотографии пойдут с таким хохолком. Он спадал на лоб и упрямо не хотел никуда зачесываться с трех до восьми лет. Вот вся наша семья: Черкасов, бабка, моя рожа. Это все моя мама шила: рубашку Черкасову, мою матроску. Я разве еще не показывала тебе фотографии моей мамы? Что ты! Она была бесподобно красива. Танюша, какая это была семья! Когда Черкасов ушел? Мне было пять лет. Мы с бабкой уехали на Черное море, а когда вернулись, его уже не было дома. Помню, перед разводом из меня хотели сделать рекламу покинутого ребенка. Я должна была крикнуть: «Папа! Почему ты не с нами!» И когда мы вошли в зал, у меня это так фальшиво вышло: «Пап! Почему ты не с нами?!» До сих пор смешно. Нет, я его не любила. Не знаю. Он был какой-то скучный. И мне всегда было стыдно ходить с ним по улице, потому что он был какой-то маленький. И ты ведь знаешь, Танюша, что мама заменяла мне все. Мы были с ней как подруги. Она обо всем со мной серьезно говорила: о неприятностях на работе, о ссорах с Черкасовым. Как со взрослой. Мне было пять лет, а я все понимала. Она развила во мне безумную любовь к животным и какую-то дикую привязанность к вещам. Один раз мне купили негритенка, маленького такого. Моя мама назвала его Дженни. Я с ним спала, ела, не разлучалась ни на минуту. А когда он потерялся, со мной случилось что-то ужасное: я не ела... Это мы с бабкой на Черном море... И только целыми днями плакала. Все советовали меня выпороть. А мама исползала весь детский сад в поисках Дженни и все же нашла. Вообще-то она меня здорово била. Но янисколько не в обиде на нее за это. Не то что бабка. Эта всегда была с удовольствием каким-то. Помню, время было такое — детей отовсюду воровали. Меня отпустили играть на час, а я проходила до вечера. И вот стою в подъезде соседнего дома и вижу из окна, как бежит моя мама. В своем синеньком платице. И столько у нее на лице тревоги... Ну тут уж и вспоминать страшно: она на мне даже топталась... Это все, между прочим, моя мама делала. Она изумительно фотографирует. Нет. Мама не любила Черкасова. Изменяла ему, наверное, страшно. А он, в общем-то, благородно поступил — взял ее с ребенком. И еще знаешь?.. Я недавно про это.. узнала. Слезы не могу сдержать... Он очень просил мою маму.. отдать. меня. ему. Говорил, что с ним... ребенку будет лучше.. В общем.. это так благородно. чужого ребенка... Это я с дядей Колей. А это мы с Людой. Знаешь, Танюша, я ей столько про тебя рассказывала. Она мечтает с тобой познакомиться. Га-а-а. Это мы в С. Ведем разбойничью жизнь. У тебя самый грозный вид. Это мы в классе. Вот наша четверка: я, Нинка Сарафанова, Люда Зайцева, Маринка Солдатова. Как мы на этой математике бесились!.. Чуть ли не башками о стенку бились. Ну, Нинка, эта еще что-то соображала. Людке было хорошо, у них с Нинкой вариант был общий. А мы с Маринкой еле выкарабкивались.. Это я еду на пузе в спортзале — результат активной игры в волейбол. Знаешь? У меня в школе была вечно идиотская морда. Я принимала самые нелепые позы. Все думали, что я притворяюсь, а во мне просто бушевало детство.. Вот мой принц. Помнишь, я тебе писала, что выдумала себе принца. Выбрала мальчишку из класса и заложила в него выдуманные внутренности.. Как с кем? Это я с мамой. Последняя фотография, где мы вместе.. Бабка!

В комнату заглянула Лидия Николаевна, сморщила нос и замахала руками

— Фу! Надымили! Ты что это, Танечка, куришь? Ну, Вася придет — он вам задаст!

— Явилась! — прошипела Надя. — Теперь дыши одним с нею воздухом!

Лидия Николаевна позвала ее зачем-то на кухню. Надя вышла, и через минуту в комнату снова заглянула голова Лидии Николаевны. Сделав губами любезную улыбку, она тихо полюбопытствовала:

— Танечка, ты к нам на сколько дней приехала? — И, не дав мне раскрыть рта, приготовила варианты возможных ответов: — На два дня? На три?

Я пожалала плечами.

— Чего ты там? — крикнула Надежда.

— Я говорю, что комнату надо проветрить! — закричала в ответ Лидия Николаевна. — Васенька, внушек мой, придет и задохнется здесь!

— Не твое дело, — хрипло сказала Надя, входя в комнату.

Лидия Николаевна, поставив ноги иксом, долго испепеляла взглядом Надину спину. Только я начала, когда бабка скрылась, сожалеть о том, что курила, как Лидия Николаевна снова появилась в дверях.

— Сходите встретьте Васеньку, внучка моего. Приятно ему будет

— Кушать хочешь? — спросила Надя.

— Нет.

— Я тоже. Пошли тогда, встретим его?

— Пошли.

На улице было очень холодно. Я спрятала нос в мех поднятого воротника.

— Слушай, твоя мама сейчас в лагерях или ее оставили?

— Ее оставили. Бабка бегала, хлопотала, и мама осталась в здешней тюрьме.

— Это хорошо. В лагерях, говорят, ужасно... Да! Помнишь, ты написала, что твоя мама познакомилась в тюрьме с одним человеком, который моложе ее на восемь лет Тот, который прочел ее записку Тольке, из-за которого она села. Он ей написал после этого, что твоя мама — это то, что он искал в своей жизни. Этот человек попал туда тоже глупо. И когда они выйдут, то зарегистрируются.

— Да, я помню. Их знакомство произошло до суда. Этот тип отколол. Он был на первом этаже, а моя мама на третьем. Там такие ужасные бабы. Наговорили про маму не знай чего. Этот тип быстро заткнулся.

— Ты не обижайся, но, честно говоря, такой конец мне нравится. Потому что я сразу ничего хорошего не предвидела и предупредила тебя об этом. Все это уже тысячу раз говорилось: чтоб сначала проверилось мозгами, основательно. В порядке? — выпускай свои чувства. Тебе семнадцать лет. Ты можешь жить со своей беспочвенной верой в хорошее. Но в сорок лет... каждое новое разочарование, каждый обман в надеждах, когда впереди ничего не светит, — это трагедия.

— Танюша, ты, как всегда, права, — сказала Надя без энтузиазма. Для нее всегда был важен факт того, что Таня говорит с ней. Но ей было совершенно наплевать, что именно она говорит.

— А в этом ты не совсем права. Хочешь, я расскажу тебе про один опыт? Свиной загнали в комнату Разных. И поставили им бочку с апельсиновым соком. Свиньи начали толкаться, и первыми прорвались, естественно, самые сильные. А был в этой компании самый ничтожный, самый забитый Так ему вообще ничего не досталось. На следующий день поставили бочку с водкой. Опять началась давка, опять самые сильные напились первыми Забитому тоже кое-что досталось в последнюю очередь. Потом свиньи страдали. На следующий день не подходили к водке, пили только апельсиновый сок. К водке подошел самый ничтожный и самый забитый. Он сделался алкоголиком

— Здорово! В самом деле был такой опыт? Я бы хотела посмотреть на страдающих свиней.

— Так вот. Ты во всем обвиняешь свою бабку: и в том, что твоя мама пьет, и в том, что она сидит в тюрьме. Я не могу лишить умного, способного человека ответственности и за то, что он пьет, и за то, что сидит в тюрьме тоже. Зачем люди пьют? Чтоб развеселиться, убить скуку, отделаться от надоевшей робости, чтоб легче найти контакт, чтоб забыться и сделать жизнь на несколько часов легче. Понимаешь? Чтоб сделать что-то легче А зачем человек должен о себе плохо думать?

— Моя мама восемь раз прыгала с парашютом.

— Правда?! (Надя сообщила этот факт совсем не торжествующим голосом. В нем было печальное превосходство оттого, что она знает что-то такое, чего Татьяне Елагиной не понять.) Вообще-то никак не ожидала, что твоя мама может прыгнуть с парашютом. Лично я сама никогда...

— Смотри, Вася! Замерз, бедненький.

Я увидела Василия, который бежал, зажав уши руками. Он нас не замечал. Надя остановила его и, встав на цыпочки, поцеловала в замерзшее ухо. Мне стало плохо. Я захотела вот так же, встав на цыпочки, поцеловать в замерзшее ухо Нинашева. Василий не обращал на меня ни малейшего внимания. Они шли с Надей и дурачились, ставя друг другу подножки. И вот тут я пожалела, что приехала, почувствовав себя лишней в этой дороге домой, где и без меня точно так же дурачились.

— Да, Надежда, — напомнила я о себе, — ты знаешь о том, что твоя бабушка собирается в город А?

— Знаю, — ответила Надя.

— Прописывать там кого-то: не то тебя, не то ее. Чтоб квартира государству не досталась.

— Квартира!!! — удивилась Надя. — Ни фиги себе! Мне она свою поездку совсем не так подала. Когда после первого визита, весной, рассказала, что отец болен, покинут детьми, она так загорелась: «Человеку надо помочь! Человеку плохо!» А дело, оказывается, вот в чем...

Вася снова сделал Наде подножку. Я шла и думала о том, что мы с Сергеем никогда не делали друг другу подножек. Мы всегда были заняты разговорами. Я всегда выходила из себя и что-то доказывала, а Нинашев был спокоен и прилагал усилия к тому, чтобы не убедиться. Однажды у меня не хватило слов для доказательства своей правоты, и под ногами очутилась консервная банка. Я остановилась и от души пнула ее. «Еще, — попросил Нинашев, — еще!» «Хватит», — сказала я. Тогда он сам пнул банку во второй раз, и она долго гремела после его пинка, катясь по асфальту.

Я посмотрела на себя со стороны и увидела никому не нужную девушку. Даже подруге, искренне просившей ее приехать. Подруга не знала о том, что девушка эта ей уже не нужна. Зато ее бабушка Лидия Николаевна сразу поняла.

Я подошла к дому в состоянии душевного дискомфорта.

«И зачем я сюда приехала?.. Чтобы греться у чужого огня?.. Господи, сколько радости! И Васенька. И внучек ты мой любимый... Даже целует... Почему она к нему хорошо относится? Чем он заслужил?.. Тем, что является будущим мужем ее внучки?.. Василий Веснухин балдел. Он кричал «ай-яй-яй-яй-яй!» с нисходящей интонацией и «ну это ж надо такое, а?» с восходящей... Полнейшее взаимопонимание. Безо всякого к тому умственного старания. Как у меня... Ладно, Василий, нравится вам это или же не нравится, а я пойду курить... Пусть все видят мое настоящее лицо... Бабке можно, а мне нельзя. Чем мы, в сущности, отличаемся? Налицо два одинаковых факта — женщина курит... Ну чего смотришь?.. Давай говори слова осуждения. Я тебя очень прошу. Серьезно. Я тебя после этого уважать буду... Ты же не любишь курящих. Чего ж ты улыбаешься фальшиво и кушать меня зовешь? Приехала какая-то проститутка неизвестно зачем... Спасибо, Вася. Сейчас пойду. Итак, за столом собралось счастливое семейство и Таня Елагина, которую пнул Сергей Нинашев... Очень смешно! Лидия Николаевна хочет прикурить, а ее внучек Василий отходит со спичкой. Медленно, но верно... Семейный юмор в разгаре — женщина, в прошлом со смуглой кожей и белыми зубами, упала на четвереньки. Она думает, что это смешно... Браво, Лидия Николаевна! Жаль, что вас не видят бывшие поклонники... Таня Елагина, какая у вас умиленная улыбка... Ай-яй-яй-яй! Подними ее, Вася, подними! Ну это ж надо такое, а! Зачем я сюда приехала?.. Кусок в горло не лезет... Ай-яй-яй-яй-яй! Ну что же ты это Васеньке, внуку своему любимому, припасла? И за что это ты его так любишь?.. Ну это ж надо такое, а! — стакан красного вина. Вот это любовь... Надя улыбается и говорит «юмористы, черти». Ладно. Тогда Елагина тоже будет улыбаться... Зачем я сюда приехала?..

Спасибо! Пойду докурю свою сигарету, песню про птиц послушаю... Ого!

«Танька, иди-ка сюда!» Вежливую улыбку на рожу. Может, «Танька» — это хороший признак. Надвигающегося контакта... Рубль? Ваське не хватает? Сейчас... Старуха, а чего ты шепотом, чего шепотом?.. Вася, не смущайся и бери рубль... Точно, бабуля. Как это вы угадали, что я тоже буду? Точно. Что я — не человек, что ли?.. Ого! Убийственно широкий жест — Лидия Николаевна махнула рукой и сказала: «А, один раз живем!» Сама после ухода на пенсию начала пить. А Василию, между прочим, двадцать три года. Зачем же его спивать, а? Педагог бывший... «А, один раз живем!» Рубль? Еще, что ли, не хватает? Сейчас. Да не шепчемся мы, Надя! Мой свою посуду. Ладно, Лидия Николаевна, так и быть, ничего не скажу Наденьке. Я ведь с вами заодно... Надежду не поведешь. Сразу догадалась, о чем мы шептались в прихожей... «Танька тоже с нами будет». Нет, мне это «Танька» не по душе... Так. Не Танька, а Танечка... Вообще-то мне самой следовало это замечание сделать. Не дожидаться Надежды... А поди разберись, что лучше: Танька или Танечка.

Все зависит от того, кто говорит. В данном случае говорит бывший педагог-алкоголик — Лидия Николаевна Багрянская. Вот если б я сама была бывшим педагогом-алкоголиком — вот тогда «Танька» очень даже подошло бы.. И зачем я сюда приехала?

А птицы знали-понимали, что означает каждый выстрел..

Невыносимо. Сейчас бы сидеть напротив Сережи и рассказывать ему про бабу, про то, что у нее рожа как для плевака... И глаза у Василия пустые... По всем приметам бесцветная личность... Зачем все это?! — видеть, слышать, узнавать, если этого нельзя отдать Сергею?.. Зачем?..

Но не могли не возвратиться к родным местам,
У речки быстрой..

Когда мы в последний раз вместе сидели в кино, я так хотела, чтобы он взял меня за руку. Все полтора часа смотрела не на экран, а на его руку, которая не шевельнулась...

И не могли не возвратиться к родимой северной округе,
И песню горестной разлуки весной веселой пели птицы...

Но ведь было столько хорошего. Столько светлого... Почему все это не вспоминается? А это последнее, тревожное и непонятное, лезет и лезет в голову... Ай-яй-яй-яй-яй! Васенька пришел, внучек любимый пришел! Водочки принес... Сейчас посмотрим, что из себя представляет Лидия Николаевна в нетрезвом виде... Нет. Я пить не хочу. Совсем не хочу. Наденька? Она, кажется, мыться собралась. Воду набирает. «До чего же чистая девчонка!»... К чему вы это? И таким тоном, Лидия Николаевна, что я себя грязной чувствую. И у Василия, поди, такие же подозрения. Ну еще раз повторите. «До чего же чистая девчонка!» Да не хочу я пить. Ах вот оно что! Вам, Лидия Николаевна, мое настоящее лицо увидеть хочется... Ладно. Сейчас продемонстрирую, что в трезвом и нетрезвом виде мои лица совпадают... Ну и гадость!.. Сигарета в сто раз лучше... Василий идет тереть Надину спину. С ума сойти! Совсем как муж и жена... Че это за книга? Толстенная такая... Азбука глухонемых. Чья это? Ваша, Лидия Николаевна? Вы же вроде педагогом были... Зачем вам?.. Лидия Николаевна опрокинула еще одну рюмку и удобно расположилась в кресле. Таня, подпирай кулаком щеку — самое время быть чутким слушателем...»

— Я, Танька, не простым была педагогом, а дефектологом! Я учила слепых, глухонемых, умственно отсталых. Да... Профессия нужная, редкая. Я вот и Надьку на это дело толкала. Да Людка Зайцева, сволочь такая, отвлекла ее!!!!! Налей-ка мне еще. Больше всего, Танька, мне нравились слепые. Слепые — прелесть! Я у слепых преподавала в интернате в Таджикистане... Тяжело мне было с ними, Танька! Ох, тяжело... Жалко мне их было. До того жалко!.. Вот они спрашивают: «Лидия Николаевна! А что такое красный цвет?» Как ты им объяснишь, а?! А что такое зеленый цвет? Ну вот скажи! Как объяснить, что такое зеленый цвет?! Не знаешь. Эх, Танька!.. Так их было жалко. Сидят в классе. Лица такие кроткие, к потолку подняты... Я им диктую, а они текст выступают. Любили они меня! Никогда я на них не кричала. Кто-нибудь скажет: «Лидия Николаевна, я не успел!» — подойду поближе, еще раз продиктую... Слепые — прелесть! Любили они меня! В класс войду, а они улыбаются: «Здравствуйте, Лидия Николаевна!» «Здравствуйте, — говорю, — мои милые! Откуда ж вы узнали, что это я?» А они мне объясняют: «Мы еще издали слышим. Вы по коридору идете, и каблучки у вас — цок-цок-цок! Другие не так ходят. Они сапогами — топ-топ-топ!» В этом интернате остальные преподавательницы были таджички, толстые, неуклюжие, в сапогах... Хотя, знаешь, Танька, есть среди таджичек красавицы — высокие, стройные. Но нечистоплотные... Ужас! Ближе подойти нельзя. Воды там мало... Кто врет?! Кто врет?! Закрой, Васька, дверь с той стороны! Откуда ты знаешь, какие таджички?.. Ты разве в Таджикистане служил?.. Ну конечно! Так бы и схватил каждую. Вы же солдатня. В казармах. Вы бы и медведицу рады схватить! Закрой, Васька, дверь с той стороны. У нас с Танькой разговор по душам... Они бы и медведицу рады схватить — ничего не поделаешь, летсяя!.. Давай, Танька, еще

выпьем. Да. Жалко их было. В классе пекло, жара невыносимая. Как-то раз не вытерпела я и говорю: «Вот что, мои милые, пойдемте сейчас под дерево и урок там проведем. На свежем воздухе» Они заволновались: «Как же так, Лидия Николаевна! Ведь директор, наверное, ругаться будет?» «Ничего, — говорю, — у директора я уже спрашивала. Он разрешил». А плевать я хотела на директора!!!! Мне слепых было жалко... И вот идем мы, Танька: я первая и у меня на плече рука, все они в цепочку выстроились, руки друг другу на плечи положили... И так идем. Ох, Танька! Не дай бог тебе испытать, что я тогда испытала. А они меня еще предупреждают: «Осторожно, Лидия Николаевна, сейчас будет канава! Осторожно, Лидия Николаевна, скоро арык!» И вот дошли мы до дерева и урок там провели... Любили они меня! Только не могла я с ними. Тяжело было... Ох, Танька, тяжело! Как они меня просили не уезжать! Я им говорю: «Милые вы мои! У меня в В внучка. Мне ее повидать нужно. Вы не расстраивайтесь. Осенью я к вам вернусь. Обязательно»... Конечно же, я их обманула. Но больно уж с ними тяжело! А слепые — прелесть! Вот глухонемые — дрянь! Эти пакость! Лжецы. Труссы. Нагадят, нашкодят и тут же: «Меня не бей! Я глухонемой. Меня нельзя бить!» Знаешь, Танька, не могу говорить по-глухонемому, когда молчу. Если вслух то же самое произносить, то и на пальцах выходит. Как диктанты у слепых (они на алюминиевых дощечках гвоздями выстукивали) не могла проверить с открытыми глазами. Закрою глаза — все в порядке... Глухонемые дрянь! Один раз мой воспитанник, здоровый такой парень, кого-то прибил. Судить его надо. А переводчика нет. Тут, конечно, ко мне обратились: «Лидия Николаевна, пожалуйста!» Двадцать пять рублей в час давали. Пошла. Потому что мой воспитанник. А так просто сволочь какую-то защищать я бы и за сто рублей не пошла! Нужны мне эти деньги,!!! Заступалась за него. Два года дали... Чему я их учила? Звуки им ставила. Ну и речь у них была, у моих учеников!.. Первую половину дня ставила им какой-нибудь звук. Потом давала детей воспитательнице. «Вот, — говорю, — милая, я им сегодня «р» поставила — изволь мне его закрепить!» Утром прихожу — где «р»? Нету «р». «Ну, — спрашиваю воспитательницу, — изволь ответить, куда делось «р»? Я его вчера поставила, тебе закрепить велела. Где оно? Потеряла «р!» Эх, Танька! Сколько людей меня ненавидели! Эти воспитательницы! Они мне глотку были готовы перегрызть. А я на них плевать хотела! Для меня главное — дети! Специалист я была отличный. Какую я речь делала... Правильно ты, Танька, сделала, что из института своего ушла. Профессию свою любить надо! Если ты свое дело знаешь, любишь, то тебя будут бояться, а не ты будешь людей бояться!.. Иди, Надька, отсюда! Мы тут с Танечкой по душам говорим. Иди целуйся с Васькой... Ох и любит он ее, Танька! До того любит... Мне даже экспериментальные классы доверяли. Новые методы осваивать. Сидит комиссия — министр образования (!), профессор (!)... «Куда, — говорят, — вам, Лидия Николаевна, столько детей? Не справитесь. Нужно всего десять, а вы уже пятнадцать набрали!» «Ничего, — говорю, — давайте еще». Был один ребенок после полиомиелита. Никто его не решился взять. Я взяла. Только ничего у меня с ним не вышло. Пятьсот рублей за него мать давала — не взяла. Он другим детям мешал. Этот ребенок под себя и мочился, и все что хотите. Обмочится, штаны снимет и давай себе по лицу размазывать. Что делать? — прерываешь урок и берешь его в туалет подмывать. Все сама делала: и каки подмывала, и маки. Отманикюренной ручкой... Надька не знает. Нет, не знает. Сколько сил я на эту работу выложила... Вот Ирка, дочь моя, знает... Сколько я Надьку на это дело уговаривала. Нет! Не слушает. Вот Зайцеву, сволочь эту, слушает!.. Да что ты, Надька, поговорить не даешь с человеком? Всего десять. Сейчас ляжем. Утром, Танечка, увидишь, как я их будить буду. Одно мученье... Ну, спокойной ночи!

«Спокойной ночи... Я буду спать в комнате с цветами. Одна... А Надя будет спать с Василием. Как-то в голову не приходило. Хотя как должно было быть, если не так? У меня был Сергей. Вроде не должно быть обидно... Все равно. Как будто обокрали... Мы же всегда спали вместе. У меня на сеновале, у Лариски в сарае или у Нади во дворе... И в А мы тоже спали вместе на моей кровати... Будто прошлое дает мне какие-то права... С Надей спит Вася... Что вам, Лидия Николаевна? Что я собираюсь делать завтра? Нет, я вам не дам сказать: «Наверное, город осматривать». Я вас опережаю — пойду осматривать город. К приходу Нади с работы вернусь. Что вы говорите? Город у вас заме-

чательный и в столовых отлично кормят? Учтем... Господи! Я одна. Ведь я же одна... Как я отвыкла быть одна. Какого черта Надежда называла меня своим другом? Вот я сижу в темной комнате одна и реву с сигаретой в руке... А ей сейчас с Васей хорошо. И не догадывается, что мне тошно... Что, она обязана, в конце концов, знать, тошно мне или нет? Она что — телепат?.. Со мной Сергея нет. Я чувствую, что он не со мной... Вот в чем дело».

Утром меня разбудил крик Лидии Николаевны: «Вставайте! Уже полседьмого!» Я повернулась на другой бок, и минут через пятнадцать меня разбудил тот же самый крик: «Вставайте! Уже полседьмого!.. Я вам могу будильник показать», — что прозвучало более убедительно. Послышались вздохи, стоны, шлепанье босых ног. Какое-то мгновение я чувствовала себя счастливой оттого, что могу спать в неограниченном количестве. Мгновение было коротким. После него я снова провалилась в крепкий сон, длившийся до девяти часов.

Лидия Николаевна любезно предложила мне позавтракать. Очень любезно. Но отчего-то все куски вставали поперек горла. Может, оттого, что она рассказывала про своих сестер и себя: какие они все были талантливые — одна профессор, другая изумительно играет на фортепьяно. И сама Лидия Николаевна прекрасный специалист. С кем она только не была знакома: с академиками, профессорами, начальниками. Потому что у больших людей были в основном дети неполноценные. Печальный факт, имевший место, как выразилась Лидия Николаевна, вследствие того, что жизненные соки шли к голове, а не туда, куда надо. Все это говорилось таким тоном, что нельзя было не почувствовать себя ничтожеством.

Это чувство можно было ликвидировать двумя путями. Первый, наиболее мне симпатичный: «Что вы говорите! Профессор! А моя двоюродная сестра — электрообмотчица, и подруга есть, поваром работает»; и второй, наиболее подходящий, на мой взгляд, для установления контакта с Лидией Николаевной: «Что вы говорите! Профессор! А моя тетя тоже профессор. Она преподает в университете Ломоносова. А еще у меня есть двоюродный брат, он работал с самим Королевым».

Я выбрала второй путь и старухе, у которой в комнате ни одна щель не обходилась без бутылки, привела неопровержимые доказательства талантливости моих родственников. Вымыть посуду Лидия Николаевна мне не доверила. Я уходила и одевалась под перечисление самых лучших столовых города В.

День был холоднее вчерашнего. Он совсем не подходил для хождения по городу и ознакомления с его достопримечательностями. Я подняла воротник, уткнулась носом в мех и некоторое время раздумывала. Потом решила сесть на первый попавшийся троллейбус и кататься, пока не надоест.

В незнакомом городе, одна, я всегда чувствую себя неловко. Движения топорны от ежеминутной опасности сделать нелепость из-за стоимости проезда разницей в одну копейку и тому подобным мелочей. Свое вхождение в троллейбус я начала с того, что споткнулась и не легла на поверхность только благодаря вовремя вытянутым рукам. Стараясь не краснеть, я поспешила скрыться в глубине троллейбуса. Какой-то мужчина передал мне кучу мелочи. Опуская в кассу по пять копеек, я оторвала два билета и сообщила, что для третьего не хватает трех копеек. Интеллигентность мужчины спасла меня от маленькой неприятности. Выяснилось, что в В билеты на троллейбус стоят четыре копейки. Решив купить талоны, я направилась к кабине водителя. После первого усилия дверь не открылась, после второй попытки тоже. Я постучала. Водитель посмотрел очень сердито и ткнул пальцем куда-то вниз. Там я увидела щель и блюдце в виде сектора, вращающееся на цилиндрическом шарнире. Положила в него деньги и получила талоны.

Я села около окна, облегченно вздохнув. Можно было спокойно смотреть и изучать характер города. Случайно выбранный маршрут представил мне В как город контрастов. В целом он состоял из солидных прямоугольных кварталов и домов, облицованных серыми прямоугольными плитами. Они неизменно чередовались с прослойками старых, дореволюционных домов, таких же, впрочем, солидных.

Люди в В мне не понравились. Ничего не хочу сказать о них плохого, но, во всяком случае, они не были хорошими для того, чтоб смотреть на них из окна троллейбуса. Все неплохо одетые, одинаково деловые, они не вызывали

никаких эмоций. Город А умел развлекать, и не только приезжих. Только обсмеешь дешевку с претензией на богомность, а рядом уже строгая недосыгаемость из ряда вон выходящих шмоток. В городе В все были какие-то одинаковые. Но это я так считаю.

Очень скоро мне стало скучно. Я посмотрела на себя со стороны и увидела замерзшую девушку, вынужденную кататься по городу в троллейбусе по крайней мере часов до трех. После этого стало совсем тоскливо. Было так глупо ехать в троллейбусе без Нинашева, изучать характер города, смотреть на людей и не говорить с ним обо всем этом.

«Здравствуй, Сергей. Здравствуй, мой хороший. Я так давно тебя не видела, так давно с тобой не говорила. Ты уж извини меня за сентиментальность. Просто ужасно холодно и плохо... В чем дело, Сергей? Что случилось? Неужели ты уйдешь? Понимаешь, в чем дело? Есть мир наших отношений — и есть мир, окружающий нас. В первом я дала свободу своим чувствам впервые в жизни. Это было так трудно. Я хотела тебя гладить по голове и не могла, потому что второй мир ходил неподалеку и предупреждал: «Осторожней! Если мир ваших отношений умрет, ты с этим нелепым глаженьем головы очутишься в моих руках, и тут уж я все сделаю, чтобы ты помучилась от стыда и уязвленного самолюбия». А мне так хотелось погладить тебя по голове, и поцеловать твою руку, и говорить эти идиотские слова — «мой милый», «мой хороший». Я решилась, потому что взяла пример со своей подруги Нади Черкасовой. Она всю жизнь так делала. Если хотелось сказать «я люблю», говорила «я люблю», если хотелось целовать — целовала. А у меня перед каждым проявлением чувства стояли преграды. И вот я их сломала. Вернее, они сами сломались. Если говорить честно, то мир, окружающий нас, часто на тебя замахивался. Он шептал: «Таня, а вон тот умнее, а тот добрее и благородней». Но я не давала ему распускаться. А ты, кажется, заодно с ним. Впустишь этот мир в мир наших отношений и не представляешь себе, что он там натворит: моя нежность станет глупостью, страдания — растоптанным самолюбием, наша любовь — связью... Ну ладно, хватит об этом. Я сегодня завтракала, и куски вставали у меня поперек горла оттого, что ни на минуту не выходила из головы девушка одна. Люда Зайцева. Она сидела в той же самой кухне, что и я. Ела за тем же самым столом с моей подругой Надей. И та самая Лидия Николаевна, которая мне предложила позавтракать не без приятности в улыбке, воровалась на кухню и закрывала: «Людочка пришла! Как всегда, покушать девочке захотелось! Что ж это за странности у твоей подружки, а, Наденька? Как Зайцева к нам приходит, так сразу вы садитесь за стол!» Я знаю, что ты сейчас скажешь. Ты пожмешь плечами и с вызовом скажешь: «Ну и что?» Да не заставляю я тебя давить из себя удивление и возмущение. Не удивляйся, если не удивляет. Просто у меня потребность рассказывать, рассказывать обо всем тебе. А в другой раз другая девочка — Нина Сарафанова — попросила у Нади кофточку поносить. Надя завернула ей, и только они вышли за дверь, как выскочила Лидия Николаевна и закричала: «Девочке носить нечего?! Девочка нищая?! Что ж ты мне, Наденька, сразу не сказала? Я бы уж этой девочке искала чего-нибудь из старья!..» Ну что ты скажешь про Лидию Николаевну? Вот теперь ты молчишь с самым загадочным взглядом. И можно подумать, что ты составил свое мнение про Лидию Николаевну. А, ты просто ждешь, когда выскажусь я, чтоб после твое мнение было обязательно вразрез с моим. Ну хорошо, я скажу первая. Бабка — дрянь. Но то, что свою работу знала и любила, уже неплохо. Этим мало кто может похвастаться. Так что, вполне вероятно, затраты окупятся. Ну давай твою руку. Мы пока еще в своем мире, и я могу поцеловать ее на прощанье. Сейчас вытряхнусь из троллейбуса, найду первый попавшийся кинотеатр с первым попавшимся кинофильмом. До свидания, Сергей Нинашев!»

Купив билет на «Незваного наследника», я сидела в фойе кинотеатра «Победа». В руках у меня были пирожки, которые я непринужденно пережевывала, разглядывая публику. Из кресла кинотеатра люди смотрелись такими же, что и из окна троллейбуса: никаких резких отклонений от неплохо одетого, неглупо взирающего на мир стандарта. Одиночество в незнакомом городе могло подарить мне непринужденность, с которой я жевала пирожки. Разглядываемая публика видела меня в первый и последний раз. Нужно было внушить себе это, и все.

Ничего хорошего я от фильма не ждала. И он мои предположения оправдал. Заставил юношу, шлявшегося без дела (в общем-то, он был хороший, просто не нашел себя), попасть на стройку, где прораба замучила текучесть кадров. С первых минут меня возмутило, что на стройке была куча красивых девушек в кокетливой спецодежде. Это было оскорблением для девушек, с которыми мне пришлось работать в августе на строительстве общежития. Рабочие кадры были на девяносто процентов из сельской местности. Полонка грузоподъемника и придирки бригадира превращали речь девушек, женщин в сплошную импровизацию из непотребных слов. Вряд ли красивый юноша с магнитофоном и гитарой рискнул бы появиться среди таких, в телогрейках, пятнистых от капель краски. Но среди красивых девушек от нечего делать почему бы и не появиться. И юноша веселит зал своими выходками, направленными на нарушение трудовой дисциплины. Заодно так, между прочим, он решает проблему текучести кадров, развернув самодеятельность. К удивленному прорабу поплывут люди с гармониями и другими музыкальными инструментами. Они горят желанием работать на стройке. Но прораб уже ничем не может их порадовать. Совсем недавно он выяснил, что этот бесшабашный, но, в общем-то, хороший юноша — его сын. И после этого он стал для прораба просто бесшабашным. Смотревший ранее на выходки сына вполне терпимо, он вlepляет сыну ремнем по атлетически сложенной спине. После этого юноша уходит якобы навсегда. Но его неудержимо тянет к стройке. Он возвращается. Радостными лицами и криками его бригады закончился фильм...

После «Незванного наследника» я сделала обход попадавшегося на пути магазина. Съела еще два пирожка и поехала на улицу Достоевского. Был всего один час, но я не смогла себе придумать ни одного развлечения.

Дорвавшись до блаженного тепла, Таня Елагина включила песню про птиц и закурила, усевшись с ногами в кресло.

— Ну как тебе наш город?

В комнату вошла Лидия Николаевна с «Беломором» в руке.

— Мне понравился, — ответила Таня. — Современный город. Чистый такой.. — И она нахмурила лоб, отыскивая другие достоинства.

Но Лидия Николаевна не стала ждать, задав Тане неожиданный вопрос:

— Ну-ка ответь мне. Какое впечатление на тебя произвел Василий? — Таня увидела ее внимательные ждущие глаза. Уверенность в том, что искренность обернется против нее, заставила Таню скромно пожать плечами. — Только честно!

Лидия Николаевна не отступала. Таня еще раз пожалала плечами.

— Что, интеллигентность не позволяет? — понимающе спросила Лидия Николаевна, совсем уничтожив возможность неискреннего отзыва. И Таня честно ответила:

— Впечатления не было. Пока.

— Правильно! — подтвердила Лидия Николаевна. — Чего-то в нем для Наденьки не хватает. Правильно ты, Танечка, заметила.

— Да... — вынуждена была сказать Таня под взглядом ее требующих глаз. — Чего-то не хватает. Надя как-то тоньше...

— А что ты, Танечка, хочешь? — перебила ее Лидия Николаевна. — Он мне и сам говорит: «Чего вы, бабулечка, от меня хотите? Я же деревенский». Парень ведь всю жизнь прожил в деревне. Вначале он был очень груб. И не замечал этого. Стучится в дверь — Наденька его спрашивает: «Кто там?» А он: «Открывай давай!» Я его потом в сторонку отозвала и говорю: «Васенька, да разве же так можно?» А он удивлен: «Что я такого сделал?» Чего же ты хочешь? Он же в деревне жил. Ему на все глаза открывать надо.

Таня слушала Лидию Николаевну, как всегда, внимательно, понимающе кивая.

— А уж любит он ее!.. До того любит, Танька! Он даже к вещам ее ревнует.

«А к подругам тем более. Так что чем скорее отсюда умотаешь, тем лучше», — сказала себе Татьяна.

— К подругам тоже. А подруги у Наденьки все такие сволочи. Она для них ничего не жалеет, чего им только не дарит, чего только не покупает. А из по-

друг хоть карамельки бы паршивой кто-нибудь принес. Ну слава богу! С приездом Васи они все меньше ходят.

Тане стало стыдно оттого, что она не привезла Наде даже паршивой карамельки. Потом она себя успокоила тем, что и Надя ей ничего не привозила. И в конце концов Таню взяло зло, что Лидия Николаевна взяла на себя право лезть в чужие отношения, где и без подарков было неплохо. И, в общем-то, пока ничего существенного по поводу претензий к Татьяне Елагиной лично сказано не было. Таня мрачно курила, ожидая, какой еще камень полетит в ее огород. Лидия Николаевна посмотрела на нее очень внимательно и, глубоко затянувшись, спросила:

— Слушай, Татьяна, у вас в семье есть кроме тебя дети?

— Есть, — ответила Таня, — младшая сестра.

— А ведь твою сестру гораздо больше любят, чем тебя? — Лидия Николаевна посмотрела еще внимательней и проникновенней.

Людям всегда приятно, когда про них что-то угадывают. И Таня удивленно протянула:

— Да...

— Эх, мать-то у тебя какая! — с болью в голосе сказала Лидия Николаевна. — Не обогрела тебя...

— Да... — протянула Таня во второй раз. И в этом повторном «да...» было уже больше благодарности, чем удивления.

— Жалко мне тебя, Танька! — Лидия Николаевна встала и прошлась по комнате. — Ох жалко! Погибнешь ты... Какая-то ты вся худая, истощенная... Вот курить начала. А человек тогда курит, когда у него на душе неспокойно... Жалко мне тебя, Танька. Жалко... Хорошая ты девчонка. Глаза у тебя такие.. Столько в них страдания. Нет, не то.

Лидия Николаевна стремительно вышла из комнаты и, вернувшись, с болью в голосе произнесла:

— Столько в них ищущего!

О! Таня не в состоянии была протянуть свое благодарное «да...». Она сдерживала слезы. Ни друзья из города А, ни Надежда, ни Сергей Нинашев не смогли сказать о ее глазах то, что она сама себе о них говорила.

— Кто же это тебя в клещи взял? — раздумывала Лидия Николаевна, взволнованно ходя взад-вперед по комнате. — Кто?!

Таня смотрела на нее с восхищением и уверенностью в том, что она сама ответит на этот вопрос. Глубоко затянувшись, Лидия Николаевна прекратила хождение по комнате и сказала без тени сомнения в голосе:

— Разлюбил!

Таня закрыла глаза в знак того, что все верно, и быстро прошла в комнату с цветами. Людям всегда приятна боль за их судьбу в чужом голосе. Таня Елагина плакала благодарными слезами. Она прощала Лидии Николаевне все камни в свой огород и многое другое, чего бы никогда не стоило прощать. Потому что установить с кем-нибудь контакт для Лидии Николаевны было все равно что раз плюнуть...

После того как раздался звонок, я услышала: «Ах, Васенька! Внучек мой любимый!» — и старательно вытерла слезы носовым платком.

— Ай-яй-яй-яй-яй! — приветствовал Лидию Николаевну Василий. — Ну это ж надо такое, а!

Я улыбнулась и подумала, что этот номер выходит у Васи бесподобно.

— Что с тобой? — спросила Надя, заходя в комнату. — Бабка душу изгадила?

— Ты что?! Мы с ней так здорово поговорили. Знаешь, сколько она правды сказала?

— Странно! Как это бабка может говорить правду? Мне кажется, она вся пропиталась ложью.

— Не знаю. Значит, не вся.

— Может быть. Танюш! Ты одевайся. Сегодня у всех черная суббота, и Людины родители во вторую смену. Сейчас пойдем к ней. Посидим. Там еще будут ее брат Сашка и Нинка. Я пока с бабушкой поговорю. Ты собирайся.

Через несколько минут я услышала хриплый голос Надежды, доносившийся из кухни:

— Где мясо?! Какое мясо?! На которое я тебе деньги давала! Чего врешь? Чего нету? Давай сюда десять рублей, а то я тебе в харю утюгом запущу! Где деньги? Пропила?! Снова пропила!

Я открыла дверь с целью прекратить ссору, не вставая ни на чью сторону. Но последовавшие слова Лидии Николаевны заставили меня отступить к подоконнику:

— Мясо покупать?! Мясо покупать, да?! Чтоб его Танька ела? Чтоб эта сволочь, Зайцева, приходила сюда и тоже ела?! А Ирочка, доченька моя любимая, за решеткой сухари глодала! Ты этого хочешь, да?!

— Молчи! — крикнула Надежда. — Молчи про маму! Из-за тебя она там сидит!

— Что?!! — оскорбленно произнесла Лидия Николаевна. — Я?! Я посадила Ирочку? Ведь это же ты! Ты ее, Надька, посадила!! Ты!!!! Мне следовало давать твои показания читать! Тебе алиментами нужно было без матери распоряжаться! Пьянствовать на эти деньги с Зайцевой. Подарки везти Таньке своей и с ней водку пить! — Тут Лидия Николаевна перешла на плаксивый голос: — Из-за тебя Ирочка за решеткой сидит... Доченька, моя единственная!

И под восклицания: «Какая мерзость! Какая пакость! Какая гадость!» — старуха удалилась в туалет.

Я стояла у подоконника и трясла головой, когда ко мне подошел Василий и сказал:

— Ты не слушай ее слов. — Он не обращал на меня ни малейшего внимания, а тут смотрел внимательным взглядом, и я увидела, что у него вовсе не пустые, а очень добрые глаза. — Это ж такая дурочка. Я раньше тоже слушал, что она говорит. Как ты. Я же вижу. А сейчас плюю. Дурака с ней валяю все время. Это ж такая дурочка! Ей ничего не стоит у незнакомого человека на улице денег попросить. Вот увидишь. Сейчас выйдет из туалета как ни в чем не бывало...

Когда мы стояли в коридоре и одевались, к нам подошла веселая Лидия Николаевна и ласково спросила:

— И куда ж вы идете? И куда ж вы Васеньку, внучка моего любимого, ведете?

— Ай-яй-яй-яй-яй! — закачал Василий головой, подмигивая. — Ну это ж надо такое, а!

Я понимающе подмигнула в ответ. То, что создавало видимость семейного юмора, для Василия было броней. Но чем оно было для Лидии Николаевны?

Об этом я и спросила Василия, когда мы вышли из дома. Его добрые глаза завоевали мое дружеское расположение. Хотелось с ним поговорить. Я подумала, что выбрать: задавать вопросы на тему его жизни или, заинтересовав собой, самой отвечать на его вопросы. Говорить на отвлеченные темы мы не могли хотя бы потому, что на его столе лежали книги, нагоняющие тоску одними только названиями. Он был мужем моей подруги, и я решила задавать вопросы, хотя, общаясь с мальчиками, я предпочитаю отвечать на их, заинтересовав собой.

— Слушай! С первого дня не могу понять, как бабка к тебе относится. Во всяком случае, она старается показать, что любит тебя. Но чувствуется, в голове у нее другое. От бабки всегда надо ждать удара. Правда, ты не знаешь, с какой стороны он будет. Но отчего-то всегда уверен, что будет.

— Я сам об этом думаю, — взволнованно сказал Василий. — Ничего не могу понять. Иногда терпение мое кончается. Все, думаю, уеду! А нельзя. — Василий кивнул на Надю.

Я задала второй вопрос, третий, и неразговорчивость исчезла. Я очень многое прощала ему из дальнейших ответов во имя тех добрых глаз. Но за время дороги до Людиного дома моего расположения к Василию сильно убавилось.

— Друзья? Нет. Здесь у меня друзей нет... Не знаю. Телевизор смотрю, с Надей разговариваем... Зачем Наде краситься? Я ее и такую люблю. Да ничего хорошего. Ну, черным обвести — ладно. А синим-то зачем? Попадет такая девушка под дождь — и... тьфу! Все течет. Вот после армии хотела меня маманя женить. Девку выбрала: все, что надо, по деревенским понятиям, — корова есть, девка сама в магазине работает... А мне все равно было. Посмотрел —

вроде симпатичная. Ну и загулял с ней. Пошли как-то раз на речку. И я решил побаловать — раз ее с головкой в реку! Смотрю — вылезает из-под воды не моя девушка. Страшная, аж жуть! После этого дня, как меня маманя ни ругала, как ни заставляла к ней ходить, ни разу не пошел...

Нас в семье семеро. Шесть мужиков и девка. Я третий. Два старших брата уже женаты. А маманя больно уж Надежду любит. Хоть ни разу еще ее не видела, но все равно любит. И то верно. Любить первых двух невесток не за что. Вот у старшего брата. До замужества жена была симпатичная. Хотя мордуля у нее и сейчас ничего... Но растолстела! Это ж такая бочка! Вот смотри. Мой брат получает сто семьдесят рублей. Сто десять отдает ей. Нормально ведь? А ей мало. И через это идут у них каждый день скандалы. А что моему брату?.. Он по девкам ходить начал. Или вот при мне был случай. Затеяла жена братнина ремонт делать. Брат ей помогал сколько мог. А ей мало! всю жизнь ей все мало. Взяла самолет игрушечный пластмассовый и по голове моего брата... Ну, после этого... Самолет-то сломался. После этого брат ее здорово прибил. До вечера стонала... Как нельзя? Она должна своего мужа слушаться. Да чего там не права! Что муж говорит, то и надо делать...

Мечта? Была вроде. Моряком я хотел стать. В училище речное поступил. А потом... Девчонка одна была... Да Надежда уж тебе, поди, рассказывала. Не дождалась она меня из армии. Посмотреть на нее захотелось, и все тут. Бросил училище и домой поехал... А потом я в другое училище поступил. Это уж там, где мы с Надей познакомились... Общежитие было плохое. В комнате по восемь человек жили. А в первом училище по двое. Ну я и бросил... А мечта была... Ну да, из-за общежития. По восемь человек в одной комнате! Куда ж такое годится!..

Прихожу домой. Пьяный. Никогда еще так не напивался. Брякнулся на кровать — и до сих пор не могу в толк взять, как я умудрился влезть в пододеяльник. Ведь хотел под одеяло. И вот барахтаюсь там, кричу. Маманя пришла. Вся изба собралась на меня посмотреть. А я уж на пол упал в этом пододеяльнике. Вся семья на ушах от хохота ходила...

Когда в армии служил, был с нами один еврей. Я ихнюю нацию до того ни разу не встречал. Один раз делать было нечего — я давай к нему приставать: «Ах ты сволочь, еврей! Когда в Израиль побежишь?» Зачем? Просто так. Делать было нечего. А он покраснел. Как на меня замахнется... Я его за уши взял, пинков надавал. Да просто так. Скучно было в армии. «Еще, — говорю, — замахивается! Еврей! Сам в Израиль собирается удрать»... Да ничего он мне плохого не сделал. Я же говорю, скучно было.

— Да... Надежда, никак не думала, что твой муж может быть таким жестоким по недомыслию, — сказала я.

На что Надя ответила, что Вася — это Вася и ничего тут не поделаешь.

— Люда мечтает с тобой познакомиться, Танюша, — сказала она, когда мы входили в темный подъезд Людиного дома. — Я тебе уже говорила. А ее брат Саша очень умный. Ты их всех очаруешь. Я уверена.

В ответ на ее слова я споткнулась (в подъезде было очень темно). Необходимость очаровывать Люду и ее брата вывела меня из состояния душевного равновесия.

Спасибо, Наденька. Спасибо большое! Оправдывай теперь ее восторженные слова обо мне, которые я и не просила говорить... Очаровывай теперь, как вы выражаетесь... Дверь открывает, по всей видимости, Люда... Нам, много друг о друге слышавшим, мечтающим друг с другом познакомиться, предстоит волнующая минута встречи... Что мы должны делать? Обняться? Пожать руки? Или просто поздороваться? Пока мы смотрим друг на друга. Но уже надо что-то делать... Люда неопределенно протягивает руки: не то для объятия, не то для пожатия. Я их пожму. Очень сердечно. И улыбнусь, значительно посмотрев в глаза... Мол, очень много о вас слышала хорошего... Глаза ничего. Застенчивые... И, спасибо этой Надьке, уже очарованные... Ага. Это Нина... Как хорошо пожимать руку, не заботясь о количестве тепла, вкладываемого в рукопожатие... Ого! А юноша ничего... Взгляд и в самом деле умный. Надя не ошиблась. Вот этого, пожалуй, стоит очаровывать из всей компании... И если б не Сережа... это было бы интересным мероприятием. Плечи красивые... Куда мне садиться? Ты смотри, какой у Саши взгляд заинтересованный... Что это там, на полке? «Государство и право». Все ясно. Юрфак... Зря

он короткие волосы носит... Да, Таня, у тебя он еще не спрашивал... Передо мной свой человек. Из стада заурядных интеллектуалов... Как мне понравился город?.. Я не в восторге, откровенно говоря. Все такое прямоугольное... Как патриота своего города, Саша, я тебя оскорбляю заслуженно. В моем городе прямоугольного хватает тоже. Где сейчас без него обходится? Но чтоб хотя бы через два квартала взгляд не порадовала церковь или еще что-нибудь в этом духе... О боже мой. Две «Экстры». Народ рехнулся. На пять-то человек! Где я учусь? В данное время я нигде не учусь. И не работаю тоже. Я прожигаю жизнь.. Сама знаю, что нехорошо. Я не буду спрашивать, где учишься ты. Потому что я знаю об этом с той самой минуты, как зашла в эту комнату... Точно. «Государство и право» тебя выдало. Вот уже второй день Тане Елагиной приходилось пить ненавистную ей «Экстру»... О чем бы таком поговорить? Перешвыряем пластиночки... С анекдотами? Не пойдет. Для Саши дешево. Про «Мастера и Маргариту»? Не пойдет. Книгу достать трудно. Вряд ли читали... «Романс о влюбленных»! Это всем интересно, и я это не раз с успехом проигрывала. Товарищи! Прошу внимания! Сейчас вы все в порядке очереди высказаете свое мнение о художественном фильме «Романс о влюбленных». Мне это очень важно. Я коллекционирую отзывы. Давай, Василий, начнем с тебя. Не смотрел. Люда!.. Ничего. Ничего — это пустое место. Первая девушка, нашедшая середину между «очень понравилось» и «не понравилось». Нина!.. Ерунда. Как резко. Но в отличие от Люды честно. Надя!.. Не понравилось. И наконец Саша... Очень понравился. Другого ответа я от вас не ждала. Этот юноша говорит мои мысли. К фильму нужен особый настрой. Люди приходят посмотреть правдивую историю жизни человеческой и с этими же мерками лезут к «Романсу»... Предлагаю выпить за «Романс»!.. Вот все осуждают Таню за то, что она быстро забыла Сергея. Только и привык наш зритель рассуждать по окончанию просмотра: кто хороший, а кто плохой, кто понравился, а кто нет. Некоторые энтузиасты даже берутся подсчитывать, сколько месяцев Сергей считался погибшим, чтоб доказать легкомысленность Тани.

Этого я не знала. Так вот зачем в кадр включаются осветительные приборы и съемочная группа. Нам тычут в нос условностью происходящего... Саша! А ты не понял сцену смерти? Как она тебе? Очень понравилась. А ты понял, что ее не было? Да не было. Сергей все это представил, сидя перед бутылкой кефира. Это уж условность в условности. Спасибо тебе, теперь понятно, для чего там осветительные приборы на каждом шагу... Саша, ты сейчас так пропел: «Но кровь течет, за что меня? Что я не сделал?»... Как будто испытал подобную смерть... Ладно. Не будем лезть в душу... Я доскажу свою мысль про зрителя, который только и может рассуждать, кто хороший, а кто плохой. А вот понять новизну и своеобразие изобразительных средств, выигрышность их для данной темы — это ему недоступно... Таня Елагина, вы, кажется, того... Перегнули. За столом, кроме Саши, другие люди. А он тоже хорош. Смысловая нагрузка, которую несет разделение кадров на цветные и черно-белые...

Не могу я больше пить, честное слово. Я лучше покурю. Здесь можно?.. А я не ожидала, что Надина Люда курит. Хотя все сейчас курят. Кроме Нади, когда рядом Василий... Да поняла я эту смысловую нагрузку! Очень поняла. Когда после цветных кадров появилась черно-белая жующая морда Сергея, я чуть не закричала от восторга... Может быть, Саша. Может быть, я и испытала что-то подобное. Не будем лезть в душу... Надя с Ниной куда-то отправляются. В маленькую комнату... Так я и поверила, что спать Наде захотелось после трех рюмок. Она курить захотела... Ну наконец-то и Вася подал голос: «Курила Надя когда-нибудь или нет? Ай-яй-яй-яй-яй! Вдруг я по нечаянности пепельницу облизал?» Люда, держись! Не выдавай подругу... А зачем меня Саша зовет в маленькую комнату? Там темно... Нехорошо в дружеский по характеру вечер создавать интимную обстановку... Черт возьми! Таню Елагину уже плохо держали ее длинные тощие ноги. Точно! Саша тушит свет и зажигает свечу... Во всяком случае, Люде будет легче защищать подругу. Девочка застенчивая. Еще покраснеет... Таня Елагина прошла за чуваком в темную комнату неровным шагом... Ты смотри! Закрылись на диване одеялом и думают, что ничего не видно. Надежда курит! Точно. Каналья... Саша все еще сомневается в том, что сцена смерти героя придумана Сергеем. Мне это уже надоело. Ага. И зажигает настольную лампу... Тане Елагиной, ожидающей гнусных происков мужской сущности, стало жалко, что их не состоялось. Так как

в жизни Тани был Сергей Нинашев, то оставалось жалеть о том, что имелась возможность сойти за недоступную девочку дешевой ценой, и этого не состоялось. Но если б Сергея Нинашева не было... Кто знает — может, жалко было бы по другой причине. Человек, даже хороший!.. это такая ерунда!.. Да придумана эта сцена Сергеем. Вот смотри — едет он в электричке. Окраина Москвы... Вдруг тут и Альбатрос, и Таня прибегают, и Трубач... Ты только в мыслях можешь столкнуть всех, кого тебе надо, нос к носу. Чего ты меня сюда позвал?.. Писать адрес?! А зачем?.. Нет, я не подумала, что ты в меня влюбился. Я еще не успела... Чего-чего, а это ты успела. Ну и чувак!.. Мне тоже было очень приятно с вами поговорить. Будем обмениваться впечатлениями по поводу просмотренных фильмов. Мы так хорошо заполнили друг другу пробелы в «Романсе»... Сейчас я приду. Только воды холодной попью... Че это такое!.. Точно... Обнаглели. Даже слышно... Таня Елагина стояла в дверях и смотрела, как муж ее подруги целуется с подругой ее подруги... Саш, где этот листок, куда надо писать адрес?.. Раздумала я пить холодную воду — на меня только что ведро холодной воды выплеснули. Даже больше... Прекрасно. Надежда встает. Сейчас вещи встанут на свои места... Уф! Слава богу! «Вася, проводи Нину...» Или не заметила, или эти подонки прекратили... А что Нину провожать? Она, оказывается, в этом же подъезде живет, на втором этаже. Сама дойдет... Люда! Давай выпьем со мной... Эх! Сейчас бы тостик ей предложить! Типа «за дружбу и за честность в дружбе». Чтob у этой застенчивой девочки мороз по коже! Ладно, жалко. Вид у нее растерянный какой-то... Пьем, Люда, за то, что ты не предала Надежду и не сказала, что она курит! Боже мой, Люда побледнела. Тайный смысл в первой части тоста вышел произвольным... Я пойду в подъезд проветриться. Голова трещит ужасно! Якобы! А на самом деле вдребезги пьяная Таня Елагина шла к дверям пятой квартиры... Черт! Темно, как в танке!.. Она хотела посмотреть, как муж ее подруги провожает подругу ее подруги... Таня зажгла сигарету и затянулась. Тут она заметила, что ход собитый теоретически заставляет ее мрачно затягиваться, а ежели честно и откровенно, то все происшедшее заслуживает здорового смеха. А вообще-то чертовски пьяна эта Таня Елагина!.. А вот и он! — муж ее подруги... Темным силуэтом... Снощается у стены с подругой ее подруги... Они тоже чертовски пьяны! Наверх, Таня Елагина!.. Все пьяны, и это может оправдать что угодно... Таня продвигалась на пятый этаж от перил к стене. Она вообще-то могла бы прямолинейно. Но ей хотелось от перил к стене! Она изволила дурачиться... Итак! Перед входом в квартиру примите, девушка, подобающий вид. Ходите по прямой, улыбайтесь приятно, пепел на ковры не роняйте!.. На Надьку смотреть не хочется. Всю жизнь! Всю жизнь около нее всякая ерунда разводится!.. Че это Саша сел слишком рядом? Может, нечаянно?.. Ну конечно. Кто это делает нечаянно... Сейчас изъясим желание идти домой... Вот и Васенька пришел! Скотина несчастная!.. Ничего не поделаешь — льется... Да. Мне только этого не хватало. Чтob Люда пришла ко мне в понедельник. Да как я ей буду в глаза смотреть! Таня! Улыбку на рожу! — девушка потратит на вас свой отгул. До свидания, Саша. До свидания, Люда! Очень приятно было познакомиться. Чрез-вы-чайно! Оч-чень!

Холодный воздух улицы быстро освежил голову. Василий шел в недовольном расположении духа. Надежда молчала, прижавшись ко мне. Я завела с ней маловажный разговор о шмотках. Всю дорогу до дома Вася молчал. Он думал о том, что раз Надеждины подруги проститутки, то и сама она не лучше. Самобичеванием он не занимался. Это я гарантирую.

— Ты курила?! Курила, дрянь! — услышала я за дверь возмущенный голос Василия. — Признавайся! Я видел!

Потом в его голосе появилась неподдельная горечь:

— Какая ты была раньше! Когда мы с тобой познакомились. Ты даже целоваться не умела. Я мамане говорил: «Это ж мраморная девчонка! Она жизни не видала». А ты!

В ответ на его претензии Надя виновато молчала. Я услышала глухой звук затрещины и, зло пожав плечами, пошла в свою комнату. Больше всего я была зла на Надежду.

«Ну что вы, Сергей Нинашев, скажете на все это? Нет, ничего не говорите. Мне тоже соблазнительно посмотреть на все происшедшее ироничными,

ничего не берушими всерьез глазами... Черт возьми! Гениальная мысль! Я всегда тебе говорила, что все уходит корнями в материальную основу. В данный момент меня интересуют человеческие чувства. А конкретней — ирония. Что, вот просто так взяло это чувство и стало самым привлекательным в глазах современников? Ироничных людей уважают. Ироничными людьми восхищаются. И вообще с ними отчего-то хорошо. Серьезный подход к вещам чуть ли не глупость и инфантильность. Все дело в том, что двадцатый век, стремительный и быстро меняющийся, истощает запасы адаптационной энергии человека. И он спасается тем, что берет на вооружение иронию. Раньше было не то. Она была какая-то действенная. А сейчас — пассивное зубоскальство. Это про вас, Сергей Нинашев! И ревность тоже — прямое проникновение собственничества в человеческие отношения. Идиотское чувство! Свершилась Октябрьская революция, собственность перестала быть святыней. Но ревность процветает!.. Как бы хотелось быть ироничной! Как легко! И все обсмеять. Но я буду выше иронии. Я возьму все сегодняшнее идиотство и пойму его. Я сделаю так, чтоб оно не повторилось. Слышишь?!.. А сейчас спать...»

«Солнце... Где я?... Ах да, в городе В... Сергей... Сережа! На этом белом свете есть Сережа Нинашев... Неужели будет когда-нибудь так, что я проснусь и начну думать про что-нибудь другое? И день не будет начинаться со слов: «На этом белом свете есть Сережа Нинашев»... Ха! А может, и такой день будет, когда я его вообще не вспомню. Это просто смешно... Отчего так хорошо?... А один раз я проснулась первая, а он еще спал. И его профиль на белой подушке рисовался как картина... Волосы так красиво рассыпались. Я его толкнула чуть-чуть и в ухо прошептала: «Вставай». А он, не открывая глаз, припечатал мою голову к подушке. Я его поцеловала и предупредила, что сейчас скину одеяло и пускай он мерзнет, если хочет. Утро было такое холодное, после дождя. И как я отдала его спине влажному воздуху, так сразу содрогнулась от холода в надетой шерстяной кофте. «Нет, — покачала я головой. — Жалко». А он снова взял меня за шею и положил рядом с собой... Отчего так хорошо? Вчера... Что было вчера? Всякая ерунда. И все равно хорошо. Причина в биологических ритмах. Просто в организме наступил самый благоприятный период жизнедеятельности. И мне никакая гадость настроения не испортит... Почему гадость? Как это можно унижить человека словом «гадость»? Он ведь не виноват, бедный, что на него инстинкты навесили. Он что, просил?... Все бы было в порядке, если б не Надежда. Если ее откинуть в сторону, то к Люде у меня никаких претензий. Выпила. Чувак рядом сел. Свет погасили. Я ее очень понимаю... И в то же время — «Люда! Я не мыслю без нее жизни, я люблю ее больше себя! Могу пожертвовать всем ради нее». Вот рядом с этими самыми Надиными словами Люда самая обыкновенная сволочь! И никакая она не сволочь: смотрела на меня совсем не бабским оценивающим взглядом, а доброжелательно... Вася? Его я тем более понимаю. Все мужчины так устроены. Их в этом отношении простить легче, чем женщин. Выпил. Сел рядом с чувихой. Свет погасили. И вот тут снова появляется Надя — «Я так хочу, чтобы этот человек был счастлив. Я для него все. Теряя меня, он теряет весь мир. Больше всего на свете он любит правду, а потом меня». Ежели Надежду отбросить, то перед нами самый обыкновенный чувак. Немного отставший от жизни, но с типичным подходом к вещам. Уважает девочку за чистоту. С Нади требует ого-го сколько, а ему черт-те что вытворять можно. Значит, все дело в Наде. Зачем она связалась с этими людьми? И в первую очередь с Василием. Ведь он же тупой! Если назвать вещи своими именами... И на этот вопрос я отвечу. Ей всегда надо кого-то любить, обогревать, заботиться. А вялый Василий подходит для этого наилучшим образом... Вывод — все в порядке. Ничего не произошло. Но Надежде я все же расскажу. Спасала ее один раз святым умалчиваньем...»

Завтрак был таким же хорошим, как и пробуждение. Лидия Николаевна, накладывая Васе лучшие куски, называла его любимым внучком. А он кричал свое неизменное «ай-яй-яй-яй-яй! ну это ж надо такое, а!». В конце завтрака Надя попросила Лидию Николаевну не чавкать у нее под ухом.

— Купи мне новую челюсть. За пятьдесят рублей, — засмеялась Лидия Николаевна. — Вот тогда не буду.

— Давайте я на своем станке выточу, — предложил Василий. — Какую вам надо челюсть?

Услышав это, Надя схватилась за живот, перегнулась и долго смеялась в таком положении, пока не смогла выговорить:

— Он тебе выточит! Клыки...

Я представила, как маленький подбородок Лидии Николаевны оттянет стальная челюсть, а поверх губ-полосок хищно заблестят два клыка, и сделала то же самое, что и Надежда: схватилась за живот и перегнулась.

Я поглядывала на скучающее лицо Василия, когда мы с Надей одевались и уходили покупать мне билет. Она упрашивала остаться еще, но в среду я должна была приступить к работе, куда меня устроили. Бодрым голосом я посоветовала Васе завести друзей или чем-нибудь увлечься. На предложение коллекционировать марки Василий ответил бесцветной улыбкой. Как всегда, не обошлось без того, чтобы не влезла Лидия Николаевна:

— Скучно будет Васеньке! Взяли бы его с собой... Ух ты! Как Надька на меня свои глазщи вытаращила! Идите, идите... Вертите хвостами. А Васенька пускай скучает.

Захлопнув дверь, Надя выругалась. Я сама вворачивала при случае крепкое слово, но в Надежде не могла к этому привыкнуть и поэтому укоризненно ее толкнула.

— Не ругайся. И приготовь себя к серьезному разговору.

— Я готова.

— Один раз летом я решила пощадить твою нежную душу. Вышло из этого что-нибудь хорошее? Нет, не вышло. Теперь я не повторю своей ошибки. К тому же ты очень огрубела.

— Я уже знаю, о чем твой серьезный разговор. Можешь не щадить мою нежную душу. Я все видела, — сказала Надя убийственно спокойным голосом. — Я себе внушила, что ничего не было. Понимаешь? Ничего. И к тому же Люда я могу все что угодно простить.

— Понятно. Значит, если б на ее месте была шлюха какая-нибудь с улицы, ты бы ей никогда в жизни этого не простила?

— Нет. Не в этом дело. Просто я знаю, что Люда меня любит, и мне от нее больше ничего не надо...

— Ясно. А как же Вася? Думаешь, я ходила проветриваться в подъезд? Нет. Меня понесло к пятой квартире.

— Да, я заметила, что он слишком уж долго ее провожал. А Нинка уже не девочка, я знаю. У нее был парень один, друг детства...

— Ты только пойми меня правильно. Вовсе я не ставлю своей задачей кого-то осудить и отнять твою незаслуженную любовь. Я просто волнуюсь за тебя и удивляюсь, как предвидела все случившееся вчера. Помнишь, я тебе в августе давала советы?

— Танюша, извини, не помню. Ты же знаешь, какая у меня дырявая память.

— Я тебя извиняю. Я так привыкла к тому, что ты внимательно и с удовольствием выслушиваешь все, что я тебе скажу, с тем, чтоб через минуту забыть. А я, между прочим, кое-что от тебя беру. В моих отношениях с Сережей пятьдесят процентов тебя. А в августе я тебе сказала: «Наденька! Если Василий будет тебе изменять, отнесись к этому спокойно. Мужчины так устроены». Измена почему-то считается отрицательным поступком. А нужно искать в реально существующем положительное. Меня тоже не устраивает такой порядок вещей. Но так природа завинтила, что мужчина изменяет. Значит, измена — это неплохо. Не будем говорить «хорошо». Всегда цепляйся за реальность. Ты чего улыбаешься?

— А ты не предвидела в августе, что я сама изменю Васе. Не пугайся, пожалуйста. Не до конца. Но тогда я больше изменила Васе, чем он мне вчера, хотя и не было всего такого...

— Нет, этого я не предвидела. Этого я просто не могла ожидать. Но теперь, когда я познакомилась с Василием, несколько не удивляет, что ты могла ему изменить.

— Он был летчик с вертолета.

Надя Черкасова была в своем амплуа: самые романтические фигуры и волнующие моменты она лепила неуклюжими словами.

— Да, Танюша. Язык у меня не развит. Ты ведь знаешь.

— Ладно-ладно.

— Мы пошли в кафе справлять Людин день рождения. Мы были там первый раз в жизни. Танцевали, курили, разговаривали. Как только я села за столик и немножко огляделась, мне сразу бросился в глаза он.

— Летчик с вертолета!

— Ему было лет тридцать. Он, в свою очередь, взглянул на меня. Надо сказать, я была очаровательна. Гладко зачесанные волосы с выпущенными прядями, яркие губы. Длинная юбка и черная гладкая кофта. Я вся такая черная с огромными черными глазами, похожая на кого угодно, но только не на саму себя.

— Оказывается, ты можешь называть себя очаровательной! Раньше ты говорила — идиотская морда, нелепая рожа... Нет, ничего. Именно сейчас ты к себе объективна.

— Я ни о чем не думала. И, честное слово, ничего не хотела. Когда заиграла музыка, ноги сами собой понесли меня к этому человеку. «Почему так скованно?» — спросил он, держа меня за талию. «Отчего такая злая?» — был его следующий вопрос. А мне было все равно, и я молчала. Как он выглядел? Крепкий, сильный, с серыми серьезными глазами, точеным носом и крепко сжатыми губами. От него так и веяло... благородством, мужеством... и силой. Я курила. Бог мой! Сколько я курила! Сигарету за сигаретой. А он смотрел на меня, и в его глазах нарастала безотчетная симпатия ко мне. «Ты цыганка?» — спросил он во второй танец. Я покачала головой... Танюша, нам налево. Он был такой хороший. Не приставал со всякими дурацкими вопросами: зачем много куришь да зачем пьешь? А надо заметить, что под конец я сделалась изрядно пьяна. Он мне подал пальто, и мы вышли. Сели около подъезда. Он мне рассказал, что здесь в командировке, а сам с Севера. У нас они застряли, потому что их вертолет чуть не грохнулся и его чинили. Правую руку Виталий изрядно зашиб и извинялся...

— Надь, ты извини, что я перебью. А когда он тебе все это рассказывал, у тебя не было чувства, что ты знаешь его всю жизнь?

— Да! Было. Именно это я и чувствовала...

— Он извинялся...

— Он извинялся за то, что не может обнять меня по-человечески, потому что болит рука. Мы поцеловались. Хотя я и была пьяна в доску, но почувствовала искренность, которую сохранил человек в двадцать шесть лет. Но он выглядел старше. А потом было самое интересное...

— Надь! Ты не можешь смеяться потише? На нас все смотрят

- А потом меня три раза выхлестало.

— Ну вот, чего ж интересного. Все испортила. Летчик, от которого веяло благородством, девушка в черном с цыганскими глазами. . и три раза выхлестало.

— Может, это и некрасиво, но выхлестало меня бесподобно. А Виталий возился со мной как с ребенком и говорил: «Дурочка, зачем надо было столько пить?» Потом мы сели в такси, и он отвез меня домой. Сказал свой адрес в аэропорту и уехал. Я доползла до пятого этажа и впервые в жизни обрадовалась, что бабка пьяная и не в состоянии заметить, что я тоже пьяная.

— Вот это агентство?

— Может, ты все-таки возьмешь на среду утром?

— Нет, Надя, не стоит... Один, пожалуйста, до А. Вот мой студенческий... Спасибо. Слушай, Надя, давай не пойдем домой. Так не хочется сидеть в четырех стенах. Найдем какой-нибудь сквер...

— Давай. Только сначала зайдём в магазин и купим Васе пива. А то он обидится... Конечно же, я к нему поехала. Чтоб хотя бы извиниться за вчерашнее. Нашла его комнату, и он несколько не удивился моему приходу. Своему другу коротко сказал: «Это моя невеста»... Сколько будем брать?

— Бери три. И еще я тебе советую взять ши в банке. Ты не представляешь себе, какие они вкусные. Там даже мясо есть.

— Подержи, пожалуйста, сумку. А может, Васе еще папирос купить, или не надо?

— Не надо. Курить много вредно.

— А потом мы пошли в ресторан. Сидели вдвоем в укромном уголке и пили водку.

— И даже здесь без водки не обошлось. Без нее не обходилось ни одно мероприятие во второй половине двадцатого века.

— Да. Мы пили водку, и он без конца говорил: «Наденька! И почему ты такая хорошая?» Он мне рассказал, что был женат. Но как только его жена узнала, что он сломал позвоночник и протянет еще лет десять, сразу ушла. Знаешь, Танюша, он это так говорил! Совсем без злобы и горечи. Потому что был сильный и сам в себя верил. Он сказал: «К черту этих врачей — жить надо!»

— Давай сядем на эту лавочку? Курить будешь?

— Буду, конечно. Потом я Виталию сообщила, что собираюсь замуж. А он сказал: «В твои-то годы...» И с такой нежностью, что мне стало не по себе. Я была ошарашена. Неужели есть на свете такие люди? Его улыбка, добрые глаза (я как сейчас помню) казались мне вечно знакомыми. Мы сидели, склонив друг к другу головы, и он тихо произнес: «Наденька! Может, не надо замуж, а?» Под конец я снова напилась. Мы сели в такси, и он высадил меня, ничего не успев сказать. Через день я к нему пришла. Дверь была закрыта. Узнала, что вертолет починили и все улетели. Плакала, как дите...

— Слушай, Надя! Ведь ты же не любишь Васю. Я ума не приложу: за что его можно любить?

— Что ты, Танюша! Я его люблю. Сейчас я его точно люблю. Так хочется отдать ему всю себя. Всю до конца! И невозможно. Не знаю, конечно, что будет дальше.

— Что будет дальше? Об этом сказал летчик с вертолета. Васю ты любишь и знаешь, что он не заслуживает этого. Но любить можно двадцать раз в жизни. А тот единственный и неповторимый, созданный специально для тебя, встречается только один раз в жизни. По всем приметам — ты его прозвала. А признаки одни и те же для всех — улыбка, глаза... все вечно знакомое.

— Только Васю я ни за что не брошу. Для него это будет конец. Пострадаю, помучаюсь...

— Ну и глупо. Во всяком случае, я тебе завидую. Этот единственный и неповторимый у тебя впереди. Ты еще можешь жить с надеждой на встречу с ним. А для меня таким человеком был Сережа Нинашев. Тот, с которым хорошо-хорошо, которому все можно сказать. И теперь, когда Сережа меня разлюбил, Тане Елагиной нечего ждать от этой жизни. Понимаешь?

— Не понимаю. Как это разлюбил?! Я не торопилась тебя о нем расспрашивать, зная, что ты начнешь сама, потому что была уверена, что у вас-то с Сергеем все в порядке. Это мы с Васей два идиота. А ваши отношения были для меня тончайшим изучением нравов, характеров, взглядов. Да и как тебя можно разлюбить?

— Очень просто. Я замерзла.

— Тогда вставай, и пошли.

— Я не видела его уже двадцать восемь дней. Двадцать восемь! Когда-то встречи бывали каждый день. Мы целовались в последний раз, и я не почувствовала в нем, как ты выражаешься, неподдельной искренности. Приоткрыла глаза. Он целовал меня, а глаза его были далеко-далеко... И тогда я спросила: «Где твои глаза?»

— И что он ответил?

— Ничего. А еще мы пошли в кино. Всегда, когда в зале гас свет, наши руки были вместе. Глаза смотрели на экран, головы переваривали события фильма, а руки жили сами по себе и говорили на своем непереводаемом языке. Так вот, в тот последний раз, когда мы с ним забрели в кино, он забыл взять мою руку. Все полтора часа я смотрела не на экран, а на его руку, которая не шевельнулась.

— Знаешь, Танюша! Ты вроде ничего существенного не сказала, а мне тоже стало не по себе. Что-то с ним не то.

— Что-то не то... Все то. Называется словом «разлюбил». Я за эти дни без него много передумала. Так много, но, к сожалению, поздно поняла. Я сама во всем виновата. Знаешь, оказывается, в чем дело? У мужчин и женщин любовь очень даже разная. У женщин это любовь-привязанность, любовь-понимание, любовь-самоотдача... Которую не надо доводить до предельной точки.

Предельная точка — это всегда страшно... А у мужчины это любовь-атака! Я все стараюсь убедить себя в том, что это хорошо, раз так обстоит. Но если честно, то на нервы действует ужасно. Потому что вся хитрость заключается в том, чтоб затруднять окончательную победу. Тогда мужская любовь будет очень долго длиться. Я его как мужчину не уважала. Мне самое главное было дорваться до полноты своей любви. А знаешь, какая у меня любовь?.. Любовь — переделать. Не для своего удобства. Я хочу, чтобы он научился любить людей. Это очень трудно по двум причинам: первая в несовершенстве людей, а вторая в его требовательности.

— Мне бы так хотелось вас послушать. Вас, наверное, очень интересно слушать? Когда вы говорите и ты отдаешь ему самые дорогие мысли.

— Очень. И не только послушать, но и посмотреть тоже. Как я выхожу из себя, пинаю консервные банки, а он спокоен и по-прежнему убежден в своем.

— А если б ты узнала про атаку раньше?

— Все было бы по-старому. Я всегда знала, что это в моей жизни произойдет до свадьбы. А то выходит что-то наподобие сделки: я тебе чистоту и нетронутость, а ты за это на мне должен жениться. Какая, к черту, чистота! Один расчет и эгоизм. Еще осторожность... Ой! Я ведь совсем не уважала его как мужчину. Страховку я оформляла на нашу будущую жизнь. Сейчас, думаю, все в порядке. Я прихожу модная, девушка французского типа. Но ведь когда-то меня ждет домашний халат и совместная жизнь с общим санузелом... Я его заранее к этому готовила. Вечно рассказывала, где упала и при каких обстоятельствах. Как ко мне пришла соседка ругаться, и сколько я из кожи ни лезла, все равно она меня победила в споре. А сам он нет. Себя он преподносил красиво.

— Давай покурим в этом подъезде.

— Давай... У меня сомнений не было в том, что мы будем вместе. Нам было так хорошо вдвоем. Не с первых минут знакомства, конечно. Я же тебе рассказывала, что когда мы встретились на дне рождения у одного юноши, Сергей вывел меня из себя. Сам молчит и только каждый душевный порыв присутствующих прищмыкивает... А когда он пошел меня провожать, сразу стало хорошо. Еще ни с кем так не было. Я так испугалась этого. Представляешь картину? Темная комната, музыка, лохматый юноша с девушкой на разных концах кровати. И девушка совсем не давит на мозги лозунг «надо чуваку нравиться». В августе он меня поцеловал. Я тогда сказала: «Сергей, мне с тобой так хорошо! А когда хорошо, только и ждешь того, что оно кончится. А кончится обязательно — сами испортим. Давай поэтому не будем больше встречаться. Чтоб всю жизнь друг друга со светлой улыбкой вспоминать». Он так закричал: «Что я без тебя буду делать?!» После этих слов я его полюбила. И как раз приехала ты.

— Да. К тебе, я помню, прибежала Инга и сообщила, что видела Сергея в доску пьяного на улице.

— Как проводила тебя, сразу пошла к Сергею. В тот же день все и получилось само собой как-то... Можно тебя попросить?

— Конечно, Танюша.

— Спи сегодня со мной, ладно? Одной ужасно плохо. Я всю первую ночь проревела.

— Правда? Чего ж ты сразу не сказала. Я была уверена, что все хорошо.

— Ну вот мы и дома...

В коридоре нас встретил мрачный Василий, и лицо его не стало радостней оттого, что мы купили ему три бутылки пива, которые Надежда вместе со щами понесла на кухню.

— Танька! — шепотом сказала Лидия Николаевна. — Ваське рубля не хватает.

— Прекратите! — подал голос Василий.

А Таня Елагина полным достоинства голосом сообщила Лидии Николаевне, что все деньги отдала Надежде. На что Лидия Николаевна понимающе погрозила пальцем. Возмещая потери своего достоинства, которые неизбежно повлекли поиски контакта, Таня сделала лицо порядочного человека и сказала, что никогда не врет.

— А мы с Васенькой выпьем! — произнесла Лидия Николаевна довольно громко. — Надька с Танькой гуляют, а мы выпьем. Тебе, Васенька, на «Экстрю» не хватит. Ты уж красного бери.

После того как Василий мрачно сказал, что возьмет еще денег, Лидия Николаевна перешла на доброжелательный шепот

— Ладно-ладно, я Наденьке ничего не скажу.

— Прекратите! — громко оборвал ее Василий. — Эй, Надежда! Я хочу выпить и беру деньги.

— Хорошо, — ответила Надя из кухни.

Я прошла к ней и начала варить щи из банки.

— Как же она все-таки к нему относится? — рассуждала я вслух. — То, что любит она его, это бред. То, что делает из него союзника, это ясно как день. Но зачем? В борьбе против кого? Уж не против ли своей внучки? Ведь это же нелепость!

— Знаешь, Танюша, на этот вопрос очень хорошо ответила моя мама. Она Васе из тюрьмы прислала письмо. Я тебе дам его почитать, после того как покушаем.

— Да! Я должна вручить тебе свои деньги. Зачем? Ничего не поделаешь. Только что я сообщила твоей бабке, что отдала свои деньги тебе, и еще я сказала, что никогда не вру. Так что бери. Да у меня три рубля всего... Суп уже готов. Он быстро варится. Слушай, а где мясо? Ты ведь видела мясо, когда я содержимое банки вытряхивала?

— Видела.

— Странно. Куда оно делось? Придется обойтись без мяса. Лидия Николаевна, не желаете ли откушать с нами?

Она появилась с «Беломором» в руке и, поставив ноги иксом, поинтересовалась, чем ее будут угощать.

— Шами из банки, — ответила Надежда. — Говорят, очень вкусно.

Но Лидия Николаевна пришла к другому мнению. Хлебнув из тарелки, она признательно сказала, толкнув меня локтем:

— Вот, Танька, гадость это. Дрянь! А все-таки горячее блюдо. Желудку полезно.

— Не Танька, а Танечка, — поправила ее Надя. — А мне нравится. Всегда буду эти щи покупать.

— Васенька к этой гадости не притронется, — возразила Лидия Николаевна. — Ему нравится, как я готовлю. Что б вы без меня здесь делали? Ума не приложу.

— Да обошлись бы как-нибудь, — сказала Надежда голосом, который становился хриплым и грубым всякий раз, когда она разговаривала с бабкой.

Когда пришел Василий с водкой, она попросила у него прощения, сама не зная за что. Своим молчанием он ее за что-то не простил, и Надя, расстроенная, достала мамино письмо из пианино, где хранились все ее письма.

— Ты видела когда-нибудь такой почерк? Это же чудо! Уже по почерку можно сказать о том, что за человек моя мама.

— В самом деле красивый почерк. Женственный какой-то.

— Васе сейчас плохо. Я знаю.

— Ай-яй-яй-яй-яй! — донеслось из кухни. — Ну это ж надо такое, а!

— Я пойду мыться.

— Иди. А я буду читать.

«Здравствуй, дорогой мой Васенька! Дружочек мой, вот ведь все как получилось. Мне бы нужно говорить с тобой в домашней обстановке, глядя в твои глаза. Но все сложилось иначе. Я разговариваю с тобой на бумаге. И это наш первый с тобой нелегкий разговор. Милый мой Васенька! Видел бы ты сейчас мою голову. Она вся седая. Жизнь так сложна, мой дружочек, что нельзя в ней рубить сплеча. Ты не обижаешься на мой намек? Когда ты в первый раз приехал к нам в июле, все вышло ужасно нехорошо. Я не успела тебя разглядеть как следует, не то что поговорить. Потому что ты в самом начале ссоры убежал из дома. Ты бросил Наденьку, которая, ты знаешь, любит тебя. Ты должен был в первую очередь подумать о ней. Что она должна пережить, не увидев тебя в квартире. Ведь Наденька могла подумать, что ты, не выдержав домашней атмосферы, бросил все и... ее тоже. Но для тебя в тот день была важнее всего твоя собственная обида. Ты не обижаешься на меня, дорогой мой Васенька? Ведь теперь мы с тобой не чужие. Теперь я твоя мама, доверившая тебе самое дорогое, что есть в моей жизни, — свою дочь Надежду. Все удивлялись нашим отношениям. Еще пятилетним ребенком Наденька была

для меня не просто дочерью, но и подругой. Повзрослев, она ответила мне тем же: во всем была со мной откровенна и все мне рассказывала, зная, что я пойму ее, и если не сразу, то постараюсь и все же пойму.

Я горжусь Наденькой. Лучшей дочери я и не могла воспитать. Ты не знаешь, Васенька, каким сокровищем обладаешь. Наденька — самое доброе создание на этой земле, и сущность ее в том, чтобы любить. Она у меня гордая, чистая. Да ты и сам знаешь, Васенька. Поэтому береги ее. Слышишь? И в первую очередь от Лидии Николаевны. Наденька написала мне, что ты не одобряешь ее дружбы с девочками. Я не сомневаюсь в том, что это работа Лидии Николаевны. Прошу, Васенька, не верить всему, что она умело выдает за правду. Я знаю Наденькиных подружек с детских лет. Все они достойнейшие девочки. Они добрые, честные, и лучших подруг для своей дочери я не могла бы желать. Я прошу тебя: не дай Лидии Николаевне торжествовать над Наденькой, не запрещай этим девочкам бывать у нас.

Ты молодой член нашей семьи. И я хочу, чтобы ты не повторял тех ошибок, которые делали мой первый муж и второй. А для этого я должна рассказать тебе, что из себя представляет Лидия Николаевна — женщина, которая, к великому несчастью, приходится мне родной матерью. Долго я ломала голову, долго изучала, искала то главное в Лидии Николаевне, которое движет ее жестокими поступками. И я пришла к выводу, что это потребность властвовать. В прошлом красивая и остроумная женщина, она привыкла к успеху и восхищению со стороны мужчин. Лидия Николаевна была замечательным педагогом. Она всегда поступала так, как считала нужным, и ее боялись даже директора. И вот представь себе — эта женщина выходит на пенсию, где ее замыкают четыре стены. Но, к сожалению, в этих стенах проживает еще и молодая семья. Вот тут эта женщина понимает, что никому не нужна. Никто о ней не вспоминает, никто к ней не приходит. Красота исчезла. И даже мать Лидии Николаевны, которую та хочет взять к себе, с ужасом отвергает ее. Я сама, взрослый, самостоятельный человек, совсем не нуждаюсь в ее пошлых наставлениях, подсказке каждого шага. Лидия Николаевна видит, что и своей дочери она не нужна. Но желание властвовать, с которым эта женщина прожила всю свою жизнь, крепко засело в ней. И она сосредоточила все силы своей деятельной природы на том, чтоб доказать своей дочери, что она, Лидия Николаевна Багрянская, все та же сильная женщина, без которой я не проживу, которая еще может влиять на мою судьбу. Да ты и сам все это видишь, дружок мой. Как она делает все возможное, чтоб вы зависели от нее. Не принимай, пожалуйста, всех ее добрых слов и услуг за любовь к тебе. И моим мужьям она часто ставила на стол угощение, после которого им становилось неудобно за меня вступаться, когда Лидия Николаевна на меня нападала. Я очень ждала, что хотя бы дядя Коля будет мужчиной и встанет наконец на мою сторону. Но он молчал, и я начала пить. Вот так, мой милый Васенька, не повторяй их ошибок. Прошу тебя, береги Наденьку. Помни, чью жизнь тебе приходится защищать и от кого. Ведь Лидия Николаевна не остановилась на мне. Она хочет властвовать над всеми, кто в поле ее зрения. Когда была работа, страдали сослуживцы. Дома она хочет властвовать над каждым членом семьи. Не остановится ни перед чем, чтоб доказать, что она сильна настолько, чтоб править чужими жизнями. И для своей цели ни перед какими средствами она не остановится. И одно из них — ложь. Ведь наверняка Лидия Николаевна наговорила тебе такого, что ты в полной уверенности, что дела обстоят именно так, как о них рассказали, запретил Наденьке общаться с подругами. Тебе нужно было самому посмотреть, и ты бы увидел, что это замечательные девочки, что они любят Наденьку.

И еще я хочу вам дать несколько практических советов. Вы с Наденькой взрослые люди. Вы работаете и зарабатываете свои деньги. Лидия Николаевна будет делать все возможное, чтоб вы от нее зависели. Но вы в состоянии сделать так, чтоб не зависеть от нее. В первую очередь разделите продукты. Покупайте себе все сами. Л. Н. наверняка предложит вам свои услуги в приготовлении пищи. От этого не отказывайтесь. Готовит она вкусно. Но как только начнет упрекать, сразу откажитесь. Пусть Наденька сама готовит. А ты потерпишь, если сначала будет не очень вкусно. Сразу же пресекай все ее мелочные советы и замечания, с которыми она будет ежедневно лезть в вашу жизнь. Можешь в этом быть груб. Я тебе разрешаю. Но Л. Н. сразу же надо

дать почувствовать, что у вас своя собственная жизнь, которую она (я уверена) будет стараться разрушить. Будь с Наденькой помягче. Каждую трещину в ваших отношениях Л. Н. постарается превратить в пропасть. Вот вроде и все, что хотелось сказать тебе, сынок. Так уж получилось, что не могу я с тобой поговорить, приходится писать. 26-го будет свидание. Придете ко мне, там и наговоримся. А пока до свидания, сынок. Помни же, Васенька, о чем просила тебя твоя мама Ира. Крепко тебя целую».

— Ай-яй-яй-яй-яй! — В комнату зашел пьяный Василий. Не глядя на меня, он открыл пианино, бросил ладони на нижнюю октаву и пропел: — Ну это... — Потом ударил по средней: — ...на-а-до ж... — И на верхней закончил: — ...такое, а-а-а!

— Дурак ты, Васька! — ласково сказала Лидия Николаевна. — Ей-богу, дурак. У тебя вторая степень умственной отсталости.

«И только Василий увидел в этом шутку...» — сказала я про себя.

— Ай-яй-яй-яй! — пел Василий, ударяя по клавишам. — Ну-у это-о ж надо-о та-а-кое...

— Васька, — сказала Лидия Николаевна, — отойди от музыкального инструмента!

— Ну это ж на-а-до та-а-кое... — пропел в ответ Василий.

— Не порти инструмент, Васька! — уже совсем неласково предупредила Лидия Николаевна. — Я его для Ирочки покупала. Он пятьсот рублей стоит!

— Прек-ра-а-тите-е! — пропел Васька, ударяя по нижней октаве. — Не вме-е-ши-ва-ай-тесь в жи-и-знь мо-о-ю...

Лидия Николаевна скрестила руки на груди, поставила ноги иксом и начала испепелять взглядом спину пьяного Василия, который продолжал извлекать звуки из пятисотрублевого инструмента.

— Вот, полюбуйтесь! — Она показала в его сторону рукой, и губы-полоски превратились в губы-линию. — Любуйтесь! А чего вы еще хотите — деревня! Все эти выходки уже знаю. Все это уже не раз было. Ничего не поделаешь — деревня!

А Василий, ударив несколько раз по верхней октаве, рухнул на клавиши и сказал:

— Подлец я, бабулечка! Подлец!

— Да что ты, Васенька?! — ласково сказала Лидия Николаевна. — Какой же ты подлец? Ты простой хороший русский парень. Вставай, Васенька, пошли. Какой же ты подлец, раз даже плакать умеешь? Я ведь знаю.

— Подлец я, бабулечка! Подлец! — не соглашался с ней Василий, уходя в большую комнату.

Я постучалась в ванную и поинтересовалась, как Вася реагировал на мамино письмо. Оказалось, что он был до того расстроен, что даже заплакал. Надя велела мне взять в нижнем ящике стола под красной тетрадкой другое мамино письмо, пришедшее вместе с Васиным и адресованное ей. Я вернулась в комнату, открыла нужный ящик, достала письмо и прочла следующее:

«Здравствуй, мое солнышко, моя радость! Здравствуй, моя доченька! Ты, конечно, догадываешься, о чем пойдет разговор. Он будет о Васе. Ты приняла первое значительное решение в своей жизни, вызвав его к нам насовсем. И все же ничто — ни то, что ты любишь его, ни то, что он сам любит тебя, — не заставит меня хорошо к нему относиться. Мне кажется, что он относится к категории людей твердолобых, которых трудно в чем-либо убедить. Оценила ли ты, измерила ли все трудности, которые неизбежно вытекают из совместной жизни с таким человеком? Но тебе, я чувствую, не нужны мои советы. Иначе бы ты попросила их у меня, перед тем как совершить свой первый значительный поступок в жизни. Я очень на тебя обижена. Ведь я не чужой тебе человек. И ничем не заслужила такого пренебрежения.

Наши с тобой отношения с детства всех удивляли. Ты была для меня не просто дочерью, но и подругой, которой все можно было рассказать, которая постарается меня понять. И до сих пор ты платила мне тем же. Но вот, решив связать свою жизнь с человеком, которого полюбила, ты даже не спрашиваешь разрешения у своей мамы. Это было большим несчастьем для меня. Видела б ты сейчас мою голову. Да ты видела ее — она вся седая. В общем, если ты выйдешь за него замуж, я повешусь!»

— Долго вы еще будете пить?! — донесся из большой комнаты хриплый голос Надежды.

Я заглянула туда и увидела Лидию Николаевну, машущую руками. Она гнала Надю из комнаты, мотивируя свой приказ тем, что у них с Васей разговор по душам. Надежда решительно прошла к подоконнику и, схватив первую попавшуюся пластинку, кинула ею в Василия. Пластинка врезалась в полированный стол и раскололась.

— Чтоб завтра такая было! — закричал Вася голосом, который уже не склонял и не спрягал. — Слышала?! Чтоб завтра такая была!

Я подобрала осколки. Это была песня про птиц.

Мы с Надеждой ушли в комнату с цветами. Ее сотрясала дрожь. Она курила и дрожала.

— Зачем вы живете с этой бабкой? Ведь знаете, что ничего, кроме гадостей, от нее не дождешься.

— Да, да. Надо размениваться! Но это невозможно, пока не вернется мама. Я и сама в отчаянии. Потому что все то хорошее, что я отдаю Васе, буквально в тот же день стирается бабкой и заполняется ее влиянием, гадким и мерзким.

— Помнишь, мы лезли на колокольню? То есть это, конечно, глупо — спрашивать «помнишь?». Просто хочется узнать: есть ли у тебя в жизни воспоминание лучше этого?

— Нету...

— И у меня тоже. Помнишь этот солнечный свет? Еще никогда не было так много света! Иногда мне даже Сергей кажется маленьким-маленьким рядом с тем, что мы лезли на колокольню.

— Ты говори. Говори! Тебя так хорошо слушать.

— Надь, ты не плачь. Все будет хорошо. Вот увидишь! Я с сегодняшнего дня чувствую, что все будет хорошо. Сергей не мог меня разлюбить. Это какое-то недоразумение. Есть только взаимная любовь, а все остальное бред, который человек вбивает в свою голову. Я сегодня проснулась, и было много солнечного света. Я поняла, что еще никогда не любила Сергея так сильно, как сегодня. Значит, он тоже меня любит.

— Знаешь что? Давай этим летом поедем в С. Я возьму Васю, а ты Сергея. И мы все вместе полезем на колокольню! Они у нас еще узнают, что такое солнечный свет! Они у нас почувствуют, что такое Русь! Не родину, не отчизну, а именно Русь можно увидеть с колокольни. Небо будет голубое, с огромными белыми облаками, плакучие ивы и церкви... Я буду этим жить. Тань, ты не плачь.

— А ты знаешь, я тебя очень не любила в детстве. Не удивляйся. Чем больше ты говорила, что любишь меня, тем больше копилось в душе раздражения. Я все время достраивала в голове якобы принадлежавшие тебе мысли. Вот ты рассказывала, как мама подарила Люде золотое кольцо, — а что было в моей голове? А у Тани мама никогда золотых колец не дарит. У Нади в жизни все необыкновенно, как в книжках, а у Тани нет.

— Эх ты! Я этих самых книжек никогда не читала. Я бы подумала: «Как в кине».

— Вот с моими подругами в А до сих пор такая же история. Друг без друга не можем обойтись, но как идиоты сидим в засадах и караулим тщеславие друг друга. А хороший человек тем и характерен, что какой-нибудь дрянни обязательно дождешься. Вот сегодня мы шли, и ты сказала, что была очаровательна...

— И ты подумала: «Ах вот какого она о себе мнения! Сама говорила «идиотская морда», а на самом деле...»

— Я не подумала. А это сказала. Но если подобные мелочи долго в себе копить, то они обязательно съедят отношения. Ты выше меня в этом. Я бы не простила своих подруг так, как ты Люду. В дружбе ты тоже дошла до предельной точки. И пожалуй, ты не выше меня, потому что в этой точке слово «дружба» потеряло свой смысл. Но я тебя понимаю. Главное — относиться к человеку по большому счету: любит он тебя? жизнь за тебя отдаст? если враги схватят, будет молчать под пыткой? А все остальное можно и нужно прощать... А сейчас все такие мелочные.

— Знаешь, Танюша, все, что ты сказала, я знала. Но это как-то было в моей крови. Ты мне всегда помогаешь себя понять... Давай позовем к нам Васю.

— Давай.

И мы хором закричали: «Вася!!!» Но он не откликнулся, и, вспомнив, что хотим есть, мы пошли на кухню. Было уже десять часов. Наш ужин сопровождал разговор по душам, доносившийся из-за двери:

— Подлец я, бабулечка. Подлец!

— Дурак ты, Васька! Ей-богу, дурак. У тебя вторая степень умственной отсталости.

Утро четвертого дня пребывания в городе В началось для Татьяны Елагиной криком Лидии Николаевны: «Вставайте! Уже полседьмого!» Под боком Тани заворочалась ее подруга Надя Черкасова. Они спали вместе эту ночь по причине тяжелого душевного состояния Тани. В большой комнате застонал муж Нади Василий, обиженный неизвестно на что. То ли на тяжесть в голове после вчерашней выпивки, то ли на Татьяну Елагину, которая отбирала принадлежавшее ему — любовь и расположение Надежды. Тане нужно было спросить у Васи, но она плевать на него хотела. А может, были другие, неизвестные причины? Таня от всей души растолкала подругу, чтоб не дай бог та не опоздала на работу, а сама продолжала крепкий сон, длившийся до девяти часов.

В девять Татьяна встала, умылась, оделась, наложила косметику и, не дожидаясь, когда Лидия Николаевна любезно предложит ей позавтракать, сама достала из холодильника все необходимое. Татьяна приехала к подруге, которая зарабатывала деньги. Подруга сама звала ее к себе. Почему же завтраки должны вставать у Тани поперек горла? Уж не оттого ли, что рядом сидит маленькая, высохшая старуха с «Беломором» в руке и внимательно смотрит черными глазами? Пусть смотрит. Таня Елагина имеет право спокойно съест пару бутербродов в доме своей подруги. Можете, Лидия Николаевна, подчинять своей власти таких идиотов, как Василий. А Татьяна, слава богу, если и подчинилась вашей власти, то сознательно, потому что ей хотелось найти контакт с вами. Татьяне Елагиной была приятна мысль, что она приручит зло. Да, признаем, что найти контакт ей не удалось. По той простой причине, что Лидия Николаевна и Татьяна говорили на разных языках. То, что на Танином языке означало «любимое дело», на язык Лидии Николаевны переводилось — «боязнь людей». Уже с одного переведенного слова Тане стал ненавистен этот язык, и она ни в коем случае не собиралась на нем изъясняться. Ее непринужденные самоутверждающие движения, с которыми она уничтожала завтрак, говорили о разрыве всех дипломатических отношений. В маленькой кухне два мира с разными языками готовились к жестокой схватке.

Лидия Николаевна курила и, улыбаясь губами-полосками, рассказывала о том, как много она сделала для Наденьки. И где только Наденька благодаря ей не побывала! И на Черном море, и в Прибалтике, и на Украине... ну и в Москве, само собой разумеется. О! Там они исходили все музеи. Видели зернышко риса, на котором китаец написал что-то количеством в четыреста слов. Как?! Танечка не видела этого зернышка?! Ужасно. А ожерелье «Дар Нила»? Танечка не знает, что такое «Дар Нила»? А Наденька Лидии Николаевне рассказывала, что Таня очень развитая девочка: много видела и много знает. «Дар Нила» — это большая редкость. Их всего два на земном шаре. Рабы ныряют на дно Нила десятилетиями за камнями для этого ожерелья. Там их душат спруты, и, полузадохшиеся, рабы появляются на поверхности с камнями в руках. Ценная информация, не правда ли? Как оно попало в Советский Союз? Это очень интересная история. Хрущев поехал в Америку и взял с собой многочисленную делегацию: жену Нину Петровну, Аджубея... Лидия Николаевна выразила надежду, что Аджубей Танечка знает. К счастью, она знала, кто он такой, и доказала это поспешным высказыванием: «Он зять Хрущева. Написал книгу „Лицом к лицу с Америкой“». То, как поспешно все это Таня говорила, пытаясь опередить слова: «Как?! Ты не знаешь, кто такой Аджубей? Мне Наденька рассказывала, что ты очень начитанная девочка», не оставило сомнений в том, что инициатива завязавшейся борьбы принадлежит Лидии Николаевне. Таня оборонялась.

Да... Лидия Николаевна много ездила по стране. И везде у нее были знакомые и друзья. Возвращаясь с юга, она меньшую площадь, чем купе, не занимала фруктами, которые везла в подарок родственникам и друзьям. Одна ее знакомая, работающая кассиром на станции неподалеку от С, каждое лето получала от Лидии Николаевны копченую колбасу, рыбу, фрукты... За что? Просто так, от широты сердца. Лидия Николаевна с Наденькой ехали в С, и поезд стоял на этой станции всего минуту. Так что кассирша только и успевала сказать «здрасьте», взять продукты и посмотреть, как лицо добрейшего человека удаляется с нарастающей скоростью. Зачем она это делала? Да потому что жизнь надо прожить чисто, делать добро. Надо дарить людям подарки! Зато один раз (один ли?) Наденьке нужно было срочно уехать из С. А на этой станции стоять за билетом дня три. Доехав туда автобусом, Наденька вовсе не стояла за билетом. Его ей приготовили по просьбе Лидии Николаевны, изложенной в телеграмме. Наденьку хорошо встретили — накормили салатом,пельменями, компотом, дали на дорогу пирог. Благо Лидии Николаевне было что перечислять, а то бы не дождалась в следующее лето кассирша копченых колбас. Таня Елагина сделала перевод второго слова: «делать добро» — «дарить подарки». Именно его надо было знать для поставленной задачи. Вот Лидия Николаевна всю жизнь делала добро, всю жизнь всех жалела. А ее никто не жалеет. И вот в данный момент надо идти в магазин, а потом мыть полы. А полы ей мыть ох как трудно. Просто невыносимо трудно. Таня предложила свои услуги. Она понимала, что никакой необходимости в мытье полов нет. Но надобно было показать Лидии Николаевне, что Таня Елагина никогда не отказывается помочь старой женщине, если она говорит: «Мне трудно». И Таня старательно моет полы, в то время как Лидия Николаевна ходит по магазинам. По возвращении Таню очень любезно благодарят.

Они сидят и курят. Временное перемирие. И вот Лидия Николаевна продолжает свою мысль о том, что жизнь надо прожить чисто и делать добро. Вот случилось один раз такое! На троллейбусной остановке в страшный холод стоял молодой человек в осенней курточке и ботиночках на тонкой подошве. На него внимательно смотрела пожилая женщина и не выдержала. Подошла к молодому человеку с предложением своей безвозмездной помощи. У женщины в сундуке лежали теплые ботинки и пальто от второго сбежавшего зятя, и, преисполненная жалости, она предложила их молодому человеку. Он застеснялся. Ему хочется тепло одеться, нет возможности, и брать неудобно. Но уж больно женщина задушевно просит! И в восемь часов вечера они встречаются на этой же остановке, где происходит безвозмездное вручение теплой одежды. Молодой человек слов от благодарности не находит. А женщина? Она ничего с него не взяла. И никогда его больше не видела. Эта женщина — Лидия Николаевна. Наденька вся в нее. Тоже доброе сердце, широкая натура. Все что угодно может раздать, подарить. А подруги этим пользуются. Да, да! Пользуются. Во всем стараются Наденьку обделить: и в питании и в одежде. Дело доходит просто до нахальства. Как придут к Наденьке в гости, так сразу им надо есть. А сами хитрые! Собрались как-то на дачу к Зайцевой, к скотине этой. Ну уж если ты зовешь человека на дачу, будь добр, обеспечь его питанием! А эти Зайцевы ничего с собой не взяли. Совсем ничего. А Наденька накупила и пельменей, и пряников, и еще чего-то. И вот все три дня, которые жили на этой даче, Зайцевы питались Наденькиными продуктами! А знаете ли вы, какая сволочь эта Люда Зайцева? Таня мужественно говорит: «Нет. Не знаю». А знаете ли вы, какая она чистоплотная? Не знаете. Да как только она появлялась в доме Лидии Николаевны, становилось невозможно дышать. И Ира, дочь Лидии Николаевны, всегда говорила: «Давай, Люда, мойся. Руки мой, ноги мой. Потом спать ляжешь». Вот какая она чистоплотная! А вы знаете, кто ее родители?.. Самые обыкновенные спекулянты. Мать каждое лето ездит в тайгу и бракованные шкуры у охотников за бесценно покупает. А в городе продает втридорога. Еще и золотишком спекулирует. Много темных дел вокруг этой женщины... Между прочим, у Зайцевых в кладовке стоит самогонный аппарат! Сашка вместе с отцом самогонку гонит. Да, да! А летом они эту самогонку дают рыбакам в обмен на рыбу, из которой делают воблу. Да, воблу!.. Лидия Николаевна своими собственными глазами видела: студент четвертого курса юрфака продает по пятнадцать копеек около пивного ларька. А вы

знаете, сколько у него баб? Не знаете? Лидия Николаевна частенько видит его по утрам опухшим от перепоя, и на вопрос: «Откуда так рано?» — Саша чистосердечно выкладывает: «От баб, Лидия Николаевна. От баб». Может, вы не поверите в то, что Люда и другие девочки портят Наденьку! В то, что они спаивают ее, ташат принять участие в грязных оргиях. Так Лидия Николаевна может сводить вас в школу и показать протокол педсовета, на котором за неблаговидные поступки речь шла чуть ли не об исключении из школы всей компании. Да вы знаете, сколько у Зайцевой мужиков? Не знаете. Она до того обнаглела, что пришла на половое свидание со своим волосатым кавалером в дом Лидии Николаевны. А запуганная Наденька робко попросила: «Бабулечка! Не могла бы ты сегодня уйти к кому-нибудь ночевать?» На что Лидия Николаевна ответила, что она в своем доме и спать будет на своей кровати. И вот лежит Лидия Николаевна, а через тонкую стену ей все слышать, в частности просьбу Зайцевой трусы не рвать и за волосы не тянуть, ибо она сама в состоянии снять трусы. Наутро Наденька была предупреждена, чтоб половые свидания Зайцевой в последний раз устраивались. Лидия Николаевна, слава богу, дом терпимости не держит. Убедились? Таня Елагина нет, она точно знает, что Люда девочка. Но вот Сарафанова — это конченная проститутка. На пару с матерью работают. Они как проститутки и то не высший сорт! Если на вопрос: «Девочка, девочка! Что тебе надо?» — другие отвечают: «Двадцать пять рублей и ресторан», — то Сарафанова с матерью менее требовательны: «Трешку и бурьян». Уф! Как трудно защитить добро. Ведь не закричишь же Лидии Николаевне в ответ: «У Нины был только один парень, друг детства! Да еще этот идиотский промах с Василием. Может, она с ним только целоваться хотела?» Ну а то, что Сарафанова нечистоплотна, вам ясно как день? В противном случае можно убедиться. Один раз сидела Наденька вымытая, в красивой трикотажной рубашечке на кровати. Тут ввалилась Сарафанова. От нее несло самогонкой, и брюки были по колено белые от пыли. Ввалилась и сразу брякнулась на кровать рядом с Наденькой в красивой трикотажной рубашечке. Лидия Николаевна, конечно же, предложила ей «руки мыть, ноги мыть» и лечь отоспаться. Но Сарафанова была не в состоянии. Ну, тут, слава богу, появился Василий, и Лидия Николаевна с его помощью всех сволочей и проституток отгадит от своего дома. Видели ли вы собаку? Ну да, игрушечную собаку, которая стоит на полированном столе в большой комнате. Слава богу, не знает Василий, от кого эта собака, а то бы в клочья разорвал. Надо ж такое — пять (!!!) человек сложились и подарили Наденьке на день рождения эту ничтожную собаку. А как кому другому, так по пять рублей складываются. За что?! За что все так ненавидят Наденьку?! Таня Елагина на этот вопрос сказала, что в чем, в чем, а в этом ее никак обвинить нельзя. Но на самом деле и она и все остальные просто завидовали Надежде черной завистью. Фигура у нее красивая, бюстик тоже. Василий ее безумно любит, на руках носит. Какое право Таня Елагина имела сказать, что все это неправда? А что она хорошего для Наденьки сделала? Что хорошего, если даже к отцу своей подруги не могла зайти перед отъездом? Если даже ничего не смогла привезти в подарок, даже паршивой карамельки? А сама Елагина живет в доме Лидии Николаевны уже четыре дня. И все четыре дня ест. Будьте уверены! Наденька же когда в первый раз была в А, то питалась у отпа. А во второй раз она к Елагиной вообще только перед отлетом зашла, а так все у папочки жила... Оборону провали. Дрожащим голосом Таня начала оправдывать себя. Она показывала истинное положение вещей: сколько дней действительно жила Надежда в А и сколько она сама здесь живет. Надя прожила у Тани больше и, следовательно, съела больше, хотя никаких претензий на этот счет не имеется, потому что приезд Надежды был подарком сам по себе, безо всяких паршивых карамелей. Лидия Николаевна выслушала все это с понимающей улыбкой и похлопала Таню по плечу. Наденька ей все рассказала: сколько она у кого жила и что ела. Елагина съела больше за эти четыре дня. Лидия Николаевна ей это доказала. Она достала из-под матраца своей кровати толстую тетрадь, где все было записано и подсчитано. Там не только сводились балансы съеденного Надеждой у кого-либо и съеденное этим человеком в доме Лидии Николаевны. В ней фиксировалась каждая грубость со стороны Надиных подруг. В тетради были разделы, посвященные Зайцевой, Сарафановой, и Тане была отведена

менее солидная часть. Отправленные и полученные посылки, оказывается, старательно отмечались в течение нескольких лет. Конечно же, отправленных Танею посылок было намного меньше, чем полученных. А может, так оно и было. Елагина не считала. Таня ничего не слышала из длинного списка съеденного за четыре дня пребывания в доме Лидии Николаевны. Она только знала о том, что ее знакомят с этим чудовищно большим списком. Все это время она всматривалась в лицо Лидии Николаевны, и в конце концов ее посетила гениальная мысль: уж не сошла ли эта бабка на почве алкоголизма с ума? Но мысль недолго сидела в Таниной голове.

Зазвонел звонок, и Лидия Николаевна пошла открывать дверь. Таня услышала сказанное шепотом «Надьки нет!», возню и Людин голос: «А я не к Наде пришла, а к Тане» — и дверь захлопнулась. Таня вяло поинтересовалась, кто это там приходил. Лидия Николаевна так же вяло ответила: «Мужик какой-то пьяный». Услышав повторный звонок, они наперегонки бросились к двери. Победила молодость — Таня добежала первая и впустила Люду, которой Лидия Николаевна очень обрадовалась. Из нее посыпались ласковые вопросы:

— Как дела? Как мамочка, здорова? А как Сашенькины успехи?

— Все нормально, — ответила Люда, улыбаясь, и после Таниного предложения снять пальто в коридоре запахло духами.

Взорам Тани и Лидии Николаевны открылась чистая кофточка и модная удлиненная юбка. Пока Татьяна одевалась в комнате с цветами, бабка курила и оценивающе рассматривала Люду.

— Что это ты, Людочка, — спросила она, — юбки начала длинные носить?

— Это сейчас модно, — сказала Таня, вызывая огонь на себя. — Очень модно. У меня тоже есть длинная юбка, совсем до пят. Называется спираль.

Лидия Николаевна смерила ее с головы до пят и сказала:

— Длинные юбки хороши для красивой фигуры.

— Точно. — Таня повернулась к Люде. — А короткие юбки для некрасивых фигур и уродливых ног.

— Да что ты мне, Танечка, говоришь! Для длинной юбки отличная должна быть фигура. Что-то как у Анны Карениной.

— А у меня как раз самая отличная фигура. Правда, вам этого не понять. Сейчас в моде девушки французского типа: стройные, стройные и ничего больше. Никакого лишнего мяса.

— Одной фигуры мало. Походка должна быть соответствующая. Величественная такая. Умение себя держать.

— Ну знаете! Наденешь такую юбку, каблучки нацепишь — и твоя походка поневоле превращается в величественную.

— Да, Танечка, тебе-то, конечно, пойдет. Есть в тебе что-то такое...

Таня Елагина победила в мелочном бабском споре, и это не доставило ей ни малейшего удовольствия. Покидав немногочисленные шмотки в сумку, она сказала: «Прощайте», но дверь не успела захлопнуться. Лидия Николаевна втянула ее обратно без Люды, которую Таня попросила подождать в подъезде.

— Оставляй сумку! — приказала бабка шепотом.

— Я не собираюсь здесь оставаться, — возразила Таня. — Я сегодня улетаю.

— Оставляй сумку, — железным голосом сказала Лидия Николаевна. — Наденька сразу подумает, что что-то не то, раз ты с сумкой ее встречаешь. — Старуха дернула сумку к себе.

— А мне наплевать! — Таня дернула сумку обратно. — Просто больше не желаю видеть вашей рожки.

— Попробуй Наденьке что-нибудь рассказать! — Бабка вцепилась в сумку обеими руками. — Я такую обработку над Васей проведу!.. Надьке достанется!

Она изо всех сил потянула сумку, которую Таня нарочно неожиданно выпустила, чтоб не отказать себе в удовольствии посмотреть, как бабка отлетает к стене.

— Достанется?! — переспросила она. — А какое он имеет на это право, ваш Василий? Раньше муж был основным кормильцем, а жена, которая не работала, от него зависела. Она была его собственностью. Ей могло доставаться. А сейчас Надежда на сдельной работе даже больше него зарабатывает. Не имеет права Вася ее бить!

Старуха улыбалась и жадно слушала, как прорывается неприязнь Тани к Василию.

— Ты все же помни, что я тебя просила! — предупредила бабка еще раз. — А то я Васе все про тебя скажу. Вызову милицию, будет скандал, и ты из В не уедешь сегодня. Плакали твои денежки.

— Ай-яй-яй-яй! Как страшно! — сказала Таня, соединяя и разъединяя колени согнутых ног. — Прямо коленочки дрожат!

Хлопнув дверью, она оставила в квартире свою сумку и Лидию Николаевну с новыми замыслами в голове.

Люда спросила, о чем мы так долго говорили. Я вздохнула и сказала, что мы говорили по душам. Потом Люда поинтересовалась, обедала ли я, и, узнав, что нет, предложила идти к ней, а к трем часам подойти к заводу и встретить Надежду. Я согласилась. Она взяла меня под руку, и я завела с ней разговор на тему «Лидия Николаевна Багрянская», одинаково интересную для обеих и злободневную.

— Ты знаешь, мне Надя с детских лет про нее рассказывала. А я все как-то не верила. Ну не может, думаю, так быть, чтобы ни за что, просто так к человеку можно было плохо относиться и делать ему гадости. Значит, думаю, Люда, Нина, сама Надежда в чем-то виноваты. Теперь я увидела все собственными глазами. Вот скажи, что я этой старухе сделала?! Чем встала поперек дороги? После сегодняшнего дня меня, конечно, есть за что ненавидеть. Но ведь она же сама меня заставила делать и гадости и грубости. Буквально выдавила из меня дрянь. Зачем ей это надо?

— Змея! — сказала Люда. — Лучшего слова для нее не подберешь. Ты правильно заметила, что она сама вынуждает других и хамить и грубить. Тетя Ира и то лучше, чем эта сволочь. Один раз мы пришли к ним вместе с моей двоюродной сестрой. А она здорово играет на пианино. Сидим в комнате: я, Надя, тетя Ира и ее этот... — Люда покрутила рукой, отыскивая нужное слово, и не нашла, — дядя Толя. Моя сестра играет. Тут является бабка, на роже улыбка, и начинает показывать, что она в музыке разбирается: «Ах! Какая прелесть! Как изумительно!» Тетя Ира ее слушала-слушала, а потом попросила бабку удалиться. Мол, и без тебя мы тут хсрошо посидим. А бабка как заорет: «Ах так! Это мое пианино! Я его на свои деньги купила!» Моя сестра оборвала игру и крышкой так хлопнула, что даже себе по пальцам. Тут тети Ирин этот... дядя Толя встал и двинул бабке по морде. Она грохнулась и орет: «Меня Зайцева убивает!!!» Главное — Зайцева. Дядя Толя ее поднял и снова как двинет. Бабка лежала и не двигалась, пока тетя Ира не взяла ее за ноги и не уволокла в другую комнату.

Я выслушала этот рассказ с нарастающей симпатией в сердце к дяде Толе. Вскоре Люда показала мне на невысокую белолицую девочку с голубыми глазами.

— Летом я ходила с одним парнем, а после того как мы с ним поругались, он с этой девчонкой загулял. Сейчас он ее бросил, а она, говорят, ходит к нему чуть ли не каждый день. Его мать ужасно ее ненавидит за это.

— Правда? — сказала я, провожая глазами сутулую фигурку девочки. — Конечно, это нехорошо. Ерунда какая-то. Самой бегать за парнем. У нее гордости никакой... А вот, между прочим, если бабке захотеть, то ей ничего не стоит в душу твою залезть и к себе расположить.

Люда меня поддержала:

— Точно. Когда Надя уезжала в августе, бабка слезно умоляла меня навещать ее: «Я, Людочка, боюсь одна». Ну, я и приходила, раз ей страшно. Она со мной так ласково беседовала. На жизнь жаловалась, что никто ее не жалеет. А когда Надя вернулась, бабка мне вскоре выдает: «Ты, Зайцева, за последние полгода была у нас семьдесят девять раз, а Надя у тебя тридцать». И давай мне перечислять, сколько я у них съела.

— Сегодня она мне выкинула тот же самый номер — достала тетрадку из-под своей перины и прочла все, что я уничтожила в ее съестных припасах за четыре дня.

— Разве у нее для этого есть тетрадка?! — удивилась Люда. — Ну и змея!

Потом она показала мне на парня и скромно сообщила, что с этим дураком она ходила когда-то. Дурак имел неплохой внешний вид, я его рассмотрела, пока они с Людой приветствовали друг друга.

— Симпатичный парень, — одобрительно сказала я.

В подъезде с ней поздоровался еще один юноша, и после того как он спустился на значительное расстояние, Люда сообщила, что и с этим дураком она ходила когда-то. Я в свою очередь заметила, что и этот с подходящими внешними данными.

На звук открывающейся двери появился Саша, и как мне показалось — опухший.

— О! Кто пришел! — приветствовал он меня. — А я завтра экзамен сдаю, к сожалению. — И Саша скрылся за плотно закрывшейся дверью. В трезвом состоянии у него не было желания со мной переписываться.

Люда пошла подогревать обед, а я не отказала себе в удовольствии заглянуть в кладовку. Там лежало то, что положено для кладовок: чемоданы, тряпки, старые пальто.

За обедом я спросила у Люды:

— Много у тебя парней было?

— Не очень, — ответила она. — Видела, как бабка на мою фигуру намекала? Что, мол, не с твоей фигурой длинные юбки носить. Она у меня, конечно, не очень. В школе я ни с кем не ходила. Сейчас веселюсь. Может, времени свободного больше? Ну, человек семь было.

А потом позвонила Надежда. Она сообщила, что по дороге на работу встретила одноклассника, который пригласил ее и Люду к себе, поэтому мы должны ехать к трем часам на улицу Маяковского и ждать ее около продуктового магазина, в два часа она отпросится с работы.

Мы вышли из Людиного дома в меру покрашенные, вежливо уступая друг другу дорогу в дверях. А в автобусе мы поспорили из-за свободного места. Каждая настаивала, чтоб другая села. В конце концов я заняла сиденье, и к трем часам мы молча подъехали к улице Маяковского. Говорить было не о чем.

— Привет, Надежда! — крикнула я около продуктового магазина. — А твои подружки проститутки.

— Что, — догадалась Надежда, — бабка душу изгадила?

— Еще как! По большому счету. Бедная Наденька! Мне так тебя было жалко, когда ты сидела вымытая, в красивой трикотажной рубашечке, и Нина Сарафанова ввалилась к тебе, дыша самогонкой. Свалилась на кровать в брюках, по колено белых от пыли.

Надя с Людой заготовили.

— Нина была, — сказала Люда.

— И рубашечка была трикотажная, — сказала Надя. — А вот брюк по колено в пыли что-то не припомню.

— Она тогда, — проговорила Люда, задыхаясь от смеха, — подошла к Нинке и, взявшись двумя пальцами за чистые брюки, сказала: «Нина! Встань с кровати! У тебя на брюках бактерии холеры... и прочие венерические заболевания».

Готовили уже все трое.

— Так и сказала, — подтвердила Надя. — «Бактерии холеры... и прочие венерические заболевания».

В эти минуты Лидия Николаевна казалась Тане Елагиной маленькой и слабой, беспомощной в своих попытках разлить потоком грязи троих людей, которые шли по улице, весело смеясь и желая друг другу только добра.

Перед тем как позвонить, Надя не забыла высказать уверенность в том, что я всех очарую. Она не понимала, что красиво рассуждать в письмах — задача несравненно более легкая, чем подать те же самые мысли в круту людей, иронично настроенных.

Дверь открыл длинноволосый мальчик, высокий, с нежным лицом, я узнала в нем Надиного «принца с выдуманными внутренностями». Надо заметить, что его бледная кожа, маленький рот и глаза с длинными ресницами как нельзя больше подходили к этой обязанности.

В комнате сидели двое других ребят. Они приветствовали одноклассниц непринужденно и радостно. С магнитофона лилась музыка, ноги мальчиков обтягивали джинсы. И я тоже почувствовала себя непринужденно. Общего языка для такой обстановки искать было не нужно. Существовал универсальный молодежный. Я подошла к тумбочке, на которой лежали коробки с записями. Принц заметил мое заинтересованное лицо и спросил:

— Увлекаешься?

— Да, — ответила я. — А у тебя есть...

Тут замелькали английские слова — мы кидались друг в друга названиями групп и концертов, пока в глазах не засветилось взаимное уважение. Потом я подошла к мальчику спортивного типа, Володе, который угощал девочек «Filip Morris'ом». Я выразила удивление по поводу белой упаковки, так как была знакома с серой.

— А сигареты часто имеют разные пачки. — Володя протянул мне фирменную упаковку с улыбкой. — Вот, например, «Pall Mall».

При наступившем молчании я вытянула отечественные «Столичные». Мое разочарованное лицо доставило присутствующим несколько веселых минут. Фирменная пачка была знакома всем уже полтора года. С Володей я произвела обмен информацией о сигаретах и описанием их упаковок. Потом на столе появилась неизменная «Экстра», и все выпили.

Принц вынес стул на середину комнаты и, усевшись, начал ударять себя по коленям в ритм звучащей музыке.

— Итак, — сказал он, — кто что хочет? Говорите. Я исполняю желания.

Он ждал, пока я не предложила свое желание послушать анекдоты, которых знала великое множество. Так что правильной было бы прокричать: «Хочу, чтоб слушали мои анекдоты!» Я мельком взглянула на Надежду и увидела ее напряженные глаза на улыбающемся лице, но тут же увлеклась анекдотами. Мой запас оказался самым оригинальным и неисчерпаемым. Когда и он кончился, принц продолжал отбивать ладонями ритм. Он исполнял желания. Люда полулежала на диване, закинув ногу на ногу, рядом с мальчиком спортивного типа. А у Нади стали напряженными не только глаза, но и все лицо. Глядя на нее, я не могла загадать другого желания, кроме этого: принц, сделай, пожалуйста, так, чтобы мы очутились дома, рядом со звереющим Василием! Ведь то, что мы здесь сидим, это Надина забота о том, чтобы мне не было скучно. Надежда, встретив мой внимательный взгляд, села на ковер и попросила:

— Танюша, расскажи чего-нибудь.

Что я могу рассказать? Рассказывать — это редкий дар в женщине. Тургенев отменил. Зачем мы здесь сидим? Вася наверняка окосел от злости. Бабка времени терять не будет — работает...

— Что же вам рассказать?.. Я человек в вашем городе новый. Вам, конечно же, интересны мои впечатления и сопоставления со своим городом. — Таня Елагина! Выметайте из голоса серьезность! — Мне ваш город не понравился. Все прямоугольное. Там, где я влачу свое существование, больше разнообразия. Но все же между нашими городами гораздо меньше различий, чем можно предположить после первого впечатления. В городе А и в городе В рождаются люди. Неизвестно зачем: и не для радости и не для горя. Это всё побочные продукты нашего существования. Истинная цель как в городе А, так и в городе В неизвестна. Достигнув нужного возраста, рожденные люди отправляются в ясли, а потом в детский сад. В семь лет как и в вашем, так и в нашем городе детям положено в одно прекрасное осеннее утро отправиться в заведение под названием... Каким названием?.. Правильно, школа. И целых десять лет их руки будут оттягивать темный кожаный предмет под названием?.. Ну как его? Точно, портфель! А после школы самое грандиозное в жизни молодых людей не только города А и В, а всех без исключения городов — поступление в высшее учебное заведение. Поступают все: и те, у кого есть мечта, и те, у кого ее нет, те, кто учился на пять, и те, кто на три, тоже пытаются счастье... (Надя уже вся напряженная. И спина и руки. Курит как паровоз!) Какая точка?.. А... Где собирается так называемая золотая молодежь. У нас это по-другому называется — пятак. Вот видите, и в этом тоже сходство всех

крупных городов. Создаются центры по одинаковым законам и распадаются тоже. Социальный состав... Какой у вас состав?.. То же самое и у нас: дети начальников, преподавателей вузов. — О том, что золотая молодежь — ребята обыкновенные, только спеси в них чуть побольше, Таня Елагина судить не могла, так как никогда не бывала на пятаке, но подтвердила с видом знатока. — Сначала там публика что надо, но потом нефирменных джинсов становится все больше и больше. Сорт девочек все ниже и ниже... Зачем мы здесь сидим?..

Мы еще побесились на улице. Надя с напряженным лицом ставила принцу подножки. Отряхнувшись от снега, распрощались. Люду я тоже видела в последний раз. Она уходила гулять с мальчиком спортивного типа. С ней мы обнялись и поцеловались. Остались я и Надя, ушедшая глазами в себя. Она улыбалась мне, подтверждала, что посидели замечательно, но думала совсем о другом. Она чувствовала, что Васе сейчас очень плохо. Я купила пачку «TU» и положила в Надин карман, так как своего не было. Сказала уже у самого дома, что меня можно не провожать. Но Надя возразила, и глаза ее были далеко-далеко...

Таню Елагину и Надю Черкасову встретило недоброе молчание Лидии Николаевны и Василия Веснухина. Таня посмотрела в его глаза. Они были злы и пусты, как у мальчишки-хулигана. Василий рванул к себе Надежду. Достал из ее кармана пачку «TU» и вместе с мелочью и криком: «Где пила?!» — бросил их в ее лицо. А Надежда стояла, сжавшись в комок, и молчала. «Где надо, там и пили!..» — храбро начала Таня Елагина, но Василий взял ее за воротник и повел к сумке, стоящей у стены, и она заткнулась.

— Вот что, Татьяна! — сказал он. — Сматывайся на!!! а то как двину

Слова-отмщение разбивались о превосходство его тупой силы. Татьяна посмотрела на Надежду, которая стояла, сжавшись в комок. Она не собиралась посылать Василия к собачьим чертям, и глаза ее были далеко-далеко... Татьяна перевела взгляд на Лидию Николаевну. Ее лицо светилось улыбкой победителя. Тане показалось, что она большая-большая и величественная в своей синей косынке с белым горохом. Может, оттого эта старуха была такая большая, что ее несли на своих руках Люда Зайцева, Нина Сарафанова и Василий Веснухин. Победенного вывели за шиворот в коридор. Надя протянула трехрублевую бумажку и сказала Василию, что это Танины деньги. Танины деньги очутились за воротником Таниного пальто. Лидия Николаевна кричала, поставив ноги иксом:

— Не давайте ей три рубля! Она и без того наши деньги крада! Надо бы ее сумку проверить!

— Все! — сказал Василий Веснухин и захлопнул дверь.

Таня Елагина осталась в подвезде с трехрублевой бумажкой за воротником, сумкой в руках и дрожью в ногах. Она заигрывала со злом и доигралась. Тщательно овладевайте языком зла в том случае, если нужно предотвратить подобную сцену. Два слова уже имеются.

«Все! С Тани Елагиной хватит! Мотать отсюда! Мотать!.. В сумке должна была быть пачка «Ту-134»... Ладно, потом покуришь. А сейчас мотать отсюда. Мотать! Из этого дома, из этого города поганого... Сейчас встану посередке, и пусть таксист останавливается или давит в лепешку. Одинаковая радость...» Таня Елагина достала из-за воротника три рубля. Она должна была их гордо кинуть в веснухинскую рожу, если б у нее была смелость и другие деньги. Хотя бы рубль.

— Мне в аэропорт.

«Мотать отсюда! Мотать! Скорее, скорее! Чтоб все дома этого дурацкого города В превратились в один. Такой длинный! До самого аэропорта... Да, Наденька! Нашу дружбу, конечно, стоило возродить, чтоб чокнутая старуха помой на нее лила, чтоб идиот этот Василий матом ее обложил. Чтоб ты сама ее предала. Черт возьми!.. «Я для Васи все!», «Теряя меня, он теряет весь мир!», «Рядом с ним я себя чувствую такой сильной». Как благородно! Она принесла себя в жертву его счастью... Чего вы хотите, Таня Елагина, от Нади Черкасовой? Чтоб она прыгнула выше своей головы? Чтоб ее посетил какой-нибудь

тип разумной любви, которая пользу приносит тому, кто любит, и тому, кого любят? Нет у нее мозгов. Нет. Они у нее в сердце. Можете мотать из города В в своем такси, ей на это наплевать. Она никогда вас не слушала. Она продолжает стремиться свою любовь-самоотдачу на предельной точке. Ведь сама жизнь грандиозно ткнула ее в лоб, что там грязь, уродство, страх! Любовь теряет свой смысл... А вам не пришло в голову, что ей в самом деле лучше с Василием?.. Ну и пошла к черту, раз так! Хорошо бы посмотреть на этого лётчика с вертолета. Это уж точно — рядовой потаскун наряжен в тряпки силы и благородства. И все! Все! Люда эта — типичная самочка. И мама! «Женщина, полная благородства!» Только и может обитать в душевной тонкости, а дочь свою, между прочим, еще надо одеть и обуть. Очень приятно! — у меня потрясенные сапоги, а у Нади валенки. Алкоголик! Опустившаяся женщина!.. Меня из такси выкинут, если я закурю? Всем досталось. Таня Елагина никого не обидела. Ах да! Виктор Сергеич — бедный папочка! Обломок великого. «Нужно сделать все, чтоб этот человек был счастлив!..» Таня, вы забываетесь! Вы становитесь ироничны... Не имеете права. Ни по отношению к Надиным слезам и надеждам, ни по отношению к слову «любовь» в ее устах... Надо быть выше иронии»

Надежда спасла нашу дружбу. После девяти месяцев разрыва я получила от нее письмо, которое не ждала:

«Я не могу поверить, что твое формирование закончилось на последнем образе, который хранит моя память. Ты выросла с каким-то странным переломом. Все получилось бы намного проще, если б не наше прошлое. И я бы не ломала голову над тем, почему ты так изменилась, и не считала тебя прозрачной, сквозь которую ежесекундно вижу своего дорогого, милого друга с добрыми печальными глазами. Нас было пятеро, но никто мне не стал так дорог, как ты. Что так сильно привязало меня к тебе? Ведь я безумно любила тебя и уверена, что мое чувство не было безответным. Я знаю, в тебе не было той пылкости и обнаженности, но тогда я мало над этим задумывалась. И все объясняла тем, что ты взрослее меня и со временем во мне тоже уймется ребячество и наивность. Но оказалось иначе. Я осталась такой же. Значит, мой образ становится все более нелепым по отношению к твоему возрасту.

Вот так я и живу, а может, и существую. Я прошу тебя: не сердись на меня. Не думать о тебе я не в силах. Ибо ты тогда лишишь меня самого большого, но самого дорогого. Ты бы не стала возиться со мной, если б не наши прежние отношения. Такие глупые и недалекие люди, как я, и сейчас встречаются тебе. Ты не имеешь с ними ничего общего. Но нас связало что-то. И это что-то не дает нам быть абсолютно посторонними людьми. Надлом в моей безгорестной жизни произошел летом, когда я не находила себе места в ожидании и томлении. Обстоятельства убивали меня постепенно: сначала мучение разлуки, потом приезд твоей мамы, от которой узнала, что ты не хочешь ехать. Потом... ты сама. Теперь я готова ко всякому. Ради бога, не будь со мной груба! До свидания. Целую (можно?). Твоя Надя»

Я вспомнила, что есть на свете Надя Черкасова со своими непонятными «обожаю», «люблю», и ее образ в самом деле показался мне нелепым. Он меня даже оскорбил. Таню Елагину подчинила себе романтика хипарства. Она запомнила названия фирменных джинсов, которыми не могла обладать, сигарет, которых не удалось покурить, концертов, которых никогда в жизни не слышала, с тем чтобы щеголять ими в кругу людей менее осведомленных. Это была мучительная от ежедневной опасности попасть впросак романтика. Таню Елагину оскорбило то, что Надя Черкасова никоим образом от нее не страдает.

Я решила возобновленной перепиской избавить Надю от нелепости, раскрыв глаза на окружающее время:

«Здравствуй, Надя! Только что я зачеркнула кучу слов типа «дорогой», «хороший». Понимаешь, в чем дело? Я не могу писать этих слов. А если и пишу, то обязательно сопровождаю гримасами. Так что давай сразу договоримся: я не буду писать подобные слова. И не говори, что любишь меня. Я этого не заслужила, хотя бы тем, что не могу сказать тебе в ответ этих же самых слов. Ты познаешь мир только чувствами, а я только разумом. Ты любишь Люду, маму,

животных, а я ни одного человека на земле. Да. Ни одного. Мне давно приходила в голову эта мысль до твоего письма, которое неожиданно пришло и поставило передо мной вопрос: любишь ли ты кого-нибудь? Я ответила, что никого, к сожаленью; и мне стало страшно.

У меня есть друзья. Мы друг другу признались, что не можем жить друг без друга. Да, я не мыслю своей жизни без них. Но я их не люблю. Может, это и есть любовь, когда не можешь жить без человека. Но мне кажется, что любовь должна сжимать сердце, наполнять его нежностью и все в этом духе. Что-то подобное я испытывала в детстве. Но мои чувства отчего-то умерли одно за другим. И вот к сегодняшнему дню мы имеем следующий скудный набор: злость, веселье, балдеж (это разновидность веселья, но с вином). Этого мало. Я знаю, что обедняю себя. Но мне надо большой любви или вовсе никакой, большой нежности или ее совсем не надо. Но большие чувства требуют достойного приложения. Не разменивать же их на таких же эмоционально тупых, как я. А их большинство. Они заняты своей успеваемостью, своим благополучием и т. д. Часто среди них становится тоскливо.

И в то же время мне сознательно не хочется быть такой, как ты. Человека делает не только родительское воспитание, но и время. Каждый век требовал от людей определенного процентного соотношения чувств и разума. Ты совсем не хочешь прислушаться к своему времени. А если прислушаешься, то оно скажет тебе о своем предпочтении разумного начала. Все уходит корнями в материальную почву. Это предпочтение основывается на развитии средств коммуникации, транспорта, ритме современной жизни. Количество контактов между людьми увеличивается, но глубина их уменьшается.

Есть два вида общения: фактическое — это общение низшего типа, ему можно обучить электронно-вычислительную машину — и общение высшего типа, при котором происходит обмен собственными частями души. Тем не менее по вышеизложенным причинам именно общение низшего типа становится общением века. А чтоб владеть им в совершенстве, чтобы обмениваться информацией равноправно, необходимо очень много знать, быть эрудитом.

В каждом веке есть свои лишние люди, процентное содержание чувств и разума у которых резко отличается от требуемого временем. Мне кажется, что это ты, Надежда. Современность должна быть во всем, даже в фасоне юбки».

«В моих руках письмо взрослого человека, и, откровенно говоря, я оробела. Ты так умна, что я не смею вести разговор о жизни с тобой, думая, что каждая моя мысль будет осмеяна.

Все правильно. Все меняется. И если ты писала о лишних людях, то меня можно назвать обыкновенным жизненным отбросом. Я сама и произвожу и потребляю продукты собственных воображений. Поэтому мне нередко кажется, что я элемент выдумки и нереальности. Дело в том, что я живу всем тем дорогим, что было в моей жизни, тем, что кончилось тяжело или радостно. Сейчас, когда я все острее ощущаю все, что происходит в повседневной жизни людей, я все чаще уйду в свое убежище: раздумья, мысли, память. И, помимо, стремление к чему-то необычному, сказочному овладело мною раньше, чем я успела почувствовать недовольство окружающим миром.

Ты понимаешь, Танюша! Не жизнь, а сплошное забытие и отрешенность. Казалось бы, я неплохо устроилась. Но отдельные обстоятельства, например общение в транспорте или ответ у доски, буквально стягивают меня вниз и тут же колот со всех сторон, вызывая окончательное раздражение. Ты скажешь: «Как же так? Ведь тебя будут считать просто-напросто идиоткой». Именно так, Танюша, я и выгляжу: дурная, смешная, вечно с заскоками, ужасная непоседа.

Меня постоянно раздражает то, что меня все одергивают, пытаются втянуть в колею современной жизни. Я не хочу вариться в общем котле. Я хочу сделать то, что желает душа. И оттого, что я иду по следам своих внутренних желаний, создаю дикое впечатление...»

В письме была Надина фотография. Я была поражена ее повзрослевшим лицом: длинные волосы уложены в пышный узел, в огромных глазах печаль. А в уголках маленького рта твердость. И как посмотришь после этих уголков на глаза, так в них вроде бы не печаль вовсе, а сила. На обратной стороне фотографии я прочла стихи:

Подкралась грусть к подножию раздумий
 И незаметно душу вовлекла
 В мир, застилающий след тяжести утрюмой,
 И нежной болью грудь обволокла.
 Живу я днями теми, что навеки
 В порыве жизни ветер оборвал
 (Как обрывает листья с крепкой ветки)
 И в памяти моей их очертал.
 Я не живу, а лишь слегка касаюсь
 Своими крыльями поверхности земли.
 Я не живу, а только молча маюсь
 На этом свете, полном грусти и тоски.

Я долго вертела в руках фотографию, пытаясь собрать воедино человека, изображенного на ней и писавшего стихи. Наконец они слились: первый, сильный в такой степени, чтоб не вариться в общем котле, защищал второго, который варился в собственном соку и писал стихи, которые мне ужасно не понравились. Друг без друга они смысла не имели.

Избавлять Надю от нелепости, которая, оказывается, сознавалась и старательно культивировалась, было бесполезно из-за силы первого человека. Идеям, которые я кинула в своем письме, Надя развития не дала, как я это привыкла делать со своими друзьями. Но тем не менее переписка продолжилась. Я познакомила Надежду со своим творчеством:

Мне мочи нет переносить квартирную тоску!
 Сквозь зубы цедить учебников микстуру!
 И на экзамене, ворочая язык-доску,
 Терпеть учительскую диктатуру!

Создавалось общение не в духе времени — шел обмен составными частями души.

Подъехав к стеклянной коробке аэропорта, я отдала шоферу три рубля и вошла в помещение. Стулья, вдоль которых брели мои ноги, были заполнены людьми. Я не могла найти ни одного свободного сиденья. Где-то наверху сверкнула вывеска «Зал ожидания для военнослужащих». Я поднялась и увидела бесчисленное множество свободных сидений, и только устроилась в самом дальнем углу, как почувствовала, что голова нестерпимо болит. Казалось, что в ней сидит маленькая Лидия Николаевна и колотит по моему черепу изнутри молотком. Я закрыла глаза и встретила пустой, злой взгляд Василия: «Вот что, Татьяна! Сматывайся на!!!» «Сматывайся! Сматывайся!» — радовалась маленькая Лидия Николаевна в голове. Я открыла глаза. Напротив спал курсант, запрокинув голову и раскрыв рот. Попытавшись вздремнуть еще раз, я встретила злые глаза Василия и решила больше ничего не делать. Лидия Николаевна овладевала новыми методами издевательства: взяла мои нервы за концы и стала приводить их в волнообразное движение. Ноги задрожали, каблуки начали стучать по плиткам пола. Я прижала колени руками, но задрожало все вместе. Мне осталось сжаться как можно сильнее и смотреть на спящего курсанта с запрокинутой головой.

На первом курсе института выяснилось, что Надин отец, которого она никогда в жизни не видела, живет в городе А. Я предложила свои услуги на тот случай, если наличествует желание иметь представление, как выглядит родной отец. Надежда прислала адрес и предупредила, чтоб я не пугалась, увидев дряхлого старика. Ибо отцу недавно стукнуло шестьдесят.

Окна, которые, по моим расчетам, должны были принадлежать квартире Надино папы, сразу бросились в глаза среди благополучных тюля и штор. Они были занавешены простынями. Только нажимая на кнопку звонка, я задала себе вопрос: а что я, собственно, скажу? Ответа не приходило в голову, и, обрадованная молчанием за дверью, я выбежала из подъезда.

Во второй раз я пришла дней через десять и уже заранее знала, что буду спрашивать, здесь ли живут Ивановы. Окна были занавешены все теми же простынями. И все то же молчание встретило меня после нажатия на звонок.

«Все ясно, — думала я, звоня еще раз. — Уехали. Окна простынями занавесили». И вдруг молчание безо всякого предшествующего шарканья шлепанцев сменилось громким криком:

— Кто там?!

— Это я, — ответила я голосу.

— Кто я? — спросил голос.

— Откройте, пожалуйста! — попросила я.

Голос был страшно сильный. От него хотелось присесть, выложить быстро всю правду и смотаться. Но хозяин его не собирался себя показывать. Он еще раз громко спросил, что мне нужно, и добавил уже возмущенным голосом:

— Девушка, я не могу долго стоять! У меня нога больная!

Сильный голос сделал ударение на слове «меня». Поняв, что хозяина увидеть не удастся, я решила компенсировать скудость полученной информации длительностью разговора. Прозвучал вопрос, стоявший в плане первым после предполагаемого открытия двери:

— Здесь живут Ивановы?

— Какие Ивановы?! — закричал голос за дверью. — Это вы, девушка, десять дней назад сюда приходили?

— Нет, — ответила я нетвердым голосом.

Мне казалось, что сильный голос видит меня насквозь даже через дверь и понимает, что я все вру. Он до того парализовал мою фантазию, что я не смогла объяснить, какие мне нужны Ивановы. Поэтому пришлось оборвать разговор быстрым «до свидания» и, прыгая через ступеньку, слышать, как сильный голос не переставал греметь:

— Девушка! Объясните, какие вам нужны Ивановы?!!

Я пришла домой и сделала выводы для себя. Наверняка Надин отец был большим начальником. Иначе с чего бы стали мои колени подгибаться после его крика? И потом, эта возмущенность по поводу того, что потревожили больную ногу его собственной персоны.

Затем я взяла листок бумаги и сделала выводы для Надежды. Отец находится в бедственном положении, он по всем приметам болен: от моего звонка до его появления у двери прошло минуты три, он сам сообщил, что болит нога. Ну, и дверь не открывалась по причине того, что отец был поднят звонком с постели. По другим приметам он одинок: у него на учете каждый стук в дверь. И за десять дней мои, видимо, были единственными. Вдобавок эти простыни на окнах свидетельствуют о том, что нет в доме заботливой женской руки.

Я выдвинула романтически окрашенную версию: сильный человек болен и одинок, но он все еще сильный человек, потому что его голос не утратил могучей силы, которая даже из-за двери заставляет повиноваться ему.

Объявили регистрацию билетов. Я встала и медленно пошла. В сознании проступали лишь молотки, бьющие по черепу изнутри, а люди, кресла и чемоданы проплывали однородной расплывчатой массой. Перед посадкой я покурила в туалете, а в кресле самолета ко мне пришло спокойствие. Мысли вернулись к Сергею Нинашеву, к которому я решила идти сразу же, как только прилечу. Таня Елагина была просто уверена, что там ее встретит добро, потому что в ее голове не оставалось места для зла, вернее, для его осмысления.

Надежда прилетела через месяц после моей романтически окрашенной версии. Был конец марта. Мы шагали по тающему снегу к дому ее отца. После двухгодичной разлуки я молчала рядом с ней, как и прежде.

Когда мы выходили из подъезда, к нам пристали двое парней. Загородили дорогу и не пускали. Я остановилась и смотрела на их наглые рожи испуганно и заискивающе. А Надежда, взяв меня за руку, толкнула одного из них плечом и, глядя только перед собой, сама прошла между парнями и меня провела. Я вспоминала ее стихи. Девушка, которая только что толкнула парня плечом и взяла меня за руку, не могла писать таких стихов.

Надежда с сильным красивым телом и огромными черными глазами восторгалась по поводу того, как я похорошела. А я видела ее красоту, не выпускала из головы того, как решительно взяла она меня за руку, и чувствовала ее превосходство. Поэтому в искренность Надиных слов трудно было верить. Ведь не могла же она сама не чувствовать своего превосходства.

Мой благополучный мир снова дал трещину, после того как Надежда сообщила о том, что ее мама сидит в КПЗ за то, что стащила в универсаме бутылку вина. Она это сообщила вовсе не спокойным голосом. Слегка раздраженным. Я таким выгоняла по утрам из ванны младшую сестру. Может, оттого, что о женщине, стащившей в магазине бутылку вина, рассказывала Надежда, не хотелось спешить с осуждением. Я старалась понять маму этой чистой, гордой девушки. Но как и несколько лет назад, в голове не укладывалась женщина, преподававшая в школе литературу, а потом утащившая из дома последнюю ценность — книги. Она нигде не работала. Каждый вечер домой приходил новый мужик. Играла музыка, опустошались бутылки. И хотя я уже не пыталась делать сравнения, и со своей мамой тем более, от этого Надина мама не становилась мне понятней.

В подъезде Таня Елагина встала у подоконника, чтобы не мешать трогательной сцене первого свидания дочери с отцом. Надежда позвонила. И взволнованное дыхание, закрытые глаза и лоб, прислоненный к двери, превратили ее в ту самую Надежду, которая писала стихи. После второго требовательного звонка, разрушая возвышенность происходящего, за дверь раздался знакомый Тане громкий голос:

— Кто там?!!

— Я, — ответила Надя. — Это я!

— Кто я?! — загремел голос.

— Откройте, пожалуйста, дверь. Я вас очень прошу.

Сильный голос попросил не морочить ему голову.

— Мне нужно на вас посмотреть! — сказала Надежда.

Каждое слово она произносила очень бережно и значительно, но голос за дверью вопреки законам душевной тонкости не желал ни о чем догадываться и еще раз возмущенно спросил:

— Кто вы такая?

Таня Елагина, как человек знающий, посоветовала взволнованно дышавшей Наде сказать правду.

— Я ваша дочь! — громко произнесла она. — Ваша дочь Надежда.

За дверью раздалась возгласы, в которых к сильному голосу примешивался еще чей-то. Дверь отворилась, и Надя зашла. До Тани доносился взволнованный сильный голос, объяснявший, что сию минуту брюки будут надеты. Она стояла у окна в подъезде и размышляла, чего в данном случае требует от человека врожденная деликатность. А увидеть хозяина сильного голоса очень хотелось. Поэтому Татьяна не замедлила подняться наверх, когда Надежда позвала ее. На кухне сидели трое: Таня Елагина, Надя Черкасова и старуха с тревожными глазами, у которой беспокойно урчало в животе. И наконец в конце коридора появился высокий широкоплечий старик. Он стремительно вошел на кухню, вздымая ногами трехсантиметровый слой пыли, которая серым ковром лежала всюду, за исключением тропинок, проложенных по наиболее употребляемой поверхности пола.

— Ну, здравствуй, здравствуй! — сказал Виктор Сергеевич громко и красиво, протягивая Надежде руки. На нем было какое-то рванье, но в сочетании с бородой и откинутыми назад седеющими волосами это очень эффектно выглядело.

Надя взяла его протянутые руки, закусив губы, и сделала, по мнению Тани Елагиной, совершенно не нужное в данной встрече — обняла своего отца и расцеловала. А нужно это было или нет, об этом надо судить исходя из целей, которые поставила перед собой Надежда. У нее была одна-единственная цель — любить отца. А Таня видела единственно возможную цель поездки в том, чтобы узнать, что он из себя представляет. И поэтому все, что делала Надя, казалось ей игрой не на публику, а для себя. Виктор Сергеевич позна-

комил свою мать со свалившейся с неба дочерью. Ее Надежда тоже поцеловала и обняла. Потом он вспомнил про Таню и спросил:

— Это кто?

Надя объяснила, что это ее подруга, которая проживает в городе А.

— Виктор Сергеевич. — Надин отец протянул Тане Елагиной руку.

Она назвалась и протянула свою. Виктор Сергеевич и Таня взглянули друг другу в глаза с изучающей жадностью. Глаза Надиного отца были пронзительными и не то чтобы молодыми, а тридцатилетними.

— Это ты два раза приходила к нам? — спросил он.

Таня подтвердила, после чего Виктор Сергеевич сообщил, что это она во всем виновата. Слова недоумения, готовые вырваться из ее раскрытого рта, подавил его громкий голос:

— Молчи! Я сейчас все объясню... Мамочка, сидите! Нет, нет, здесь сидите, в углу. А ты, Наденька, сюда сядешь, к окну. Вот так. Сейчас я вам все объясню. — Виктор Сергеевич встал в центр кухни, откинул волосы назад, и на некоторое время его взгляд ушел в стену. — Дело в том, что я болен. У меня фобия. Я боюсь черного цвета. Я не подхожу к окну, потому что не дай бог по улице в это время идет кто-нибудь в черном. У меня перехватывает дыхание и пот выступает на лбу. Молчите! Я знаю, что это глупо! Но ничего не могу поделать с собой. Вот вы... Кто из вас звонил в дверь? Ты, Наденька? Вот ты держалась за черный звонок, а руки после этого не вымыла. Давай, голубушка, пойдем! После черного цвета нужно всегда мыть руки.

Наденька с серьезным лицом вымыла руки, старательно вытерла их полотенцем, и Виктор Сергеевич посадил ее на прежнее место. Сам встал в центр кухни и продолжил:

— Еще я боюсь новых вещей. Посмотрите, в чем я! А там! В шкафу! Лежит новый костюм и шлепанцы чехословацкие. Три года лежат. Все уже, наверное, моль съела...

Он ткнул в Таню пальцем во второй раз и повторил, что это она во всем виновата. Виктор Сергеевич сказал это таким ужасным голосом, что Таня, не чувствуя за собой никакой вины, готова была извиниться за что угодно.

— Ты пришла ко мне тринадцатого!!! Это число!.. Вы знаете, что все несчастья в моей жизни происходят именно тринадцатого?! Поэтому в первый раз я и сам не пошел открывать, и мамочку не пустил. Потом я посмотрел в окно и увидел... девушку в черном пальто. Я тогда догадался, что все это неспроста: и тринадцатое число, и черное пальто. И вот через десять дней, двадцать третьего... двадцать третьего умер мой папочка!.. снова приходит девушка, и снова в черном пальто. Ты можешь себе это представить?!!

Виктор Сергеевич потряс ладонями перед Таниным лицом.

— Как ты меня перепугала! Я решил выяснить, кто ты такая, и когда спросил: «Какие Ивановы?» — ты сделала вот так. — И он очень похоже избразил одну из Таниных гримас. — Я по профессии режиссер. Быстро схватываю суть людей. А тебе нужно было сказать: «Я от Наденьки» — и все бы было в порядке. У меня после твоих визитов болело сердце!

Таню не покидало чувство того, что этот эффектный старик над ней издевается. Но взгляд его серых тридцатилетних глаз был стопроцентно серьезен. Виктор Сергеевич привлек Надю к себе, которая не замедлила броситься ему на шею и осыпать поцелуями, и распорядился оставить меня со старухой на кухне, а самому уйти в большую комнату с Надеждой и поговорить наедине.

Оставленная один на один со старой женщиной, я с ужасом ждала, что сейчас начнется описание жизни со всеми дорогими ее сердцу подробностями. Случилось так, как я предполагала. Пришлось, написав на лице житейскую мудрость, просидеть с четырех до семи вечера. В квартире был ужасный запах, клеенка, на которой покоился мой локоть, подпиривший шеку, готова была рассыпаться от дряхлости. На полу, утопая в пушистом ковре пыли, стояли бесчисленные банки и бутылки. И старухина жизнь со всеми ее обидами и операциями под непрерывное урчание живота нагнала на меня невероятную тоску. В семь часов описание жизни кончилось рассказом о Витиной болезни, которая заставляет его сидеть взаперти и ее тоже никуда не пускать. На кухне наступило молчание. Был слышен голос Виктора Сергеевича, с жаром о чем-то рассказывающий Наде. Я попросила показать семейный альбом, если тако-

вой имелся. Не успели мы с бабушкой ступить в комнату с вывернутыми лампочками, как Виктор Сергеевич, выплывший из темноты, закричал, чтоб мы ни в коем случае этого не делали. Он нам на следующий день обещал объяснить почему. До половины девятого перед моими глазами снова были банки, ковер пыли, дряхлая клеенка и урчание старухино живота. В 1938 году ей там что-то вырезали.

Что было потом? Потом Надежда безумно полюбила своего отца. Все пять дней она проводила за разговорами с ним, пока в четыре часа я не приезжала к ним с занятием. И все пять дней на клеенке, готовой развалиться от дряхлости, стояла бутылка вина. Действие алкоголя благоприятно сказывалось на болезни Виктора Сергеевича: черный цвет переставал бросать его в дрожь. С вымытыми после черного звонка руками я все пять дней неизменно с ним выпивала. Он торжествовал: «Я же вам в первый день сказал, что Танечка обязательно будет со мною пить!» Поднося к губам рюмку, Виктор Сергеевич хватался за маленькую икону в кармане. На просьбу объяснить, что сие означает, он говорил: «Потом» — и, рассадив всех в неизменном порядке на кухне, откинув волосы назад, начинал что-нибудь рассказывать. Со всей страстностью и неистовостью своей натуры он поведал нам, как бесчеловечно его обманули при покупке мебельного гарнитура девять лет назад. Своим сильным красивым голосом он громил строителей за неправильно привинченную к ванне трубу. Рассказы о работе в театре, сделанные по моей просьбе, тоже были интересными. Виктор Сергеевич по-новому поставил и сам сыграл чеховского «Медведя». Сделал из весельчака и балагура фигуру немного трагическую и навевающую раздумья.

Он очень много и интересно рассказывал и ничего не спрашивал. Потом мы с Надеждой отправлялись ко мне домой. Ночи были заполнены разговорами.

— Фобией он заболел, после того как умер его отец. Это было большим потрясением для папы. Он совсем не хочет видеть людей. Потому-то ненавидит их. Они причинили ему много зла. В первую очередь его жена. По ее вине умер пятилетний сынишка. Она выкупала его и плохо одела. Он умер от воспаления легких. После этого он ненавидел свою жену, а к дочери у него никогда привязанности не было. Сейчас он совсем один...

Приехал на машине узбек, лет тридцати. Красивый. Собирались с мамой ехать куда-то и варить плов. Бабка вертелась около него, как всегда. Мужики вино притащат, она свое урвет, напьется — и ничего ей больше от этой жизни не надо. Остались мы с этим узбеком в комнате одни, и он начал со мной разговаривать: «Какая ты хорошая девочка! Как ты учишься?» Я ему отвечала в таком же шутилом тоне. Тут он говорит: «Ах ты умница. Дай я тебя поцелую». Я подошла. Думаю, что он меня сейчас шутиливо в щечку... Он меня поцеловал! Я его оттолкнула, а он начал говорить, что любит меня, что только из-за меня сюда приезжает...

С Васей мы познакомились прошлым летом, когда с Людой поехали отдыхать. В первый раз он мне ужасно не понравился. Подошел пьяный на танцах и пригласил. Я вообще ужасная противница всяких случайных знакомств. И поэтому, как он пристал ко мне после отказа с ним танцевать, я исколола его словесными язвами. В следующий раз он был трезвый, и Люда посоветовала мне с ним задружить. «Парень, — говорит, — симпатичный». Я с ним в первый раз поцеловалась... До того намучилась с ним, что не могу этот период жизни вспоминать. Слишком больно. Знаешь, как вспоминаю? По запахам. Повеет иногда чем-то таким, как тогда пахло. Или музыка заиграет, под которую мы с ним танцевали. Я до сих пор не могу понять, как он встречался со мной и в то же самое время с другой девочкой. Когда я узнала и обо всем откровенно спросила, он сказал: «А... это был маленький Ташкент». Ты чего-нибудь понимаешь?..

Я очень хочу, чтобы ты познакомилась с моей мамой. Она была такой начитанной, образованной, так любила музыку. А сейчас это не моя мама. Пьет до того, что у нее зрачки закатываются. Она никогда не видела от своей матери ласки, поэтому трудно судить о плохой стороне моей мамы. Это человек со сломанной судьбой. И указательный палец моего разума указывает на бабуку. Я

ее ненавижу за это и не раз об этом бабушке говорила. Она, конечно, ни хрена не поняла. Твердит: «Я столько добра ей сделала за всю ее жизнь»...

Знаешь, как я с ним намучилась? Он был ужасно разочарован в жизни. Когда уходил в армию, девушка обещала его ждать, а через год замуж вышла. И после этого он перестал верить всему белому свету. Знала бы ты, скольких усилий мне стоило его отогреть, заставить поверить в меня. Он понимал это и сам боролся с собой, но неуверенно и с боязнью за то, что обманется еще раз. Находясь рядом с ним, я была такой сильной. Когда мы расставались, я прочитала ему стихи, которые написала специально для него. Танюша, он даже заплакал...

Я мало что знаю о бабушкиной молодости. Она была красивая, а ее муж был на двадцать лет ее старше. Начал за бабушкой ухаживать, когда она была еще в седьмом классе. Любил мою бабушку безумно. Дедушка погиб в Великую Отечественную войну. А бабушка так ни за кого и не вышла. Может, оно и к лучшему: в гроб бы загнала со своим характером. С бабушкой они очень плохо расстались. Он работал директором школы в провинциальном городишке. Однажды после охоты он зашел на мельницу, где с мельником они немного выпили. Мельник уснул, а у мельничихи оказались бабушкины глаза, большие, черные. Они согрешили. Дедушка вернулся, встал перед бабушкой на колени и во всем признался... И после этого они два года вместе не спали. Потом началась война... Женщина была гордая...

Люду я люблю больше жизни, вернее, жизнь я люблю не очень, но все же именно мысль о Люде удерживает меня от всяких поступков. Один раз я все же проглотила ртуть из градусника. Нинка Сарафанова довела. Ей надо было писать сочинение, иначе по литературе выходил тройка, а сама она не может на четыре. Все как-то отказались, прикрылись делами, и вышло так, что я должна была писать это сочинение. Самое паршивое для меня занятие. Именно меня она назвала эгоисткой и еще как-то. Дома я разбила градусник и проглотила каплю ртути. Я всегда считала, что от нее можно умереть. Потом пошла к Люде проститься. Только вышла из дома — Нинка с Людой идут. И когда я их увидела, то никакого раскаяния в душе не возникло. Вот, мол, глупая, что я наделала. Спокойно сообщила, что выпила ртуть, и мы сели в автобус кататься. Я не умирала. Наутро Людка пришла в класс злая. У нее волосы светлые, а глаза черные, как смородины. Она в меня ими стрельнула и не поздоровалась. Сашка ей сказал, что вредна не сама ртуть, а ее испарения...

Таня Елагина не молчала, она тоже рассказывала. Правда, не про себя. Например, про одну знакомую девочку, которая курит со школьной скамьи вместе с мамой. Обе потрясающе красивы. А отец семейства ничего об этом не знает. Или вот такой есть знакомый — мечтал поступить в духовную семинарию, сейчас учится в консерватории и подрабатывает в церковном хоре. Произвел небывалый фурор, пройдя по главной улице в рясе. А другой знакомый пришел на демонстрацию с зеленым надувным крокодилом на веревочке. Причем был трезв как стекло. Надя удивлялась и восторгалась этими историями, которые уже года два, как истасканные вещи, ходили среди молодежи города А. Тане было плохо.

Надежда уезжала, твердо уверенная в том, что приедет к отцу еще раз, может сделать ремонт, развеселит его и встряхнет. И еще была у нас идея: сходить к тридцатидевятилетней дочери Виктора Сергеевича (ровеснице Надиной мамы) и постыдить ее за то, что она бросила своего отца.

Со дня отъезда Надежды до ее второго визита я получила два письма. В первом она рассказывала о встрече с мамой в КПЗ:

«Ждала как на иголках свидания с мамой. Увиделись в воскресенье. Она такая свежая, беленькая, пополнила. Выглядит просто отлично. За два часа я рассказала, что могла. Главное, я говорила о папе: о его болезни, одиночестве, о желании приехать к нему еще раз. Я смотрела на маму и поражалась. Сколько перенесло в жизни это хрупкое, кроткое, не приспособленное к жизни существо! На ее глазах были слезы, когда я передала просьбу отца приехать к нему. Откровенно говоря, я боялась, что она скажет «нет». Это было в ее праве. Но я прочла в ее лице готовность опять принести себя в жертву. Мама сказала: «Я согласна». Когда у меня все поплыло от слез, она добавила: «Я это сделаю ради тебя». Потом мы начали представлять нашу семью. Наконец-то

мы будем все вместе. «Я почему-то все эти годы верила, что он поймет и оценит все, но я боюсь, что это случилось слишком поздно», — сказала она. Я тоже понимаю это, но сейчас мне кажется, что нашему счастью никто не может помешать. Моя мама без колебаний решила ехать. Ее выпустят в мае, и она сразу поедет. Но в свое время она так жестоко была им отвергнута, что ей не верилось, что он ее зовет. Они познакомились, когда один из маминых знакомых привел ее в театр на репетицию. Вышло так, что папа повез ее до дома на такси. Мама говорит, что ей с ним было очень хорошо. И когда уже на седьмом месяце она пришла к нему и попросила: «Виктор Сергеевич, возьмите меня к себе», он отказался. После того как родилась я, на моей маме сразу женился Черкасов. Его родители были против, но он очень любил ее».

Собралась в один прекрасный майский вечер Таня Елагина делать доброе дело. Сжала зубы и зашагала к отцу своей подруги. Навестить, так сказать, старичков. Подруга очень просила хоть изредка это проделывать. Пять дней, проведенных за разговорами в грязной комнате, вонявшей мочой, заставили ее полюбить этого эффектного шестидесятилетнего старика с бородой. Так вот, Таня сжала зубы и пошла навстречу большим приключениям. Этого она, правда, не подозревала.

Поцеловала по захождению в комнату старушку мать и через пять минут уже бежала по улице, сжимая в руке деньги. Старик решил выпить. Принеся бутылку емкостью в 0,75 литра, Таня опустошила ее наполовину. Простим ее за это. Ей было невыносимо сидеть среди ковра пыли, облокотясь на дряхлую клеенку, и слушать, как Виктор Сергеевич рассказывает со всей страстностью и неистовостью своей натуры о том, как бесчеловечно его обманули при покупке того же самого мебельного гарнитура. Танины робкие попытки сорваться домой подавлял могучий режиссерский голос. «Я люблю выпить, — говорил Виктор Сергеевич, потрясая руками перед ее лицом. — Душу свою развернуть!» — и начал рассказывать наизусть толстовское «Воскресение», изображая в лицах Катюшу Маслову и Нехлюдова. Девушка раскрыла рот, но это не мешало ей заметить, что старик останавливается на сексуальных моментах больше чем надо.

В десять часов Таня снова выбежала на улицу. Ее фигура чертила синусоиду по направлению к ресторану «Заря». Виктору Сергеевичу захотелось выпить еще. И хотя все магазины были закрыты и в переполненные рестораны не пускали, Таня нимало не сомневалась в том, что она достанет бутылку. Этому хитрому искусству — доставанию бутылки в двадцать два часа ночи — ее научил бывший режиссер драматического театра. Около дверей ресторана стоял строгий швейцар и сдерживал напор толпы, желающей прорваться и достать горячительных напитков. «Мне к Алле Алексеевне», — деловым голосом бросила пьяная Таня швейцару, и стеклянные двери беспресловенно раскрылись для нее. Она шла среди громкой музыки, пошлых мужиков и старательно отштукатуренных девиц по направлению к буфету. За стойкой скучала дама с огромной грудью и злым лицом. Около нее вертелся потертый тип, и на его шикарную просьбу: «Дайте, пожалуйста, пару тех шоколадок, таких же симпатичных, как вы сами», — Алла Алексеевна с ненавистью крикнула: «Я злая, некрасивая женщина!!» Таня явилась в тот момент, когда раздражение буфетчицы было на пределе и, наверное, ей хотелось стрелять в ежечеловечно повторяющиеся грязные рожи, но не было рядом автомата. Таня разлеглась на стойке и сказала: «Пжалста, дайте бутылку вина. Виктор Сергеевич просит. Я подруга его дочери». Алла Алексеевна испуганно посмотрела на девушку, которая никак не годилась в подруги законной тридцатидевятилетней дочери Виктора Сергеевича, и дала ей бутылку марочного вина...

Выпили еще.

— Танечка, ты куришь, — сказал Виктор Сергеевич, а не спросил. — Только не ври.

— Да... — протянула Таня удивленно, хотя только пьяный мог увидеть в этой догадке большую проницательность.

Старик сообщил, что она девушка в его вкусе, и шикарным жестом протянул «Беломорканал». Далее этот красноречивый дяденька учил Таню жить. Говорил красиво и замечательно о том, что нельзя объять необъятного, нужно уже сейчас выбрать, из чего ты в своей дальнейшей жизни будешь черпать на-

слаждение. Сам лично он чтит женщину. И к выбранному тобой надо идти любыми путями, стараясь не задевать других людей. А если кто-нибудь сделает тебе гадость (гадких и подлых людей ох как много!), ты этого человека забудь! Выкинь из головы! Не замечай! Но и щеку вторую... нет!.. не подставляй!!!

— Ты знаешь, Танечка, что пятидесятилетний мужчина сделает для тебя все, если ты сядешь рядом и юбочку свою на пять сантиметров выше задерешь. Пять сантиметров! Он сделает для тебя после этого все. Он больше ничего не потребует. — Старик подвинулся совсем близко. — Я бы очень хотел написать книгу о себе. И назвал бы ее «Человек-никто». Это здорово звучит, правда? У тебя умные глаза, ты должна понять, как это здорово — Человек-никто! Я был маленьким и уже тогда читал на митингах стихи. В школе меня носили на руках. Все предсказывали мне великое будущее. И вот теперь кто я такой?! Я никто! Никто!

Не успела девятнадцатилетняя девушка высказать утешительные соображения по этому поводу, как очутилась на раскладушке под шестидесятилетним стариком, который повторял:

— Мне с тобой хорошо. Я просто хочу тобой кончить.

А Таня была до того пьяна, что не испугалась. Она решила, что надо бы заплакать, и так, чтобы старушка мать в соседней комнате услышала.

— Я милицию позову, — хныкала она. — Я Наденьке скажу.

Появилась старуха, повторяющая: «Витя! Витя!» — и Тане удалось принять вертикальное положение. Тут она начала обкладывать двух стариков матом таким, знаете, грубым и сильным голосом.

Может, кому и посчастливилось увидеть эту девушку где-то около двенадцати, бредущую по асфальту. Она то кусала руки, то громко хохотала, раскачиваясь на полусогнутых ногах из стороны в сторону.

В конце мая от Нади пришло второе письмо:

«Я ничем не могу тебя порадовать. Сейчас мне кажется, что все рухнуло: все планы, вера в лучшее. Чем ближе подходил день маминого возвращения, тем сильнее нарастала в моей душе тревога: какой она придет и что будет дальше? Дома ей надо было создать такую обстановку, чтобы она не нервничала, а для этого я бабке строго-настрого запретила пить. Ох и намучилась я с ней за это время. Напьюсь до моего прихода, и тут хоть лупи не лупи — бесполезно. В день маминого возвращения я пошла в школу, сунула, как обычно, бабке кулак под нос: «Попробуй напейся!» Нынче эта фраза прозвучала более угрожающе. Когда вернулась, услышала мамин голос, и мне показалось, что она такая ласковая, домашняя, будто никуда не отлучалась. Посвежевшая, полненькая, только седины в волосах много. Рассказывала о жизни в тюрьме. Говорила, что собрала всю выдержку и ни с кем там не общалась. Незаметно целый день проговорили. А бабка уже успела купить две бутылки и одну опустошить. Я оскалила зубы, как собака, и втихаря подлетела к ней. Мама сказала, чтобы я не унижала ее подозрениями, что она очень много передумала обо всем там, когда мыслям была предоставлена полная свобода. Но под вечер она попросила у бабки выпить, и я поняла, что то, чего я так боялась, свершилось — все начинается сначала. До начала экзаменов пошли сумасшедшие дни, нервы мои натянулись до предела. Оба они напивались как хотели. Мама ушла к своему другу, с которым ходила до ухода туда. Однажды, когда никого не было дома, а ключ от дома мы ей не дали, этот тип залез по балкону на наш, разбил стекло и вошел в квартиру. Опять музыка, пьянка. Голова моя пошла кругом. Я зашла в тупик. Что делать дальше, не знаю. Я-то думала, что она поедет к папе, подбодрит его, развеселит, как мы решили в день, когда она была трезвая. И куда делась ее свежесть? В эти дни она свернулась, как сухой лист. Под глазами морщины, работать не хочет. На почте алименты я придержала. Женщина сказала, что выдаст деньги мне, когда мы придем вместе, и пристыдит ее. Если эти деньги не попадут ко мне, то ни туфель, ни платья к выпускному не видать. Как там папочка? У него сейчас одна надежда на меня. В начале июля должен приехать Вася. И я не знаю, как быть. Ведь я должна быть у папы после выпускного бала. Скорей бы отделаться от школы и быть готовой к любым трудностям, лишь бы два этих человека были счастливы».

Родной город встречал меня холодной ночью, будто предупреждал, что ничего хорошего в мое отсутствие не приготовил.

Я просидела в зале ожидания до восьми часов. Ждала, когда проснется Нинашев, чтобы сразу ехать к нему. В туалете, где я курила, меня встретило серое страшное лицо, но было наплевать на внешний вид. На улице схватывало дыхание от сорокаградусной температуры. Я шла к троллейбусной остановке сторбленная и твердила себе, что все будет хорошо, что Нинашев приходил ко мне, но меня не было дома, и он расстроился, узнав об этом. Что он прижмет меня к себе, и я спрячусь в его плече от пустых глаз Василия, от крика Лидии Николаевны: «Она у нас деньги крада!» — от всего на свете.

...Тогда я не знала, что написать Надежде. Искала слова — насмешливые, добрые, деликатные, — но с их помощью нельзя было передать того, что я хотела сказать, вернее, крикнуть. Меня крутили свои дела — сессия, экзамены. В середине июля я познакомилась с Нинашевым. И между всем этим я не переставала искать слов для ответного письма. Надя молчала. Я не ожидала ее увидеть за буднично звеневшим звонком в начале августа. И вот тут я сказала то, для чего не могла найти слов. Я крепко схватила Надежду, рванула ее к себе и, захлопнув ногой дверь, не отпускала Надиных рук. Я хотела стоять, вцепившись в нее, всю жизнь и никуда не выпускать. В глазах Тани Елагиной были слезы. Ха! Наконец-то.

Я отпустила Надю, когда узнала, что она уже четыре дня живет у отца. Меня немного обидело, что Надя зашла к нему первому. Мы не касались темы «Виктор Сергеевич» по какому-то молчаливому согласию. Я рассказывала про Сергея Нинашева, о том, как пытаюсь возродить его веру в людей, которых он презирает и от этого много пьет. Надя говорила про Васю, который к ней приезжал в июле, о том, что мама при нем напилась и устроила с бабушкой скандал. Вася был до того потрясен всем увиденным, что убежал из дома, и Надя нашла его плачущим у забора детского садика. А я решила великодушно молчать о склонностях Виктора Сергеевича.

— Он сыграл на моей любви и жалости к нему. Он говорил, что старый, что к нему никто не ходит, что он один.

Эти слова были сказаны в следующую ночь. Они приоткрыли Елагиной обратную сторону любви, страшную и непонятную.

Утром мы с Надей поехали на стройку, где я работала со своей институтской группой. Около самой стройки мы увидели голубя, тощего и страшного. Он лежал на земле, раскрыв клюв. Зная Надино сострадание к несчастным животным, я сама первая предложила Наде облагодетельствовать птицу. Мы подобрали голубя и положили на пол в бытовке, где передевалась моя группа. Налили воды, крошили хлеба, но раскрытый клюв был не в состоянии ни пить, ни есть. Все это происходило под насмешливыми взглядами моих подруг. «Какие хорошие девочки! Как они любят животных! Все смотрите, как они любят животных», — думали мои друзья.

А я меньше всего хотела, чтоб на нас смотрели. Я хотела, чтоб Надя облагодетельствовала птицу. К концу смены голубь подох. Кто-то стоял на его трупе, не отличив от тряпки. После возмущенных криков: «Кто его сюда приволок?!» — я взяла труп двумя пальцами и выкинула в окно. «Вот твоя любовь к животным!» — констатировала Инга.

А ночью, когда родители и сестра уехали на дачу, с нами случился какой-то припадок. Вспомнили голубя, и Надя сказала по его поводу:

— И на хрена мы его подобрали?

Смеялись долго, бесконечно, не могли остановиться. На несколько мгновений я успокаивалась и, слушая одинокий Надин смех, думала, какой же он страшный. Мы забрали из квартиры Виктора Сергеевича вещи и жили у меня еще два дня. Надя говорила о Васе, я — о Нинашеве. Отца своего Надежда уже не любила. Я обещала приехать в город В.

Надина мама снова оказалась в КПЗ. На этот раз за хранение наркотиков без употребления. В октябре был суд.

«Что я могу написать тебе? Меня нет. Осталась тень, ничто, сухарь, в каждую дырочку которого дует сквозной ветер октября.

За полчаса до начала суда я получила твоё письмо — твою частицу, мою жизнь. Прочитав его, я пошла на суд.

Что было на моей душе? Пусто. Я ни о чём не думала: ни о маме, от которой отвыкла, ни о последствиях, ни о чём. Я давно сделала для себя правильный вывод: неправильный, неумелый шаг мамы — это вина бабки. Поэтому я ко всему была готова и ко всему мой разум отупел.

Нас было двое в коридоре: я и бабка. Машину с мамой ждали два часа. Моё состояние не изменилось за это время. Я не способна была думать ни о чём. Вдруг в конце узкого коридора запахнулась дверь. Это была моя мама в своём вишневом пальтишке и белом беретике. «Доча! Доча! Где она?» — успела произнести мама, проходя мимо бабки, которая была ближе. Я подошла к двери, куда её завели. Поскольку из нее то выходили, то входили милиционеры, я устремила свой взгляд на маму издали. Увидев меня, она прислонилась к решетке и, закусив губы, смотрела. Я чувствовала, что ее душат слезы. В глазах моих помутилось, и я едва сдерживала рыдания. Она умоляюще сказала: «Доча, скажи, чтобы меня не наказывали. Скажи, что я зарабатывала шитьем». Сначала мама была с ними одна, потом вызвали бабку, а уже потом меня.

— Кто распоряжался алиментами?

— После маминого прихода из тюрьмы я получала алименты сама и распоряжалась ими в полной мере.

— Какой образ жизни вела мать?

— Все бы было хорошо, если бы она не выпивала под влиянием этого Малахова, часто бывавшего у нас и водившего своих друзей.

— Мать работала после прихода?

— Она зарабатывала шитьем.

— Сколько?

— Не знаю.

— Что можете сказать о порошке?

— Накануне обыска бабушка сказала, что Малахов что-то прячет в аптечке, но так как мы его побоялись, то в ответ на мое предложение: «Давай посмотрим?» — она сказала: «Что ты! Он нас убьет!» Когда произвели обыск, мы узнали, что именно там хранилось.

— Замечали ли вы, что ваша мать курит что-то подозрительное?

— Мама курила только сигареты.

— А он?

— Он не знаю.

Танюша! Моя мама действительно никакого отношения к порошку не имеет. Это порошок Малахова. А она его прикрыла, сказав, что нашла в бутинке одного из друзей и спрятала, чтобы он не курил. А тот в свою очередь на допросе сказал, что не знает никакого порошка. Малахов же, как его только схватили, сказал: «Порошок хранит Ирка». За хранение без употребления от одного года до трех. Ей дали год.

Когда вынесли приговор, она повернулась ко мне и поцеловала. Я пошла, ничего не видя и не слыша. Я не оглядывалась, зная, что сзади бабка и что если я увижу ее, то разорву на части. За что?! За то, что она бабка, сгубившая сызмальства свою дочь, разорившая две семьи.

Смерть мамину легче перенесла бы, потому что знала бы, что ей легче станет. А тут сколько пережить ей придется?! Боюсь, не вынесет она. А без нее мне нет жизни, без такой, какая она есть — хрупкая, неопытная, несчастная, бесконечно любимая мной. Все снесу, все вытерплю не из благородства, которым она была полна; когда бабку, мать свою, брала с собой жить (у меня его и нет!), а из любви к ней, к матери своей.

Если Вася не придет, я физически не вынесу. Сдохну, как собака. Это куда легче, чем жить вот так, как сейчас. А жить надо. И от этого иногда завить хочется».

Я вышла из троллейбуса и побежала. Задышалась, но бежала до самого дома Нинашева и все твердила себе в такт шлепкам сапог о землю: «Он встре-

тит меня с тревогой. Он спросит, где я была все это время. Он скажет, что приходил ко мне, но меня не было дома. Он не может этого не сказать. По всем законам гармонии меня должно ждать добро, чтобы уравновесить весь тот ужас, все зло, все двадцать девять дней без него. Я поднимусь на четвертый этаж и позвоню. Он откроет дверь и встретит меня с тревогой. Он спросит, где я была все это время. Он скажет, что приходил ко мне, но меня не было дома... Танечка! Милая моя. Хорошая моя! Понимаешь, что не может быть иначе. По законам гармонии противоположности друг друга уравновесят. Не бойся. Он встретит тебя с тревогой. Он спросит, где... Ну звони! Звони!.. Сергей... Почему он отводит глаза? Дай мне твои глаза. Они веселые. Почему они веселые? Кажется?.. Ты меня разлюбил, да? Чего ты пожимаешь плечами? Тогда скажи, какая сегодня температура?.. Я не сошла с ума... А ведь градусник ваш врет, молодой человек. Показывает всего минус тридцать восемь по Цельсию. А дело-то к двумстам семидесяти трем идет, к абсолютному нулю. Ты разлюбил меня, да?.. Он сказал, что вряд ли любил. Как это! Что это! Сергей, ты обожди! Давай сядем, разберемся. Я тебя люблю! Понимаешь? Если одно тело действует на другое с какой-нибудь силой, то оно отвечает первому с такой же силой. Я тебя точно люблю. Я знаю. Значит, ты тоже любишь меня... Дура... С каким наслаждением сказал он это «дура». Я в чем-то провинилась? Я что-то не так делаю? Ты объясни. Я пойму. Я все-все постараюсь понять и сделаю, чтобы тебе было хорошо!.. Господи! Какое у него лицо — мужчины, пресытившегося женской любовью. Тупое!.. Сереженька! Не бросай меня. Что хочешь делай: бей меня, топчи меня, только не отнимай себя у меня... Девушка! Вставайте с колен. Нинашев отвернулся. Я себя убью! Убью! Понял?.. Да. На похороны приглашаю... Что, это все?! Зачем я плачу? Распускаю слюни?.. Я тебя не любила! Понял? Ты просто красивый. Вот и все!.. Конечно же, я вру. Тебе очень просто сейчас быть и умным и не теряющим достоинства. Это ведь не у тебя, у меня из глаз слезы текут. Уходи отсюда!! Скорее... Как стыдно. За все стыдно».

Я заставляла себя успокоиться. Несколько раз по дороге домой я упала и, не отряхиваясь, шла дальше, задыхаясь от холодного воздуха и невысказанности. Со мной остались и Лидия Николаевна, и пустые глаза Василия, и Надины глаза, ушедшие от меня далеко-далеко. Еще были Сашины мысли по поводу «Романса». Их было нужно отдать, чтоб и Нинашев тоже знал, отчего в кадр входят осветительные приборы. И сознание того, что он никогда об этом не узнает, мучило меня больше всего. Но я упорно пыталась взять себя в руки. Дома сняла с полки «Психиатрию» и решила занять свой мозг доказательством того, что Лидия Николаевна сошла с ума.

«Не существует двухсот семидесяти трех. Сейчас я это докажу. Можно только приближаться. Общая симптоматология психических расстройств... Психические нарушения при инфекциях. Не пойдет... Эпилепсия. Не пойдет. Во! Психические нарушения на почве алкоголизма... Нету двухсот семидесяти трех. В природе нету и в жизни нету. Всё на единых законах гармонии. Хронический алкоголизм. Это про Лидию Николаевну. Похмельный синдром... черт его знает! Может, и был. Утрата самоконтроля. Это не про Лидию Николаевну... Конфликтность выступает в качестве характерной черты (взыскания по службе, ссоры в семье). Хорошо. Сужение круга интересов, эстетические потребности отходят на второй план. Тоже верно... Так как запой... Ослабевает суждение, в неточном и искаженном воспроизведении прошлого сознательная ложь смешивается с истинным положением вещей. Здорово... Ну вот. Все насмарку. Легкая внушаемость больных, податливость постороннему влиянию. Это же не про Лидию Николаевну... Алкогольные психозы. Белая горячка. До нее старуха не допилась... Параноид, галлюц... Стоп. Наркомания. Таня, вы все еще на двухстах семидесяти трех. Ну и плевать на эту старуху. На всех плевать. Дайте мне Сергея!.. А ну-ка! Брось его из головы! Выкинь. Займись делом. Смотри, что еще подходящее... Опухоль мозга. Может, у старухи опухоль. Нарушения при травмах. Может, у бабки травма?.. Старческие психозы. Двести вторая страница... Инволюционная меланхолия. Какая красивая болезнь. Тревожно, тоскливая депрессия с частым присоединением бредовых идей самообвинения и унижения. Это не про Лидию Николаевну... Инво-

люционный параноид. Бред ушерба. Развитие бреда на фоне ясного сознания и внешне упорядоченного поведения. Типична структура бреда и его фабула. В бредовую идею вовлекается узкий круг лиц (соседи, знакомые). Лед тронулся. Они обвиняются в умышленном причинении всевозможных неприятностей. Тематики бредовых построений обычно не распространяются за пределы узких бытовых отношений (бред малого размаха). Вначале претензии больных воспринимаются как реальные житейские дразги, однако со временем вырисовывается их явно патологическая сущность. Больные убеждены в том, что соседи портят их вещи... Кто там?»

Это была мама, пришедшая с работы. Она выразила удивление по поводу моего нездорового вида. Я сидела и слушала, что говорит моя мать, но смысл сказанного не улавливала. На глаза накинута какая-то пелена, изредка несколькими словам удавалось пробиться до моего сознания, и тогда я выдавливала из себя предложения, нужные по смыслу. Под вечер мать вспомнила:

«Помнишь, ты просила меня спросить у участкового психиатра про родственника какой-то девочки? Соловьева Виктора... как там? Я все забывала спросить с августа месяца. А вчера участкового психиатра встретила на конференции и спросила. Махровый шизофреник. В квартире, говорят, грязь ужасная и вонь. Он в туалет не ходит. У него для этого баночки специальные».

«Эта девушка хотела быть выше иронии! Она хотела быть выше всего на свете... Как это Сергей сказал — что вряд ли любил меня. Он что, врал? Тогда он гений, раз не только языком, но и руками умеет врать. Мои руки не простят его рукам... Что делать?! Был мир. Были радости и огорчения. Пришел Нинашев. Я бросила мир, где поступками двигало самолюбие, и стала жить в мире наших отношений. В нем поступками двигала любовь. Любовь у меня отняли. Где мне теперь жить? Там? В мире, где самолюбие? А что мне в нем делать? За что мне уцепиться? Я не хочу жить — эти слова как черная пропасть без дна. За что уцепиться? Учеба? Диплом? Платье красивое? Все тусклое, все ненужное. Все обваливается из-под уцепившейся руки. Я не хочу катиться в эту пропасть! За что уцепиться? Все родители. Их работа. Зачем в мою детскую голову вбили лозунг «надо любить людей»? Почему мне не говорили: «Наплюй на людей»? Сейчас бы было так хорошо. К первому я привыкла. Я не хочу его менять. Но надо. А то меня сейчас убьет, придавит, задушит... Что делать? Как жить? Что любить, что ненавидеть? В этом мире, где даже руки умеют врать... Не могу!!! Не могу жить! Но ж-жить н-надо! Я наплюю. Утром встану и наплюю. Вдребезги! До потери сознания! Пока адаптационная энергия не накопится. Всю жизнь не накопится — всю жизнь буду пить. Иначе нельзя. Как мне книгу с полки взять, если я не знаю, что любить и что ненавидеть!.. Ж-жить надо!»

Таня Елагина пила. До потери сознания. Много дней или мало, она не помнит. Она только одно помнит: мужики какие-то со снега ее подбирают и тащат в теплый подъезд. Ноги волочатся по земле, а Таня кричит: «Я поняла тетю Иру!» И еще она помнит чьи-то чистые голубые глаза, полные брезгливого страха.

Все это я написала для тех чистых голубых глаз.



СТИХИ: ПОЭЗИЯ И ПРОЗА



АЛЕКСАНДР РЕВИЧ

ПРИМОРСКАЯ ПОЭМА

*Человек зовет человека с другого берега. Издалека.
Человек не кричит — молча зовет.
Глупо кричать, если между двумя берегами
не ручей, не река,
а Черное море
под курчавую кручей предгорий.*

Там над излучиной бухты
причерноморские сосны и пихты
хвойные лапы свои распластали,
как в Подмосковье,
и мальчишки в лапах,
как будто с двумя хвостами,
входят в царство морское,
как в заводь.

Говоришь: «А ведь я не умею плавать».
Говоришь: «Ну к чему мне хвосты из резины?»
(Довод поистине неотразимый).
Говоришь: «Что за глупый порядок —
эти пальмы и эти цитроны,
пересаженные из кадок,
и ревушие на открытой веранде тромбоны,
и кусты, обструганные под ежик,
и утрамбованный гравий дорожек,
и этот пенный накат на камень?»

А иные думают: это счастье.
Черный пес, разомлев от купанья,
лежит, улыбается усатой пастью,
и безногий калека
на жестком топчане
ворочает розовый торс под лучами

А человек зовет человека...

Сходим в кофейню знакомого грека,
 выпьем вина и кофе закажем.
 Он крупный мастер по этой части,
 вон его крыша — за этим пляжем,
 за этим пляжем, за этим камнем,
 за этим лиственным быстрым мельканьем.

На камне женщина — острые плечи,
 узкие бедра, орлиный профиль,
 на камне женщина — зрачки как свечи,
 крутые брови,
 голос тревожный, острые плечи.
 Женщина-мальчик низкоголосо
 слова выдыхает,
 слово за словом,
 строка за строкой — как поезд с откоса.
 А вот и закат,
 и подернуты волны
 лиловым.

А ты, чудо-юдо мое морское
 с глазами, как лист, пронизанный полднем.
 Оставим женщину эту в покое,
 стакан до самых краев наполним,
 пусть красная влага в стекле искрится,
 как этот закат на волне вечерней,
 где белые крылья летящей птицы —
 как иероглиф, прочерченный чернью.

А человек зовет человека...

И красное пойло в стекле искрится.
 Сюда подошла бы зеленая Рица
 да еще отвесный грузинский замок
 из самых замшелых, из древних, из самых
 что ни на есть настоящих.

Допишем
 зурну, барабан, по кинжалу в зубы,
 потом над зеленым затишьем
 медные трубы.
 А что, если здесь мы сегодня устроим
 парад-алле: фанфары, корнеты,
 и «шагом марш», и «слава героям»,
 мундиры, ментики, эполеты
 и аксельбанты из оперетты?

А человек зовет человека...

Медлительный грек запирает кофейню,
 и руки дрожат почему-то у грека,
 и вот он идет походкой усталой
 за колдовской чертой карнавала,

быть может, подумал: что было — что стало?
Картонные пальмы... веранда... аптека..

А человек зовет человека..

Высокая женщина — острые плечи, —
тревожная женщина — зрачки как свечи —
встает, покидает прибрежный камень
и воздух соленый хватает глотками,
и больше ни фразы, ни слова, ни звука.
И береговая темнеет излука.

А человек зовет человека...

Зовет, задыхаясь, из дальней дали,
зовет, как, бывает, зовут на вокзале,
на захолустном, безлюдном вокзале,
когда потеряли... когда не узнали..
когда... или некогда... или навеки..

Прости, я не думал о том человеке,
в лицо его даже не видел ни разу,
и если бы выпало встретиться с глазу
на глаз, друг друга бы мы не узнали.

Но он зовет, как зовут на вокзале,
зовет, как зовут на безлюдном перроне,
зовет, как зовут на полночном причале.
О чем он? Быть может, зовет он в печали
тебя, чья ладонь у меня на ладони,
чья губы мне что-то сейчас прошептали.
О чем ты?
Давнишние счета?
Ну что ты?
О чем?
О своем постоянстве?
Не надо.

Бредет человек за чертой маскарада,
за колдовской чертой карнавала,
бредет моя тень за магическим кругом,
за этой чугунной узорной оградой,
где жесткий кустарник по скобку обструган.

*А человек зовет человека с другого берега. Издалека.
Словно Черное море — всего лишь река.
И огни теплохода уходят во тьму
к человеку тому.*

ЮРИЙ ВИНОГРАДОВ

НОЧНОЕ ОКНО

Сторож

Кому привычной голодать в пути
И слезы заедать краюхой снега,
Избави бог под старость забрести
Под теплый кров случайного ночлега.

Прогонят — хорошо, а если нет
И по сердечной склонности оставят,
А там, того гляди, затеплят свет
И молоко и хлеб на стол поставят,

А после скажут — на дворе темно,
И за метелью не слышать собаки.
В такие ночи лучше пить вино,
Чем за костлявой ковьялить во мраке.

Потом забрезжит утро — день один,
Тебе найдут нехитрую работу —
Хоть сторожем в колхозный магазин
С подменой во вторник и субботу.

И ты заплачешь — господи, хвала
Тебе за то, что проявляешь милость!
Неизреченны добрые дела,
Сердца людские не остервенились.

* *
*

Пуста апрельская купальня.
Зеленоватая вода
Темна, недвижна и печальна
У кромки тающего льда.

Лишь селезень на грустной глади,
Да тень аллеи на воде.
Все тихо, будто на ночь глядя,
Вокруг купальни и везде.

Как будто никому не нужен
В ограду загнанный мирок,
Вот и молчит — не то простужен,
Не то на холоде продрог.

Дорожки влажное топтанье,
Беседок холод и простор,
Паденье капель, щебетанье,
Закрытый деревом собор...

Возможно, солнце и нарушит
Дремоту дня и немоту,
Свет истины и речь обрушит
В немислимую пустоту.

Но нет, и без того порядком
Сей замкнутый удел непрост —
Ведь кто-то ж потерял перчатку,
Когда взбирался на откос.

Какой мечтатель или грешник
 Без всяких видимых причин,
 Гуляя, обломал орешник,
 Через ручей перескочил?

Заметил ли, что в полумраке,
 Как бы выпытывая свет,
 Угрюмо щерится собаки
 Полуобглоданный скелет?

Ни ей кормежки, ни погоста,
 Ледок да утка на пруду...
 И здесь не все, как видно, просто,
 В академическом саду.

Приезжий

Он ехал долго, ехал издалека.
 Был плохо выбрит — значит, одинок.
 О том, что жизнь была к нему жестока,
 Сказал выдавший виды пиджачок.

В гостинице, полупустой на диво,
 Он встречен был как просто человек.
 Нашлась постель, вино, бутылка пива,
 Не бог весть что — но все-таки ночлег.

Каким бы ни был он усталым и голодным,
 В том городке, что выбрал наугад,
 Он чувствовал себя вполне свободным,
 Когда смотрел, как догорал закат.

Погасло небо. Сумерки упали.
 Был слышен шелест молодой листвы.
 — Ну ладно, — он сказал, — не на вокзале! —
 И выбрился почти до синевы.

Потом, попозже, сидя на кровати,
 При свете лампы из-под потолка
 Не то дневник, не то письмо некстати
 Писал, пока не дрогнула рука.

Потом он пил — не суетясь, достойно,
 Курил нежадно и не торопясь.
 Его душа уверенно, спокойно
 С ночным окном установила связь.

Наверно, что-то важное такое
 Из-за окна почудилось ему,
 Что он кому-то помахал рукою
 И что-то говорил туда, во тьму.

Какая там пригрезилась картина,
 Когда сказал он будто не в уме:
 — Доколе мне мотаться, Катерина,
 В слезах по горло, по уши в дерьме!

...Закончилась полночная морока,
 Его речей рассвет не услышал.
 Он спал на совесть — сладко и глубоко,
 Как до сих пор, наверное, не спал.

ИГОРЬ КАЛУГИН

* *
*

Эти поздние дружбы подобны скольженью по льду без коньков,
Эти поздние дружбы похожи на карточный домик.
Мне не верится в близость узнавших друг друга больных стариков —
Первый, скажем, хорунжий Краснова, второй — красный конник.

Но не в этом и дело, не в том, что политика — яд:
Сколько веток попадало с дерева дружб многолетних!
И бывшие друзья, укоризненно глядя, молчат
За глухую стеной, ну а ты — их невольный наследник.

Что бы ни было в жизни и сколько б ни грянуло бед —
Эти поздние дружбы надежду несут на былое...
И когда-нибудь сбудется: станешь ты сторблен и сед
И молвою зарыт, как до Генриха Шлимана — Троя.

ЭДУАРД БАБАЕВ

* *
*

С пеньем свечи зажгите
В поминальном ряду.
Кто погиб в Сумгаите,
Тот рассудит беду.

Отрываясь от праха,
Прозревает душа
Черный сад Карабаха,
Светлый город Шуша!

Там, вдали, за горами,
Праотеческий дом.
Отпоют меня в храме
С полукруглым окном.

Посох мой и дорога,
Мир, лежащий во зле!
Справедливость — у Бога,
Вещий сон — на земле.

ДАНИИЛ ГРАНИН

*

БЕГСТВО В РОССИЮ

Роман

XI

Иа Милену напали ночью, когда она шла домой. Произошло это в полу-сотне шагов от ее подъезда, на баскетбольной площадке соседней школы. Она только что рассталась с Джо. Весь вечер они музицировали у подруги Милены, в большой квартире с роялем. Джо исполнил кое-что из своих парижских вещей. Будь рядом Тереза, успех был бы большой. Эти пражане отлично разбирались в новинках свободного джаза, в музыкальных диалектах Америки. В компании Милены Джо чувствовал себя моложе, они наигрывали друг другу, напевали, Милена командовала, ее румянец словно поджигал всех. Невольно Джо сравнивал ее с Магдой. Та была как бы для повседневности, для домашней жизни, приспособленной к его работе, надежно обустроенной, с охраняемой тишиной, чтобы он мог, придя домой из лаборатории, по вечерам обдумывать результаты, посмотреть журналы, книги, прикинуть завтрашний распорядок, а главное, найти простейший подход к своей идее, убедительно выгодный.

Миленка же принадлежала той породе, которая уже уходит. Еще можно поплясать, попеть, погулять напоследок, годик, полтора — и конец, поезд придет на конечную станцию... Чем дальше, тем слаще становились эти последки, но и тем сильнее он ругал себя за трату времени.

...Били трое. Молча. Когда она закричала, ударили в рот кастетом, выбили передние зубы. Били и ногами, когда свалилась. Ее отвезли в больницу, положили в отдельную палату. Джо долго не хотели к ней пускать. Врачи считали, что надо снять шок. Она не могла говорить. Увидев Джо, стала плакать. Голова перевязана, белый марлевый шар, сотрясаемый мычащими рыданиями...

В полиции усатый инспектор уверял Джо, что в течение суток отыщут хулиганов. А может, это местные парни взрывают, у них свои счета, своя компания. Инспектор старался успокоить Джо, просил подождать, о вечеринке не расспрашивал, и следователь не расспрашивал, записал только, когда расстались, и особенно — что пили, сколько, не была ли Миленка пьяна.

По словам ее матери, незадолго до вечеринки Миленке звонили на работу, посоветовали прекратить общение с иностранцем. В следующий раз мужской незнакомый голос пригрозил, пообещав проучить.

— Это еще ничего не доказывает, — стоял на своем полицейский инспектор. — Предупреждали? Надо было прислушаться.

Пухлые руки его покоились на пивном животике, свекольный нос и свекольный румянец придавали ему сходство с бравым Швейком.

— Вы не умеете работать! — кипятился Джо. — Вы не хотите работать, вы очень хороший для преступников.

Его чешский насмешил инспектора.

— Вы тоже неплохой для преступников. Провожать надо женщину, за которой ухаживаешь.

Джо решил обратиться к профессору Голану.

Утомленный после какого-то заседания, Голан слушал его вполуха, отчего Джо еще больше разошелся: что это за полиция, что за порядки, бездельники, не желают искать бандитов! Может, им надо заплатить, может, надо дать взятку или нанять детектива? Жажда мести сжигала его тем сильнее, чем явственней он наталкивался на вежливое нежелание что-то предпринять. Нежелание было ускользающее, как взгляд Карела Голана и уклончивый его совет:

— Если не хотите для Милены новых неприятностей, прекратите эту связь.

Ну конечно, и почтенный профессор, цвет пражской науки, больше печется об авторитете полиции, чем о законности!

— Боюсь, что тут полиция ни при чем, — обронил Голан.

Слова эти заставили призадуматься. Джо вдруг вспомнил предупреждение Магды. Какой же он идиот! Магде заранее было известно. Полиции — тоже, поэтому и не хочет вникать. И Голану. Поэтому-то он и подает советы такого сорта!

— Вы, пан профессор, значит, знали про эту акцию? Под каким кодовым названием она шла? Акция «Иностранец»? Акция «Создадим крепкую семью»?

Предостерегающие знаки Голана не действовали на Джо. Он не снижал голоса, хотя и сидел рядом с телефоном.

— Я этого так не оставлю! — кричал он всем подслушивающим устройствам. — Я до президента дойду! Я доложу советским товарищам про эти фашистские методы.

В ужасе Голан зажимал уши, он весь вспотел.

— Вы не имеете оснований... В конце концов, американцы тоже не стесняются, посмотрите, что они выделывают, возьмите Корею, каждое правительство...

— Нет, извините! — вопил Джо. — По-вашему, в социалистическом государстве можно выделывать то же самое, что и в капиталистическом? По-вашему, нет разницы?

— Я этого не говорил! Не говорил! — взвизгнул Голан. — Как вам не стыдно!

— А я вам не верю. Вы заодно с ними!

Джо вскочил, он готов был броситься на этого толстого, взмокшего от страха человека. И он бросился бы или запустил в него чем-нибудь, но Карел Голан сам кинулся к нему с какой-то исступленной готовностью, снимая на ходу очки и подставляя под кулаки Джо свои близорукие глаза... Джо опомнился — перед ним был профессор Голан, автор классических работ по математической логике...

И Голан обмяк, опустился на стул, сгорбился, закрыл лицо руками. На него жалко было смотреть. Господи, до чего они дошли. В этой маленькой стране такого человека должны были на руках носить, он должен был чувствовать себя королем. Самое странное заключалось в том, что Голану действительно оказывали почести — награждали, приглашали на правительственные приемы, — а он пребывал в страхе, липком, вонючем страхе, прислушивался, оглядывался, никак не мог выпрямиться. Судя по рассказам ассистентов, у пана профессора была безупречно чистая биография кабинетного ученого. Чем же они могли его зацепить? Джо подозревал, что здесь американский опыт недостаточен, но другого у него не было. Несомненно одно: поведение этого человека не соответствовало его положению. На его месте Джо не задумываясь обратился бы к министру.

— Это они вас должны бояться, у вас международное имя.

Голан усмехнулся, вытер лицо мятым клетчатым платком. Взяв бумагу, Джо тут же на краешке стола написал заявление на имя министра Сланского, изложив свои подозрения: дескать, он пришел к выводу, что это работники его министерства организовали избиение Милены К. Он требовал наказания для преступников, они позорят и прочее. Иначе... Что — иначе? Джо запнулся. Иначе он доведет это до сведения международной общественности (каким образом — он понятия не имел), и в первую очередь до сведения советских товарищей (тут он чувствовал себя уверенней). Такие, как товарищ Нико, их не одобряют. Он писал крупными печатными буквами по-английски, пользуясь самыми простыми выражениями. Получалось как бы письмо детям. Или ма-

лограмотным. Читая, Голан не мог удержаться от улыбки, но, закончив, покачал головой.

— Это невозможно. Вы погибнете.

— Ничего со мной не будет, — успокоил его Джо.

Вопрос только в том, как передать письмо, чтобы оно попало прямо в руки министру. Это может сделать только Голан, ему не откажут в приеме. Это его моральный долг, дело его совести, гражданской чести.

— Чего вы так боитесь? Чего? — допытывался он и успокаивая Голана, и негодуя, и жалея его. — Имейте в виду, — пригрозил он, — я сообщу в министерство, что отдал письмо вам.

Круглые, увеличенные очками глаза Голана приблизились к его лицу.

— Вы такой же, вы пугаете, как они! — прошептал он, попятился в ужасе к дверям, выбежал.

— Иначе с ними нельзя! — крикнул вслед ему Джо.

Домой Джо шел пешком, стараясь привести свои чувства в порядок.

Магды еще не было. Он плюхнулся в кресло как был в пальто, закрыл глаза... Очнулся, услышав, что Магда ходит по кухне, вот стукнула дверь в ванную, зашумела вода. Джо заставил себя подняться.

Магда стояла под душем в розовой резиновой шапочке, струи воды били в ее плечи, груди, шумно стекали вниз.

— Что с вами? — спросила Магда, неуверенно улыбаясь.

Не расслышав за шумом воды слов, он спросил в лоб: зачем она это сделала?

Магда поняла сразу.

— Я не могла. Я ничего не могла. Я могла только предупредить вас.

Она прикрутила воду, обреченно прижалась к белому кафелю стены, готовая к тому, что он сейчас ее ударит.

— Они что же — думали, что я смогу после этого с тобой оставаться? — сказал он устало, гнев его выдохся.

Капли скатывались по ее животу, бедрам, она стояла перед ним, забыв о своей нагоде.

— Они не думали о нас, они выполняли свою задачу.

— Какую? О чем ты?

— Им надо было обеспечивать вашу безопасность.

Джо смотрел на нее брезгливо.

— А может, это ты им подсказала?

— Нет, нет, — она отчаянно замотала головой, — я хотела по-другому.

— Как это по-другому?

— Чтобы мы уехали.

— Куда уехали?

— В Советский Союз.

Ни разу никому здесь Джо не заикался об этом — как же она могла узнать? Он смотрел на нее во все глаза. Широкие плечи, крепкие большие груди и при этом тонкая талия. Тело словно бы придало совершенно новое выражение ее одутловатому, несколько хмуро-замкнутому лицу. Что-то волнующее, любопытное было в этом контрасте.

— Ты бы поехала? — зачем-то спросил он.

— Да, да... — Она схватила его руку, стала целовать ее, и он ощутил, как по ее прохладно-мокрой щеке бегут горячие беззвучные слезы. Она не требовала утешения, в ней была потребность прижаться к его руке. Ему еще не приходилось сталкиваться с такой силой чувства, чисто женского, ищущего любви.

Женщины для Джо существовали как украшение, как возможность физической радости, ему нравилось завоевывать их, красоваться перед ними. Со временем у каждой из них появлялись захватнические намерения, он научился ловко уклоняться от мучительных сцен, порывать разом. Теперь Магда лишилась всяких прав удерживать его, осталось только отчаянное чувство, которое нельзя было назвать любовью. В постыдной, навязанной ей роли принудительной спутницы она пыталась создать какое-то подобие любовных отношений, и все рухнуло, она лишилась даже права на сочувствие. Разойтись, разъехаться им не позволят, в этом она была уверена, их приковали друг к другу. В Советском Союзе им, может быть, удастся построить другие отношения.

Она открывала свои прежние планы, несбыточные, отныне безнадежные, но Джо был интересен выношенный ею вариант его жизни.

В ту ночь они спали вместе. Получилось это само собой.

Теперь, когда Джо Берт освободился от всяких обязательств по отношению к Магде, она стала для него просто молодой женщиной, тело которой возбуждало желание. Неизбежность прощания бушевала и в ее ласках; больше им вместе не бывать, поэтому нет ничего стыдного... И был миг, который она ощутила как миг зачатия. У нее будет ребенок! «Если ничего не случится», — суеверно прибавляла она, наполненная благодарностью, лежала, боясь пошевелиться. Ее ребенок, желанный ребенок, самые лучшие дети, самые здоровые, удачливые — это желанные. Больше ей от Джо ничего не надо.

Она вдруг вспомнила фразу из Диккенса: «У них все было впереди, у них впереди ничего не было».

— Это про нас, — сказала она, как бы спрашивая.

В ответ он рассказал ей про письмо Сланскому. Она встревожилась, слишком хорошо зная порядки этого учреждения и их мстительность. «Они» все могут, все знают, борются с ними бессмысленно.

— Подавятся, — благодушно сказал Джо и заснул у нее на руке.

В больнице его встретила мать Милены, подтянутая, покрашенная, быстроглазая, прежде — сладко-радушная, ныне же — церемонно-отчужденная. Приняла цветы, апельсины, конфеты, поблагодарила и: «К сожалению, Милена вынуждена прекратить знакомство, с нее достаточно того, что произошло. Но ей, бедняжке, придется вставлять зубы, операция дорогая, надо сделать у частных стоматологов, потому что передние зубы для девушки — тут нельзя скупиться. Кроме того требуется курс лечения, чтобы избавиться от психической травмы»

Джо тут же предложил все, что у него было, и обещал завтра же прислать еще. Деньги мать Милены тщательно пересчитала, сунула пачку в свою вышитую бисером сумочку, громко щелкнула металлической застежкой и, смягчившись, погладила Джо по руке.

Двери в квартиру почему-то открыты. Джо постоял на площадке, прислушался. Из глубины доносилась музыка. Приемник был включен на полную мощность. Передавали симфонию Гайдна. Не раздеваясь он прошел в комнату. Все стояло на своих местах.

Заглянул к Магде. Она укладывала чемодан. Бросала туда платья, кофточки, белье. Глаза красные, опухшие от слез. Увидев Джо, она сказала, что уезжает к дяде в Кладно. Не уезжает, а бежит. Что-то темное, затаенное, какой-то ужас исходил от нее. Джо охватило памятное по Парижу ожидание беды.

Под орущее радио Магда шепнула, что начинаются аресты. Он не отозвался, застыл, держа туфли в руках. «Аресты», — бормотал он удивленно. Туфли упали, Магда потянула его за отвороты пальто — нечего притворяться, еще позавчера ему было все известно...

Вдруг музыка оборвалась, и там, вдали, перед микрофоном сдавленно задышали люди. Шорох, шепот... А потом — хриплый голос диктора: правительственное сообщение, арест группы заговорщиков, пособники американского империализма во главе со Сланским... Далее следовал перечень, фамилия за фамилией, выбывавшие из жизни.

Так вот что это было! Раскинув руки, Джо повалился на диван. Разумеется, он знал, давно знал, что так и будет, так им и надо, это она, Магда, не поверила ему. А могла бы предупредить своих боссов, своих бесов, всю эту шайку-лейку. Она отстранилась опасливо, словно перед ней оказался дьявол с рогами, с запахом серы, а Джо, вилия хвостом, понесся по квартире, отбивая дробь копытцами, слава справедливости — раскусили-таки этих подонков, фашистскую мразь! Он пинал казенный шкаф, казенные стулья «из ихних складов», казенный стол, четвероногих соглядатаев, наверняка утыканных микрофонами, и в этот балетный абажурчик вставлен жучок, и Магде куда-нибудь вставили эту штуковину. Он не щадил ее, не щадил и Карела Голана, которому тут же позвонил — слышали, пан профессор, каковы ваши рыцари революции, ее доблестные щиты, ее охранники, эти предатели, продажные душонки, стоило ли из-за них так долго ходить с мокрыми штанами! Слава богу, избави-

лись, поздравляю, наконец-то вы свободны... Голан испуганно откликнулся, голос его дребезжал, будто там, в трубке, что-то сломалось:

— Для нас с вами ничего не изменится. Мы просто перейдем к новым владельцам.

Ерунда, партия исправит нарушения, которые не соответствовали социализму. Выявлены виновники, «мы же с вами этому способствовали», письмо, переданное пану профессору, «ляжет на весы правосудия», «мы реально помогли, практически помогли (Джо великодушно присоединил к себе и своего шефа) найти преступников, палачей...». Примерно в этом месте он споткнулся о слова Голана: письмо-де никуда не передано, так и лежит, не на весах правосудия, а перед ним на столе.

— Ох, подвели вы меня, шеф. Такую возможность упустить! (Сукин ты сын, трус пучеглазый!) Не поверили, вот и получайте, вместо того чтобы в героя ходить! (Останешься засранцем, поддавай.)

— Да, дорогой Джо, как это ни печально, но Карел Голан, член четырех академий, почетный доктор Венского университета, почетный член Академии наук Советского Союза и прочая, не осмелился. Смешно?

— Не очень...

Джо никогда не позволял себе попусту досадовать: с потерями надлежит мириться быстро и легко.

— Все равно палачи получают по заслугам! — провозгласил он, чтобы успокоить Голана, и тут же получил ехидный вопрос: откуда... известно, кто палач, а кто жертва? Не превратятся ли потом палачи в жертвы?.. Ах, сообщения! Значит, до суда, без суда все всем ясно и можно требовать смертной казни.

— Я не требую, — пробормотал Джо.

Но Голан удалялся в будущее, откуда нынешнее разоблачение может перевернуться и оказаться подделкой. А что, если с годами выяснится: кому-то потребовался разговор, нужны были шпионы, и новая порция ненависти, и новые внутренние враги, так же как это делают сейчас в Штатах?

Последнее соображение ошеломило Джо, такое сравнение не приходило ему в голову.

— Внутренний враг — полезнее наружного. Для политиков, — произнес Голан напрямую, без всяких оговорок. Что-то с ним стряслось, если он решил говорить по телефону не остерегаясь.

На всякий случай Джо изругал политиков с их грязными комбинациями. Такой ученый, как Карел Голан, выше всех этих паразитов. Его биография — это его библиография, его имя не зависит от политики.

— Наука, наука... — пренебрежительно повторял Голан. — Из нее сделали горничную. Нет, денщика для генерала. Из нее вынули божественную идею. Чему служит наша наука?

Не ожидая ответа, он признался, что уступал и уступал им, пытаюсь найти какое-то равновесие выгоды. Лгал, выступал с холуйскими речами, оправдывал мерзости. Взамен получал для лаборатории привилегии, хороший бюджет... «Никто не знает, чего это стоило» — последняя эта фраза особо запомнилась Джо. Научный авторитет Голана возрастал, он продавал его все дороже.

Холодно, отрешенно анализировал Голан историю своего самопожертвования. Он считал, что получает больше, чем жертвует...

— Послушайте, Карел, с чего это вы вдруг стали считать?

— Они разрушили меня.

— Как это?

— Раз-ру-шили, — повторил Голан. — И вас будут разрушать. У нее много голов, у этой гидры. Есть хамы, есть садисты, есть льстецы, но все это обличия дьявола, имейте в виду.

Странно было слышать такое от всегда уклончиво-осторожного, запуганного Голана, как будто с него сняли все ограничители. Но даже в тот момент Джо не усомнился в его нормальности. Потом, восстанавливая в памяти этот разговор, он сообразил, что Голан излагал хорошо обдуманное вещи.

— Наверное, вы видели чумные столбы на наших площадях. В память об избавлении от чумы. Так вот, у нас чума.

Джо никак не удавалось увести его мысли в иную сторону.

— Чуму разносят крысы, — говорил Голан. — Чуму не лечат, от нее бегут!

— Боже мой, Голан, что с вами, я не узнаю вас

— Они уверены, что всеильны. А это так просто опровергнуть... Никогда не думал, что это так просто

Как установило следствие, спустя полтора часа после их разговора Голан покончил с собой. Вышел на балкон своей квартиры на пятом этаже и бросился вниз. Скончался, не приходя в сознание, в машине «скорой помощи». Перед смертью написал письмо своим сотрудникам и короткую записку родным. Содержание письма осталось неизвестным, его изъяли следственные органы в присутствии сестры покойного вместе с другими бумагами.

Следователь, молодой, вкрадчиво-любезный, прилизанный, похожий на вышколенного офицанта, объявил Джо:

— Вы в сюжете.

Попросил рассказать о телефонном разговоре с К. Голаном. Выслушав, посочувствовал:

— Обидно, что он не передал ваше письмо. Это ведь был ваш гражданский подвиг. Вы имели полное право возмутиться. Дорога ложка к обеду. Он ведь с вами считался?.. Не могли ли на него подействовать ваши упреки? Знаете, как это бывает, — еще одна соломинка, и все, хребет сломался. Последний толчок. О нет, вы и предположить не могли, ваша непричастность очевидна. Но у вас не было никаких подозрений? Или предчувствия?

Джо прошибло жаром — как же не почувствовал? Он должен был почувствовать! Ведь был сигнал, пусть и слабый...

Следователь впился в него глазами.

— Вспоминайте, вспоминайте!

— Пошел ты знаешь куда! — рявкнул Джо по-английски в лучших традициях старого Бруклина.

— Не хотите вы нам помочь, — удрученно сказал следователь. — В своем письме Голан кается, что не выполнил вашей просьбы. Считает, что после его смерти послание ваше передадут властям. Выходит, принял близко к сердцу ваши упреки... В каком-то смысле, если смотреть объективно, его самоубийство пошло вам на пользу.

— Ловко вы поворачиваете, — сказал Джо. — Вы мастер своего дела.

— Спасибо, но будет лучше, если вы постараетесь отвечать по существу.

— Тогда давайте подумаем, когда Голану пришла мысль о самоубийстве. После разговора со мной или же до этого?

Физиономия следователя настороженно застыла. Джо продвигался на ощупь, в темноте, какая-то не ясная еще мысль влекла его.

— Думаю, до.

— С чего вы решили?

Другой, не с таким музыкальным слухом, как у Джо, возможно, и не заметил бы небольшого смещения в тоне следователя. В разговоре с Голаном однажды тоже тональность сбилась, пошла на крещендо, вот это-то место и надо было вспомнить.

— Я знаю, — сказал он, — есть ведь запись нашего разговора.

Следователь ответил тонкой улыбкой.

— Дайте прослушать, и я вам докажу, — сказал Джо.

— А без нее?

Джо подумал.

— И без нее можно.

— Так все же — почему Голан покончил с собой?

— Может, устал. Надоело. — Джо помолчал и добавил: — Но, может, был и толчок.

— Какой? — быстро спросил следователь, и любезность его исчезла.

— Толчок был до разговора со мной, — так же быстро сказал Джо.

— Какой? — повторил следователь.

— Вот это вам и предстоит выяснить.

— Ваши догадки бесплодны. — Следователь встал, прошелся по комнате. — Самоубийство всегда тайна. Боюсь, что мы никогда не узнаем истинной причины. Винить кого-то нельзя. Даже если ему угрожали чем-то... Он бросил взгляд на Джо, вздохнул. — Ваше имя мы упоминать не будем. У нас есть документы, свидетельствующие, что профессора использовали в своих целях заговорщики.

Он проводил Джо до лестницы и на площадке, прощаясь, задержал его руку.

— Напрасно он испугался... Никто бы его не тронул. С таким именем... Какой нам смысл такого человека...

Назавтра вместо некрологов газеты поместили краткие заметки о самоубийстве профессора К. Голана, известного ученого, которого «запутал в свои сети Сланский», — «еще одна жертва заговорщиков».

В лаборатории и в Академии наук сотрудникам посоветовали не ходить на похороны. От дирекции послали скромный венок. Джо поехал на кладбище. У могилы собрались несколько человек родных. Двое неизвестных стояли поодаль под зонтиками и всех фотографировали.

Шел надоедливый осенний дождь. Слышно было, как он стучит по дубовой крышке гроба. Все молчали. Никто не решался произнести прощальное слово. Это была нехорошая минута. Каждый ощущал свое молчание, не за кого было спрятаться. Сестра Карела тихо плакала, она не разрешила поехать на кладбище ни своему мужу, преподавателю университета, ни сыновьям-студентам. Молчание затягивалось, становилось невыносимо стыдным. Могильщики приготовили веревки. Джо откашлялся. Он не осуждает молчание людей, с их стороны потребовалось немало, чтобы прийти сюда, — но знает ли кто из них, что потеряла наука? По-настоящему никто не знает, и Джо не знает, что бы еще мог создать мозг Голана. Оценить сделанное тоже нелегко. Займутся этим на будущих конференциях его памяти.

В этом месте один из молодых людей подошел поближе и стал записывать речь Джо, делал он это напоказ, как бы предостерегая оратора. Джо повысил голос, обращаясь теперь к ученикам Голана, которых здесь не было, к его коллегам в других странах, к тем, кто будет пользоваться его работами.

Записи в блокноте вошли в досье, и через много лет, когда я читал их, они означали куда меньше, чем в тот день на кладбище. В самом деле: «Карел Голан составляет гордость чешской науки. И ее трагедию». Сегодня это звучит тривиально.

Можно лишь догадываться по этим торопливым записям, какой крамолы казались слова Джо и с каким удовольствием их подшивали в толстую папку И. Брука «1951—1983 гг.».

Признаюсь, для меня было большой радостью, что Джо заговорил, не решишь он, мой интерес к моему герою упал бы. Из-за этой надгробной речи я многое простил ему. Он единственный, кто выступил на похоронах, попрощался с Карелом Голаном от имени всех, сказал ему спасибо за то, что Голан спасал честь и достоинство чешской науки.

Гроб на белых веревках опустили в мутно-желтую воду, в которой отражалось тяжелое низкое небо, ветви березы и склоненные лица людей...

Господи, прости нас, грешных, мы все виноваты перед тобою, Карел.

Сперва сровняли могилу с землей, потом вырос холмик в форме гроба, все смотрели, как ловко обшлепали его лопаты могильщиков. «Вот так же обозначат и каждого из нас, точно таким же холмиком и обшлепом...» Не впервые Джо сталкивался со смертью лицом к лицу, она молчала, не выдавая, что хотел сказать Голан напоследок, зачем позвал ее. То, что Голан мертв, было понятно, что его труп положен в землю — очевидно, но от этого Голан не исчезал. Им продолжали интересоваться и здесь, в Праге, и за рубежом...

Сестру Карела звали Здена. Седые пышные волосы делали ее молодое лицо еще моложе. Она показывала Джо фотографии в кабинете Карела Голана. В рамках на темно-синих обоях висела как бы галерея предков — деды, прадеды в сюртуках, мундирах, бабки в кринолинах, огромных шляпах с перьями, девицы, перетянутые в талии, усагие очкарики времен Дворжака и Яначека на фоне античных колоннад, спокойные, добрые лица. А вот и маленький Карел, белокурый, в коротких штанишках, он стоял между матерью и отцом, таким же пучеглазиком в пенсне, мать грудастая, веселая, белый кружевной зонтик на плече. У Карела удивленно поднятые брови, как и у матери.

Кабинет хранил устойчивый запах трубочного табака, старой кожи, каминного дыма. Огромное кожаное кресло стояло у камина. Старый граммофон с красной пастью трубы. Этажерка, набитая справочниками. Книг было немно-

го. В двух шведских шкафах сочинения Декарта, Гёте, Толстого, Диккенса. Громоздкий бронзовый письменный прибор с двумя чернильницами, подсвечниками, пресс-папье. Вещи потомственные, переходящие из поколения в поколение. Здесь все имело почетную родословную, все было связано с именами, известными чехам. Какие-то коллективные снимки конгрессов, конференций. Здена показывала Карела — вот он, в центре. Группа молодых гениев на пароходе, некоторые лица казались Джо знакомыми, но узнал он лишь Жака Адамара по отдельной фотографии с дарственной надписью, сделанной великим французским математиком, и чешского математика Эдуарда Чеха.

На синем сукне стола лежали вверх дужками очки Карела Голана. Значит, перед тем как выйти на балкон, он снял их. Джо перегнулся через балконную решетку. О чем он думал, когда летел, когда уже нельзя было вернуться назад? Так легко перемахнуть через эти узорчатые перила? Ощущение полета соблазняло, высота втягивала, это было так просто... «Это так просто, — вспыхнули перед ним слова Карела. — Никогда не думал, что это так просто». Наконец-то Джо вспомнил! Именно три этих слова! Голос Карела потому и изменился, что у него все было решено! Бесповоротно решено! Он говорил как бы уже после падения, с того света — очищенным от страха, полнозвучным голосом.

Здена сидела на кушетке и плакала. На кладбище она кое-как держалась, а сейчас дала волю слезам. Карел не имел права кончать с собой, он должен был предвидеть, как они псеэрнут его самоубийство! На их семью ляжет позор, у них будут неприятности, шутка ли — объявить его причастным к этим предателям и шпионам. Джо молча ходил по кабинету. Честь семьи, фамильная гордость, у него никогда не было ничего подобного и не будет, потому что у него не было родословной, не было предков, оседлой жизни, где по наследству передаются вещи, дома, предания, обычаи, этот отлаженный быт.

— Вы должны нам помочь, — вдруг тихо сказала Здена. — Они не имеют право клеветать на Карела, он ведь подписал бумагу, которую они привезли.

— Какую бумагу? — вскинулся Джо.

Оказывается, в тот вечер Карел позвонил сестре и рассказал, что к нему приезжали и требовали подписать заявление в газету, где он бы осуждал заговорщиков, выражал свое возмущение и требовал самой суровой кары. Он подписал. И он был в отчаянии от того, что согласился, уступил.

— Так вот в чем дело, — сказал Джо. — Теперь понятно. Они разозлились потому, что Голан ускользнул.

— Но они не имеют право мазать его грязью.

— Наверное, это и подтолкнуло его.

— Может быть, он написал об этом в предсмертном письме.

— Вы читали его? — спросил Джо.

— Нет, не читала. Мы приехали с мужем. Мы видели это письмо. Но оно было адресовано не нам.

— О господи! — сказал Джо. — А теперь какого черта вы мне все это выкладываете? Что я могу?

— Вы человек независимый. Вы иностранец. Они должны считаться с вами... Вы где-то там сможете сообщить... Я хочу защитить имя Карела.

Джо стоял перед ней, засунув руки в карманы.

— Не смотрите на меня так, — сказала Здена. — Да, я сейчас забочусь о своих детях. Карел не подумал о них, у него не было детей.

— Они не знают, что вы знаете... Вам лучше помалкивать об этом.

Она поняла.

— Я никому не говорила. Может, и вам не надо было?

— Может быть, — сказал Джо.

На камине стоял мраморный бюст Марка Аврелия с латинской надписью.

— Что здесь написано? — спросил Джо.

— «Скоро ты забудешь обо всем, — перевела Здена. — И все в свою очередь забудут о тебе».

— Это правильно, — сказал Джо. — Вряд ли я что-то смогу. Попробую, конечно.

В суматохе этих дней он как-то не заметил исчезновения Магды. Он приходил домой и ложился на диван, лежал бездумно, дремотно, иногда так и засыпал не раздеваясь. Приходил на работу небритый, в мятой рубашке... Когда

с ним заговаривали, он некоторое время заставлял себя слушать, потом ему становилось скучно, он поворачивался и уходил. Газеты, погода, радио, книги, еда, девушки — все стало неинтересным. Музыка и та звучала тускло. Не хотелось никуда идти. Жизнь внезапно лишилась смысла. Неизвестно, был ли он раньше. Наверное, был, потому что Джо был занят борьбой. За каждый день своего пребывания в этом благословенном мире. Он рожден был для борьбы: со своими слабостями, недугами, беспомощностью своей мысли, сам процесс борьбы был наслаждением независимо от того, побеждал Джо или нет. И вдруг все это утеряло смысл.

Он лежал и слушал, как через него перетекало время. Время текло в этих неприбранных комнатах, на этой кровати, в затхлом, непроветренном воздухе точно так же, как если бы он мчался в машине, выступал на конгрессе, занимался любовью, — часы и дни шли бы с той же скоростью.

...Самоубийство не грех, жизнь — единственная собственность человека, и он вправе распоряжаться ею по-своему. Нельзя постоянно зависеть от жизни, слишком ценить ее. Жизнь — короткая искра между двумя полюсами небытия: вечностью до рождения и вечностью после смерти, мгновенная вспышка, стоит ли относиться к ней всерьез? Карел Голан жил в страхе, в последний раз он уступил тоже из-за страха, но затем он взбунтовался и перешагнул перила. Было ли это восстание или же победа совести? Или что-то еще. В какой-то книге о России Джо читал про раскольников, которые сжигали себя, не желая подчиниться новой вере. Самоубийство придало жизни Голана какой-то новый смысл. Снова он возвращался к тому, что происходило в кабинете Голана, прокручивая их разговор. Голан перешагивает через перила, летит вниз, долго летит, и вместе с ним летит Джо, затем к ним присоединяются Этель и Юлиус Розенберг, все они падают вниз головой на камни. «Видите, — говорит Голан, — я лечу добровольно, и Розенберги тоже добровольно, а вы, Джо, сопротивляетесь, вы не хотите, но все равно вы тоже несетесь вниз».

Суд приговорил Розенбергов к смертной казни.

Время от времени радио сообщало, что им обещают помилование, если они признают свою вину, то есть признают себя советскими шпионами. Они сидели в камере смертников, и, по слухам, психологи по указанию ЦРУ занимались их психологической обработкой. Пока безрезультатно.

По ночам Джо ловил американские передачи. Он никак не мог понять, хочет ли он, чтобы Розенберги оговорили себя и остались живы. Он ставил себя на их место и не находил выхода. Журналисты, судя по сведениям, доходившим из тюрьмы, считали, что Розенберги должны уступить, хотя бы ради детей. «Ну что ж вы молчите, — говорил голос Голана, — скажите им, посоветуйте».

...Они падали, все четверо, вместе, неслись так, что у Джо замирало сердце, это было как в детстве, когда он просыпался от страха, что камнем летит вниз.

Разговоры с людьми казались пустыми. Однажды позвонила Милсна, поблагодарила за деньги, да, да, сказал он, извини, я занят.

Никому на всем белом свете не было дела от него (если бы так!). Он зарос, ел с невымытой посуды, квартира превратилась в хлев, в грязную, дурно пахнущую ночлежку.

Другие запивают, входят в штопор, буянят, у каждого свое, этот, по отчетам спецслужб, впал в апатию. У творческих натур это бывает. Наблюдение сообщало также, что у Брука никто не бывает, никто не звонит, и «африканец», так его именовали в донесениях, считает себя покинутым. Судя по всему, кризис разразился после самоубийства профессора. Придется с ним поговорить. Но сейчас трогать не следует: пусть доходит. Он не прыгнет, не повесится, его на плаву будет держать идея, идея его из любой ямы вытащит. Когда у человека появилась идея, когда он понял, что нашел истину, он на любое пойдет, любые оправдания отыщет, любые лишения перенесет. Ведь даже Голан согласился стать информатором ради поездки на какой-то месячный симпозиум в Англию, там он, бедолага, доложил о своем открытии, заработал аплодисменты, мантию. «Африканец» из того же материала. Когда оклемается, с ним придется провести профилактику.

Он человек умный, поймет, что и действия его, и разговоры, и встречи — прозрачнее, чем ему кажется, и соответственно оценит наши заботы о его без-

опасности. Объект, однако, не должен думать, что он совершенно прозрачен, ему нужна иллюзия одиночества, заброшенности, ему надо дать укрыться от всех, иначе может свихнуться.

XII

Винтер ничего не пояснял. «От того, кто ничего не знает, никто ничего и не узнает», — повторял он. Одно было ясно: они двигались на юг.

Машина, старый красный «додж», к полудню раскалилась. Андреа попросил остановиться в тени, передохнуть. Винтер отказался, это, мол, не туристическая поездка. Был он в кожаных брюках, клетчатой рубашке, на плече — свернутое пончо, но не испытывал ни жары, ни голода, ни желания остановиться по нужде. До темноты всего однажды неохотно уступил настояниям Эн, когда свернули на сельскую дорогу у бензоколонки. Время от времени Винтер сверялся с нарисованным от руки планом. Остановились на окраине поселка перед одноэтажным мотелем. Кроме подвыпившего хозяина, в нем не было ни души. Винтер расположился в соседнем номере. Предупредил, чтобы никому не открывали.

Утром красный «додж» исчез, на его месте стоял потрепанный «виллис». Оставляя за собой хвост пыли, ехали весь день по разбитым дорогам мимо банановых плантаций, апельсиновых рощ. Заночевали у какого-то фермера в горах.

Подняли их затемно. Перевал. Холодина. Дорога крутила, они заблудились, не там свернули, вернулись обратно через тот же перевал. Хижины. Плато. Снег. Мистер Винтер куда-то уехал. Они сидели в доме, сложенном из камней. Пылал огонь в очаге. Кипел огромный медный закоптелый чайник. Индианка ногой качала люльку и толкла кукурузу. Андреа сказал, что не желает больше терпеть грубостей Винтера. «Если где-то там решили, что с нами стоит возиться, нам не мешаает то же самое думать о себе». В его тоне не было раздражения. У него все обдуманно. Он ошибался в простых житейских вопросах, его обманывали на рынках, выманивали деньги, обсчитывали в барах, и вместе с тем он вдруг поражал Эн своей прозорливостью, точным психологическим расчетом. Совместная жизнь, какой бы обрывчатой она ни была, поворачивала их друг к другу незнакомыми сторонами. Происходило узнавание. Андреа утомлял своей аккуратностью, почти педантичностью. Эн была обидчива, пустячное невнимание — и она погружалась в мрачное молчание. Она ничего не могла поделать со своим самолюбием. Поначалу ее оскорбляла задумчивость, которая как бы отнимала у нее Андреа, делала его глухим и незрячим. Не сразу до нее дошло, что вместе с той жизнью, которую они вели, у него шла своя, неведомая ей работа мысли. И то, что эта работа не прерывалась, несмотря на переезды, нужду, страхи, и радовало и пугало ее. В этой, другой его жизни Эн не было места, и она не могла ничем помочь ему.

Винтер вернулся с молодым индейцем, голова его была повязана красным платком. Поели лепешек, выпили пулькэ, подремали, ночью по кромке заброшенных карьеров спустились к реке. Выглянула луна. В зеленом неверном свете река открылась большая, бурная. Найдя брод, индеец повел их по камням, через коряги, вода была ледяная, шли не поперек, а зигзагами. Андреа держал Эн за руку, на другом берегу Эн хотела передохнуть, но индеец торопил их. Андреа и Винтер тащили Эн в гору, подхватив с обеих сторон. Они должны были скорее уйти вглубь, подальше от границы. До рассвета. Эн задыхалась.

— Видите, я был прав, с вами намучаемся. — Винтер ругался по-польски, проклиная свою судьбу, взбалмошность женщин, уверенных, что их любовь оправдывает любые их идиотские поступки.

Пришлось выйти на шоссе. Проводник исчез, растворился в темноте. Винтер взял Эн под руку и стал голосовать проезжающим машинам. Свет фар обегал их, не снижая скорости. Остановился только пыльный грузовичок. Водитель-негр открыл дверцу; Винтер просил его, показывая на Эн, негр, блестя белыми зубами, весело отказывался, тогда Винтер вытащил его из машины. Негр оказался верзилкой, но Винтер справился с ним легко, пригрозил пистолетом, сунул какие-то деньги, Андреа вскочил в кузов, и они поехали. Грузо-

вичок пропах чесноком и луком. Они обогнули Масатенего, не заезжая в город.

Каким-то чутьем Винтер находил в темноте дорогу, и довольно быстро они добрались до монастыря францисканцев. Грузовичок Винтер загнал на стоянку. В монастырь они пришли пешком. Там их ждали, но появление женщины не было предусмотрено, и Винтеру пришлось уговаривать настоятеля. Их поместили в гостевом флигеле. Проспали до вечерней обедни, апельсинно-оранжевое солнце уже опускалось, заглядывая в келью. Монастырь стоял над обрывом. Каменные лестницы вели в низину, в городок, рассыпанный между зелеными холмами.

Железное распятие на стене. Побеленные голые стены, железная кровать, на которой они спали, стол, два стула, на столе — библия в черном кожаном переплете. И тишина. Настоянная десятилетиями молитв тишина, которую не нарушали ни пение птиц, ни стук башмаков по каменным плитам монастырского двора. Они сидели, блаженно отдаваясь покою. Здешний покой располагал к сосредоточенности, к внутренней жизни, не имеющей ничего общего с их волнениями.

Зазвонил колокол, созывая к вечерней молитве. Эн спустилась в церковь. Андреа остался. Из детства приходили слова молитв. Когда-то он повторял их вслед за матерью, не вдумываясь в смысл. «Ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и Ты вознесешь голову мою...», «Да услышит тебя Господь в дни печали, да защитит тебя имя Бога»... В нем никогда не было насмешки над верующими. Он считал, что это остатки прошлого страха перед могуществом природы. В Бога он не верил. Старинный этот монастырь внушал не веру, скорее уважение к людям, которые здесь годами размышляли о таинствах Священного писания. Работа мысли для Андреа много значила, но он не знал, можно ли мыслью дотянуться до Бога. Его мысль никогда не обращалась в эту сторону жизни. И то, что сейчас он чувствовал, было странно. Вместо «помилуй» он просил: «Спаси! Спаси нас обоих, дай ей силы выдержать этот путь!»

Следующая машина была «крайслер». Путь через Гватемалу, Гондурас запоминался по машинам, которые Винтер где-то добывал, менял. Остальное мелькало, сливаясь в одну ночную, высвеченную фарами дорогу: белые столбики, встречные огни, чашки горячего кофе, выпитые наспех, поселки, бары, молчаливые спутники. Центральная Америка пронеслась, закутанная в ночную тьму. Черные пальмы, черные кактусы, свежесть океана — и снова раскаленный воздух, запахи миндаля, сахарного тростника, лимонных рош. В Панаме «кузен» мистера Винтера вручил им билеты на самолет; у Винтера всюду были «кузены» и «кузины», панамский — имел сапожную мастерскую, лихие усы и жену-мулатку, которая сразу же принялась лечить Эн от простуды. Поселили их по соседству, в старом испанском отеле, окруженном кирпичной стеной, внутри — двор с фонтаном, голубые агавы, белые железные стулья на галерейке и всюду площ...

И шепот, и осторожные взгляды...

Накануне отлета мистер Винтер не пришел ночевать, наутро он тоже не появился. После обеда пришла жена «кузена» с базарной корзиной и сообщила, что мистер Винтер арестован. Подробности неизвестны. Его отправили в полицейский участок, оттуда, кажется, в тюрьму. Решено было никуда не двигаться, подождать еще сутки, другие.

Назавтра в городе поднялась стрельба. По улицам загрохотали бронетранспортеры. Вход в отель облепили плакатами. Произошла то ли очередная революция, то ли мятеж.

Без Винтера они оказались беспомощными. Ни денег, ни адресов польского посольства в этой банановой республике не было. Оставалось советское посольство, но стоило Эн представить этот вариант — расспросы, проверки, недели ожидания — ее охватывало отчаяние. Она сорвалась, накричала на Андреа за насмешки над Винтером. Все же они решили никуда не трогаться, не может быть, чтобы Винтер не выкрутился, не дал знать о себе. К вечеру бездействие доконало Андреа, он сказал, что не вправе покинуть Винтера в беде, надо ему как-то помочь. Это было неожиданно для Эн. Он оставил ее в гостиной, сам пробрался к дому «кузена», нашел того в кровати забинтованного, в кровоподтеках, избитого. Кем, как — Андреа не узнал. «Кузен» посоветовал

отправиться к начальнику тюрьмы, договориться — чтобы тот выпустил Винтера под залог. Такова здешняя форма взятки. Надо, чтобы начальник не заподозрил в Андреа американца, иначе запросит много, грек — это годится, и не больше двухсот долларов, да — да, нет — так нет, послала фирма выкупить одного из своих служащих, не хотят — не надо, биться за него не станут.

Утром жена «кузена» проводила Андреа до тюрьмы. Роль свою Андреа исполнил флегматично: двести? давайте двести. Наверное, можно было выкупить Винтера и подешевле. Андреа сохранял равнодушие, Винтер зевал, потягивался. Только выйдя на улицу, он похлопал Андреа по плечу, так ничего не сказав.

Назавтра они, не дожидаясь самолета, перебрались в Панаму, а оттуда теплоходом — в Колумбию. Они ничего толком не увидели, ни Панамского канала, ни прекрасного озера Готун, ни самой Панамы.

Самолетом в Дакар, пересадка в аэропорту, самолетом в Мадрид. День в жарком номере отеля, оттуда в Барселону и далее в Ниццу. Снова отель, снова Винтер приказывает никуда не отлучаться, сам куда-то исчезает, возвращается переодетый, в черном смокинге, с бабочкой, просит «одолжить» на вечер Эн, везет в какое-то ателье, где ее одевают «напрокат» в длинное темно-синее платье, украшенное жемчугом, и они вдвоем с Винтером отправляются в ювелирный магазин, Винтер покупает кольца, кольца, браслеты, все дорогое, расплачивается наличными, тратит, по словам Эн, тысячи, все это якобы для Эн. Садятся в машину, там еще поляк-шофер и поляк-проводжающий. Они о чем-то договариваются по-польски. Их подвозят к какому-то дворцу. На приеме пробыли два часа. Мистер Винтер, которого надо было называть Фреди, изображал довольного собой, своим состоянием, своей молодой красавицей женой латиноамериканского дельца, грубоватого выскочку, раза два он отлучался, оставляя Эн на попечение французских киноактеров, кое-как говорящих по-английски. Они наперебой утешали ее, потом Винтер повел ее в компанию солидных седоголовых депутатов, с кем-то знакомил, от кого-то передавал приветы. Прием промелькнул как бобслей. Эн даже ничего толком не могла рассказать Андреа. Зато на следующий день они после обеда, оставив записку Винтеру, отправились на набережную. Неслыханная синева залива, белые виллы, цветы, легкий воздух Лазурного берега — все поражало их здесь неизвестной, европейской красотой.

В сущности, они впервые увидели Старый Свет. Старины было много, старина была подлинная, не привозная, рожденная здесь: кованые ограды, золоченые ворота тончайшей работы, дворцы, дивные цветочные клумбы, похожие на дорогие ковры. Лучшее отбиралось из века в век, красота наращивалась. Архитектура, старая и новая, привлекала внимание Андреа, а Эн особенно нравилась толпа. Одеты со вкусом, все — от продавцов мороженого до пожилых дам и старичков — в шелковых жилетах и канотье. Платочки, духи, туфельки, улыбки, просто приветливость — во всем мера, воспитанность. Отличие от Нового Света было разительное, а вот определить его они еще не могли. К тому же мешала напряженность. Поймав чей-то взгляд, они настораживались. Подозрительность Винтера заразила их. В Барселоне он сам в полночь повел их на бульвар, где при свете фонарей шумел диковинный базар, ночью торговали птицами и книгами.

А в Ницце, когда они на свой страх и риск устроили себе подобную вылазку, Винтер напустился на них: как только посмели, придется запирать их на ключ.

— Позвольте, мистер Винтер, пока вы занимаетесь своими делами, нам не хотелось бы чувствовать себя заключенными, — с подчеркнутой любезностью заявил Андреа.

— Я занимаюсь не своими делами, — сказал Винтер. — Вы же будете заниматься своими в Варшаве.

— Кстати, почему мы не летим туда напрямую? Ведь есть рейс Ницца — Париж — Варшава, с короткой пересадкой в Париже, час ожидания, и никаких хлопот?

— Все вычислил, какой он у нас умница, — хмыкнул Винтер, обращаясь к Эн. — Он думает, что у нас единственная забота — как можно скорее доставить это сокровище... Вы для меня попутная операция Ясно? Потом, смягчая, хихикнул. — Куда торопитесь? Успеете еще.

Все же в Мюнхене, в воскресенье, они проехали по городу, и Винтер, страстный любитель пива, не утерпел и остановился у какой-то знаменитой пивной. Огромный зал, весь в сизом табачном дыму, гудел, сновали официантки с огромными тяжеленными кружками, нанизанными на пальцы. Было влажно — от пива, пены, пота. Протискиваясь в поисках столика, Андреа нос к носу столкнулся со Стивеном Катнером, своим однокашником по Корнеллскому университету. Огромный, волосатый, в расстегнутой рубашке, он схватил Андреа в охапку, завопил от восторга: шутка ли, встретить в пивной трущобе друга, которого разыскивают все паскудные службы, а он живой, здоровый — глаза Стива увлажнила хмельная слеза, — от такой сказочной везухи сейчас они устроят сейшак, только надо сперва отлить, иначе пузырь его лопнет и утопит всю эту немчуру... Каким-то образом между ними вклинился Винтер, попросил Андреа и Эн подождать на этом самом месте, поскольку ему тоже невтерпех помочиться, и увел Стива, крепко обняв за талию. Через несколько минут Винтер вернулся, сообщив, что Стив засел в туалете надолго, нечего ждать, попозже он придет к ним в гости. Проговорив это громко и весело, он взял их под руки железной хваткой и вывел на улицу к машине. Включив скорость, рванул с места так, что завизжали колеса, закрутил по улочкам влево, вправо, машину заносило, он не успокоился, пока не вырвался из старого города.

Андреа попробовал уточнить, когда придет Стив — вскоре или вечером. Винтер выругался, не стесняясь Эн: надо рвать отсюда, черт их дернул сунуться в эту пивнуху. Помолчав, Андреа спросил, что он сделал со Стивом.

— Догадливый, — холодно определил Винтер, затем сказал, что Стив наверняка уже очухался.

— Он жив?

Винтер поморщился: с какой стати заниматься уголовщиной? Почему нельзя это было сделать по-человечески? — настаивал Андреа. Стиву можно все объяснить, он верный человек... Наконец Андреа заявил, что он хочет вернуться, узнать, что со Стивом, проверить, в порядке ли он.

Винтер резко тормознул, обернулся в бешенстве:

— Закройте рот. И надолго. Или я его заткну! Я взялся вас доставить и доставлю в любом виде. Мы сейчас чуть не завалились из-за вашего дружка. Там сидела целая компания американцев, вы что, не видели? Надо сегодня же сматываться.

Эн стиснула руку Андреа, она была на стороне Винтера.

В тот же день они вылетели в Амстердам.

В Амстердаме их встретили, отвезли в частный дом под присмотр двух вьетнамцев, предупредив, что отлучаться нельзя. Андреа не мог смириться с таким режимом. С какой стати? Они свободные люди и отвечают сами за себя! Если уж очутились в Амстердаме, надо хотя бы посмотреть на картины Рембрандта, на его дом, вряд ли агенты ЦРУ ходят по музеям, все это преувеличено. Андреа искренне считал, что Винтер набивает себе цену, и Винтера это выводило из себя. Он сорвался и показал записку, полученную в Мюнхене от одного советского коллеги, который должен был прикрывать Винтера в Европе и контролировать. Однако этот советский товарищ решил не возвращаться на родину, о чем и ставил Винтера в известность. В той же записке рекомендовал Винтеру сдать ЦРУ своих «америкашек» и не возвращаться в Польшу, где идут аресты.

Сдать «америкашек» значило «остаться не с пустыми руками», «обеспечить себе паек».

Письмо заставляло Винтера принять меры предосторожности. Ни о каком Рембрандте не могло быть и речи. Автор письма вполне мог навести ЦРУ на след, не дожидаясь ответа Винтера, так он, наверное, и сделал, возможно, что их уже пасут. Автор письма Винтер считал предателем и вероотступником — никаких сомнений на сей счет у него не возникало. Если не считать одного варианта, и глаз его в сиянии рыжеватых ресничек хитро подмигнул Андреа. Что мог означать сей подмиг, было непонятно.

Личность Винтера интересовала Андреа как объект исследования, перед ним представитель того мира, куда они отправлялись, неведомого, сияющего на Востоке то зологом, то кровавыми отблесками. Политические взгляды Винтера выглядели четко. В Италии коммунисты выросли в самую большую пар-

тию. Во Франции получили министерские портфели, они идут к власти. На очереди Финляндия. Коммунисты повсюду набирают силу. Пришло время использовать ситуацию, валить буржуазные правительства Европы любыми способами. Чувствовалось, что для него это не просто слова, наверняка это то, чем он и занимался и вообще, и во время их совместного путешествия.

Его не привлекали ни деньги, ни покупки, он не глазел на витрины, а в дешевых номерах отелей чувствовал себя так же хорошо, как и в роскошных апартаментах. В нем было люмпенское презрение к богатству, ко всему этому капитализму, обреченному, прогнившему строю, и держался Винтер уверенно, по-хозяйски что в Америке, что здесь, в Европе; нарушал правила езды, ставил машину в неположенных местах, не боялся полиции, в отелях тоже не церемонился, мог прихватить зонтик из холла, покрикивал на швейцаров. Словом, ничего диковинного: хотя и красный, но снаружи — вполне обыкновенной окраски, защитной, положенной при его работе. Однако как ни пытался Андреа отколушнуть, соскresti эту верхнюю защитную штукатурку, добраться до нутра так и не смог.

Сам Винтер относился к Андреа пренебрежительно, не лучше, чем к пакету, который надлежало доставить, — а есть ли там что-то полезное, его не занимало. Самолюбие Андреа было уязвлено. Он был о себе достаточно высокого мнения. Однажды ему удалось вызвать Винтера на откровенность.

— Да, вы — попутная операция. Побочная. И вам надо смириться с этим. Нам всучили вас. Пока что вы всего лишь фишки в игре разведок. Я ведь мог бы отделаться от вас. Но мне нравится игра — кто кого обставит. Берем из-под носа ЦРУ и вывозим кого хотим. Вожу по всей Европе, и ничего ваши говнюки не могут со мной поделать. Они ведь знают, что мы все еще тут болтаемся. Узнали от этого сукина сына... — Он поднял палец, погрозил Андреа. — А может, я его зря, может, он меня проверял, вполне допустимо. — И захохотал. — Понимаете, в какое дерьмо мы их сажаем? И это потому, что кругом наши люди. Мы диктуем! Мы делаем погоду!..

Закончив, мистер Винтер закурил сигарету, с удовольствием затянулся, посмотрел на Андреа как на результат тяжелого труда. Андреа не возражал, чему-то улыбался. Это-то и раздражало, не было чувства полного удовлетворения.

— Может, вы и хороший ученый, — говорил Винтер, — а главной науке не научились. В армии не служили? Оно и видно. Главная наука нашего времени — умение подчиняться. Вы не умеете. Вы не подчиняетесь с охотой. В душе считаете меня самодуром. В армии таких гоняют до посинения. Такие, как вы, возбуждают худшие чувства.

Винтер снимал с него стружку, как он позже признался, «готовя к новой жизни».

Амстердам был последней остановкой перед Варшавой. Накануне отлета Винтер неожиданно отправил их в город в сопровождении вьетнамцев. Разрешил зайти только в универмаг, всего на три часа, купить теплые вещи. Посоветовал Эн запастись косметикой, рейтузами, Андреа — словарями, лезвиями для бритвы. Дал деньги, все это неохотно, хмуро, как бы предупреждая какую-либо благодарность.

Покупки они сделали быстро, купили даже теплое пальто с меховым воротником для Эн, примерно того же красного цвета, что было. Они не представляли, что еще могло им понадобиться. Купили кофеварку, маленький будильник, Андреа не удержался, приобрел себе хорошее вечное перо.

Возвращались через центр. Амстердам казался декорацией из сказки: крутые мостики, гладкая вода каналов, черепичные крыши, каменные распятия, частые переплеты окон — все словно из антикварного магазина, хотелось прицениться, купить эти забавные старинные домики вместе с цветами, ставнями, велосипедами, памятником Рембрандту. Напрасно Эн просила вьетнамцев остановиться хоть на несколько минут, нельзя было даже опустить стекло в машине...

Летели самолетом голландской компании «KLM». Винтер заказывал порцию за порцией виски, захмелел, стал красно-белым. Зеленые глаза его блестящие. Теперь все, добрались, вывез. Теперь все можно, то есть тоже не совсем. А вообще-то он советует поменьше трепаться. Как у англичан: заговори о дьяволе — и он тут как тут. Можете жаловаться на Винтера, что он не пускал никуда, ради бога, только не хвалите его.

— Ничего страшного, — примирительно сказал Андреа. — Мы решили, что Амстердам мы обязательно посмотрим.

— Это когда же? — поинтересовался Винтер.

— В ближайший отпуск.

— Ну-ну, — сказал Винтер.

В своем отчете (куда надо) Винтер, как и полагалось, высказал свои соображения о характерах доставленных американцев. Написал, например, что Эн часто сдерживала Андреа от резкостей, поэтому картина получилась сглаженной, несостоявшиеся поступки не всегда угадывались. Несомненно, Костас — сильный человек, хорошо закрытый и знающий себе цену. Аналитические способности позволяют ему опережать оппонента. В спорах, в логике берет верх. Слабое место, которое следует использовать, — доверчивость.

Изучая эту записку, я чувствовал, как мешало Винтеру ощущение значительности Андреа, которое он подавлял в себе резкостями, нажимом. Природу этой значительности (то ли талант, то ли властный характер) Винтер не определяет, ограничивается перечислением: Костас молчалив, высказывается в крайних случаях, самолюбив, точен, настойчив, интересуется музыкой, философией, меньше ожидаемого — политикой, весьма наблюдателен. С некоторой обидой замечает, что ему не удалось уговорить Андреа сыграть на гитаре, которую он всегда таскал с собой. Спиртное не любит, терпим к пиву. Женщины, азартные игры не являются пристрастиями. О социалистическом обществе, о странах социализма имеет идеализированное представление. К деньгам относится бережно. К еде безразличен, за исключением фруктов. Довольно подробно описывает отношения с Эн, с некоторыми интимными деталями. Цитирует и высказывания Андреа Костаса, очевидно, в конце пути: «Я не думаю, мистер Винтер, что по вас можно судить о людях нового общества. Ваша мораль не коммунистическая. Вы злы, жестоки, для вас люди — это фишки. А между тем Сталин говорит о том, что человек — это высшая ценность... Если мы там будем у вас такими же фишками, то незачем ехать к вам». С какой целью Винтер подробно передал этот разговор? Может, он хотел дать через Андреа свою характеристику, достаточно положительную для себя? Но можно увидеть в этом и желание как-то застраховать своих коллег и прочие инстанции от упрощенного подхода к «объекту».

Кое о чем Винтер умолчал. Например, о случае в мюнхенской пивной. Или о «самовольных отлучках» своих подопечных. И Андреа Костас, когда его вызвали по делу Винтера, тоже не упомянул об этих происшествиях.

XIII

Прилетели в Варшаву вечером. Встретили их у трапа и, усадив в машину, привезли в отдельный, устланный коврами флигель аэровокзала. Какие-то люди обнимали Винтера, жали ему руку.

Через час они очутились в городе, в приготовленной для них большой квартире был накрыт стол. Они наспех умылись, переоделись. Стали появляться русские и поляки, все мужчины — военные, штатские — приносили цветы, шампанское. Некоторых Винтер представлял подробно, некоторых называл невнятно. Посадили Эн во главе стола и принялись отмечать счастливое завершение операции. Пили за Винтера, за каких-то людей, которые «обеспечивали». Люди эти поднимались, с ними чокались. Заставили пить и американцев — Андреа кое-как справился со стаканом водки, Эн стало плохо. Мистер Винтер изредка переводил длинные тосты, в которых славили Сталина, партию, Берию, бесстрашных разведчиков, их новое достижение. Подходили к Эн, целовали ей руку. Андреа — по-пьяному в губы, что-то горячо шептали на ухо, вполне возможно, их принимали за американских, то есть наших, разведчиков.

Когда пили за вождей, все вставали, вытягивались, каменяя. В промежутках рассказывали какие-то истории, подмигивали, громко хохотали. Винтер объяснил, что это анекдоты, казарма. Нещадно курили — и пили, пили... Андреа ужасался и восхищался их богатырской силой. Они казались ему героями, у всех ордена или ряды орденских планок.

Эн стойко держала улыбку, понимая, что за ней наверняка наблюдают. В разгар вечера она ушла в ванную, от выпитой водки ее вырвало. С трудом привела себя в порядок, напудрилась и, скрывая усталость, вернулась к столу...

Утром в квартире появилась девица, принесла завтрак, весь день убирала вместе с Эн остатки пиршества, насованные всюду окурки. Затем началась свободная жизнь. Им никто не мешал, они могли гулять по Варшаве не прячась, заходить в кафе, в кино. Девица кормила их три раза в день. Они отсыпались, отъедались, хотя не могли съесть и трети того, что им приносили — утки, пироги, бифштексы, яйца, колбасы, торты... Не рекомендовалось только одно: знакомиться и общаться с кем-либо, а также приглашать к себе, сообщать свой адрес, писать письма, выезжать за город, звонить по телефону. А в остальном — все что угодно.

Девица, их кормилица, уносила с собой тяжелые сумки недоеденного. Андреа и Эн наслаждались одиночеством и друг другом. Впервые они получили свое постоянное жилье. Окно их спальни выходило на восток. Огромное зимнее солнце всходило поздно над заснеженными крышами, забиралось к ним на подушки. Они любили друг друга — весело, изобретательно, радуясь вспыхнувшей, совсем юной чувственности.

Их никто не беспокоил, о них словно забыли.

Винтер не показывался. Телефон молчал. Еще в самолете Андреа готовился к тому, что их будут осаждать репортеры. Он спросил Винтера, можно ли рассказывать об их путешествии. Вспомнилась быстрая усмешка Винтера — «наши репортеры нелюбопытны». Во всяком случае, его ожидала работа, его должны были завалить работой: шутка ли, такие деньги истрачены на их путешествие!

В Мексике Эн мечтала остаться с Андреа вдвоем, поселиться в каком-нибудь месте, где их никто не знает, чтобы ни с кем не делить Андреа, избавиться от страхов, чувства погони, от общества прокуренного Винтера, его придирок и грубостей. Провидение услышало ее и подарило все, полностью, в наилучшем исполнении: незнакомый город, где никому до них не было дела, квартиру, зимнее солнце на темном паркете. Без забот о еде, белье. Они попали в теплый покой. Никто не будил их, не ждал, некуда было торопиться. После всей этой гонки, мелькания городов, границ, отелей, халуп наступила тишина. Они причалили. Наконец-то они могли приступить к жизни. Нужно только отдышаться, прийти в себя, как стайерам. Они пробовали свободу на зуб, на вкус, гуляли, взявшись за руки, по Варшаве, смотрели, как поляки восстанавливают разрушенный в войну город. На заборах висели раскрашенные проекты, фотографии прежнего Старого города с его улочками, узкими домами средневековья, балконами, арками. Горожане ютились в подвалах, бараках, но извлекали из развалин уцелевшие обломки решеток, перила, орнамента, любую мелочь. Квадратные метры жилплощади не так интересовали этот измученный войною народ, как жажда восстановить Варшаву. Они не строили, они восстанавливали свою историю, душу города. Это завораживало.

И по квартире Эн и Андреа ходили взявшись за руки, садились на пол, разглядывали друг друга.

Андреа был как зеркало. Лучше зеркала, потому что в его глазах Эн видела не морщинки, не надоевшую прическу, а свою красоту, высокую тонкую шею, которую он так любил.

Иногда она чувствовала: он присматривается к ней. Это была его манера. Он изучал людей, с которыми имел дело, проверял их на надежность, на искренность примерно так, как делал это с Винтером. Теперь то же самое с ней. Между ними существовало нейтральное пространство, на которое они опасались вступать. Их разделяло табу — ее дети. Это была ее боль, которой он не смел касаться. Он все искал причину, по которой она могла бросить их, бросить Боби и бежать с ним. Боб был хорош собою, не хлюпик, он нравился бабам, и Эн вроде бы с этим примирилась. Что же сорвало ее с насиженного места? — его рациональный ум искал причину и не находил. Увлечение, любовь, но все же она совершила выбор, а выбор для него означал процесс сравнения, то есть расчет. Он мог представить себе порыв, то есть что-то временное, но временное должно было кончиться, они приступали к постоянной жизни, — не жалеет ли она? Ему хотелось понять, за что она его любит, извечное бесплодное стремление, которое свойственно любящим. Желание увидеть себя глазами другого обычно быстро проходит, у Андреа же это было за-

дачей, которую он никак не мог решить. Выходило, что любовь к нему была сильнее, чем тоска по детям, значит, он заменил ей все, чего она лишилась. Но спрашивается — чем? чем заменил?

Он вглядывался, вслушивался, стараясь уловить — думает ли Эн об этом, не жалеет ли, не прячет ли от него свою боль? И встречал сияющий взгляд чистых синих глаз.

Ее саму удивляло ее безоглядное счастье. В глубине души она страшилась своего эгоизма. Но тут же спрашивала себя: разве любовь — это эгоизм? и разве любовь может быть не эгоистичной?

Лежа в ванне, она вдруг вспомнила, как опустила своего малыша впервые в ванну, как он вопил, а потом засмеялся и стал брызгаться. Слезы защищали глаза. Она плакала и радовалась своим слезам. В ту минуту пришло решение — она должна родить. Иметь ребенка — и все станет на свои места...

Андреа принялся учить польский, потом бросил, переключился на русский, бросил русский, занялся историей Польши, его тяготило безделье. Да, счастье не терпит однозвучности. Счастье требует, чтобы ему мешали. Но никто не мешал.

Девушка, кормившая их, быстро толстела. Как-то пожаловал офицер, осведомился, пьют ли они. Они не пили. Выяснилось, что за их счет она каждый день брала бутылку вина, а по воскресеньям коньяк и водку. Выяснилось также, что комендант их дома написал, якобы по просьбе Эн, пианино и два туркменских ковра. Девушку сменили, комендант остался. Эн не могла понять, как такое могло происходить в стране социализма. Они видели все в идеальном свете, им казалось, что они попали в райское, коммунистическое общество, и пребывали в блаженном тумане; после случая с девушкой туман стал рассеиваться. И эта девушка и комендант считали их простодушными дурачками! Андреа позвонил по номеру, который им оставили. Дежурный не мог понять, что ему нужно, справлялся, нет ли просьб насчет одежды, книг, обрадовался, узнав, что нужен русский журнал «Природа»; трубку взял какой-то начальник — успокаивал, заверяя, что все идет по плану, врачи рекомендовали потратить не меньше месяца, двух на акклиматизацию, ежели они отдохнули, то ради бога... Через день прислали пачку многолистных анкет. Вопросы поставили их в тупик: Андреа ничего не знал о предках своей первой жены, откуда они, где, когда жили. Требовались и подробные автобиографии, послужные списки. Анкеты — на желтой бумаге. Голубые — правила секретности. Синие — обязательства, пункты и даты их путешествия... Требовалась помощь Винтера, но им ответили, что Винтер в отъезде. Они теребили свою память, восстанавливая по карте свой маршрут по Латинской Америке. Получалось слишком много. Подумавай, Андреа сократил перечень вдвое, рассудив, что незачем доставлять хозяевам столько хлопот с проверкой, и без того проверка всех ответов, по расчетам Андреа, потребовала бы год с лишним. В управлении не могли понять, чего им не терпится: хотите — свозим вас в Краков, посмотрите соборы, университет. Андреа ответил, что он ехал сюда работать, что ему надоело путешествовать, это он сказал по-польски и еще добавил кое-что по-английски. Среди малоинтеллигентных слов было обещание позвонить президенту Болеславу Беруту, единственному польскому деятелю, которого он знал. Почему-то это подействовало, и вечером к ним явился генерал в сопровождении адъютанта и двух штатских. Великолепный мундир сидел на генерале безукоризненно, ни единой складочки, ордена и медали мелодично позвякивали. У генерала была идеальная фигура манекена. Один из штатских перевозил, другой фотографировал — их, их спальню, их столовую, их холодильник. «Мы высоко ценим ваше сотрудничество», «Вы совершили правильный выбор», «Наша совместная работа имеет политическое и интернациональное значение» — фраза за фразой вылезали из него с равными промежутками.

— Почему мы так не торопимся? — допытывался Андреа.

Генерал кивал с механической учтивостью. Бюрократия. Правила секретности. Обременительные правила. Излишества.

— Надо помочь товарищам выбрать фамилию, имя, — сказал он адъютанту. — А также отработать новую биографию. Откуда вы к нам приехали? Допустим, из Афин. Можно из Италии. Там ведь тоже греки водятся. Скажем, товарищ Каргос.

— Мы предполагали, что лучше из Венесуэлы, — осторожно подсказал адъютант.

— Можно... И вам тоже, очаровательная пани, — сказал генерал, кланяясь Эн. — Вам можно остаться американкой, только надо решить, где такие красавицы рождаются.

К ним стали наезжать один за другим хорошо одетые молодые люди. Расспрашивали Андреа про его работу в университете, на циклотроне. Более всего их интересовали радары, ракеты и прочее вооружение. В физике они разбирались плохо, вычислительные машины, которые давно манили Андреа, восприняли подозрительно, кибернетика была для них дженаукой. По этому поводу разгорались споры, Андреа убеждал их, что вся эта механика — ракеты, радары, в том числе военные, — не может совершенствоваться без вычислительных машин. Его вразумляли осторожно, как больного, зараженного вирусом буржуазной идеологии. Он хотел получить от них возражения по существу — и не мог. Не стоит отвлекаться, лучше, чтобы он обеспечил их нужной информацией, они сами знают, что перспективней. У Эн спрашивали про ее мужа Роберта. Узнав, что он занимается астрофизикой, ее оставили в покое. Самые толковые из них, как убеждался Андреа, не были в курсе новых направлений электроники, пренебрегали компьютерами как идеологически сомнительными машинами. При чем тут идеология, он не понимал, с ними порой трудно было находить общий язык, настолько они верили в превосходство социалистической науки. Но их уверенность должна была на чем-то зиждиться! Однако сколько Андреа ни допытывался, так и не смог уяснить разницу между капиталистической наукой и социалистической.

Ему прислали философа, специалиста по «социальной сущности науки».

Перед этой встречей заехал мистер Винтер, он плохо выглядел, сказал, что у него неприятности и если Андреа будут спрашивать, пусть не стесняется и расскажет, как Винтер не хотел брать с собою Эн. Уходя Винтер посоветовал пригласить кого-нибудь третьего, чтобы непременно присутствовал при разговоре с философом. У Андреа знакомых не было. Винтер пообещал прислать своего шурина.

Шурин был глуховат, пользовался слуховым аппаратом, знал испанский, поскольку воевал в интербригаде против Франко, заикался, но если б не маленький рост, он считался бы красавцем, к тому же был смешлив и сразу распадался на себе. Философ же оказался весьма солидным, тучным, с огромной седой шевелюрой, похожим на Марка Твена. Он привез в подарок несколько своих книг, среди них тяжелый том «Буржуазная техника на службе американского империализма». На всех книгах он сделал милые дарственные надписи и каллиграфически затейливо вывел — «Казимир Вонсовский».

Они проговорили целый вечер. Шурин выставил на стол коробку со слуховым аппаратом, что несколько смутило философа, который, как он выразился, отнюдь не имел целью навязать свои взгляды, он стремился лишь ознакомить пана Картоса с мировоззрением той среды, в которой ему предстоит обитать, и был бы счастлив принести в этом смысле пользу.

Философ знал американскую историю, американскую статистику куда лучше Андреа. Отдавал должное и философам, отнюдь не марксистам, таким, как Чарльз Пирс и Ханна Аренд, о которых Андреа не имел понятия. Речь его была пересыпана грубыми американскими словечками и чисто польской галантностью. Он не упрощал проблем, закон относительности действует при всех режимах примерно одинаково (смешок), подход же к этому закону различен, ибо (указательный палец поднят) все зависит от того, в чьих руках наука и техника, кому они служат. Немецкие физики были в отчаянии: их открытия использовали для создания американской атомной бомбы.

— ...У вас в Штатах наука служит капиталу, она не свободна, а свобода для науки — что воздух для живого существа. У нас впервые наука поставлена на службу интересам трудящихся. У вас наука противостоит рабочему классу...

— Почему же? — заинтересовался Андреа.

— Ее достижения использует для обогащения крупный капитал. Возьмите фонды. Допустим, Рокфеллеровский. Казалось бы, помогает ученым, дает стипендии...

— Я знаю.

— Тем более. Тогда известно, как они распределяют деньги. Дают кому хотят. А кто распределяет? Знакомые, приятели Рокфеллеров, сами капиталисты. Ни одного рабочего нет в правлении. Верно я говорю?

— А для чего там рабочие?

— Но кто же будет защищать интересы трудящихся?

— Видите ли, я учился на деньги Рокфеллеровского фонда. Мы были слишком бедны.

Шурин хмыкнул, пан Вонсовский обиженно погладил свой подбородок.

— Им приходится подкупать часть трудящихся, заигрывать.

И он рассказал, что фонды, подобные Рокфеллеровскому, учреждают, чтобы освободиться от налогов, переложить их на массы бедных налогоплательщиков. Привел убедительные цифры. Андреа не смог ничего возразить.

— Вы знаете про новый закон Трумэна?

Это был закон о милитаризации науки. О ее фашизации. О том, что все ученые должны дать подписку, что не состоят в организациях, проповедующих свержение правительства. От ученых требуют бороться с врагами правительства. То есть доносить, следить!

Выкладывая факты, он возбуждался. Бледное лицо его порозовело, он сжимал кулаки. Можно было подумать, что американская наука была его личным врагом.

— Профессор Ральф Спинсер, слышали?.. Ну как же, химик, из Орегонского университета, в феврале сорок девятого года его уволили. А знаете за что? За то, что он призывал коллег познакомиться с докладом академика Лысенко, поддерживал его! Вот вам и свобода науки.

Он приводил факт за фактом: военные заказы, преследования передовых ученых, ничтожные средства на чистую науку, милитаризация. Его гнев был неподделен. Образ американской науки, да и техники, нарисованный им, выглядел чудовищно.

— Да что я вам рассказываю, вы, вы сами яркая иллюстрация. О господи, если бы я мог в своих лекциях сослаться на вас! — вырвалось у него. — С другой стороны, социализм впервые поставил науку на службу трудящимся, она стала служить не фирмам, а всему обществу, ее преимущество в плановости. В США науку планировать не умеют. Не так ли? — Пан Вонсовский требовал подтверждения, и Андреа соглашался. Преимущества плановой системы радовали его.

Главным же достоянием ученых лагеря социализма, по словам Казимира Вонсовского, было марксистско-ленинское учение. Изучал ли пан Картос ленинскую работу «О значении воинствующего материализма»? Ай-яй-яй, как же так? А другие работы Ленина? Без них невозможно сегодня раскрыть всеобщую связь явлений природы. Как вы преодолете механистические представления о раздельности материи и движения, как вы овладеете ядром диалектики?

Андреа выглядел беспомощно. Невежество его было налицо. Шурин как рефери признавал его поражение.

Здесьние люди поражали его неколебимостью своих взглядов. У всех, с кем он успел познакомиться, было чувство своего превосходства над американцами. Ему казалось, что это чисто польская кичливость, Вонсовский же сумел обосновать это как бы мировоззренчески, как преимущество социалистического общества. Такое пренебрежение к американской науке, технике, к американским порядкам было Андреа неприятно. Рокфеллер — капиталист, можно сказать, символ американского империализма, но Андреа не мог забыть, как старик похлопал его по плечу, и чувство благодарности к этому человеку продолжало жить в нем.

Не в силах удержаться, Андреа вдруг спросил — есть ли в Польше и в России какие-нибудь другие философские школы кроме марксистских?

— Что вы имеете в виду, какие школы? — обрадовался Вонсовский.

Философии Андреа почти не знал, никогда ею не интересовался, не видя от нее практической пользы. С трудом припоминая университетские годы, сказал:

— Да мало ли... Экзистенциализм, позитивизм... неореализм.

Он старался произнести эти непривычные слова поуверенней, Вонсовский обрадовался и категорически, четко заклеил эти школы и направления как буржуазные. Значит, их здесь не изучают, удивился Андреа, тогда марксизму трудно развиваться, ведь для развития требуется борьба... Но тут шурин насту-

пил ему на ногу под столом и тотчас со смехом предложил Андреа признать полную победу марксизма и пана Вонсовского. Начавшаяся было схватка не состоялась. Шурин рассказал несколько анекдотов, все закончилось смехом и выпивкой. После ухода философа шурин попытался объяснить Андреа, что для таких, как Казимир Вонсовский, величайшее счастье — обрести идеологического противника, обличать, наклеивать ярлыки, объявлять борьбу и, естественно, руководить этой борьбой. Страхи шурина позабавили Андреа. Более безобидный, скучный разговор, чем с этим философом, трудно было представить.

Назавтра Андреа отправился в городскую библиотеку, зашел в читальный зал, взял Ленина на английском языке, но вскоре ему стало скучно от потока брани и презрения в адрес противников.

Среди противников был и Эрнст Мах — физик, работы которого изучали в университете. Уровень критики показался ему некорректным, а с точки зрения физики сомнительным. Уже через два часа он отодвинул в сторону Ленина и погрузился в свежие номера американских научных журналов.

Следующим визитером был многозвездный генерал — если судить по свите, еще в больших чинах. Генералов в Польше было много. Генерал Кульчинский был моложав, благоухал одеколоном. В передней он скинул шинель не оглядываясь, зная, что ее подхватят. Обошел квартиру, похвалил мебель, паркет, красавицу жену, склонил напомаженную голову, целуя пани ручку. Двигался он упруго, поигрывая хорошо надутыми мускулами. Был он выше Андреа чуть ли не на голову и оглядел его с некоторым разочарованием. Чувствовалось, что Андреа ему не понравился. Трудно было сказать — почему. Человек входит в комнату, где сидят неизвестные ему люди, знакомится, и сразу возникают симпатии и антипатии. Кто-то ему нравится, кто-то нет. Между людьми существует «что-то», оно либо притягивает их, либо отталкивает. Как большинство ученых, Андреа отвергал всякую телепатию, телекинез и прочие нематериальные силы. А между тем генерал у него тоже вызвал неприязнь неизвестно почему, чисто интуитивную, такую же, как и он. — у генерала. И чем дальше, тем неприятнее казался генералу этот чернявый физик, невесть что строивший из себя.

— Неплохо устроились, — говорил генерал. — По нынешним временам шикарно. Смотрите, как народ в Варшаве живет. В бараках, в лачугах. Чего ж вы жалуетесь, чего вам не хватает? Мы вам все дали.

— Мы не жалуемся. Я прошу о работе, — старательно выговаривал Андреа по-польски.

— Человек дела, — сыронизировал генерал. — Истинный янки.

Он попросил у пани разрешения закурить, присел к столу. Не торопясь стал набивать трубку и вдруг, подняв голову, недоуменно уставился на Андреа.

— Ты кто такой?

— То есть?

— Я спрашиваю: кто ты такой? — угрожающе повторил генерал.

Андреа вспомнил нечто подобное у Винтера, очевидно, излюбленный прием этого ведомства, и улыбнулся, соглашаясь принять участие в игре.

— Андреа Костас.

— Откуда это известно?

— Я думаю, что Винтер вам доложил.

— Винтер... А где он?

И вся свита, человек пять, уставилась на Андреа.

— Не знаю. Он мне не докладывает

— Шутишь. А тут дело серьезное.

Генерал сунул трубку в рот, и тотчас ему протянули зажигалку. Он щелкнул, раскурил, затянулся.

— Найдется, — сказал Андреа. — Он не из тех, кто пропадает

— Тебе лучше знать. — Генерал усмехнулся, и на всех лицах появилась та же усмешка. — Сбежал? Похитили? Как полагаешь?

Андреа пожал плечами.

— А вы как думаете?

— Мм-да, — протянул генерал на эту бестактность. — Я думаю, что придется тебя как следует распросить.

— А я думаю, что нас это не касается.

— Почему же? Надо кое-что выяснять. Кое-кто предполагает, что ЦРУ помогло подsunуть нам двойника.

— Возможно, — подумав, согласился Андреа. — Почему же это не выяснили, прежде чем нас вывозить?

— Лучше выяснять дома, — произнес генерал так, что все поняли, что он имел в виду.

Андреа походил по комнате, глядя себе под ноги.

— Вы знаете, товарищ генерал, это ваши заботы, меня это все не касается. Я по-прежнему настаиваю на том, чтобы приступить к работе. Не хотите, боитесь — не надо. Тогда позвольте мне обратиться в Москву.

— В Москве тебя ждут не дождутся. Много ты о себе воображаешь.

— Это верно, — сказал Андреа. — Каждый думает, что он стоит больше, чем ему предлагают.

Генерал откинулся на спинку стула, посмеялся. Прочитав отчет, составленный Винтером, он понял, что с американцем надо справляться не логикой, а способами иррациональными. Это была интересная задача, поскольку генерал считал себя хорошим психологом. Положение осложнялось тем, что шифровка из Москвы за подписями Абакумова и Еремина охраняла этого американку, так что стандартные приемы не годились.

— Садись, — приказал генерал. — Не мотайся. Запомни, мы ничего не боимся. У нас враги народа работают в спецлабораториях. Работают и делают то, что надо, работы хватит всем. Но не для тебя. Тебе работать не придется!

Генерал азартно оглядел всех стоящих вокруг него, Эн, застывшую в углу на краю кушетки. Он стиснул трубку зубами, положил руки на стол, словно за карточным столом ведя игру, которую любил.

— Ты утверждаешь, что ты Андреа Костас? Вряд ли это возможно. Костаса нет. Кончился. Есть Картос. Следовательно, тебя больше не будет. Так надо... — Он поиграл паузой. — Во имя интересов нашего дела... Вместо него будет другой парень. Поскромнее, надеюсь. У него и родители будут другие, происхождение другое. Ты и сдашь ему дела. Сам же исчезнешь. — Он любовался растерянностью Андреа, пустил дым колечками. — Не будет тебя отныне...

Тут уж, добравшись, он погарцевал в свое удовольствие. Поковырял слабое место, самое уязвимое, самое болезненное. Знал, что для Костаса дороже всего была его научная репутация. Лишиться своего имени, стать вместо Андреа Костаса господином Игреком значило остаться без печатных работ, никому не ведомым инженером, голым человеком.

Этот сукин сын, надушенный индюк, на самом деле не имел представления о том, как статьи Костаса цитировали, какая у имени его была известность. И вдруг ничего этого не станет? В тридцать лет он никто? Что он делал все годы, неизвестно, бездарный служака — не иначе. Он должен начинать с нуля, ни прошлого, ни заслуг; кто ж его возьмет, на какую должность, если нет рекомендации?

— Рекомендации нашей вполне достаточно. Для любой должности, — с удовольствием заверил его генерал. — Конечно, кроме американских фирм, вы уж извините.

Свита его тотчас засмеялась.

— Мне не нужны ваши рекомендации, — стиснув зубы, процедил Андреа. — Кто вы такие, чтобы давать мне рекомендации!

— Напрасно вы так обращаетесь со своими спасителями, одни мы можем засвидетельствовать, что вы не самозванец. Кроме нас никто этого не знает. Андреа Костаса нет. Андреа Костас, бедняга, погиб, мир его праху. Американские агенты все же добрались до него и уколошили. Устраивает вас такой финал? Выбирайте сами, где произошла ваша гибель. Счастливая возможность. Не каждому удастся подобрать себе место смерти по вкусу. Хотите Ниццу? Смерть на Лазурном берегу? По-моему, красиво. И местечко очаровательное.

Андреа выругался. Вздохнув, генерал обратился к Эн:

— Ваш супруг лишен чувства юмора. Тяжело вам с ним.

— Я не даю согласия, — произнес Андреа, словно бы делая официальное заявление.

— Дадите. Иначе допуска к работе не получите. Тут даже мы бессильны. Для нас ведь тоже есть правила.

— Нет, я не согласен.

— Как вам угодно. — Генерал благодушно попыхивал трубкой. Теперь, когда он добился своего, он нежился, поигрывая словно кот с мышью. — Бедняга Винтер переоценил вас. Он сообщал, что вы человек смелый. А вы боитесь начать жизнь сначала. Без прошлого капитала вы, значит, не в состоянии? Вы что же — выдохлись? Это, конечно, меняет дело. Я-то думал, вы в расцвете сил. Не знаю, как ваша супруга считает. — И он, захохотав, повернулся всем корпусом к Эн.

— Послушайте, пан генерал, — спокойно сказала она, — вы должны познать Андреа. Представьте, что вам пришлось бы сейчас начинать с сержанта.

— А вам идет, когда вы краснеете. Дайте мне возраст сержанта — и берите мое звание. — Он с удовольствием переключился на нее. — Вам, кстати, тоже придется сменить данные.

— Женщине это легко, — она улыбалась ему как ни в чем не бывало. — Я уже меняла фамилию, а на этот раз я готова...

Их прервал Андреа:

— Вы меня похороните, а Винтер воскресит.

— Каким образом? — Генерал мгновенно насторожился.

— Если он сбежал, то сообщит.

— Не беспокойтесь. Он ничего не сообщит. Мы за это отвечаем.

Испытующе генерал оглядел всех в комнате, поднялся, демонстрируя перед Эн свою бравость, рост и ничтожность ее сникшего грека, поверженного по всем статьям.

— Мы позаботимся напечатать ваш некролог в какой-нибудь газете, «Дейли уоркер», к примеру. — Ему было весело то отпускать, то натягивать поводок. — А хотите, напишите сами? А что? Вы же всегда высоко ценили этого парня. Можете не стесняться, воздайте ему должное.

Его свита была в восторге, гордая за своего шефа, и он победно удалился, препоручив помощнику детали.

У входа в библиотеку Андреа остановила незнакомая женщина, закутанная в синий вязаный платок. Ничего не говоря, она сделала знак головой, пошла вперед. Свернув за угол, подождала его. Неизвестно почему он последовал за ней. На ее некрасивом длинном лице горели огромные молящие глаза. Она взяла Андреа под руку, заговорила горячечно. Она жена Винтера. На самом деле он не Винтер, он Станислав Славек, пусть все знают, что уже месяц как он арестован. Пришли ночью, сделали обыск, взяли его, и с тех пор ни слуху ни духу. У них двое детей, один грудной, ничего добиться она не может — кто его дело ведет, за что взяли: при обыске ничего не нашли.

Удивительно, что Андреа понимал ее польскую скороговорку, понимал и не понимал. Новость ошеломила его. Как так взяли? Винтер же исчез, сбежал; встретив ее взгляд, он поправился — то есть это он, Андреа, считал, что Винтер сбежал от них, не желает больше с ними видаться... К кому она только не ходила, все бояться, характер у мужа, конечно, дрянной, язык вредный, но ведь Костас мог убедиться, что он патриот и не бросает друзей в беде, Костас единственный, с кем посчитаются, он должен помочь Стасу, он имеет право просить за того, кто их спас. Она готова была тут же на улице встать перед ним на колени, пришлось силой удержать ее.

То, что Винтер не сбежал, а арестован, не укладывалось в голове. Зачем же ему сказали, что сбежал? Рассчитывали, что он что-то сообщит в подтверждение?.. В хитросплетении продуманных ловушек не повредит ли его вмешательство? Что он может? — он ведь никого тут не знает. Генерала Кульчинского? Генерала он знает, но если он обратится к генералу, выйдет только хуже, с генералом у него не сложилось... От кого он, Костас, узнал про арест?.. Пусть от нее, она уже ничего не боится.

Вечером, рассказывая об этом Эн, он признался, что искал отговорки, не хотел вмешиваться в местные дела, если Винтера арестовали, значит, есть основания. Эн повторяла одно и то же: он рисковал жизнью ради нас. Рисковать жизнью для Андреа было куда легче, чем отправиться к генералу. В поведении Винтера во время их путешествия теперь многое становилось подозрительным. Но Эн была непреклонна.

Генерал принял его через неделю. К тому времени Андреа уже официально стал Андреем Георгиевичем Картосом. Он приехал с женой из Греции, сбе-

жав от власти черных полковников. У него была биография молодого университетского ученого в Салониках, несколько фото на фоне университета, вместе с Эн в Афинах у памятника Байрону. Эн стала Анной, чтобы Андреа мог сохранить уменьшительное Эн. По происхождению американка. В Испании познакомились, там и поженились. Андреа исправно, как и все, что он делал, выучил подробности: про отца — банковского юриста, и про мать — учительницу музыки. Братья, сестры — всех он сделал преуспевающими, счастливыми.

Принял его не генерал, а незнакомый, неизвестного звания человек в полувоенном зеленоватом френче, зеленоватых брюках, цвета как бы танковой брони, ступал он тяжело, голос у него был лязгающий, и выглядел он — как часть танка. Кажется, тот генерал пошел на повышение либо куда-то отбыл, никто ничего не разъяснял, судя по всему, здесь было принято, что люди могут появляться неведомо откуда и исчезать неведомо куда.

Начальник этот говорил не от себя, а как бы сообщал, наподобие дельфийского оракула, про опытных следователей, которые не допустят ошибки в отношении Винтера. Спросил, откуда известно про арест. Андреа был готов к этому вопросу: он не поверил в бегство Винтера, поехал к нему выяснять, соседи сказали, что произошло.

— Та-ак, мы вас проверяем, а вы нас, — произнес оракул. — Не надо вам заниматься такой работой. Больше доверяйте органам. Я мало знаю Винтера. Вы тоже мало знаете Винтера. Мы с вами не можем за него ручаться. Я смотрел ваше дело. Вы никогда в Америке не были. Следуйте своей биографии в любых ситуациях. Не ошибитесь.

Сквозь щели брони проглядывало что-то испуганное, желающее отделаться от посетителя.

— Раз вы настаиваете, напишите нам. Вы имеете право. Тогда вас вызовут на допрос, и вы сообщите. А так... вы по делу Винтера не проходите.

Это прозвучало предостерегающе.

Адъютант, провожая его к выходу, сказал, что вечером к нему придет товарищ из Москвы.

Товарища звали мудрено — Владислав Вячеславович. Выговорить это Андреа не мог, тогда приезжий предложил звать его Влад.

Совершенно лысый, отчего лицо его казалось голым, блестящим, как головка сыра, тонкие ножки-ручки, круглый животик. У него были плохие зубы, смешное английское произношение. Живой, подвижный, он совсем не походил на сорокалетнего доктора наук, начальника лаборатории. В Варшаве ему дали переводчика. Технические термины переводчик не знал, путал «генератор» и «генерацию». Влад попросил убрать его. Начальство отказало, пусть сидит. Влад позвонил в Москву. Переводчика убрали. У Влада был тоненький писклявый голос, когда он ругался, это вызывало улыбку. Ругался он мастерски. О прошлом Андреа и Эн он ничего не знал и не расспрашивал их, ему поручено было составить заключение о товарище Картосе как о специалисте. На третий день он перестал спрашивать, выяснять, они принялись обсуждать задачи и новые данные по быстродействующим схемам, где сам Влад путался, и они наперегонки помогали друг другу. Умственные возможности Картоса приводили Влада в восторг. Он вскакивал, носился по комнате, приседал, хлопал себя по животу, хватал Эн за руки и объяснял ей, что суть настоящего ума не в том, чтобы что-либо увидеть первым, а в том, чтобы установить связь между тем, что известно, и тем, что неизвестно. О Москве, о политике, о советских новостях они не говорили. На женские расспросы Эн, что носят в Москве, куда ходят, Влад бурчал: «Понятия не имею»; похоже, что это была правда; в Варшаве его тоже не интересовали ни город, ни окрестности, ни музыка. Отдыхал он, играя в «картишки», кроме того отсыпался. По его словам, в Москве он спал не больше пяти часов в сутки. Он советовал Андреа, когда его вызовут в Москву, проситься в авиавоенку: больше денег и возможностей делать стоящие работы. Там хорошее оборудование, хорошие математики, хорошие теоретики.

Он спустился к ним как посланник райской обители, которая ждала их. У посланника были совершенно немислимые ударения, так что Эн не могла удержаться от смеха. Он добродушно оправдывался; они были первые живые

иностранцы, до них он ни с кем не общался, английский был для него языком статей и детективных романов. И Эн и Андрей Георгиевич были для него диковиной, иногда он не мог скрыть своего удивления, что они смеются, напевают, что Эн стирает белье.

Теплым майским воскресеньем втроем они отправились в Лазенки — прогулять. Распускались тополя, неистово пели, носились птицы. Никогда в Штатах не чувствовалось такой нежности приходящей весны. Зелень была крохотной, липкой, пахучей. Сама земля набухла соками. Сладострастие жизни скрытно бушевало вокруг. Андреа и Влад увлеченно обсуждали, как можно было бы усилить и услышать токи жизни, бегущие сейчас в стволах, стеблях. Звуки, которыми полна природа, не слышимые человеческим ухом, они же могут зазвучать!.. Влад рассказал, что сейчас идет борьба за создание биофизического института, может, скоро они пробьют решение. «Борются», «борются» — мелькало в его речи не впервые. Андреа неясно представлял себе, как это бороться, с кем, что это означает.

— Андрей Георгиевич, дорогой вы мой, борьба — необходимая часть жизни ученого. Без нее невозможно. Бороться надо и внутри лаборатории: с бездельниками, бездарями...

Перед Андреа раскрывалась неизвестная ему боевая жизнь — сражения, схватки. Совсем не тот лабораторный покой, к которому он привык.

— Я тоже пытался... не знаю, как быть дальше... — И Андреа рассказал про свою попытку помочь Винтеру. Не может ли Влад вмешаться?..

Влад изменился в лице.

— Этими делами я не занимаюсь, — холодно сообщил он. — Напрасно вы мне это рассказали. Я вынужден буду сообщить в отчете. Вы уж извините меня, и вы, Эн, — таков порядок. Считайте меня кем угодно... — и он стукнул себя кулаком в грудь, — но это мой долг. Поэтому лучше со мной не надо все эти материи... Я вас предупреждаю. — Тонкий голосок его задрожал, голая голова влажно заблестела, он чуть не плакал.

Эн взяла его руку, стала успокаивать.

Андреа вернулся было к разговору о звуках, но ничего не получилось.

Вечером Андреа сказал Эн:

— Русская душа — что-то особенное, видишь — предупредил, и страдает, и стыдится. А ведь всего лишь честно исполняет обещанное.

XIV

Они приехали в Москву в конце августа. Их поселили в гостинице «Москва», большой, шумной, переполненной депутатами, иностранцами; на каждом этаже круглые сутки сидели дежурные; работало множество громкоголосых горничных; официантки везли в номера громяющие коляски с завтраками, обедами, бутылками водки, боржома, шампанского. Здесь много пили, ели, гуляли. Ходили в тюбетейках, женщины — в ярких восточных платьях, все в орденах, медалях, важные, гордые, с папками.

Окна их номера, задернутые толстыми бархатными занавесями, выходили на шумный проспект, день и ночь заполненный ревом машин, гудками. Снова у них не было никаких обязанностей. Кроме акклиматизации, как объяснил прикрепленный к ним лейтенант.

Они накинулись на Москву с жадностью. Они лакомились Москвой, они заходили в кафе «Националь», наискосок от их гостиницы, там можно было встретить известных поэтов, художников, актеров. Андреа носил с собой словарь. До поздней ночи он сидел за учебником русского языка. Они выстояли огромную очередь в Мавзолей Ленина, потом шли вдоль кремлевской стены, читая доски с золотыми именами великих деятелей революции. Все здесь вызывало восторг и благоговение. Огромный этот город был бедным, но чистым, в нем не было нищих, люди спокойно стояли в многочасовых очередях. Каким-то образом в них узнавали иностранцев, показывали дорогу, устраивали места в переполненных кинотеатрах. К иностранцам вообще относились с подчеркнутым вниманием, какого они не встречали ни в одной стране. Москва действительно вела себя как столица мира. Повсюду висели портреты Сталина, их было даже больше, чем портретов Ленина. Они воспринимали это

как свидетельство любви к вождю. Многие черты народной жизни выглядели непонятно, например, Эн заметила, что все школьники ходят в красных галстуках, все были пионерами, никаких других организаций у детей не было. В газетных киосках продавалось всего несколько газет — четыре странички, без всякой рекламы. Вообще город жил без рекламы. Вместо рекламы лозунги, плакаты, доски почета, фотографии ударников, экраны «соцсоревнования»; «соцобязательства», «соцдоговора» — этих слов не было в словаре. Не было и частных магазинов. Все государственное. На Центральном рынке шла вялая торговля цветами, семечками, вязаными шапочками. Пленные немцы еще кое-где ремонтировали дороги, строили дома на Хоршевском шоссе.

Раз в неделю лейтенант возил за город. В Загорск, в Лавру, — там они увидели монахов, священников, никак не думали, что сохранилось такое в социалистическом государстве.

Они получили обыкновенные советские паспорта, неказистые темно-зеленые книжечки, какие выдавались в Союзе каждому гражданину. Рекомендовалось носить паспорт с собой. В паспортах была обозначена национальность. У Андреа — грек, у Эн — американка. Здесь, в Союзе, в паспортах, оказывается, имелась графа — национальность. Ей придавали большое значение.

В воскресенье лейтенант привез Влада. Они расцеловались как старые друзья. Лейтенант уехал, Влад повел их в Третьяковскую галерею, в которой сам не бывал с детства. На обратном пути они зашли в Кремль. Там было тихо, чисто, торжественно. Цвела сирень. Сияли золотом куполов белокаменные соборы. Андреа и Эн волновало близкое присутствие Сталина. Где-то рядом, в одном из этих желтых зданий, его кабинет. И в любую минуту он сам мог выйти из подъезда.

При выходе опять тщательно сличали пропуск и паспорта. У Влада был такой же темно-зеленый паспорт, как и у них, там тоже имелась графа «национальность», и Андреа спросил его: а собственно, что означает русский?

Влад беспечно ответил, что русские — это происхождение. Отец у него русский, мать наполовину русская, наполовину татарка. Ну а почему отец русский, допытывался Андреа, русские — это язык? религия? место рождения? Вот, например, у Эн предки — датчане, испанцы. Вероисповедание — лютеранка. Родилась в Штатах. Гражданство американское. Теперь советское. Язык английский и испанский. Какая у нее национальность? Эн заметила, что у нее ни разу не возникло надобности в этом понятии. Она даже не понимала, как практически определяется национальность. Ее записали американкой, но спрашивается, есть ли такая национальность? И что это дает?

Влад был озадачен. Раньше он не задумывался над такими, казалось, очевидными вещами, хотя именно очевидное и таит в себе самые опасные ловушки.

Обедали в Доме театрального общества, куда Влад был вхож, его там знали и чтли как знатока русской кухни, гурмана. О будущей работе Влад сказал вскользь: «Еще немного потерпите, куда вы торопитесь, лучше, чем сейчас, не будет, поверьте мне. Сейчас нам принесут котлеты по-строгановски, гурьевскую кашу, и вы поймете, что ничего другого человеку не надо».

На первых порах, по словам Влада, Андреа должен получить небольшую группу. Собственно, сейчас дело за ним. Но он сказал Владу, что ему надо еще какое-то время, что его русский слишком плох. Занимался он упорно, но в какой-то момент признался себе, что оттягивает время. Никак не мог подготовить себя к новой роли. Явится он, некий Андрей Георгиевич из Афин, — смешно. Чего вы нас поучаете, Андрей Георгиевич, сами-то вы что сделали? — спросит его какой-нибудь наглец выпускник, коротко стриженный, в солдатской гимнастерке; совершенно явственно он представлял себе его румяную физиономию, а за плечами юнца — пожилого сотрудника, лысого, понурого, с язвительно поджатыми губами. От него будут ждать немедленных результатов, откровений. Как зрители в цирке: чуть оступился — свист, насмешки, и все, ты погиб. Это не ошибка, это разоблачение!

С каждым днем эта страна, Москва, казалась им все прекрасней и непонятней, как и этот русский язык, перед которым Андреа, несмотря на свои способности, то и дело становился в тупик. Он, например, чуть ли не день

потратил, чтобы понять — «пристал как банный лист». Баня — он не знал, что это такое, зачем в бане веник, что значит париться... Дотошность мешала ему, но он ничего не мог с собою поделать, это было в его характере.

2 июня 1951 года вечером они находились у себя в номере. Дневная жара еще не выдохлась, Андреа в трусах расхаживал, декламируя Пушкина. Стихи, да еще рифмованные, помогали ему изучать язык и правильно расставлять ударения. Эн сидела тоже в рубашечке, шила, укорачивала юбку. В дверь постучали. Андреа машинально сказал: «Да». На пороге показался мужчина в мешковатом летнем костюме, в роговых очках, сутулый, длиннорукий. Эн вскрикнула, закрываясь юбкой, но крик ее оборвался. Этот человек был знаком, неправдоподобно знаком, она и Андреа не поверили своим глазам. Не привидение ли? Привидение тоже остолбенело, не в силах двинуться дальше. Мистификация? Мираж? Они не знали что и думать.

— Это ты? — со страхом спросил Андреа.

— Не знаю, — неуверенно ответил Джо, и они двинулись навстречу друг другу.

Они даже не посмели обняться, они сперва осторожно дотронулись до рукава, до рук.

Их никто не предупредил. Джо привезли в Москву из Праги, поселили в соседнем «Гранд отеле» и сказали: зайдите вечером в такой-то номер, вас хотят видеть.

Джо уставился на Эн — застань он здесь президента Трумэна, штопающего свои носки, он был бы менее удивлен.

Понадобилось двое суток, чтобы они пришли в себя. Двое суток они не могли наговориться.

Появление Джо было не только обретением друга. Появился единомышленник. Появился человек, который знал, кто такой на самом деле этот Андрей Георгиевич, знал его работы, его возможности. О, это создавало совсем другое самочувствие. Андреа преобразился, он обрел себя, страхи исчезли. Отныне они вдвоем. Чтобы работать вместе.

Джо рассказал о своих планах. Он был в восторге от Москвы. Когда он спустился по трапу самолета на плиты Внуковского аэропорта и увидел над аэровокзалом кумачовый лозунг: «Социализм — все для человека, все ради человека! Да здравствует партия Ленина — Сталина!» — он заплакал от счастья. Запретные слова висели над входом в страну справедливости, написанные огромными буквами: «социализм», «партия Ленина»...

Наконец он попал в мир своей мечты. Прага, Чехословакия — это не то, здесь же коммунисты в власти уже три с половиной десятилетия, люди уже избавились от капиталистических пережитков, это народ, который спас Европу от фашизма, отсюда начинается новая жизнь.

Когда его вызвали и сказали, что надо лететь в Москву, он ни о чем не спрашивал. Есть лететь в Москву! Ему нравилось чувствовать себя солдатом революции. Кто-то распоряжался им, его судьбой, он — частица огромного замысла, двухтысячелетней мечты человечества о справедливом строе. Его дело — исполнять свою роль. Что она означала в общем механизме, он не всегда мог осознать, да и зачем? Лучше исправно служить, пусть винтиком, но лучше винтиком, чем существовать без цели, без великой мечты. Солдат ведь тоже винтик. Где-то там, в штабе, передвинули флажки, и в результате они — трое — очутились в Москве.

С утра Джо и Андреа отправлялись в Ленинскую библиотеку — знакомиться с периодикой. Американские, английские, французские журналы, не читанные за год, монографии, рефераты. Каждый смотрел свое, а потом устраивали друг другу нечто вроде обзора. Вокруг кибернетики бушевали страсти. Ее обвиняли в отсутствии научного подхода, в том, что она сделает людей жалкими. Французы называли кибернетику научной фантастикой. Ученые обижались: мол, новая — шумная, невоспитанная — наука хочет захватить биологию, социологию, математику, что для нее это всего лишь равнозначные системы! Джо увлекали эти схватки, Андреа же считал, что их дело заниматься не лозунгами, а техническими проблемами.

Количество технических разработок в Европе и Америке нарастало лавиной. Намеки, ссылки, знакомые фамилии подсказывали им, что военные продвигались особенно успешно и быстро.

В Советском же Союзе, по-видимому, в этом плане мало что делалось, кибернетикой пренебрегали, к ней относились подозрительно. Джо считал, что их задача — развернуть работы, и не просто в маленьких лабораториях, нет, надо задаться высшей целью: показать фантастические возможности компьютеров, создать машины, каких еще нет нигде. Организовать производство таких машин. Превратить эту страну в компьютерную державу!

Мысль его кипела, холодная трезвость Андреа только подстегивала воображение. Он был убежден, что будущее принадлежит кибернетике. Могущество каждой страны будут определять не пушки, а компьютеры.

— Мы соединим американскую деловитость с русским размахом, как мечтал Ленин! Плановая советская экономика даст нам возможности, каких нет ни у одной капиталистической фирмы!

Его энтузиазм вскоре увлек и Андреа.

— Судьба наша удивительна! — доказывал Джо. — Нам невероятно повезло! Мы должны отблагодарить эту страну, она спасла нас!

Восклицательные знаки его высились, как шпильки над Москвой.

Решено было посоветоваться с Владом. В результате они сочинили докладную записку, как назвал ее Влад, в ЦК партии.

Записка вызвала споры. Несколько недель она путешествовала по этажам огромного здания ЦК из кабинета в кабинет, обрастая справками, заключениями консультантов, экспертов. Что-то в ней было такое, что не позволяло ее сразу отринуть. Приложенные справки рекомендовали авторов как крупных специалистов, «связанных с американским военно-промышленным комплексом». Слово «американским» разные читающие подчеркивали — каждый по-своему. Несмотря на успехи наших атомщиков, многие здесь, в ЦК, втайне чтители американскую технику и понимали ее превосходство. Хорошо, что Влад отказался подписать эту бумагу. Его подпись испортила бы впечатление. Свой специалист, какой бы он ни был, не котировался. Помимо американского происхождения письмо смущало опытных партийных читчиков своей угрожающей уверенностью: не возьметесь за ум — останетесь в дураках, и тогда вам все припомнят, начнут искать Тяпкина-Ляпкина. На то же намекал и Влад, будучи вхож в некоторые из кабинетов.

Званий у Влада, кроме докторской степени, не было. Единственное, что он каким-то образом сумел себе заработать, была репутация еретика. В этом строжайшем учреждении его терпели и даже привечали как еретика — как специю, острую приправу к пресному потоку просителей и хлопотунов. Кроме того, этот головастик с тонкими, нежными чертами лица, с огромным лбом, с классической внешностью ученого мог мастерски ругаться, тонким писклявым голоском он запускал искуснейший мат, беззлобный орнамент, который вызывал восторг и зависть начальствующих ценителей.

В верхние кабинеты Влад направлял академиков, которым не могли отказать в приеме и которые пытались как-то отстоять «компьютерную мечту». Хотя бы частично, помалу, по полешку, «полешку к полешку, и дровишки соберем». Их выслушивали внимательно, иногда сочувственно, особенно военных. Военных подпирала нужда, при новых больших скоростях самолетов требовались другие способы управления, другие зенитные средства. Но и военные были не всесильны. Обычно они командовали, но тут натолкнулись на сопротивление идеологов. Связываться с идеологами опасались даже чекисты, идеологи же к тому времени уже публично предали кибернетику анафеме.

В конце концов партийное начальство зашло в тупик и предложило послушать авторов записки. Разумеется, в узком кругу. Без особых дискуссий, любопытно просто познакомиться с их взглядами несколько пошире, побеседовать в непринужденной обстановке.

До этого отзвуки происходящих схваток доносились до Джо и Андреа исключительно от Влада, а тот был немногословен. Тем более что они не знали ничего толком о шумной кампании, которая разворачивалась против кибернетики.

Как потом признавался Влад, ему было стыдно посвящать иностранцев в эту гнусь. Цековские идеологи, открыв новый фронт, искали отечественных злоумышленников. Уже готовились диссертации: «Кибернетика — оружие холодной войны», «Философия американской кибернетики как оплот идеализ-

ма». Уже были мобилизованы физиологи, международники, лингвисты и целый ряд философов. Так что записка наших героев появилась как нельзя кстати, вражеская идеология обрела домашний адрес, физиономию, противник проник на нашу территорию, и можно было трубить сигнал тревоги.

Несмотря на обещание, что разговор будет в узком кругу, за длинным столом среди приглашенных оказались философы, профессор психологии и профессор-физиолог. Иностранцев усадили в огромные кожаные кресла. Принесли чай с баранками, печенье, поставили вазочки, полные синих конфет «Мишка на Севере». По словам Влада, прием шел на высшем уровне. И разговор начался ласково, с полным пиететом, так что Андреа, то есть Андрей Георгиевич, фамилию которого здесь не объявляли, так же как и фамилию Джо, быстро оттаял, позабыл о наставлениях Влада и развернулся во всем блеске своей логики. Даже Джо слушал его, изумляясь тому, как отточилась мысль Андреа за время их разлуки.

Хозяин кабинета — Гаврилов, — мясистый, добродушный, по-волжски окаяющий, слушал благожелательно, помогая Андреа найти нужное слово, когда посыпались вопросы. Он, не скрывая, явно был на стороне военных, придерживая остальных. Философ, за ним и профессора дружно прорвались и стали энергично тянуть Андреа от технических задач к общим проблемам. Можно ли какие-то звенья руководства заменить машиной? Не следует ли отсюда, что со временем можно будет заменить и человека машиной?

Влад попробовал напомнить, что они собрались, чтобы обменяться мнениями. Но философ сказал, что, прежде чем меняться, надо составить свое мнение, а составить его можно, определив позицию оппонента. Влад возразил: здесь нет оппонентов, спорить легче, чем беседовать; но философ, крепыш, загорелый, по виду тяжелоатлет, как бы отодвинул его в сторону и в упор спросил Андреа о разнице между машиной и человеческим сознанием. Человек ведь социальное организованное существо, продукт общественного процесса и так далее.

— А компьютер есть продукт этого социального человека, — отвечал Андреа.

— Нет уж, позвольте, Андрей Георгиевич, вы уходите от ответа. Я человек, у меня есть эмоции, гнев, озарения, юмор, а у вашего компьютера?

— Это хорошо, что у вас есть юмор, — сказал Андреа. — У других людей нет юмора, а они тоже люди. Озарение?..

— Вдохновение, — подсказало начальство.

Тут попросил слова профессор-физиолог Артемьев и круто перешел в наступление. Атмосфера в кабинете стала меняться в тональности — на уровне спокойного разговора удержаться не удалось. Начальство обращалось к Андреа, призывая подтвердить идеологические принципы, и он охотно выражал полное согласие: да, конечно, буржуазия хочет превратить человека в машину, — вспоминал фильм Чарли Чаплина «Новые времена». Его уступчивость почему-то вызвала ожесточение у профессора психологии, который тут же довольно резко заявил, что не стоит сводить спор к проблеме человек — машина. Нет, фальсификаторы науки идут куда дальше, они выступают, по сути, против науки о высшей нервной деятельности, созданной И. П. Павловым.

Артемьев зачитывал цитаты, выписанные на карточки.

— Они распространяют кибернетику на явления общественной жизни, — сказал он. — Семонтин Ханова договорился до того, что не за горами время, когда вычислительные машины избавят людей от обязанности мыслить, будут предсказывать ход истории.

Влад попытался перевести разговор:

— Вопрос для меня в другом: способен ли мозг усовершенствовать себя? Может ли разум создать машины, которые были бы разумнее его? У меня нет ответа. Я не знаю, как с точки зрения марксистской философии.

— Не будем смешивать гносеологию и политику! — осадил его Артемьев. — Мы имеем дело с идеологической диверсией, и это куда важнее. Уважаемый Андрей Георгиевич, согласитесь, что кибернетика сегодня нужна не нам, а капиталистам, это инструмент, чуждый социалистическим принципам. Она не русское начало, если угодно, она антигуманна.

— Разве бывают русские машины? — спросил Каргос.

— Бывают, например счеты деревянные, — отозвался Джо.

За Артемьевым выступил профессор-лингвист, эта троица действовала слаженно, создавая привычную для тех лет обстановку проработок. Председатель пытался утихомирить их и не мог. И хотя напрямую никто не возражал — остерегались, — но как-то при этом выходило, что их дело противозаконно, да и сам Андреа подозрителен.

Джо обещал Андреа, что будет молчать, но тут он взорвался, мешая русские слова с английскими, захлебываясь от возмущения. В стенограмме речь его выглядит чудовищной невнятицей, на самом деле его прекрасно понимали, тем более что он тыкал пальцами в своих оппонентов, отчаянно жестикулировал, показывая, что компьютеров боятся чиновники, которые опасаются обнаружить свою некомпетентность. Да, компьютеры бросают вызов заурядности. Если компьютер сможет когда-нибудь заменить человека, то о чем это говорит? Всего лишь о том, что люди не божественные творения. Но разве это не торжество материализма? И Коперник, и Дарвин, и Джордано Бруно тем и занимались, что сводили статус человека к статусу частицы природы. И это правильно, в этом мужество нового общества. Человек силен рационализмом, компьютеры — усилители человеческого преимущества, инструмент социализма. Да, да, социализма! Социализм нуждается в компьютерах. Капитализм не в состоянии их использовать, это анархическое, бесплановое общество!

Вдохновенная эта речь не произвела впечатления на противников, они гнули свое. Как потом выяснил Влад, им не нужны были ни покаяния, ни аргументы, им нужен был упорствующий враждебный элемент. Встревоженное начальство сочло полезным именно на этой точке закончить плодотворное обсуждение, первое в таком роде.

Но Джо невозможно было остановить. Размахивая длинными руками, он носился по кабинету, как большая обезьяна, свирепая и беспомощная. Наверное, он что-то не понимает! Не считаться с мнением советских товарищей он не может. Но как специалисты они должны сказать, они уверены, что индустриализация потребует вычислительной техники. Когда-нибудь все равно придется вернуться к этой проблеме. Но будет уже поздно. Обсуждение пользы не принесло. Обсуждать можно без конца. Сейчас Советский Союз может оказаться впереди. Все решают не годы, а месяцы. Так же как с атомной бомбой. Если бы товарищ Сталин знал, он бы, конечно, помог, он бы сразу оценил важность задачи.

Воцарилась тишина, какая бывает в цирке при смертельном номере. Все застыли. Не хватало только барабанной дроби. Джо не отдавал себе отчета, что он вступает в опаснейшую зону.

— Если бы мы могли попасть к товарищу Сталину! — воскликнул он.

Все заледенело в кабинете. Лица опустели. Люди застыли — кабинет, полный манекенов.

— Почему нет? — настаивал Джо с какой-то отчаянностью. Мысль эта захватила его своей простотой. — Товарищ Сталин примет. Я уверен, что он выслушает нас!..

Председатель поднялся, вслед за ним встали и остальные, монотонным голосом он определил встречу как полезную для выяснения точек зрения, «товарищ Сталин учит нас не уходить от острых вопросов». Нельзя было понять, что означали его слова — одобрение или порицание.

На обратном пути они втроем — Джо, Андреа и Влад — зашли в ближнюю забегаловку на углу, заполненную запахами горелого масла, пива, табачным дымом. Взяли по бутылке пива, пристроились в стоячке. Влад выпил не отрываясь.

— Ух ты, — сказал он и сладостно выругался, сперва по-русски, потом попробовал перевести по-английски: дескать, все обделались, и он, Влад, тоже чуть не усрался... — Да потому что нельзя, потому что Джо всех потащил на минное поле, да потому что... — Но тут он безнадежно махнул рукой. Что-нибудь объяснить этим пришельцам с другой планеты было невозможно.

Джо, однако, не собирался отказываться от своей идеи, он уверял, что они могут попасть к товарищу Сталину, что Сталин доступнее, чем Трумэн, и они должны испробовать эту возможность. Со Сталиным легче найти общий язык, чем с этими философами. Чем черт не шутит. Поражение — это, конечно, печально, но настоящая неудача — если даже не попытаться.

— Может, все сладилось бы, если бы ты не вылез, — сказал Андреа. — Я тебя просил — сиди, закрыв рот. Перетерпел бы...

— И что?

— А то, что я бы поднял руки, признав их полную победу.

— Это невозможно! Какая же победа, когда они ни в чем не могли тебя опровергнуть? И после этого унижаться? Ни за что!

— Мне нисколько не стыдно. Мне важен успех, а не геройство. Герой тот, кто видит дело какое оно есть. Дело же наше в том, чтобы нам дали работать. На любых условиях.

— Что мне с ними — целоваться? Всему есть предел.

— Время, конечно, работает на нас, — сказал Андреа. — Но мы в это время не работаем. Ну не пойдешь ты на поклон — и что дальше? А куда пойдешь? Где тебя ждут? Меня, например, нигде.

— Не спорьте, дети мои, ибо оба вы строите свой дом на песке, — сказал Влад тоном патриарха, все же он был старше их на пять лет плюс целая советская жизнь. — По-вашему, они хотят вас переубедить. Да ни в коем случае. Им нужен противник стойкий, как Джо, чтобы, дай ему бог здоровья, упорствовал, не отступал от своих вредных взглядов. Если бы вы, Иосиф Борисович, были советским гражданином, цены бы вам не было, вас бы разоблачали год, а то и два, поигрались бы с вами, как наш Лысенко с генетиками.

— Вот видишь! — воскликнул Андреа. — Если мы признаем их правоту, они будут вынуждены от нас отстать.

— Позвольте вас разочаровать, Андрей Георгиевич, ваша капитуляция их не устроит. Вы только обнаружите свою безыдейную сущность. Приспособленцы! Двурешники! С вашего покаяния ничего не получится. На хрен им победа! Если они разгромят противника — они больше не нужны.

— А мне нравится эта битва, — сказал Джо. — Поединок — то, чего мне не хватает!

— Правильно. Это вы получите, ибо мы живем в лучшем из миров!

Дрянное московское пиво, черствые бутерброды с килькой, синий дым дешевых папирос, подвыпившие командированные в солдатских ушанках, с желтыми портфелями — все было пронизано смутной надеждой, а главное, перевито, украшено сумятицей разговора, который выводил их то к схеме декодирования, то к нервной системе, то к стоимости машины, способной соревноваться с мозгом, а то к проблеме добра... Жар и беспорядок русских бесед были не в характере Андреа и больше всего нравились ему в московской жизни.

Он сцепился с Владом, считая, что искусственный интеллект сам докажет, что он равен мозгу. Влад возражал, что именно компьютер и докажет, что он не равен мозгу. Есть еще душа, и тут Влад, вздыхая, смущаясь, признавался, что он убежден: душа есть у всего живого.

На следующий день Джо из своего номера вопреки всем уговорам стал дозваниваться в ЦК партии, в секретариат товарища Сталина с просьбой о приеме. Там долго не могли его понять, от волнения он все время переходил на английский, наконец разобрались, обещали позвонить. Действительно вскоре позвонили, порекомендовали обратиться в приемную к товарищу Берии. Джо настаивал — только к товарищу Сталину, поскольку проблема философско-экономическая. Хорошо, сказали ему, «через некоторое время вам сообщат».

Авантюра, определил Андреа, откажут, будет еще хуже, откажут и запретят — куда тогда податься? Другой работы он для себя не мыслил. Будем ждать, придется ждать, успокаивал их Влад, в России надо уметь ждать, в России все мерят годами. Чего ждать? Пока не утихнет кампания. Может, год, может, два. Джо хватался за голову.

В журнале «Природа» появилась статья профессора Быховского — оказалась, одного из тех, кто был на совещании. Статья называлась «Кибернетика — американская лженаука». Примерно такая же, но более ругательная, вышла в «Правде», в ней упоминался доктор наук В. В. Терентьев — апологет реакционных взглядов. Оказывается, это и был Влад. Его и еще двух математиков стали склонять на лекциях в Высшей партийной школе как проводников семантического идеализма.

— Хотя бы объяснили, что это такое, — жаловался Влад. — Знаю только, что я дошел до геркулесовых столбов бесплодного формализма.

В один прекрасный день он появился в сопровождении двух военных, они привезли предписание отправить А. Г. Картоса и И. Б. Брука в Прагу, где на-

чинаются работы по аналоговому вычислительному комплексу для стрельбы по самолетам. Отправляться немедленно, там все приготовлено к их приезду.

Джо заявил, что не хочет возвращаться в Прагу, они, мол, оба не намерены покидать Москву. И кроме того, ждут сообщения из секретариата товарища Сталина.

— Думаю, в инстанциях все согласовано, — осторожно сказал один из военных. — Если понадобится, вас вызовут.

Влад уговаривал их согласиться, самое лучшее сейчас удалиться из Москвы, с глаз долой — из сердца вон. Военные прикроют их зонтом секретности. Прага всего лишь география, работа пойдет на Советский Союз. Лаборатории там приличные, в средствах стеснять не будут, главное же — задача красивая, многообещающая...

— Увидимся, бог даст, когда страсти утихнут, — сказал Влад и добавил с усмешкой: — Если меня к тому времени не склюют.

Плечи его обвисли, он съежился, как будто из него выпустили воздух, осталась лишь огромная голая голова на худеньком туловище. Они вдруг заметили, как плохо он выглядит.

XV

3 декабря 1952 года в Праге был приведен в исполнение приговор — агенты империализма, одиннадцать человек во главе с Рудольфом Сланским, были расстреляны.

Разразился мировой скандал. Во всех странах расценили дело Сланского как антисемитское. Из одиннадцати казненных восемь человек были евреями. Коммунистическим партиям Европы приходилось придумывать, отбиваться, отбихиваться. Руководитель французских коммунистов заявил: «Казнь Сланского не связана с антисемитизмом, а вот дело Розенбергов — пример антисемитизма!»

Английские, немецкие коммунисты повсюду твердили: «Травят евреев в США, а не в соцстранах! Дело Розенбергов сфабриковано, а дело Сланского не сфабриковано! Сланский признал себя виновным, они, все одиннадцать, признались, что предали родину!»

В Праге лабораторию вместе с институтом повели на митинг. В рабочее время, значит — в обязательном порядке. Колонна за колонной несли выданные плакаты: «Смерть наемникам капитала!», «Если враг не сдается — его уничтожают!», «Повысим бдительность!». Это было накануне Рождества. В витринах сверкали серебряные звездочки, висели елочные украшения. Подарки заворачивали в рождественскую бумагу, украшенную блестками.

А с трибуны, усиленные репродукторами, неслись проклятия...

Джо и Андреа стояли, опустив головы. Слушать было тяжело. На обратном пути Джо рассказал Андреа историю с Миленой. Люди Сланского, видимо, творили черт знает какие беззакония. Об этом правительство знало или нет? Если не знало, то что это за правительство? Если были шпионы, то почему именно евреи? Получается, что одни и те же люди казнили Сланского и других как евреев и ведут кампанию против дела Розенбергов, доказывая, что это антисемитизм. Выходит, что антисемитизм — политический инструмент...

Ночью они слушали США. Американские ястребы обрушивались на демократов: «Сланский признает себя виновным, а вы считаете, что он невиновен. Как же так? Тогда будьте любезны и с Розенбергами рассуждайте так же, Розенберги считают себя невиновными, а суд признал их виновными — значит, это правильно!»

— Сукины дети, как они манипулируют, — сказал Андреа. — Словно бы уселись на одну скамью коммунисты в обнимку с сенаторами и судят одним судом.

После казни Сланского и его приспешников Джо стал ждать разрешения проблемы Розенбергов. Они по-прежнему пребывали в камере смертников. Казалось бы, Америке сейчас выгодно сделать гуманный жест и помиловать их. Может, для этого достаточно какого-то толчка? Надо что-то сделать. Но что именно, он не знал, строил фантастические планы: может быть, они смогли бы здесь, в Праге, собрать пресс-конференцию, все же уникальный случай, два друга Розенбергов, два коммуниста, чудом спасшихся от ЦРУ, свидетельствуют...

— О чем? — холодно уточнял Андреа. — У нас нет никаких документов, ничего юридического. Что мы можем сообщить? Что мы не верим в их виновность? Но это же глупо.

— А что умно? Что? — Джо раздражала спокойная рассудительность друга. — Их могут казнить в любую минуту!

— Я уверен, что они невиновны. Но твое предложение абсурдно. Кроме того, мы не имеем права раскрываться. Мы дали подписку. И тем самым выключены из игры. Поэтому нам лучше об этом не думать. Бесплодные терзания только мешают жить и работать, у нас сейчас...

Как всегда, логика его была безупречна, непонятно лишь, как жить с ней, как Андреа сам, все понимая, все чувствуя, уживался в столь геометрически правильном мире.

Работа увлекала их, Андреа накинулся на нее с жадностью изголодавшегося. Устройство, которым они занимались, предназначалось для стрельбы по самолетам противника, под противником же подразумевались американские самолеты, их скорость, их данные — стратегическая доктрина советских военных строилась с расчетом на войну с США. Врагом номер один были американцы, но Андреа не обращал на это внимания. И Джо понимал его — задача была интересной сама по себе и технически и математически, а кто в кого стрелять будет — наплевать, такой заказ можно взять хоть от дьявола.

Лабораторию они получили приличную. Руководителем стал Андреа, заместителем — Джо. Первенство Картоса подразумевалось само собой: властный характер, сам склад инженерного ума позволяли ему из многих подходов безошибочно выбирать лучший и определять, как и кому что делать. Всякий раз, когда Андреа делал выбор, Джо интуитивно ощущал правильность его решения.

Они не обращали внимания на слезку за ними, на сдержанность сотрудников, их настороженность, на оглушительные сообщения, которые шли из Венгрии, где разоблачали шпионскую группу кардинала Миндсенети, затем группу Райка, в Болгарии группу Трайче Костова, повсюду американские агенты проникали в руководство, вплоть до Политбюро. Но Андреа и Джо знали, какими возможностями обладает ЦРУ, как энергично оно действует, и полагали: нет ничего удивительного в том, что во всех странах социализма находились предатели. Если же заговоры чисто антипартийные, то подсудна ли внутрипартийная борьба? Своими размышлениями они делились только друг с другом, это они уже усвоили: ни с кем из сотрудников никаких разговоров о политике вести нельзя. Джо предупредил Андреа: «Они обязаны сообщать, не будем делать их подлецами».

А работа, она спорилась, словно казни способствовали вдохновению. За полгода у них образовался задел идей на несколько лет вперед.

В конце января Андреа получил из Польши сообщение — Винтер признался: он был двойным агентом, завербованным ЦРУ еще в 1947 году. Это было чудовищно. Эн не могла поверить. Как же ЦРУ позволило спасти их? «Но он признался», — повторял Андреа. Признание Винтера бросало подозрение и на них. Временами ругань в адрес американской военщины, американской науки, американских небоскребов, кока-колы, джаза коробили их. Правда, американские антисоветчики тоже клеветали — по их словам, в Москве хватало людей прямо на улицах, на работу ходили строем, читали только брошюры. В конце концов, и дело Сланского и польские дела возникли не сами по себе, несомненно, что ЦРУ действовало, оно никогда не стеснялось в средствах. Джо и Андреа испытывали на своей шкуре. Борьба шла не на жизнь, а на смерть. Не между Америкой и Россией, а между империализмом и социализмом. И они стали в этой борьбе на сторону социализма!

Выбило их из колеи сообщение от 13 января: в Москве раскрыта группа врачей-убийц, они готовили покушение на руководителей страны. Большинство арестованных были евреи, и Андреа опасался, как бы Джо не почувствовал себя уязвленным, но Джо и не подумал принять это на свой счет, он твердо знал, что антисемитизма в Советском Союзе нет и не может быть: Советский Союз разгромил фашизм, вместе с ним расовую теорию; здесь, в Чехословакии, в Польше, эти пережитки еще существуют, в Союзе же — никогда.

Комплекс завершили к февралю 1953 года. Опережая все сроки. Морозным солнечным днем начались испытания на полигоне. Комиссию составили

из промышленников и военных. По летящей цели стреляли с земли. Из зениток, оборудованных приборами. Точность попадания получилась много выше обычной. И скорость стрельбы и прочие показатели обрадовали военных. Промышленники ворчали, но не слишком; как объяснили Андреа, промышленники всегда ворчат на всякий случай, но тут их все устраивало: и малые габариты, и сравнительная простота. Заместитель командующего, Герой Советского Союза, обнимал Андреа, обещал взять под свое крыло... Позвонил в Москву, доложил о хороших результатах, замечаний было немного. Чехи устроили банкет.

Андреа и Джо усадили в центре стола, между ними сел заместитель командующего ВВС Колосков. Поднесли бокалы, огромные, в виде колокола.

— Ничего не поделаешь, — сказал Андреа, — придется научиться пить, иначе мы тут пропадем.

Колосков похлопал Джо по плечу:

— Иосиф Борисович, ты не беспокойся, мы тебя в обиду не дадим!

Бывший летчик, пил он мастерски, но голова оставалась ясной, он четко, по-деловому тут же между блюдами обговаривал условия следующего заказа. К Джо подошел маленький человек в штатском, с рюмкой.

— Поздравляю вас! — сказал он. — Узнаете?

Это был Сергей Сергеевич из Хельсинки — та же лиловая физиономия, только расплел, округлился, заблестел, как заново отлакированный.

— Я теперь тут. Курирую. Всех. — Еле заметно, ладошечкой, он обвел пиршественный стол, а заодно как бы и всю эту маленькую страну. — А вы, значит, тоже здесь? Укрылись! — усмехнулся. — Но, видите ли, от нас не укроешься. — Он обратился к заместителю командующего: — Это ведь я товарища Брука вытащил к нам в Союз. Представляете, тапером работал в кабаке. Вот как туго у них ученым приходится! Боялся к нам ехать. — Куратор хмельно заулыбался. — Уж как я его обхаживал, товарищ генерал. Приятно видеть результаты. Мы люди скромные, о нас всегда забывают.

— О вас не забудешь, — весело пробасил генерал. — А забудешь, так вы напомните. — И заколыхался смехом. Вслед за ним все с удовольствием засмеялись.

— Действительно, — сказал Джо, — не хотел. Очень вы мне тогда не понравились. Я думаю, что без вас, с тем грузином, все прошло бы легче.

Шум за столом стих, их внимательно слушали.

— Перестарался ты, браток, — сказал замкомандующего пьяно-добродушным тоном. — Да все равно молодцы, что достали нам таких орлов. Выпьем за наших неслышных, можно сказать, интимных спутников!

Неслышный товарищ Юрочкин чокался безулыбчиво, к нему подходили и отходили; закончив ритуал, он поманил к себе Джо и чокнулся с ним повторно.

— За нашу следующую встречу, Иосиф Борисович. Бог троицу любит. — Он выпил, наклонился к Джо, оскалится, словно бы укусить собрался. — Не понравился я? Как же быть теперь, что делать?

Рядом с ним откуда-то появился бледный, плаксивого вида чех из «Безопасности» («По-нашему значит безопасность», — пояснил Юрочкин) и пожаловался:

— Слышал, Иржи, не нравятся ему наши органы. Всем сионистам мы не нравимся. Насильно мил не будешь. А мы ценим вас, Иосиф Борисович. Верно, Иржи?

— Ценим, — подтвердил Иржи. — Но я их не люблю.

— Да, они народ неблагодарный. Вы ведь наш должник, Иосиф Борисович.

— Что я вам должен?

— Нехорошо... Я передам генералу Гогоберидзе, какая у вас плохая память.

— Да, перед генералом я в долгу.

— Ну слава богу.

— Мы давно ценим товарища Брука, — с печальным смешком сказал чех. Замкомандующего, услышав, погрозил им пальцем.

— Не надейтесь! Не отдам! Вы любите хапать. Знаю я ваши шарашки. Ничего, — обратился он к Андреа, — вы наше имущество. Это я вам говорю! Пока что с нами считаются!

Значение полупьяного этого разговора открылось Андреа спустя годы.

Безопасность любила иметь своих спецов, свои конструкторские бюро, лаборатории, свою химию, физику, свою технику, связь, транспорт, литературу, медицину. На нее работали известные ученые, их то сажали, то выпускали. Крупный радист А. Л. Минц рассказывал Андреа, как однажды его вызвал Берия и приказал ускорить строительство новой радиостанции. «Не сделаешь к сроку — посажу!» — пригрозил он. «Так я уже сижу, гражданин министр», — сказал Минц. Берия выругался. «Ну тогда если сделаешь в срок — выпущу!»

В новосибирском Академгородке замечательный физик Борис Румер рассказывал Андреа про шарашку, где вкалывал, будучи эзком. Вместе с ним там работали Туполев, Мясищев, Петляков, Карпов — он перечислял имена авиаконструкторов, ракетчиков, хорошо известные Андреа. Среди многих рассказов Румера особое впечатление произвела история Роберта де Бартини. Представитель древнего итальянского рода, он юношей вступил в компартию в первый же год ее создания, в 1921 году. С тех пор идея социализма завладела всеми его помыслами. Прекрасное образование и блестящие способности обещали ему большое будущее. Фашистский переворот 1926 года, захват власти Муссолини заставил де Бартини уйти в подполье. Он мог уехать в любую страну Европы; вместо этого с благословения Антонио Грамши, руководителя итальянской компартии, отправился в СССР «помогать строительству социализма». За несколько лет он выдвинулся как выдающийся специалист самолетостроения. А в 1937 году был арестован и взят в шарашку. Как враг народа, как итальянец. Впрочем, причины и следствия взаимозаменяемы. Та шарашка конструировала новые бомбардировщики, истребители, штурмовики. Сколько было таких шарашек, неизвестно. Кормили в них прилично, харч был хорош и в войну и после. В распоряжении конструкторов были техники, модельщики, а также чертежницы, с которыми умудрялись уединяться в модели самолета, стоящей посреди зала. По словам Румера, эски переправляли из своего пайка продуктовые посылки семьям в голодную Москву и в Свердловск. По случаю успешного завершения какой-либо модели устраивалось пиршество. Отгаскивали кульманы, сдвигали столы в один общий, выставлялась закуска, водка. Иногда на эти торжества приезжал сам Берия, привозил шампанское, конфеты, деликатесы, угощал своих «невольников». Сидел во главе стола, нежился в образованном обществе докторов, профессоров и прочих арестантов, произносил тосты, выслушивал рассказы, анекдоты. Разрешались и вольности, за исключением одного — не полагалось обращаться к нарком с ходатайствами. Однако Роберт де Бартини, видя перед собою главу НКВД, не удержался и тут же за столом между тостами спросил его со всей учтивостью, за что, собственно, его заключили, в чем его вина, никаких конкретных обвинений ему не было предъявлено. Сильный акцент выдавал его происхождение, происхождение извиняло наивность, и это несколько смягчило скандальный казус. Берия, надо признать, выслушал итальянца благодушно и ответил испытанной шуткой: «Было бы за что, ты бы не тут сидел!» Захохотали все, смеялись натурально, поскольку это относилось к каждому.

Угодить в подобную шарашку и наши американцы могли бы запросто, если б к тому времени оформилось соответствующее направление новой техники. Но пока что дело в свои руки взяли военные, толковые офицеры, они раньше других оценили возможности ЭВМ.

Москва выразила благодарность за результаты; пражской лаборатории выделили оборудование, добавочное помещение и штаты. Начальство считало, что важность каждой организации определяется количеством работающих. Большая лаборатория — значит, серьезная. Больше людей, больше квадратных метров — больше денег. Начальство изумилось, когда Андреа попросил дать ему пятерых электронщиков и пятерку монтажников. Не мало ли?

Чехи, люди хозяйственные, интересовались больше промышленными делами, они нуждались в станках с программным управлением и потихоньку протаскивали в план лаборатории свои темы. Военные ворчали: не отвлекайте, мол, наших. Отвлечение было на руку товарищу А. Г. Картосу: чем больше будет разных заказов, тем легче маневрировать, тем больше независимости. Система была непривычной, все планировалось загодя, любая новая конструкция, прибор, иначе нет для них материалов, потому как материалы тоже заказыва-

ли впрок — и паяльники, и сопротивления, и стенды. К тому же надо было сочинять никому не нужные отчеты, участвовать в соревнованиях, сидеть на собраниях... Удивительно быстро Андреа сумел изучить ритуальные обычаи, мало того, он научился обходить их, использовал свою как бы наивность, незнание языка и местных обычаев.

Джо стоял у окна и плакал. Не всхлипывая, неподвижно, беззвучно, как плачут мужчины, когда они плачут. Андреа сидел за столом, положив голову на кулаки. Прошло несколько часов с того момента, как его разбудила Эн и сказала самым будничным тоном, Андреа навсегда запомнил обыденность ее голоса: Сталин умер. Он не поверил — Эн поймала Би-би-си, вражеское радио могло придумать что угодно.

При входе в лабораторию вахтер посмотрел на его пропуск, ничего не видя. В лаборатории никто не работал. Постепенно Андреа осознавал ужас случившегося. Для него, да и для Джо, смерть Сталина означала катастрофу. Что-то должно было обрушиться, произойти, рухнула основа, на которой держалась вся система.

— Без него невозможно, — бормотал Джо, — что с нами будет?.. Для меня все кончилось... На нем все держалось.

Андреа не думал, что смерть человека, которого он никогда не видел, может вызвать такой душевный обвал. Как будто со Сталиным погибла идея социализма. Он подошел к Джо, положил ему руку на плечо.

— Что бы ни было, нас не разлучат. Нас двое.

Примерно так он сказал, точных слов он не помнил, и Джо не помнил, потому что в такие минуты важны не сами слова, а тон, и эта крепкая рука на плече, и главное — то, что не сказано.

«Двое»? Почему он не сказал «трое»? Андреа сам обратил на это внимание. Его поразила безучастность Эн. Она как бы не замечала ни их волнений, ни того, как они оба ежевечерне до поздней ночи сидели, прильнув к радиоприемнику. Передавали про огромные очереди прощания со Сталиным, потом про похороны; по словам Би-би-си, у Дома союзов, наискосок от гостиницы «Москва», где они жили, произошла давка, погибло много людей.

— Я все отдал бы, чтобы попрощаться с ним, — говорил Джо, на что Эн слегка поднимала брови. Молчание ее было выразительно. — Ты не согласишься? — спросил ее Андреа.

Она повела плечом:

— Это должно было случиться... Стоит ли так убиваться? Люди давят друг друга — ради чего? Так не любят и не горюют.

Ее слова возмутили Андреа. Пожалуй, это была их первая серьезная ссора.

Спустя несколько дней пришло сообщение, что «врачи-убийцы признаны невиновными». Эн сказала:

— Вот видите.

Андреа было решил, что она хотела утвердиться в своей правоте: Сталин умер — и оказалось, что врачи невиновны, а остался бы жить — и их бы расстреляли. Джо, узнав про врачей, не скрывал торжества:

— Они испугались! Они это затеяли в угоду Сталину!

Никто ничего толком не знал, но все связывали эти события, и что-то вообще стало неувлимо меняться.

Программное управление удалось. Чехи с гордостью показывали свою новинку, привезли советского министра какого-то машиностроения. Тот, человек тертый, поковырялся, пошупал и без стеснения спросил, сами ли чехи сделали такое, не лагерная ли, мол, это продукция, в смысле соцлагеря, небось содрали. Чехи обиделись, привели его в лабораторию, где познакомили с начальником, который грек, и его заместителем — откуда-то из Южной Африки. Министр недоверчиво расспрашивал, старался выяснить, имеются ли подобные штуки на Западе. У Андреа никак не укладывалось в голове: с одной стороны, русские утверждали, что все выдающееся сделано у них раньше, чем на Западе, с другой — были убеждены, что все путное создается только на Западе и если там этого нет, то и нам нечего соваться.

Министр, белобрысый мужичок, хитроватый, вразвалку походил вокруг Андреа, так же как перед этим ходил вокруг станка.

— Повторить такую хренацию для наших советских станков сумеете?

— Таковую? Нет смысла, — сказал Андреа с вызовом.

— Почему же?

— Пока мы делали, это уже устарело.

— Что же вы сегодня можете?

— Мы можем управляющую систему сделать меньше.

— Во сколько меньше?

Картос задумчиво погладил свой черный ус.

— Попробуем раз в... сто.

Министр заморгал.

— Во сколько?

— Сто, — повторил Картос небрежно.

Проверяя себя, министр оглядел свою свиту, затем Картоса и так и этак.

— Может, раза в три?.. Нам хватит.

— Вам хватит. Нам — нет.

— Ишь ты! Хвались — не подавись.

Картос непонимающе наморщился. Переводчик длинно стал ему объяснять по-английски. Картос перешел на русский.

— Вы хотите, чтобы мы делали по-маленькому? — аккуратно расставляя слова, выговорил он.

Министр расхохотался.

— Давай-давай, делай по-большому. Только не сорвись.

— Надо попробовать, — сказал Картос. — The proof of the pudding is im the eating (ответать пудинг значит съесть его).

— Это верно. По-русски — попытка не пытка, а спрос не беда. Не попробуешь — не узнаешь... Но ты рискованный мужик. А чем отвечать будешь? Партбилетом?

Тут министру что-то зашептали, но он отмахнулся.

— Нет, пусть скажет чем.

— Своим именем.

Министр поднял брови.

— Что-то новенькое. Именем? Как у поэта сказано: что в имени твоём?

Картос нахмурился:

— Другого у меня ничего нет. Не хотите — не надо. Осторожность ничего нового не создает.

— Ты со мной не задирайся. Я тебе помогу. Не подведешь? Будешь доводить?

— Я буду, даже если вы не поможете.

— Ну, ты романтик. Ладно, где наша не пропадала, давай по рукам. — Он взял руку Андреа, хлопнул по ней ладонью. — Попробуем твой пудинг.

Картос стал рассказывать про транзисторы. Что это такое, министр еще не знал и верил он не транзисторам, а вот этому чернявому греку, потому как держался тот независимо, не торгуясь, не выпрашивая, не так, как новое племя ученых вроде тех атомщиков, с которыми министр уже сталкивался в Союзе. Для тех главным был собственный интерес. А в этом греке было приятное ощущение надежности.

«Имя, — повторил министр, выступая на коллегии, — человек поручился именем своим, дороже у него ничего нет».

Производственное совещание, на котором настаивал профсоюз, Андреа провел по-своему. Он уселся на стол и, болтая ногами, принялся рассказывать о значении новой работы. Ничего конкретного, видно было, что ему самому интересно порассуждать о главном направлении, создавать устройства, имитирующие хорошего рабочего. Точность, быстрота операции, неукоснительное выполнение технологии, то есть образец добросовестной, грамотной работы. Программные устройства, по мнению Картоса, повышают требования к человеку, дисциплинируют, заставляют мыслить. Рабочий становится умнее. Воспитательное значение ЭВМ вызвало оживленные споры. Тем более что Картос как бы противопоставил атомную физику, которую он считал опасной, бесчеловечной (даже так называемый мирный атом и тот опасен), а кибернетика — это прежде всего помощь человеку и новые возможности для развития мозга.

Разговор этот словно бы оживил сокровенное, увядшее стремление людей осмыслить свою работу — во имя чего трудится лаборатория и каждый из них, существуют ли, кроме заказов, какие-то принципы. То, что предлагал Картос, подверглось замечаниям, поправкам. Однако оказалось, что его это устраивало! Ему надо было найти то, на чем все сходятся!

Собрание ничего не решило — не было голосования, Андреа так объяснил Джо:

— Если люди сойдутся на чем-то, осознают принципы нашей работы, станут их придерживаться и помогать в этом друг другу, то все остальное им можно прощать, можно относиться терпимо.

Андреа менялся на глазах. Немногословный, стеснительный, плохо говорящий по-русски и совсем плохо по-чешски, он быстро набирался уверенности, делался и мягче и тверже, свободней и загадочней. Его назначение начальником лаборатории становилось понятней. Он руководил легко, не нажимая, а убеждая, умело показывая каждому, что тот может. Именно показывал, потому что вдруг выяснялось, что он умеет мастерски паять, монтировать, регулировать, настраивать... У него были рабочие руки, и это сразу вызывало уважение. А загадочным было его превращение из гадкого утенка в лебедя, из никому не ведомого косноязычного грека в руководителя, который свободно мог общаться с министром. Неизвестно, что этот Картос еще преподнесет. Все чувствовали, что он только начал раскрываться — этот черный ящик, полный сюрпризов.

Джо объяснял себе это превращение первыми удачами, страх прошел, Андреа зауважали, и он мог начать реализовывать задуманное. Но одно дело объяснять себе, другое — увидеть. Тот Андреа, который появлялся, был незнаком Джо. В сущности, они ведь никогда не работали вместе. Руками Джо тоже кое-что умел, но соревноваться с Андреа не мог, и язык ему давался труднее. Джо говорил на всех языках одинаково плохо, даже по-английски. Чехи считали, что ему мешает «африкане» его родного Йоганнесбурга. Их невольно сравнивали, всем казалось, что они соревнуются и Джо проигрывает.

Вскоре после лабораторного собрания Джо вызвали в знакомое ему здание, и знакомый ему Юрочкин, поговорив о том о сем, угостив кофе, рассказал, что к ним поступило донесение, будто он, Джо, то есть И. Б. Брук, нелегально отъезжает о работах советских атомщиков, охаживает их достижения, клеветает и на рабочий класс, доказывая примитивность чешских и советских рабочих, считает, что их честность, добросовестность можно повисить лишь с помощью программных устройств.

Юрочкин распалился, вскочил.

— Вы не просто думаете! Вы ведете пропаганду! Высказывали это на собрании?

— Я? — удивился Джо.

— А кто же?

Что-то удержало Джо от немедленного ответа. Следовало сначала разобраться. Не могло быть такого, чтобы они перепутали. Да так грубо! Андреа же говорил это перед всем коллективом!

— Не совсем правильно, — медленно произнес Джо, наблюдая за Юрочкиным. — Видите ли, автоматизация управления весьма облегчает...

Немного послушав, Юрочкин оборвал его, зачитав несколько фраз.

— Это ваши слова?

— Думаю, таково мнение ряда ученых. Отчасти и мое. Не полностью.

— Вы говорили это на собрании? Да или нет?

— Подождите, — сказал Джо и закрыл глаза, стараясь поймать разгадку, которая дышала где-то рядом, два ответа: «да» и «нет»; «да» — это моя речь; «нет» — не моя. А чья же? Товарища Картоса?

Простая логическая задача, двухходовка? Плевать этому Юрочкину на Андреа! Он меня ловит!

Когда вечером Джо преподнес эту задачку, Андреа сразу же сообразил: тебя хотели сделать доносчиком... Джо сник, он боялся Андреа, потому что Андреа был прав: «Не надо было заводиться, обижать, оскорблять; глупо ссориться с системой, еще глупее увеличивать количество врагов, это непозволительная роскошь в нашем положении. Какого черта ты его срамил при всех, что мы с этого получили?..»

XVI

В час ночи слышимость становилась лучше, и им удалось поймать Англию, затем Германию. Передавали каким-то образом переправленное из тюрьмы заявление Розенбергов для печати:

«Вчера генеральный прокурор США предложил нам сделку — согласиться на сотрудничество с правительством и тем самым купить себе жизнь. Предлагаю нам признать себя виновными, правительство тем самым заявляет, что сомневается в нашей виновности. Мы не будем способствовать оправданию грязного дела, сфабрикованного процесса и грязного приговора. Торжественно заявляем, что мы не поддадимся шантажу смертного приговора, не станем лжесвидетелями».

Это было в ночь на 4 июня 1953 года. Прошло уже три года со дня ареста.

Эн первая почувствовала, что дело идет к развязке. Она была на пятом месяце беременности и особенно чутко и раздраженно воспринимала происходящее.

— Не понимаю, как можно из-за политики оставить детей сиротами, пойти на казнь. Ради чего? — спрашивала Эн.

— Они невиновны, они не могут признать себя шпионами, — говорил Джо. — Они приняли героическое решение.

Ее прохладное недоумение сбивало мужчин с толку.

— Они жертвуют собою, защищая честь и репутацию нашей партии! — с жаром настаивал Джо.

— Хороша репутация, если ее надо поддерживать казнью.

— Ты не должна так говорить, — вмешался Андреа, — они спасают и свое честное имя.

— Глупости! Они ничего не докажут своей смертью, — отрезала Эн. — Подумайте — шпионы! Как будто у русских мало шпионов среди наших. Да и что тут позорного — добывать сведения для Советского Союза? Вы ведь тоже считаете, что если для Советского Союза, то все можно? — ядовито осведомилась она.

— Эн! — сказал Андреа.

— А что? Вы оба выполняете военные заказы. Чем это лучше шпионской работы? В Штатах вы выполняли на американскую армию, здесь на советскую.

Слова ее задела их за живое.

— Да, мы готовы, — сказал Джо. — Они нас изгнали. И мы теперь, к твоему сведению, работаем не ради денег, мы можем здесь работать по убеждению!

— Ладно, черт с ней, с вашей политикой. Но Этель, Этель не должна... Она мать! Это выглядит тщеславием — погибнуть во имя великой смерти! Им хочется войти в историю Америки.

— Как тебе не стыдно! Уж ты-то не должна была ее упрекать, — вырвалось у Джо.

Эн встала с кровати, положила руки на живот.

— Я оставила детей ради любви, а не ради политики. — В голосе звенели слезы. — А у нее поза! Наша жизнь не наша собственность! Она дается нам свыше. Никакая партия не может ею распорядиться.

— Ты права. Если бы все дошло до этого, не было бы ни войн, ни революций, — примирительно сказал Андреа. — И слава богу!

Мысль Эн двигалась в каком-то недоступном для Андреа направлении. Трагедия Розенбергов волновала ее прежде всего как трагедия их сыновей. Однажды она, например, заявила, что Розенберги должны, если уж речь идет о столь высоких материях, заботиться и о чести Америки, и незачем марать ее смертью невиновных. Они ведь считают себя невиновными? Такой поворот изумил Андреа. Это произошло после того, как в камере Розенбергов установили прямой телефон к президенту в Белый дом на тот случай, если они решат уступить. Судя по всему, предсказания Эн сбывались, они не уступали, и день казни приближался. Ежедневно по радио они слушали репортажи о пикетах, демонстрациях протеста, предположения о действиях властей и о действиях супругов Розенберг. Психологи ЦРУ не советовали предлагать Розенбергам отступничество. Надо предъявить им материалы об уничтожении в СССР еврейских писателей, о том, как Сталин организовал дело врачей и убийство

Михоэлса. Советский режим повел политику на уничтожение евреев. И просить Розенбергов обратиться к мировой общественности в защиту советских евреев. Необязательно изменять своим взглядам, они могут считать себя невиновными, но у них есть возможность остановить геноцид, к ним сейчас прислушиваются, им следует призвать евреев всего мира порвать с коммунистическим движением, ибо истинные интересы евреев выражает сионизм. Со своей стороны правительство сделает все, чтобы голос Розенбергов услышал весь мир. У них есть шанс выполнить историческую миссию, помочь еврейскому народу.

Розенберги подумали и отвергли это предложение.

— Почему? — недоумевала Эн. — Кому выгодно их упрямство? Разве что советским и чешским антисемитам. Они станут трубить: смотрите, в Штатах евреев сажают на электрический стул, там настоящий антисемитизм.

Джо не отрывался от приемника. Он не мог его слушать один и засиживался у Андреа до поздней ночи. Друзья горячо обсуждали все данные, которые удавалось извлечь из американских источников. Главным документом обвинения была какая-то «схема атомной бомбы», которую Дэвид Грингласс передал Розенбергу. Они знали Дэвида, младшего брата Этели, — туповатый жадный паренёк, за неуспеваемость был отчислен из Политехнического института, и представить невозможно, чтобы он мог сделать «набросок, раскрывающий основной принцип атомной бомбы...». «В чем этот принцип заключается? Можно ли установить его на основании этого наброска?» — допытывалась на суде Этель. Ответ эксперта Джо записал: «Определенное соотношение сильных взрывчатых материалов соответствующей формы с целью произвести симметричную конвертируемую детонирующую волну». Никакого смысла в этой абракадабре ни Андреа, ни Джо не обнаружили. Основная улика выглядела спорной, недостоверной. Соблюдая беспристрастность, анализировали и так и этак. И все равно выходило, что судебный приговор похож на политическую расправу.

Не вытерпев, Джо направил письмо в американское посольство с категорическим протестом, копию — в английскую «Дейли уоркер», уговорил Андреа присоединить свою подпись. Через день их вызвал к себе Юрочкин. Уютный особнячок, голубые шторы на окнах, цветы и густой запах жареного лука. В присутствии нескольких человек стоя Юрочкин заявил, что они нарушают обязательства, принятые ими, и в случае повторения будут привлечены к судебной ответственности. Металлически четко, фраза к фразе, так, чтобы выглядела как минимума тюремная решетка.

Джо принялся размахивать законами международной солидарности коммунистов, нельзя, мол, бросать товарищей в беде, отдавать на расправу американской реакции.

— Мы сами разберемся, без вас, — сказал Юрочкин. — Вы нас не учите.

— Американскую обстановку мы знаем лучше вас! — В таких случаях останить Джо было невозможно, его несло.

Монумент Юрочкина с трудом сохранил величественную позу.

— Вот бы вы и оставались там, в своей Америке. А то сбежали, коммунисты вшивые. А теперь туточки права качаете.

В тот же день и Андреа и Джо отправили в командировку на какой-то южный спецполигон, где продержали безвыходно две недели — ни телефона, ни радио, ни газет. Выжженная солнцем трава, птицы, дубы перемешку с кустами акации, песчаные проплешины, искореженные мишени.

Абсолютный этот покой пришелся весьма кстати, можно было обдумать ход их работ. Андреа умел находить в любых обстоятельствах преимущества. Что могло быть прекраснее: лежать на солнышке и обговаривать, штурмовать, добивать задачки, которые подсовывала эта проклятая, эта волшебная, эта чудодейственная электроника.

Они вернулись в Прагу 15 июня. Спустя два дня после казни Розенбергов Эн рассказала подробности. Юлиус сам идти не мог, его повезли к электрическому стулу на коляске. Спустя десять минут на этот же стул усадили Этель. Включили рубильник, и Америка вздрогнула. Свершилось. И всем стало ясно, что казнь эта навсегда останется в истории страны. Казнь Людовика XVI,

убийство Линкольна, убийство Кирова, казнь Кромвеля, казнь Романовых, казнь Сакко и Ванцетти... Прибавилась еще одна кровавая веха в истории Америки, да и не только в ее...

Эн рыдала, она мало знала Розенбергов, встречались раза два, и они ей не понравились, но сейчас она плакала от стыда и обиды за свою страну. Порвалась еще одна скрепа. Отсюда, с этого берега, Америка все чаще виделась злобной, жестокой, опасной, ее ненавидели, и это было неожиданно. Ведь с детства Эн твердо знала, что ее страна — страна обетованная, куда стремятся люди со всего мира за счастливой жизнью. И вот она обернулась к Эн хладнокровной мордой убийцы. Предсмертные судороги Розенбергов заслонили собой зеленые холмы Итаки...

Андреа обнимал ее вздрагивающие плечи, прижимал к себе мокрое от слез лицо. Что он мог сказать? Что смерть их не напрасна? Что казнь откроет американцам глаза на антикоммунистический шабаш, охвативший страну? Слова не доходили, шуршали, как сухие листья. Эн думала, что оплакивает Розенбергов, а на самом деле горевала о своей стране. Она теряла ее! У Андреа был Джо, была работа, было будущее. Его родители из Греции, эмигранты, он сын эмигрантов, а она американка, дочь американцев, ее предки давным-давно покинули Швецию, полтора года лет как все живут в Штатах, у нее есть только Америка, ничего больше.

Поразительно, как любящие люди бывают одиноки. Не догадываются, что творится в душе другого. Любовь еще не означает близости. У каждого своя, неведомая другому внутренняя жизнь. Андреа не мог или не хотел понять ее страх, разделить ужас безвыходности, для него все было просто. Похоже, он даже рад, что может теперь, когда все кончено, не оглядываться. Ему надо хлопнуть дверь в прошлое, иначе нельзя ни работать, ни существовать: «У нас нет выхода, мы должны принять систему, в которой очутились. Смотри, сколько здесь счастливых людей, как они воодушевлены своими планами. Мы должны рефлексить для себя, что у нас нет больше никаких Америк и не будет».

Вот этого-то она и не могла представить. Она никогда не приживется здесь. Ни в Праге, ни в Москве. Это все чужое. Втайне она надеялась, что они здесь временно, лишь бы укрыться, чтобы рано или поздно вернуться. Теперь родной дом ее разваливался, оттуда несет зловонием, там хозяйничают крысы.

Утешения Андреа были очевидны: у нее семья, будет ребенок, живут же люди и здесь, чужое становится своим, мы с тобой тоже были чужие; будет ребенок, и все образуется.

Сложнее было с Джо. Казнь Розенбергов разъярила его, он жаждал мести. Он готов был на любое безрассудство. Предупреждение Юрочкина не образумило его.

— Уймись, — просил его Андреа. — От твоих воплей никакого толку. Только радость Юрочкину, он тебя посадит в дерьмо по уши. Неужели не понимаешь, что все замыкается на нем? Куда б ты ни писал, куда бы ни звонил, все идет к Юрочкину.

— Все, да не все. Мы что, приехали сюда спасать свою шкуру? Не желаю беречься! Чтобы такая мразь, как Юрочкин, могла над нами измываться?

— И с Трумэном воевать, и с Юрочкиным, а кто работать будет?

— Я потерял интерес.

— Это почему? У нас же была цель.

— Ах да, всеобщий прогресс, кибернетика для социализма... Мне надо что-то свое, свое собственное дело.

— Можешь открыть фирму под названием «Возмездие».

Что-то в тоне Андреа заставило Джо насторожиться. Он замер, похоже было, что даже уши его поднялись. Что именно Андреа имеет в виду? Как всегда; Андреа был убедителен, и Джо запылал. Знамя священной войны? Это его устраивало, им предназначено стать мстителями, покарать американскую армию, ястребов Белого дома, всю эту маккартистскую сволочь. Сама судьба прислала их сюда! Ради этой высшей цели сохранила им жизнь! Цель была конкретной: военные заказы. Они воодушевляли Джо.

Так Андреа удалось поджечь друга, но сам он чуждался политики. Для него целью работы была работа, она сама давала радость и как бы смысл жизни, которого на самом деле жизнь не имела. Иногда ему приходилось укра-

шать работу словами, защищать ее принципами, соблюдая ритуал, который был людям почему-то необходим.

Андреа многие считали сухим рационалистом, прагматиком, а между тем часто перед ним его охватывало удивленное благоговение перед судьбой. В самом деле, в те дни, когда они были в Мексике, агенты ЦРУ выследили и схватили их общего приятеля Собелла, толкового инженера-электрика, которому нельзя было отказать ни в уме, ни в осмотрительности. Это произошло как раз тогда, когда они из вечера в вечер поджидали Винтера. Собелла доставили в Штаты и засудили — тридцать лет тюрьмы! Фактически лишь за то, что был коммунистом и другом Розенбергов. Такая же судьба ждала и Андреа. В том, что он избежал тюрьмы, не было его заслуги. Просто счастливый жребий. Он должник удачи. За удачу надо благодарить судьбу и воздать ей должное — так учил отец, знаток писаных и неписаных законов. Неблагодарность — одно из самых постыдных качеств человеческих. Эн не должен роптать — судьба пошла им навстречу, следовало благодарить ее. Нельзя жить воспоминаниями, так же как нельзя жить мезьью. Его душа отвергала временность, ожидание, все то, что угнетало Эн, жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на ожидание. Да, если угодно, он был рационалистом, и это правильно, рационализм помогал ему жить полнее, осмысленнее и ощущать красоту настоящего. Но при этом он был одинок. Самые близкие люди жили страстями и поступали вопреки разуму, и временами он болезненно ощущал свое одиночество.

ЭВМ для авиации, ЭВМ для ПВО были увлекательными задачами, к тому же подогреваемыми нетерпением Джо. По вечерам после работы они прикидывали примерные варианты будущих вычислительных машин, их размеры, вес, быстрдействие. И спустя полтора месяца смогли выслать свои предложения в Москву генералу Колоскову.

Они родили свой вариант, а Эн родила в те же дни мальчика, слабенького, тихого, с ним было много возни. Тогда же, словно подгадав, позвонила Магда, спросила, не хочет ли Джо повидать своего сына. Оказывается, и у него сын?! Звонила она от своих родителей из-под Брно. Если он согласен, будет ждать его в воскресенье. Джо не знал, что ответить, сослался на то, что у него нет разрешения, без разрешения он не может выехать из Праги.

— Как хочешь, — сказала Магда без всякой обиды.

Однако скоро раздался новый звонок, незнакомый мужской голос сообщил: если он соберется к семье, ему будет предоставлена машина и разрешение на поездку — туда и обратно.

Эн заставила его согласиться. Как бы то ни было, это его ребенок. Джо в этом не сомневается, однако никаких отцовских чувств не испытывал. И когда он увидел пухленького славного карапуза, не было ни волнения, ни желания найти свои черты, себя в этом пухлом тельце. Магда похорошела, раздобрела, деревенский румянец освежил ее одутловатое бледное лицо.

Дом ее родителей стоял на краю поселка и имел все, что положено: фруктовый сад, аккуратно подстриженную лужайку, погреб, заполненный яблоками, грушами, переложенными соломой для зимнего хранения, на продажу. Родители, милые люди, встретили Джо радушно, несколько робея и заискивая, особенно отец, толстый, пыхтящий, с подслеповатыми красными глазами. Он все старался понять, о чем они с Магдой говорят по-английски.

После торжественного обеда Магда вывела Джо погулять по поселку. Малыш шел сам, держа их обоих за руки. На них смотрели, и Джо понимал, что Магде приятно это парадное шествие. Родители Магды обожали внука, боялись, как бы Магда не уехала с ним в Прагу. Вопрос этот Джо замаял, спросил только, нужны ли ей деньги. Магда отказалась — никаких денег, это ее ребенок, полностью ее. Она счастлива, что у нее есть сын, и благодарна Джо. Зачем же тогда позвонила? Она замаялась, потом сказала, что ей предложили. Зачем это им нужно? Она не знала. Что же, она по-прежнему связана с ними? Они помогают ей кое в чем, дают заработать на переводах. Понравился ли ему мальчик? Все дети прекрасны. Она назвала его Джордж. Он пожал плечами. Неужели его не трогает то, что у него есть сын? «Тебя это должно устраивать». — «Ты хочешь вернуться в Москву?» — «Да. Рано или поздно надо перебраться, здесь не развернуться». — «Боясь, что тебя отпустят туда только со мной». — «Тяжелый случай».

Они говорили о себе так, как будто речь шла о чужих людях. Жизнь в Союзе Магду не прельщала, но и отказать она не посмела бы. «Тебя не любят советские», — предупредила она.

От этого посещения у него остался на губах вкус поцелуя в теплую яблочную щеку мальчика.

XVII

Осенью пришло сообщение из Москвы, что по новым правилам иностранцы к секретным работам не допускаются, поэтому их предложения не могут быть приняты. Андреа отправился к Юрочкину. Тот устранился: к сожалению, помочь ничем не могу. Более того, был вынужден на запрос Москвы предупредить о политической невыдержанности товарища И. Б. Брука. Да и о моральной неустойчивости, поскольку он, И. Б. Брук, бросил свою семью, не помогает ей. Главное же, конечно, — политические взгляды...

Таким образом, их планы рушились, военные заказы откладывались, значит, и на разворот исследований, на создание лабораторий и конструкторских бюро надежд не было. Знакомый военпред сказал, что Колосков ничего не в силах сделать. «С органами не поспоришь, сильнее кошки зверя нет». Это было печально, но Андреа уже привык к зигзагам здешней жизни. «Ладно, мы подождем, но вам ждать нельзя, — сказал он военпреду, — вам деваться некуда, вы должны торопиться, американцы не ждут».

В его уверенности было нечто мессианское. Как будто ему было известно, что никакие силы не смогут помешать ему выполнить свое предназначение.

Откуда приходит такое знание, неизвестно, но когда оно дается, то человек может одолеть, казалось бы, несокрушимые препятствия. Его ничто не останавливает — ни запреты, ни сомнения, ни разочарования.

Их вызвали в Москву, всех троих, вернее, четверых, потому что Эн поехала с новорожденным мальчиком. Опять поселили в гостинице «Москва». На первом же совещании предложили организовать лабораторию в Ленинграде. Джо пытался выяснить, кто им поспособствовал, Андреа это не интересовало, он принял случившееся как само собой разумеющееся. Единственное, на чем он, кажется, поскользнулся, это штаты, средства, помещения. Начальство было разочаровано столь скромными цифрами. Дела, большие, так не делаются.

В перерыве в туалете рядом с Андреа оказался один из штатских членов совета, выбритый до синевы, крючконосый, мрачный, похожий на престарелого разбойника.

— Просчитались вы на порядок, — глядя в писсуар, тихо сказал он. — Поскромничали. А скромность, она дешевой выглядит. А от дешевки нечего ждать.

— Чем экономнее, тем больше доверия, — сказал Андреа.

— Это, может, у капиталистов. А в России другие правила. Запрос карман не тянет. Бьют — беги, дают — бери. Сразу хватай что можешь, с запасом. Завтра вам понадобятся еще люди — не дадут.

Разбойника звали Легошин. Был он физик, академик, шибко засекреченный, он понравился Андреа толковыми советами, поговорочками. Изучая русский, Андреа прежде всего записывал пословицы, всякие просторечия, меткие словечки. Вечером он зачитывал их Эн: «Сколько хер не трясси, последняя капля в штанах останется, как сказал академик Легошин». Кстати, Легошин же посоветовал ему обращать внимание на надписи в общественных туалетах, там самый сочный, вкусный язык, ибо, как заметил один поэт, «только там свобода слова».

Новый год в России почитали больше, чем Рождество. В эти дни из небытия вынырнул Влад. Он вернулся в Москву с грандиозными планами — кибернетики готовились к решающим боям.

Новый год встречали в номере у Андреа — с огромным тортом, шампанским. Эн не удалось достать индейку, вместо нее были цыплята табака. Во втором часу ночи мужчины прошлись под предводительством Влада по длинному гостиничному коридору, устланному красной дорожкой. Двери многих

номеров были открыты, их зазывали, поздравляли с Новым годом, угощали, что-то новое появилось у людей — иностранцев не боялись, во всяком случае куда меньше, чем в прошлый раз.

С ними знакомились так называемые реабилитированные, те, кто вернулся из лагерей, некоторые отсидели по пятнадцать, семнадцать лет. В ту ночь они ничего не рассказывали — веселились, пели лагерные песни с чувством и слезами. В них не было утрюмости или злобы. «Это возможно только в России!» — кричал Джо, он светился от счастья за этих людей. С одним из них, Губиным, они познакомились. Влад заставил его рассказать, как били на допросах, как следователь оторвал ему ухо.

— Где этот следователь? — спросил у него Джо.

— Здесь, в Москве, жив-здоров. Меня вызвали в прокуратуру, предложили подать на него в суд.

— Ну и что же вы?

Губин отмахнулся, зашелся надсадным кашлем. Старомодный суконный костюм болтался на его тощей фигуре. Был он по специальности хирург, Влад называл его Тимошей.

— Как же ты, Тимоша, отказался? — допытывался Влад. — Какой у тебя резон?

— Знаешь, я так думаю: партии нашей это не на пользу, авторитет ее страдает. — Губин поежился стеснительно. — Все же я в партию вступил в год смерти Ленина, орденосец, и вдруг откроется, что этот мальчишка меня ногами топтал. Нехорошо.

Джо бросился его обнимать. Какие люди, какие коммунисты!

— Эх, Тимоша, такой мог бы устроить процесс показательный, — горевал Влад. — Шанс был!

По морозной, скрипучей Москве Влад потащил их к своим приятелям. Там стояла елка, украшенная блестками и дутыми шарами, горели тонкие свечи. Уже все было съедено, оставался только винегрет и водка, и бесконечные разговоры — о политике, о Хрущеве, о реабилитированных, но больше всего о Сталине, о культе личности. Рассказам о Сталине не было конца. Что-то словно прорвалось у всех этих мужчин и женщин. Спорили, безумец он или преступник, совместимы ли гениальность и злодейство, оправданы ли его преступления, а все же благодаря ему разгромили фашизм, да при чем тут он, воевал не он, а народ под водительством Жукова, Сталин ни разу не побывал на фронте, продолжал он дело Ленина или же исказил. С упоением передавали легенды о его злодействах и коварстве. У Андреа и Джо дух захватывало от их откровений, поражало бесстрашие, с каким эти русские подступали к величайшей фигуре современности, кумиру, обоженному как никто мировой общественностью. Они ужасались, а Влад подсовывал им все новые сведения, он хотел сокрушить их представление о Сталине, старался высвободить и свое сознание от веры, страхов. Кибернетика занимала его все меньше. Он собирал свидетельства о Сталине, помогал печатать на машинке какие-то статьи, задержанные цензурой, работу одного биолога о лысенковщине, работу другого своего приятеля о первых месяцах войны с немцами. Поведал он это под секретом, но все это клокотало, выплескивалось из него, да и вся его компания, видно, участвовала в его делах.

Влад и Джо быстро нашли общий язык. Один за другим появились литературные сборники с крамольными рассказами, повестями, повсюду обсуждали роман Дудинцева, рассказы Яшина, Тендрякова, стихи Евтушенко, в газетах эти произведения громили, запретили новую симфонию Шостаковича. Проходили пленумы союзов писателей, композиторов, московскую интеллигенцию раздирали страсти. Одни обличали доносчиков сталинских времен, другие на партсобраниях заставляли каяться инакомыслящих. Джо ринулся в этот водоворот со всем пылом новобранца. С утра отправлялся с Владом по каким-то адресам молодых художников, на сборища историков, выступления поэтов, которые собирали тысячные аудитории. Восторг освобождения народного сознания захватил Джо полностью. Поздно вечером он вваливался в номер к Андреа переполненный рассказами, сипел пересохшим, сорванным голосом. Вокруг него всякий раз возникало вращение желающих просветить этого нескладного иностранца. Влад терпеливо переводил ему непонятные места... Кончилось все это тем, что Андреа решил ускорить отъезд в Ленинград.

Есть возможность устроить Влада в лабораторию руководителем группы с полной самостоятельностью, они могут составить прекрасный триумvirат, Влад, столичный теоретик, наберет к себе молодежь и займется проблемами, о которых он давно мечтал, вместо этой политической суеты. Произошел резкий разговор. Для Андрея Георгиевича, может, это и суета, для советских же людей нет ничего важнее: очистить свои мозги, не дать реставрировать сталинизм, для этого надо мобилизовать все силы, чтобы скорее покончить... Надо выбрать решающее звено, сегодня это не кибернетика. И Джо энергично подержал его, незачем форсировать отъезд в Ленинград, когда происходит переворот в сознании людей и столько спорных вопросов, в которых он, например, не согласен с Владом и его друзьями. Андрея все это не одобрял.

— Какие из вас политики? Дилетанты. Беретесь не за свое дело.

Влад развел руками.

— Видите ли, Андрей Георгиевич, специалистов по ликвидации культа личности нигде не готовят.

— Я не могу вами командовать, но мне жаль, что пропадет ваш редкий талант.

— Я вернусь.

Андрея покачал головой.

— Куда?.. Ученый как птица — должен высидывать яйца не отрываясь. Но Джо я вам не отдам. От него один вред. Вы подумали, зачем вам иностранец, да еще состоящий под наблюдением? Это несерьезно.

В тот раз они чуть не поссорились, но Андрея настоял на своем.

— Ваша позиция понятна, — сказал в заключение Влад. — К сожалению, она слишком напоминает позицию многих наших ученых, которые тоже не хотят ни во что вмешиваться. Только из-за страха. Поймите, дело идет не о политике, а о способе жизни!

Выяснилось, что Джо увлекся не столько политикой, сколько одной из девиц, занятых политикой. Если бы не брак с Магдой, он готов был тут же жениться и взять ее с собой в Ленинград. Она явилась на вокзал провожать его. Курносая, скуластая, решительно-резкая, с большими смеющимися глазами, из-за вязаного платка похожая на матрешку, она отличалась от прежних поклонниц Джо и неожиданно понравилась Эн. Звали ее Валентина, Валя. Джо звал ее Аля. Она басисто плакала, всех перецеловала, обмазав губной помадой, утиралась концом платка и подарила Эн свои меховые рукавички.

В Ленинграде их встретил настоящий мороз. Когда они вышли из вагона, то не могли открыть глаза — смерзлись веки. Было минус тридцать.

Они приехали в город, в котором им предстояло устроиться надолго. Отсюда должна была начаться их настоящая жизнь. И настоящая работа. Давно позабытое чувство оседлости появилось с первых же дней. Как только устроились в гостинице, взяли такси, отправились посмотреть город Великой Октябрьской революции, бывшую столицу империи, северное чудо, созданное Петром Великим. Сразу же открылись строгость и простор широких проспектов и площадей. Здания были изукрашены снегом, белизна выписала каждую лепнину, стены поблескивали от инея. Город был сказочно красив. Воздух колюче искрился. Огромная Нева вся замерзла, покрылась льдом. По гладкой снежной равнине шли лыжники. Город, как сказал словоохотливый шофер, стоит лицом к реке. В садах за коваными решетками толпились черно-белые замороженные деревья. Город был по-американски разливован, располагался на островах среди каналов и речушек, закованных в гранит. Ничего похожего на тесноту Амстердама. Они проехали по Васильевскому острову от Ростральных колонн до самого взморья, недоверчиво выслушали рассказ шофера — про то, как весь этот остров с его линиями и проспектами был спроектирован царем Петром двести пятьдесят лет назад. Значит, еще до Нью-Йорка? Значит, геометрическая сеть авеню и стрит лишь повторила петровскую планировку? Шофер был доволен и показал им то, что иностранцам не показывали: княжеские дворцы-поместья, особняки, запущенные, облупленные, но все равно прекрасные. Во всем чувствовалось аристократическое происхождение этого города... Еще стояли дома, разбитые снарядами во время блокады, сохранились раны, нанесенные осколками бомб. И всюду кони, колесницы, гранитные львы, львиные морды, подворотни, замкнутые двory, узорчатые ре-

шетки... Строгая чопорность и печаль, холодность и красота. Была в этом городе какая-то тайна, скрытая под снежной маской.

Здесь происходили революции, отсюда началась Российская империя, здесь она кончилась и началась другая страна; город этот, свергавший власти, сам был свергнут, отвергнут, лишенный всех привилегий, он оставался опасным и непонятым. После Москвы он показался им свободным от чиновничьей суетности, и они сразу влюбились в него.

Несмотря на жестокий послевоенный жилищный кризис, им довольно скоро выделили по отдельной квартире. Дом еще не был готов, не подключили газ, не работал лифт, но они не стали дожидаться, переехали. Спали на полу, готовили на электрических плитках, которые то и дело перегорали. Наплевать, наконец-то они обрели пристанище. Жилье, семья, любимая работа — что еще надо человеку? Можно было обосноваться, купить билеты в филармонию, завести книги, повесить абажур, сделать шкафчик для инструментов. После всего, что с ними приключилось, обыденность была счастьем.

Слухи о том, что иностранцы возглавляют лабораторию вычислительных машин, поползли по городу. Во-первых, кибернетика все еще одиозная специальность, во-вторых, иностранцы; говорят, что чехи, но и чехи в ту пору были пришельцами из других миров. К ним потянулись молодые инженеры.

Андреа и Джо отбирали людей не торопясь, придирчиво. Каждому устраивали экзамен. Джо отрастил бороду, сидел с трубкой в зубах, напоминая скандинава. Андреа — прямой, при галстuke, отглаженный, корректный, немногословный. Было известно: в случае, если недоволен ответом, он крепко сжимает ручки кресла и говорит еще медленнее. Старается говорить по-русски, иногда только переходит на английский и останавливается, давая время понять произнесенное. Подготовиться к экзамену было невозможно, эти иностранцы спрашивали все — полупроводники, оптику, металлы, как паять, чем заменить диод, как взять такой-то интеграл, кто такой Густав Малер.

Алексея Прохорова срезали на токарном деле, он попробовал защищаться: «Я же не станочник, я научный работник». «Мне нужно больше, чем научный работник, — сказал ему шеф, — мне нужен инженер!»

Молодые долго обсуждали эту фразу. Выходило, что этот тип ставит инженера выше ученого? Алексей Прохоров потом попытался выяснить у Картоса, так ли это. И кто тогда сам Картос, он же ученый, настоящий ученый? В глазах советской молодежи ученый был куда выше инженера. Никто из них не хотел числиться инженером, тем более тогда, когда ученые-физики ходили, овеянные славой создателей атомных и водородных бомб, могущества страны.

Оказалось, по Картосу, что ученый лишь открывает существующее в природе, законы ее, так сказать, бытия; инженер же изобретает то, чего нет и не могло быть, начиная от колеса и сковородки, вплоть до застежки-«молнии», великого изобретения XX века, так совершенно серьезно определил Андрей Георгиевич.

Марка Шмидта срезали на каком-то русском инженере Лосеве; оказывается, этот Лосев в 1921 году построил полупроводниковый прибор «Кристадин». Марк разочарованно скривился: вот уж не ожидал, что эти иностранцы будут тянуть уже осточертевшую всем нудягу про наше российское во всем первенство! Выяснилось, однако, что в американском журнале изобретатель транзисторов отдал должное своему предшественнику Олегу Лосеву, забытому у нас, который, между прочим, умер здесь, в Ленинграде, в блокаду, в 1942 году. И получалось: Марк не Лосева не знает, что не беда, а не читает текущей литературы. Высказано это было ему деликатно, оба, и Брук и Картос, старались никого не обидеть.

Замечено было, что Картос никогда не ругался, не употреблял грубых слов, приходилось вслушиваться в его интонации, различать полутона, что, по словам Прохорова, весьма утомляло наш слух, непривычный к таким тонкостям.

К ним шли привлеченные новой, недавно запретной областью. Те, кому опостылела рутинная, восторженные мальчишки, те, кто верил в свою звезду. Отправлялись, как позже молодежь уезжала на целину, как когда-то американцы отправлялись осваивать свой Запад. Кибернетика была для молодых неведомой целиной, эти двое, иностранцы, — проводники, или скорее предводители.

Бородатый — длиннорукий, развинченный — походил на пророка, его предсказания казались фантастичными, его идеи вызывали то иронию, то восторг. Ко второму приближались с опаской, общение с ним требовало напряжения, о нем спорили, некоторые уверяли, что он гений, другие — что шпион, молодые скептики пробовали его и так и этак, пока тот же Прохоров не определил: «Нашего шефа не сжуешь, он несъедобен».

Лаборатория заработала. На удивление слаженно. Принятые только что на работу из разных коллективов, институтов люди действовали энергично и весело, негодных оказалось мало, они уходили сами, тихо, убедившись, что им не угнаться, что ничего у них не получается. Лаборатория была самостоятельна, хотя внешне выглядела как и все подобные подразделения — выходила стенгазета, брали социалистические обязательства, проводились общие собрания, в холле повесили Доску почета. Поэтому не очень-то понятно было, почему в лаборатории «п/я № 106» царил совершенно особый дух, настроение, несвойственное учреждениям этого типа. Сам Картос никогда не формулировал своих принципов, не оглашал их в виде свода правил, они выявлялись постепенно.

...«Лучший путь к успеху — успех». Это означало: советую вам не изучать вопрос в поисках наилучшего решения, а сделать для этого хоть малость, успех, хоть крохотный, должен быть каждый день.

...Вторая фраза, которую он повторял и которую можно было считать тоже принципом: «Держись за свое вязанье» (свое вязанье — то есть не лезь в чужое для тебя). Как женщина каждую свободную минуту берет за спицы, продолжая вязку, так и ты: занимайся тем, что знаешь, и безотрывно.

— С чего вы взяли, что они сделают лучше вас?

— Но у них больше опыта!

— Значит, и больше предрассудков.

...«Не бойтесь, что этим уже занимаются, у вас голова устроена иначе, чем у них».

...«Успех — это ваш успех. Неудача — это наша общая неудача, всей лаборатории. Постоянная неудача невозможна. Неудача постигала каждого, и Фарадея и Эдисона».

Как все это было не похоже на обычное «давай-давай!». Не было слышно и привычных угроз: выгоним, отберем партбилет!

...«У вас получилось? Отправляйтесь домой!» Это прозвучало впервые, когда Марк прибежал и доложил, что схема с триггерами действует лучше, чем ожидали.

— Домой поезжайте.

Марк был ошарашен.

— Но сейчас только двенадцать часов!

— Вот и хорошо. Пойдите в кино, в баню, к врачу.

— Зачем?

— Явитесь на работу завтра. С успехом надо переспать. Утром увидите истинную цену... С неудачей тоже полезно переспать вместо бабы.

...«Если вы настаиваете — пожалуйста, делайте». Человек должен действовать самостоятельно.

...«Чем выше уровень власти, тем меньше людей».

У него было всего два заместителя. Первый — Джо. Без всяких конкретных обязанностей. Джо советовал, вникал, следил за состоянием проблем в других странах и непрерывно фонтанировал идеи. Кроме того он, как правило, руководил мозговыми атаками при решении трудных задач. Вторым заместителем решал организационные дела. Однако обращались к нему, да и к самому Картосу, не так уж часто, потому что лабораторию шеф разбил на мелкие группы — «чем меньше команда, тем она самостоятельнее мыслит, тем конкурентоспособнее, у малых групп больше честолюбия».

Однажды к Картосу явился Виктор Мошков, торжественно объявив: «Я нашел хорошее решение!» Андреа, выслушав его, спросил: «И что из этого следует?» Виктор обиделся. Тогда Картос рассказал про своего приятеля, художника, который поехал в Париж и решил там остаться. «Он пришел к Шагалу, показал ему свои работы: «Видите, я хороший художник!» «Хороший, — сказал Шагал, — и что дальше?.. Вава, — крикнул он жене, — дай ему тысячу франков!» Так и у вас».

Позже Джо спросил его: «Ты меня имел в виду? Мою неудачу в Париже?» Андреа отнекивался, но Джо был убежден, что эта притча о нем.

Можно было бы собрать целый свод правил, соблюдение которых обеспечивало успех лаборатории. Скажем, Андреа предпочитал скорбно промолчать, вместо того чтобы выругать: «Невысказанное недовольство звучит громче».

Он избегал говорить: «Нет, это плохо, не пойдет». Он задавал вопрос за вопросом, пока оппонент сам не начинал сомневаться.

Однажды Картос зашел в комнату, спросил, где Аркадий Тимченко. Ответили, что того нет на месте. Когда вернется? Неизвестно. А он сказал, где он находится? Нет, не сказал.

— Ну как же так, — вырвалось у Картоса, — ему же деньги платят!

Простейшее это недоумение запомнилось, его повторяли много лет. Наивность человека из другого мира позволяла увидеть нашу жизнь со стороны.

Этому странному, на советский взгляд, руководителю почему-то всегда было интересно знать мнение подчиненного. О себе, о других, о тематике, структуре лаборатории, о заказе. Несколько раз он порывался провести анонимное анкетирование, ему не позволили.

Сами по себе эти королевские наборы качеств, правил, приемов мало что объясняли. Секрет состоял в том, что от себя Картос требовал того же, чего добивался и от других, относился он к себе беспощадно, да еще и иронично. То есть он чрезвычайно уважал себя, если ему удавалось найти какое-то неординарное решение. И он же первый издевался над собой за ошибки. Правда, как заметил Виктор Мошков, «вы это позволяете себе только потому, что первый их находите». Мог, например, на семинаре рассказать о своей работе над одним измерительным прибором примерно так:

«Через полгода возни я получил туманное представление о том, чего я хочу. Еще два месяца ушло на то, чтобы понять, что я вообще изучаю. Прибор я сделал быстро, зато он долго не работал. Я изменил методику, разработал новую подвеску. Это оказалось удачным изобретением, но не для моего прибора. Я выяснил, как надо вычитать ошибки, и вывел неплохую формулу, и тут я установил, что все дело в том, что были неверно присоединены провода. После этого все равно ничего не получилось. Сигнал был слабее в три раза, чем полагалось... Затем что-то получилось, и прибор заработал. Что именно получилось, никто не знает и никогда не узнает. Прибор работал и показывал сигнал в два раза чаще, чем надо. И какие-то еще дополнительные сигналы. И тут уж ничего нельзя было с ним поделаться...»

Вот за что его обожали!

Однажды его поймали на противоречии. Он равнодушно пожал плечами: «Мало ли что я говорил, не стоит ко мне относиться не критически. Есть только два авторитета абсолютных — Христос и Ленин».

Фразу эту толковали по-разному. Сошлись на том, что он имел в виду учения, которые изменили образ мышления людей.

Подступиться к нему с общефилософскими вопросами не решались. Ждали, когда он придет, сядет и заведет разговор на посторонние темы. О поэзии. О музыке. Такое он себе позволял. Редко, но позволял.

— Почему Христос оказал такое влияние? — спросил он однажды. — Вы можете сказать?

Никто не мог ответить, может, кто и хотел, но ждали, что скажет шеф.

— В христианской религии есть жертвенность. Человек приносит в жертву себя, эта религия не требует приносить в жертву других.

Никто с ними никогда не говорил о таких вещах.

— Бога познать нельзя. Люди Бога не знают, они знают пророков — Будду, Раму, Христа.

Андреа предупреждал Алешу Прохорова, что путь, избранный им, тупиковый, а через месяц объявил на семинаре: «Мы убедились в бесплодности такого варианта». Пришлось Прохорову принять вариант Картоса, и когда схема показала хорошую надежность, Андрей Георгиевич объявил это достижением Прохорова. Так она и вошла в технологию как схема Прохорова. Алеша пробовал протестовать, но Андреа пренебрежительно отмахнулся: «Не мелочись».

Это у него было общее с Бруком, Джо тоже не особенно занимала проблема авторства, идей хватало. Они появлялись одна за другой, к вечеру он не помнил утренних. Андреа старался его идеи просеивать, порой шуточно жаловался: «Джо — мой крест, четыре часа в день приходится тратить на споры с ним, есть ли жизнь на Марсе».

На самом же деле среди множества безумных, непривычных идей Джо был небольшой процент стоящих. Может, одна на сто блестящая, и это оправдывало все. Но и бредовые идеи тоже возбуждали фантазию. Он нравился большинству сотрудников тем, что ни на чем не настаивал: хотите — берите, хотите — бросайте в корзину. К нему то и дело обращались за справками, советами, он много и быстро читал и знал все, что творилось вокруг ЭВМ. Джо перелопачивал великое множество материалов, его называли шагающий экскаватор. Стоило Андреа предложить что-то, как Джо оснащал это предложение ссылками на такую-то фирму, где то-то успели проверить, а там не вышло, а те вложили деньги тогда-то и нет результатов. Он работал как персональный компьютер Андреа, хотя в то время еще таковых не было.

Источник идей, источник информации — разделить эти роли Джо было трудно. Имелось у него и еще одно странное качество, можно даже сказать, редкий, особый дар. Он умел находить слабые места в сложнейших схемах, расчетах, технологиях. К мелочам не придирался, а вот в сомнительное место тыкал с ходу. Андреа говорил о нем с возмущением:

— Строишь, строишь хрустальный дворец, отделиваешь детальку за деталькой, шлифуешь, любишься, тут появляется Джо, бац копытом — и остаются одни осколки.

Секрет состоял в том, что один он знал, куда бить копытом. Поэтому и обращались к нему в самых крайних случаях. Тянули, как с визитом к зубному врачу.

Желающих работать в Лаборатории прибывало. Штатное расписание было все заполнено, и Андреа вспоминал вещие слова Легошина над писсуаром. Жаль было отказывать молодым способным ребятам. Тот самый Виктор Мошков был вначале отвергнут по причине отсутствия мест. Он не отступился, настаивал, ждал на лестнице. Буквально. Приходил с утра, устраивался на подоконнике. Поскольку он хорошо решал задачки, к нему стали обращаться сотрудники. Полтора месяца он и работал на подоконнике, пока не освободилось место. Андреа брал лишь тех, у кого «головка работала», не обращая внимания на анкеты и инструкции, требующие брать по анкетам.

Никто не знал, какая анкета у начальника Лаборатории и его заместителя. Даже кадровик не знал. Единственное, что знал этот полковник органов безопасности, что расспрашивать своих начальников о их прошлом строго воспрещено. Каждого вновь поступающего он предупреждал об этом: никаких вопросов И. Б. Бруку и А. Г. Картосу об их прошлом не задавать. Об их образовании, связях, личных делах не спрашивать. Никогда, ни при каких обстоятельствах.

Известно лишь было, что они прибыли из Чехословакии. Потом просочилось, что Джо окончил университет где-то в ЮАР. Или родился там. И больше ничего. Оба начальника существовали без всякого прошлого. Это было странно, волновало воображение. Человек, у которого отобрали тень. Как в старой сказке.

Циники приходили к выводу, что это шпионы. Считать иностранцев шпионами было самое привычное. Так десятилетиями воспитывали и газеты, и кино, и радио. Романтики утверждали — нет, не может быть. Доказательств у них не было, как, впрочем, и у циников. Были только вопросы — зачем большим ученым становиться шпионами? Что кибернетики могли в те годы шпионить?.. Ну хорошо, а кто же они тогда? Не знаете — значит, шпионы.

И по сей день ученики не знают в точности, кто был их учитель в той, прошлой жизни. Откуда он появился, как он стал таким — они и не вникают, они сходятся на том, что «он был нашим учителем, великим учителем». В конце концов, мы ведь не знаем ничего достоверного о юности и молодости всеобщего Учителя, сына Божьего. Он появился перед учениками зрелым мужем.

Ныне ученики Андреа Костаса — точнее, Андрея Картоса — обзавелись учеными степенями, должностями, разъехались по всему миру, обрели высо-

кое мнение о себе, скепсис, ишиас, своих учеников, все, что положено крупным ученым. Вспоминая об учителе, они срываются на восхищение тех молодых лет. Тщеславие их особого рода, имя Картоса по-прежнему упрятано в тень секретности, звание его ученика ничего не дает. Они гордятся учителем вопреки всему, его имя — знак принадлежности к опальному ордену, украшение их родословной, тайный герб, не внесенный ни в какие геральдики.

XVIII

Новый хозяйственник Лаборатории был выпивоха и хват. Первое время он, как и положено, сокрушался над промахами своего предшественника. Под организацию Лаборатории можно было захватить и соседний флигель, и валюты побольше... Бесцеремонно заявился в дом к Картосу, к Бруку и пришел в ужас — чтобы его начальство жило в такой нищете? Невозможно, позор Лаборатории, позор ему, Тищенко, и всему Ленинграду. В течение месяца он обставил их квартиры. Использовал сильно действовавшее в те годы средство: «Это для иностранцев надо. Неудобно перед иностранцами. Неужели мы не можем двух иностранцев обеспечить? Что скажут про нас иностранцы?» Действовали эти его аргументы безотказно. У Картосов появились холодильник, телевизор, костюмы, импортная спальня, проигрыватель, для Эн — велосипед, кастрюли всех размеров; для Джо Тищенко раздобыл старенькую списанную «Волгу», немецкий рояль, из трофейных. «Иностранец — главный гражданин в стране, — поучал он, — пользуйтесь».

За кабинетом Андреа имелась комнатка — для начальственного отдыха и приема гостей. Картос использовал ее по своему вкусу: оборудовал там для себя мастерскую. Тисочки, станочек токарный, инструменты, все миниатюрное, для точных работ, туда он уединялся мастерить всевозможные приспособления, а главным же образом чтобы думать. Ему хорошо думалось за ручной работой.

Начали проектирование новой ЭВМ и в первых вариантах добились хороших результатов, добились бы большего, если бы не элементная база. Эта база была аховая. Блок весил сотни килограммов. Ставить такую дылду на самолет невозможно. Приехал замминистра Степин — вник. Степин умел вникать в суть проблем, стоящих перед исследователем, подсказать ничего не мог, зато обеспечивал доверие и спокойную обстановку, без погонялок, дерготни, немислимых сроков, всего того, что мешает думать. В этих иностранцев он поверил, сразу учуял совершенно новую атмосферу. Зайдя как-то в кабинет начальника, прошел без спроса, как всегда делал, в заднюю комнату. Осмотрел верстак, лабораторный стол с блоками, платами, ничего не сказал, этой картиной ему было достаточно.

Весной у Картосов случилось несчастье: умер ребенок. В городе свирепствовала эпидемия какого-то нового азиатского гриппа с тяжелыми осложнениями. Первым заболел Андреа, но он наглотался таблеток и, не обращая внимания на температуру и врачей, улетел на пусковые испытания на Север, где грипп его сразу «вымерз». После него заболел мальчик, слабенький его организм буквально сгорел за три дня. Когда Андреа вернулся, все было кончено, мальчик был похоронен. Эн встретила Андреа без слез, холодно, почти враждебно.

Сын занимал в их жизни куда больше места, чем им казалось. В доме вдруг стало пусто. Тихий этот, болезненный мальчик часто пугал Эн своим недетским, испытующим взглядом, он смотрел на нее, будто не веря, что она его мать. Никто больше не мешал Андреа, когда он уходил к себе в кабинет, не появлялся перед ним без спроса, не ползал под столом.

Эн не принимала никаких утешений. Ее молчание росло, становилось все напряженнее, пока не прорывалось из-за какого-то пустяка потоком обвинений: Андреа заразил мальчика, бросил ее одну, ради своей работы он принес в жертву семью. Ее нельзя было остановить, она твердила, что он никогда ее не любил, она для него была лишь средством утешения, удобным спутником, ради нее он никогда ничем не поступался, Винтер был прав, она жалеет, что не послушалась тогда... Проклятый город, проклятая страна! Не выдержав, Ан-

дреа тоже сорвался, швырнул ей в лицо ее собственную вину, от которой она пряталась, — это она не уберегла малыша, она плохая мать, дети никогда не были главным в ее жизни, поэтому малышу не хватило здоровья.

В ярости они наносили друг другу раны, которые никогда не могли зажить. Куда исчезла их любовь? Безудержная злость кружила их, унося от горя, и они с каким-то наслаждением вымещали свою боль друг на друге.

Разумеется, вскоре они помирились, но оба чувствовали: что-то неоправимо надломилось. Они испортили свое прошлое.

Эн устроилась преподавателем в вечернюю школу. Теперь они встречались лишь по воскресным дням.

Следующую ЭВМ пробовали ужимать то там, то тут, мудрили, выскребали по килограмму. Мелкая экономия ничего не решала. Искали, искали, пока Джо не выступил с безумной на первый взгляд идеей: «Избавим транзисторы от оболочек!» Без кожухов? Реакция была раздраженная, насмешливая. Бред! Абсурд! Все равно что людей пускать голыми. Подождите, хотя ведь папуасы голеными? Первый, кто принял сумасшедшую идею Джо, был Андреа, подумал и сказал: «Попробуем». Договорились с заводом. Степин поддержал, дал команду. Первую машину довели на обычных транзисторах, вторую сделали на гольшах. Разница получалась наглядной. Степин привез с собою целый вагон начальников — чтобы похвастать машиной и своими «оглоедами», словечко, которое никто не мог толком перевести Андреа. Новая машина выглядела как газовая плита рядом с русской печью, как ручные часы рядом с настольными... Старая и то была для многих откровением. К ЭВМ еще не успели привыкнуть, люди медленно оттаивали после наскоков на «лженауку». Новая машина демонстрировала разительный скачок, «принципиально иной подход», как пояснял сам Степин. Улучив минуту, Андреа шепнул ему, что ничего принципиально иного пока нет, это еще впереди...

— А ты помалкивай, — сказал ему Степин. — Начальников не учат. Когда блудо стоящее, не стесняйся расхваливать. Я с них получу вдвое. Я ничего зря не делаю, — подмигнул хитро.

И на вид он был хитроумным, по-цыгански смуглым, с чубом, с глазами, спрятанными глубоко под мохнатыми широкими бровями. Когда сердился — а был он вспыльчив, — бледнел, становился страшен. Его боялись, но и любили — за то, что, пообещав, делал; выдать же из него обещание было трудно, он славился скупостью, крестьянской прижимистостью. Один из первых в стране он понял, какое огромное будущее у компьютеров, и постарался наложить лапу на это дело, прибрал к рукам лаборатории, проектные институты, конструкторские бюро других министерств. Он захотел стать монополистом, по своему характеру он и был монополист, своих поощрял, своим создавал все условия, чужих — зажимал, подставлял ножку. На лабораторию Каргоса после успеха новой ЭВМ Степин сделал ставку. Увеличил штаты — набирайте хоть до полтысячи человек. Денег сколько надо. Почувствовал — эти ребята не подведут.

Гольши позволили Джо сконструировать микроприемник. Такой крохотный, что его можно было вставлять в ухо, как вставляют ватку. Величиной с пуговичку. Мастерили эту штучку с удовольствием, сами не веря себе, что такая кроха на транзисторах сумеет дать хорошую слышимость, настройку — словом, обеспечить качество приема. Подобных приемников в то время, а это было начало шестидесятых, не существовало. Ничего похожего. Нигде. Джо носился с этой крошкой, доводя ее со своими помощниками до совершенства. Блаженные месяцы. Пуговка хорошела, голос ее звучал все чище. Изготовив несколько образцов, Джо отправился с ними в Москву. Добился приема у Степина, что было непросто. Джо вставлял в ухо очередному чиновнику свою пуговку и, затаив дыхание, ждал. Эффект был безошибочный. Джо поздравляли, обнимали, но сам он приходил в еще больший восторг. Ему помогли попасть без очереди к Степину.

Замминистра приемник понравился. Он забрал все экземпляры, пошел по начальству, показывал эту диковинку. Начальство игрушку одобрило. На следующий день Степин сам вызвал Джо, приказал сделать еще десятка три — для подарков.

— Вроде саяка, пустячок, а знаешь, как довольны! Кричать на меня хотели. Вместо этого еще попросили штучку, — рассказывал Степин.

Почему десятки, их надо гнать тысячами, подхватил Джо, надо только поставить производство на автомат. Это вполне реально, у него заготовлены эскизные проекты, если дать задание одному, двум КБ, то за несколько месяцев можно будет изготовить, взять под это дело любой радиозавод и запустить в серию, а если вывозить за границу, то продавать там минимум по шесть-десять долларов за штуку. Ничего подобного на Западе не видели. Затраты на рекламу не понадобятся, новинкой заинтересуются все торговые фирмы! Каждому человеку захочется иметь эту пичугу, как назвал ее Степин, — удобно, интересно, можно сидеть с ней в метро, в приемной, идти по улице и слушать музыку.

У Джо все было обдуманно, бруклинские легенды с детских лет манили мечтой найти свою золотую жилу, набрести на Великую Идею, разбогатеть разом, и вот наконец она открылась в блестящем, столь обещающем исполнении — штучка, которая прославит его и Советскую страну, ибо только такие, казалось бы, мелочи прославляют. Они тиражируются миллионами, сотнями миллионов экземпляров. Вечное перо, зонтик, жевательная резинка, каучуковая подошва, фильтр для сигарет — такие изобретения становятся постоянными спутниками людей.

Степин слушал его с удовольствием. Ораторский талант Джо отличался самовозгоранием, собственная речь вдохновляла его, расцветая метафорами и броскими образами: «В каждом американском ухе будет говорить советское изделие!», «После спутника последует новый триумф советской техники!»...

Джо уже парил в этом огромном кабинете, поднимался все выше к сияющим небесам будущего, законы массовой моды потребуют миллионных заказов, будем возить вместо леса, золота и нефти эти пичужки, самолет заменит караван судов и танкеров, выйдем на рынки Латинской Америки, Канады; не сырье, не истребление запасов, не полуфабрикаты — на рынок пойдет законченное изделие высокой инженерной культуры, техническое новшество, пропаганда советской индустрии!

— И все это при нашей жизни, — мечтательно сказал Степин, — а мы-то чем занимаемся!

Его и вправду тронуло. Чувств своих он опасался, поэтому никакого ответа не дал, обещая подумать, но надо, чтобы Брук завтра же встретился с начальником главка Кулешовым...

Вечером Джо с Алей отправились к Владу на черствые именины. Два дня назад Влад отмечал свой юбилей. Джо преподнес ему последний экземпляр пичужки. Пришел Тимоша Губин с женой. Тимоша в качестве подарка хотел рассказать Владу историю смерти Сталина. Влад попросил разрешения записать ее на магнитофон. Жена Тимоши умоляюще посмотрела на мужа, Тимоша виновато погладил ее руку — где наша не пропадала, дарить так дарить.

— Ко мне этот рассказ дошел под строгим секретом. Слышал я его от моего учителя М. Он был крупным терапевтом. Замечательным врачом, это я могу засвидетельствовать. И абсолютно, я бы сказал, достоверным человеком. Так что первоисточник доброкачественный, он умер три месяца назад, и я хочу его рассказ сохранить, пока он свеж в памяти...

Ночью на 3 марта за М. приехали. В дверях появился полковник. В форме МВД. Сказал: собирайтесь быстрее, поедете со мной. Домашние высыпали в переднюю в ужасе. Это был 1953 год, когда раскручивалось вовсю дело врачей. Были арестованы друзья, знакомые — Вовси, Егоров, Виноградов, лучшие кремлевские специалисты. М. оставался, один из немногих, на свободе. Вот и за ним пришли. Что брать с собою? Ничего не надо брать, процедил полковник. Торопил раздраженно. Ни зубной щетки, ни бритвы, ничего, разве что ваш, как его, стетоскоп. Матюгался от нетерпения и какой-то непонятной злости. М. попрощался с женой, детьми.

Сели в машину. Большая, черная. Полковник впереди, с шофером. М. сзади, один. Рванули, помчались, не считаясь со светофорами, на страшной скорости. Куда? Лубянка мимо, Кремль мимо. Впереди молчат. Между собой ни слова. Водитель даже не обернулся, когда М. селся. По шоссе, сиреной

пугая встречные машины, куда-то свернули, еще свернули, лес. Шлагбаумы. Ворота. Прожектор. Шофер засигналил. Ворота отворились. Опять шлагбаум. Полковник вышел, попросил выйти М. Зашагали по длинной аллее к дому. Из тьмы возникали фигуры, козыряли полковнику, исчезали. Дом освещен. Холл. Полковник передал М. генералу. Поднялись с генералом наверх. Все молча. Их встретил Берия. М. не поверил, что перед ним Берия. Так страшно было, слышал стеклянные крылышки пенсне, лысину, тонкие губы. Берия сказал М.: «Профессор, мы вас позвали как специалиста, товарищ Сталин заболел. Мы понимаем, что сейчас для медиков обстановка трудная. Но мы вам доверяем, просим, чтобы вы действовали без страха, как сочтете нужным». Он говорил возбужденно, глаза его сквозь стекла блестели, казалось, внутри у него что-то бурлит, кипит.

Сталин лежал на диване, глаза закрыты, в одной рубашке, прикрытый пледом, хрипел, без сознания. Были несколько врачей, полузнакомых, у изголовья сидела дочь Светлана.

М. обратил внимание, что левая рука у Сталина была парализована, и, видимо, давно. Сухая, желтоватая, она лежала неподвижно. Правой он дергал ворот сырой от пота рубашки.

М. попросил анамнез. Оказалось, никакого анамнеза у Сталина нет. Даже самой старой истории болезни не было. Никаких медицинских документов не нашли. Никто не знал, были ли они вообще. Когда-то его пользовал один грузинский врач. После смерти этого врача неизвестно кто лечил, кто наблюдал за его здоровьем. Неизвестно, когда у него случился первый удар, как лечили. Кажется, Виноградов, но Виноградов в тюрьме. Сведения о том, что и как произошло с товарищем Сталиным, изложил очень скупо начальник охраны. Товарищ Сталин не подавал признаков жизни, не открывал дверь. Пришлось взломать. Лежал на полу. Без сознания. Перенесли на диван.

Тщательно осмотрев больного, М. собрал консилиум из присутствующих врачей. Никто не хотел ставить диагноз. Отмалчивались, мычали неразборчиво, ждали, что скажет М. В соседней комнате находились члены Политбюро. Время от времени заглядывали к врачам — Ворошилов, Маленков, Хрущев, Каганович, Булганин... Опытный глаз М. сразу же определил почти полную безнадежность больного; дохнула ли при этом на него тайная радость, неизвестно, вполне возможно, что и нет, потому что М. был врач, насквозь врач, и лежащий перед ним был уже не Сталин. В конце концов М. вынужден был произнести свое заключение — инсульт. Его испуганно поддержали: согласен, согласен, согласен. Наметили некоторые меры. В это время приехала неизвестно кем вызванная бригада снимать кардиограмму. Возглавляла бригаду круглая толстоногая женщина-врач с хриплым голосом.

Сняв кардиограмму, врачаха тут же объявила, что у больного не инсульт, а явный инфаркт. М. пробовал объяснить ей, что при инсульте на кардиограмме иногда получается картина, напоминающая инфаркт. Врачиха странно посмотрела на него, не ответив, направилась в соседнюю комнату. Оттуда вскоре явился Берия. Сказал, что вот кардиограмма показывает инфаркт, а М. лечит от инсульта, — как это понимать? Подошел Булганин, еще кто-то. Обстановка становилась опасной. Врачиха настаивала, повысив голос, потрясала кардиограммой. М. обратился к коллегам. Они, опустив глаза, молчали, один пробормотал: «С кардиограммой нельзя не считаться». Берия испытующе переводил взгляд то на врачиху, то на М., облизывал губы. Он должен был принять решение. Тогда М. заявил, что он настаивает на своем диагнозе, он будет лечить только инсульт, ничего другого. Инфаркт требует другого подхода, на что он, М., категорически не согласен. Подействовала ли его решительность на Берию или были тут какие иные соображения, но М. запомнил, как дьявольски сверкнули устремленные на него глаза. Берия шелкнул пальцами и предупредил М., что тот головой отвечает за правильность лечения. Зачем, почему М. принял на себя ответственность? Он ведь понимал, что если удастся Сталина вытащить из коллапса, участь арестованных врачей будет ужасна. Ему следовало сказать, что кардиограмма не меняет дела, но на всякий случай надо сделать то-то и то-то. Но у него и мысли такой не появилось. Он признавался, что шел на риск, чтобы спасти Сталина, которого он считал убийцей и палачом. И все, что он делал дальше, должно было вытащить больного из коллапса. Перед ним был только больной, никто больше. Слава богу, что приро-

да воспротивилась. Сыграла свою роль и эта врачиха, из-за которой потеряны были драгоценные часы, и отсутствие анамнеза. Буквально все препятствовало...

М. дежурил, не отходя от больного, больше суток.

Вечером 5 марта Сталин умер, не приходя в сознание. Врачи констатировали смерть. В комнату вошли члены Политбюро, сын Сталина, дочь, еще какие-то люди, долго стояли в молчании, глядя на покойного, словно проверяя врачей. Потом ушли в соседнюю комнату. Было составлено правительственное сообщение. Никто не уезжал. Все ждали. Все ждали молча у радио. Под утро по радио передали сообщение о смерти вождя. Прослушав, все заторопились к машинам, уехали в Москву. Как будто передача по радио сделала событие уже окончательным, непоправимым.

Дача опустела. Сталин лежал на той же кушетке, всеми покинутый. М. заявил, что надо будет произвести вскрытие, он настаивал на этом, чтобы подтвердить правильность диагноза. Куда-то звонили, долго выясняли, можно ли везти, на чем, кому. М. договаривался с патологоанатомами мединститута. Никто не хотел ничего решать. Правительству было не до трупа. Наконец М. добился разрешения. В санитарную машину положили покойника, завернутого в простыню, рядом с ним сел М. Другой врач поехал в легковой машине. М. остался наедине с вождем. Охранник сел в кабину к шоферу. Ехали долго. У этой машины не было ни sireны, ни мигалки. Машина тряслась, тормозила. Простыня сползла, окоченелое тельце открылось в старческой наготе. Сухая рука Сталина спадала, голова подпрыгивала. М. наклонился подложить под нее подушку и увидел перед собой сквозь плохо прикрытое веко желтый глаз. Глаз смотрел на него. Перекошенное лицо кривилось. Известное по ежедневным портретам до последней своей черточки лицо вблизи оказалось изрытым оспой, открылась плешь, усы растрепались, повисли, это был не генералиссимус, не вождь — жалкая сморщенная оболочка, малорослый старик.

М. привык к трупам. Для него труп былместилищем недавних страданий, анатомическим пособием, вещью. Но здесь было нечто иное. От этого трупа было не по себе. М. попробовал придержать холодную чугунно-тяжелую голову, но тут же отдернул руки, как будто кто-то мог увидеть его недозволённый жест. Он никак не мог свыкнуться, что перед ним труп, он был один на один со Сталиным. Не было ни скорби, ни радости, только жуть.

У Садового кольца застряли перед светофором. Долго не пускали. Показались милицейские машины, за ними следовала черная кавалькада начальственных лимузинов. Они неслись, блистая никелем, протертыми стеклами с задернутыми занавесками, бронированные, огромные, все светофоры встречали их зеленым светом.

В прозекторской уже ждали патологоанатомы, терапевты, президент Академии медицинских наук. Труп внесла охрана, неслла неумело, ногами вперед. Со стуком опустили на мраморный стол. Двое офицеров, полковник и майор, остались у стола словно бы в почетном карауле. Двое встали в дверях.

Включили лампы. Сталин лежал под беспощадным светом. Плечи толстые, на щеках щетина. Обратили внимание на его ноги, правая; чуть подсохшая, была шестипалой. Темные ногти на ногах выпуклые, как когти.

Началось вскрытие. Когда большим ножом делали разрез, полковник судорожно всхлипнул, отвернулся. Пилой сделали распил. Осмотр сердца подтвердил, что инфаркта не было. Теперь надо было установить инсульт. Электропилой снимали черепную коробку. Обычно при вскрытии курили, переговаривались, пили кофе, коньячок. Ныне же царило молчание. Визг пилы казался непереносимо долгим. Вынули мозг, положили на поднос, отнесли на соседний стол. На бледно-серой мутной поверхности расплылось бурое пятно кровоизлияния. Диагноз М. полностью подтвердился. Сделали срезы. Переглядывались, без слов показывали друг другу белесые склерозированные сосуды, очаги размягчения. Возможно, двадцатилетней давности. Со времен Великой Репрессии. А может, еще с того времени, когда организован был голод на Украине.

Перед этими профессорами прошли тысячи подобных срезов, но тут руки их дрожали. Мозг этот так или иначе определил жизнь каждого из них, судьбы их родных, знакомых, их страхи, их миропонимание. Наметанный глаз наверняка различал поражения, те, что незаметно искажали личность. В этих из-

виликах вызревали ходы партийной борьбы, системы пыток, бесчисленные списки врагов народа.

Они рассматривали не препарат, а нечто чудовищное, предмет, откуда выходили ложь и ненависть, первоисточник зла. Мозг гения всех народов и времен, обожествленное вместилище мудрости Учителя и великого Стратега.

Перед ними должно было открыться нечто исключительное, на самом же деле, судя по состоянию сосудов, у него давно уже была потеряна ориентация — кто друг, кто враг, что хорошо, что дурно. Нарушенное питание мозга делало реакцию неадекватной, поведение — непредсказуемым. Все было обманом. Огромной страной, всеми ее народами последние годы повелевал неполноценный, больной человек.

Они, врачи, все же настигли его, раскрыли его тайну — и в ужасе и стыде замерли перед ней. Рассказать, обмолвиться было нельзя. Даже между собой они боялись обменяться мнениями. По сталинским правилам их всех теперь следовало уничтожить.

Офицеры стояли в головах обезображенного трупа, с ненавистью смотрели на «убийц в белых халатах», как называли тогда врачей газеты.

Черепную коробку надо было поставить на место. Насчет мозга никаких указаний не поступало. Мозг был вещественным доказательством правильности диагноза, мозг был страшной уликой, его следовало упрятать от всех врагов социализма, шпионов, проницательных журналистов. Нельзя, чтобы люди узнали, кому они поклонялись, кого боготворили.

Надо отдать должное М.: замечательный русский врач, он единственный нашел в себе мужество рассказать об этом и даже оставил письменное свидетельство. Но в тот час и он был скован страхом. Если бы они могли, они подменили бы этот мозг, чтобы избавить страну от позора.

Рассказ Тимоши ошеломил даже Влада, собиравшего материалы о Сталине.

— Типичный рассказ врача, — определил Влад. — Интерьер вождя. Если не считать беллетристики, добавленной твоим воображением. Удержаться, конечно, трудно. Сюжет для кинофильма. Потрясающую картину можно сделать. Спрашивается, однако: неужели склеротические бляшки определяют судьбу страны и судьбы народов? Где же законы истории, движущие силы и прочие науки? Какая уничижительная картина!

— При тоталитарном режиме? Да! — сказала Аля.

— Режим играет роль, — согласился Влад. — Малые возмущения в такой неустойчивой системе могут вызвать большие последствия.

— Я думаю, система склерозировала вместе со Сталиным, — сказал Тимоша. — Там тоже были уже и бляшки и размягчения, если бы нашей системе сейчас устроить вскрытие...

— Ой, не надо, — сказал Джо. — Это революция. Скажите, пожалуйста, а куда делся мозг вождя?

— Не знаю, может, он сейчас в сейфе у Хрущева, а может, в ИМЭЛе.

— Значит, его хоронили без мозгов?

— Меня другое поражает, — сказал Влад. — Если этот профессор, блестящий терапевт, не был бы так напуган делом врачей, если бы вызвали из тюрьмы Виноградова и они смогли бы как-то починить вождя — что бы с нами было?

— С тобой, может, и ничего, а уж евреев всех бы в резервацию запихали. Это было предрешено, — сказал Тимоша.

— В лагерях ужесточили бы режим. Никаких реабилитаций.

— А если бы он дал приказ сбросить атомную бомбу? — вдруг спросила Аля.

— Выполнили бы. Не сомневаюсь, — подтвердил Влад.

— Его же могли вылечить, — сказала Аля.

— Не вылечить, а кое-как подправить. Говорить бы не мог, а писал бы, и слушались бы его долго. Скрывали бы ото всех все эти молоты, кагановичи. Старались бы сохранить его власть и свою.

Джо сидел, втянув голову в плечи, словно над ним проносились огненные смерчи, великаны размахивали мечами, сокрушая храмы и крепости.

— Ишь, что тебя увлекает — бизнес, — сказал Кулешов, как бы по-новому разглядывая главного инженера. — Живет в тебе, значит, этот капиталистический вирус. Цепкая, видать, штука. Да, я понимаю, что не в свои карманы тянешь, но ведь все равно коммерция.

Грузный, расплывчато-мягкий Кулешов играл при Степине роль громоотвода. На него сыпались упреки, если что-либо задерживалось, выходило не так. Он сносил все кротко, и неприятности, неполадки увязали в его благодушной покладистости. Новой лаборатории он заботливо помогал, правда, пытался втайне от Степина обуздать ее строптивых начальников.

Сейчас он принял Джо радушнее обычного, велел принести чай, расположился к беседе, что насторожило Джо, который приготовился к немедленным расспросам — сколько, чего, когда... Кулешов, однако, продолжал посмеиваться над коммерческой вспышкой Джо, простительным рецидивом его прошлого. Коммерция, твердо повторял Кулешов, не наше дело, правительство, слава богу, нам не отказывает, освобождает от всяких забот, во всем идет навстречу, это ценить надо.

— Плохо, что не отказывает, — вставил Джо, — жирная пища расслабляет.

Кулешов нахмурился, но продолжал свою, видно, обдуманную речь. Подчеркнул, что есть большой смысл в том, чтобы оборонка могла целиком отдаваться поставленным задачам. То есть крепить оборону страны. Создавать самую совершенную военную технику. В чем другом, но в этом нельзя уступать американцам. Некоторые надовольны: мол, много денег тратим. Он положил свою пухлую руку на руку Джо, доверительно пригнулся, понизил голос:

— Был я недавно на Совете Министров. Обсуждали просьбу фармацевтов завод им построить. Больно слушать было их мольбу. По нашим масштабам люди гроши просили. Все их хлопоты не стоят одной подлодки. И ведь лекарства, это тебе не презерватив с кисточкой. Нет, не дали. А нам дают все, что просим. Не потому, что мы милитаристы. Ты знаешь — мы за мир. Но нам навязали. И мы вынуждены. Они думают, кишка у нас тонка. Посмотрим, у кого тоньше! Почему мы стали мировой державой, что у нас такого замечательного, а? Давай, не стесняйся. Почему к нам едут президенты, почему нас слушают — как полагаешь? Над нашими «Волгами» смеются, верно? Наши магазины доброго слова не стоят. А гостиницы? Ведь все плюются от нашего сервиса. Но едут к нам, смотрят нам в рот. Потому что у нас авиация первоклассная, флот могучий, потому что у нас ракеты и кнопка, кнопочка!

Он раскраснелся, вспотел, глаза его блестели, чувства его прорвались сквозь служебную сдержанность.

— Ты, может, скажешь — армия? А я тебе скажу, что в сегодняшней стратегии армия фигурирует как гарнир. Все средства к нам, прибористам, идут, и правильно. Военная доктрина к электронике повернулась. Этого мы добились! Ракеты, подлодки, авиация — на них надежда. Наша это заслуга. Лучшие ученые у нас работают. У нас лучшие заводы, лучшие станки, институты. Думаешь, просто было военных повернуть? Мы повернули. Вовремя. Как в войну все для фронта, так и осталось. Ничего не поделаешь. Поэтому с нами считаются! Да, терпим, живем в коммуналках, мучаемся бездорожьем, больницы страшные, а все равно великая держава! В моей деревне из семидесяти дворов девять осталось. Разбежались кто куда. Все понимаю. Горько. Но надо терпеть. Народ терпит потому, что войны не хочет. А войны нет потому, что — сила! Лишь бы нам не подкачать, нашему комплексу, мы — становой хребет державы. Ты скажешь, при чем тут твой приемник? При том, что нам нельзя отвлекаться. Тебе нельзя отвлекаться. Твоей голове. Сегодня приемник, завтра телевизор. Нет, так не пойдет, дорогуша моя. Это я рассматриваю в масштабе одного человека. Так ведь могут и нас рассмотреть в масштабе главка, а то и министерства... Да, мы допущены. Оба! Допущены к оружию! Понимаешь, ответственность какая? На самом деле это мы с тобой управляем страной. От нас зависит... Все на нас замыкается. Нам про твои московские шалости сообщили. Ну и что? Мы сказали: этот человек нам нужный, не трогайте. И концы в воду. Мы — высший слой и должны ценить это. С нами соревнуются за океаном. Вот о чем надо думать! Обогнать! Только туда мысль надо направлять. Что надо, все отдать. Выгодно, невыгодно — не наша забота. А ты из нас хочешь торгашей сделать.

Кулешов взглядывал на него мельком, как на весы, и подкладывал еще и еще:

— С нами никто за стол переговоров не сядет, если у нас оружия настоящего не будет. Плунут и перешагнут. Кому мы страшны со своими деревенскими счетами и логарифмическими линейками? Я вообще думаю, что в нашу эпоху войны не будет, пока равновесие сохраняется. Они — компьютер на самолет, и мы — компьютер, они ракету на тысячу километров — и мы такую же. Чтобы ноздря в ноздю. А что тут приемничек твой, так такого можно много напридумывать. Копирвальное устройство нам недавно принесли. Опытный образец. Зачем, спрашивается, нам сегодня — листовки печатать? Нет уж, воздержимся. Не до этого.

Речь Кулешова все более походила на надгробное слово. Мечту Джо хоронили почетно, на кладбище других Великих Предложений.

— Зря ты сразу к Степину пошел, — сказал на прощание Кулешов. — От него ждут сейчас других вещей, о которых можно рапортовать. Да и ты, дорогуша, разве на этом взлетишь? За твой приемничек ничего не навесят, все ордена и премии выделены на госзаказы.

Таким образом, Кулешов разъяснил позицию замминистра Степина и, обласкав напоследок, пообещав вернуться к вопросу, когда станет полегче, отпустил Джо.

В словах Кулешова была убежденность, знакомая Джо по разговорам советских людей, — все что угодно, лишь бы не было войны. У них не было задиристости победителей, сознания народа-победителя, у них был страх перед новой войной.

Прощаясь, Кулешов признался:

— Разволновался я с тобой, сердце заболело.

Был он весь в поту, с прилипшими ко лбу волосами. Кое в чем он убедил Джо, проник, подействовала и сладкая причастность к власти и к тем, кто решает судьбу народов. Ничего не поделаешь, надо создавать оружие, такова наша участь. Нельзя забывать свою клятву. Америка сама сделала себе мстителя. Кулешов прав, идет война, пусть холодная, но война. На войне приходится жертвовать многим, и он, Джо, тоже приносит свою жертву.

Он шел по тесной московской улице, залитой солнцем, — город шумно плескался у магазинов, Джо и раньше поражал густой поток прохожих в разгар рабочего дня. Нигде, ни в одном европейском городе не было днем столько народу на улицах, как в Москве и Ленинграде. Стояла длинная очередь за луком. Шел переполненный раздрызганный автобус со сломанной дверцей. С лотка продавали порченую черешню. Двое ханыг предлагали часы-ходики. Пьяные толпились у пивного ларька, и там же ругались между собою инвалиды на костылях и каталках. Москва неожиданно предстала грязной и нищей, словно бы кто-то повернул хрусталик в его глазу.

Что-то не сходилось, как в школьной задаче. Считаешь, считаешь — все по отдельности верно, в итоге же чепуха. Так и тут — в ответе вместо миллионов долларов очередь за луком. Практический ум Джо никак не желал примириться с этим. Все доводы Кулешова были безупречны, логично связаны. Это с одной стороны; с другой — отказаться от бизнеса, такого выгодного для этой бедности, счастливого, как находка, — зачем, почему?

Вместо того чтобы вернуться в гостиницу, Джо зашел в ресторан «Метрополь», куда не рекомендовалось заходить. Швейцар у входа оглядел его с сомнением: «У нас только для иностранцев». «А я думал, что у вас хороший ресторан», — сказал Джо. «Пожалуйста, заходите, — сказал швейцар, который сразу усек акцент.

Его встретил раззолоченный зал, старинная мебель, дореволюционная роскошь дорогого заведения. Он заказал бутылку белого вина, фирменную отбивную, позвонил Але, чтобы приехала.

Вечерняя публика еще не нагрянула, оркестр не пришел, было между часью, зал пустовал. Джо тоже отдыхал, потягивая грузинское вино. У него сохранилась привычка западных людей отдыхать в одиночестве, сидя где-нибудь за стаканом вина. Здесь, в России, полагалось заказывать еще какое-нибудь блюдо.

Наискосок от него сидели трое: два долговязых здоровых мужика в клетчатых пиджаках и женщина в алом костюмчике. Волосы ее были взбиты белокурой пеной, мужчины наперебой что-то рассказывали, она смеялась, откидывая

голову назад, и следом начинали грохотать они. Джо прислушался, говорили о покупке трусов и лифчиков, ему нравилась громкость их голосов, интонация, и вдруг он сообразил, что говорят по-английски, вернее, по-американски, причем северяне. Первым его желанием было подойти к ним: «Привет, ребята, я Джо Берт из Нью-Йорка, сейчас живу здесь, в Союзе, не выпить ли нам за встречу, я угощаю». Посидеть, потрепаться на родном языке. Но его тотчас остановила инструкция, строжайшая, обстоятельная, которую он подписал, которая исключала любые контакты с иностранцами. Зал почти пуст, тем не менее это станет известно, каким-то образом такие случаи всегда засекали. Джо встретился глазами с американкой, улыбнулся ей, она тоже улыбнулась, что-то сказала своим мужчинам. Они оглянулись на него, заговорили тише.

Покой же не приходил. У этих американцев покой был, а у него нет... К нему подошел один из американцев.

— Не можете ли нам заказать несколько бутылок хванчары с собою? — попросил он.

Джо развел руками: не понимаю, извините.

Выслушав его рассказ о Кулешове, Аля сказала:

— Твой Кулешов живет не в коммуналке, небось имеет шикарную квартиру, дачу, паек и хвалит терпение народа и готовность жертвовать всем. Чем он сам жертвует, паразит?

Она была категорична и ни минуты ни в чем не сомневалась.

— Кто нас хочет захватить? Кому мы нужны, кому нужна наша страна, где нет порядка? Прокормить себя не можем, — рассуждала она, — ты бы видел, как голодают в колхозах. Мы ведь только иностранцам пыль в глаза пускаем. Но они тоже не идиоты.

Забавно было слушать эту курносую особу, у которой все было так просто. Сталинистов устранить, молодежь к руководству, гэбистов судить... Трикотажная блузочка туго обтягивала ее выпуклую фигуру. Она ничуть не уступала этой кудлатой американке. Ни на минуту не умолкая, с аппетитом уплетала шашлык, пила вино, рассказывала про запрещенный фильм Хуциева, про выступление академика Сахарова на сессии Академии наук и прочие столичные новости. Как всегда, с ней было легко и весело. Немного раздражала ее манера запросто решать вопросы, которые мучали Джо. Она не признавала никакой правоты Кулешова: работать надо на людей, а не на генералов!

Влад писал статью для самиздатского сборника. История с приемничком огорчила его и обрадовала как хороший пример, который можно было привести, чтобы показать порок плановой системы. Со свойственным ему уменьем распутывать сложные схемы он помог Джо разобраться в ситуации. Кроме того, он достаточно знал Степина и хитрую механику министерских отношений. Причины отказа Кулешов изложил правильно, это была лишь та часть, которую полагалось знать Джо; существовала и другая, кабинетная. Изготовление приемничков передали бы какому-нибудь гражданскому министерству. Штатские оторвали бы себе и прибыли и славу, глядишь, и лабораторию Картоша на эти дела нацелили бы — и прощай тогда все надежды и планы Степина! Выгода — это хорошо, но сперва своя, а потом уже государственная.

— Степин пораскинул мозгами и решил придраться, потянуть с твоей фиговиной, там видно будет, пока на подношения сгодятся, а на тебя Кулешова спустил, чтобы тебе баки залил.

На Ленинградском вокзале у «красной стрелы» Джо встретил тех троих американцев, они ехали в Ленинград в одном поезде с ним. Увидев Джо, они перелянулись, покачали головами и скрылись в своем купе. Интересно, за кого они его приняли?

XIX

Бреясь перед зеркалом, Джо потренировался, изображая победителя. Чуть ироничный прищур, небрежный рассказ, без досады, мы добились своего, министерские работники восхищены, Степин, можно сказать, благодарил коллектив, создавший такую прелесть...

Они ждали его возвращения. Они сразу набились в его кабинетик. Те, кто работал и кто помогал. Теснились в дверях. Он хорошо позолотил пилюлю, но они раскусили суть, ничего не вышло, забодали, задробили, производство отложено, спрашивается — почему, на каком основании? Слова Кулешова перед этими ребятами не звучали. Они вкалывали без выходных, увлеченные не только изящным техническим решением, им понравилась идея выйти из неизвестности на свет божий со своим изделием, да еще в Америку, утереть нос своим соперникам, вставить им в ухо свою дулю. При чем тут военные заказы? Идиоты, не удержался Марк.

Ребята померкли. Узкая лошадиная физиономия Джо вытянулась еще больше. Прохоров, добрая душа, бросился утешать его, в итоге решено было назло врагам отпраздновать Алешину свадьбу с участием Джо и Андрея Георгиевича.

Все же это неслыханные люди, восторгался Джо, это люди новой формации, они все страдают не за себя, а за свое государство, и эти ребята, и, как ни странно, Кулешов тоже, пусть по-своему, но ведь не о себе же. С легкостью он переходил от уныния к радости, умел «всякую гадость приспособить под радость», как говорилось в стихах, зачитанных на Алешиной свадьбе.

Свадьбу справляли дома, в Алешиной комнатке. Картос и Джо впервые попали в ленинградскую коммунальную квартиру. С любопытством разглядывали черные коробки электросчетчиков в прихожей. Звонки на входной двери. Расписание уборки. Кухню, заставленную столиками. Велосипеды, подвешенные на крюках, двери, двери, длинный коридор, главный проспект квартиры, по которому носились детишки, бродили старухи.

Свадебный стол был уставлен кастрюлями с винегретом, была селедка, грибы, принесли таз горячей картошки, было много водки и домодельной браги. Все было вкусно, произносили смешные тосты, кричали «горько». Эн сказала Андреа: «Жаль, что у нас не было свадьбы». Ее свадьба с Бобом свелась к венчанию в церкви, торопливому ужину, где были только родители, — и сразу в отъезд. Эн подарила невесте французские духи. Это была рослая красавица с толстой рыжеватой косой и множеством веснушек. Невеста тут же открыла флакон, заахала от удовольствия, облила женщин, каждую щедро надушила, так, что почти все израсходовала.

Много пели песен шуточных и своего сочинения — про колорадского жука, про колхозы, про моржей. Никто не напился, если не считать Марка Шмидта, который подсел к Джо и заплакал над загубленной «крохой»: «Столько выдумки... такой бриллиант, мать их перемать... сволочи... миллионы им не нужны... бездарная система...»

Виктор Мошков высмеял его, потом отвел в сторонку, взял за грудки: «Заткни свой фонтан, ты ведешь себя как провокатор. Не смей расстраивать нашего эфиопа. Он больше тебя потерял».

Эн разговоривала с Алешиной матерью. Это была маленькая женщина в безвкусном пестром жакете, мелко завитые волосы пылали оранжевым цветом. Когда-то красивое лицо ее портили металлические зубы. Смешливые глаза присматривались к Эн с любопытством. Раньше она работала почтальоном, недавно стала начальником почтового отделения. Она показала Эн семейные фотографии — с мужем, с новорожденным Алешей. Там была одна блокадная — Алеша тоненький, на костылях, и она тоже с палочкой на мокрой весенней улице 1942 года. Старик и старушка. Позади разбитый снарядом дом, этот самый, в котором они сейчас живут. Всю блокаду здесь провели. В тот день, когда мужа убили на фронте, к ним сюда осколок влетел от бомбы.

— Почему же вы не переехали? — спросила Эн.

— Куда?

Она махнула рукой и стала рассказывать, как здесь, в этой же комнате, она справляла свою свадьбу, здесь родился Алеша, здесь вырос.

— Но теперь-то молодые уедут, — сказала Эн.

— Куда?

— Не можете ведь вы в одной комнате.

Мать Алеши рассмеялась, допила свою рюмку водки.

— Очень даже можем, поставим перегородочку и будем жить. У нас в коммуналке было шесть комнат, стало десять. Размножаются и делятся. Во время блокады мы все в одну комнату сбились...

Она стала снова рассказывать про блокаду, как они болели цингой, пили хвойный отвар.

— Вот почему у вас такие зубы, — простодушно сказала Эн.

Мать Алеши покраснела, зло прищурилась.

— Некрасиво? Вам тут многое у нас некрасивым кажется.

— Нет, почему же, — спокойно сказала Эн. — Вы мужественные люди, раз вы могли это перенести...

— Война, это что... Мы и сейчас переносим. Пойдемте.

Она крепко взяла Эн за руку, вывела из комнаты, повела по коридору, который сворачивал в полутемь с желтым пятнышком лампочки наверху. Двери, ящики у стен, ободранные обои, висели лыжи, лежали связки книг. Где-то за дверьми плакал ребенок, вопило радио. Эн споткнулась о какой-то сундук.

— Извините, — сказала Алешина мать, — я давно сюда не ходила.

Она снова взяла Эн за руку, повернула обратно в тупичок к желтой облупленной двери, перед которой стоял седой мужчина в роговых очках, с газетой в руках.

— Поздравляю вас, Нина Михайловна, со свадьбой. А это ваша гостья? — Он внимательно оглядел Эн. — Со стороны невесты будете?

— Нет, нас Алексей Алексеевич пригласил, — сказала Эн.

— Вы, извините, из каких краев? Не из Латвии, случайно?

— Очень ты любопытен, Свистунов, — сказала мать Алеши.

Дверь открылась, из уборной вышла пышная женщина, на ходу поправляя юбку. В прямоугольнике света стоял не остывающий унитаз, раздавалось урчание воды.

— Пожалуйста, уступаю вашей гостье, — сказал Свистунов, любезно кланяясь.

Мать Алеши подтолкнула ее.

— Давай, пользуйся случаем.

За дверью было слышно, как Свистунов говорил:

— Вы объясните ей, Нина Михайловна, что у нас второй туалет на ремонте.

— И ванная тоже на ремонте третий год, — сказала Нина Михайловна.

Она повела ее на кухню к раковине руки помыть. Женщины оценивающе оглядели ее черные туфельки, шерстяное платице, черное с белым, часики крохотные, вроде бы ничего особенного, но определили безошибочно — не наша, иностранка. Дело было не в наряде, наряд скромный, все сидело на ней по-иному, и держалась она по-другому, точной приметы тут нет, видно, когда человека не заботит, куда руки девать, как повернуться, никакого смущения, улыбается всем будто подругам своим.

В коридоре Нина Михайловна хихикнула:

— Теперь мне достанется.

— За что?

— За разглашение секретов.

— Каких секретов?

— Потому что коммуналка есть самый секретный в нашей стране объект. Вашего брата иностранца возят иногда на военные корабли, в атомные институты разрешают, но в коммунальные квартиры ни ногой. Их запрещено в кинокартинах показывать, в романах описывать. Я, можно сказать, выдала государственную тайну, — торжественно произнесла она.

— Почему вы это делаете? — вдруг спросила Эн.

— Чтобы вы знали, что такое коммуналка. В коммуналках большинство живет. По всей стране. Плечом к плечу. Теснее некуда... Без разницы возрастов, положений. Вот этот Свистунов — доцент, а рядом с ним проститутка, следующие две сестры, старые девы, — дворянки, рядом с ними летчик, у которого сын карманник. Все про всех известно. У кого что в кастрюле, что в постелях творится, у кого понос, у кого триппер. — Она разошлась так, что Эн стала плохо понимать ее хмельную скороговорку. — Коммуналка — это же модель общества, как считает Алешка, орудие диктатуры. Поддерживает порядок. Никаких заговоров, никакой оппозиции. А то, что скандалы и драки, это нормально. Зато всегда в боевой форме. Человек из коммуналки! Стукачи, матерщинники, психи... Дети все видят. Я Алешку спасала как могла.

— Ужасно, я понятия не имела, — сказала Эн.

— Не нравится? — обрадовалась Нина Михайловна.

— Но у вас квартиры дают бесплатно, всюду строят.

— Дают. Только не нам. Теперь две семьи, поставят на очередь. Лет через десять дойдет.

Эн недоверчиво уставилась на нее:

— Десять лет — это же вся ваша жизнь пройдет.

— Уже прошла. Среди этих. — Она ткнула пятерней в сторону черных электросчетчиков полутемного коридора, загроможденной передней. — Тридцать лет! Вкалывала как проклятая — и что? Комнату единственному сыну освободить не могу. — Она зашептала на ухо Эн горячим дыханием: — Надоело. Своя нищая жизнь надоела! Я себе надоела! А знаешь, зачем я тебе показывала? Чтобы ты мужу сказала, когда квартиры будут давать, чтобы Алешке дал. А мне не стыдно, если честно заработать нельзя. Будь она проклята, такая жизнь.

Она стиснула кулаки, глаза ее горели, лицо дергалось; дверь, возле которой они стояли, скрипнула, приоткрылась, Нина Михайловна яростно прихлопнула ее плечом.

— Успокойтесь, пожалуйста. — Эн обняла ее, прижала к себе, и Нина Михайловна обмякла, беззвучно заплакала. — Я скажу мужу, я понимаю, я ему все расскажу, — приговаривала Эн.

Нина Михайловна достала платок, высморкалась, вытерла лицо.

— Ничего, потерпим... Поставим перегородку. У меня будет проходная комната. Главное, я Алешку сберегла в блокаду, он вырос хорошим мальчиком, остальное ерунда. Подумаешь, коммуналка, войну пережили... — Она встряхнула огненно-оранжевыми кудряшками.

— У вас тут все про войну вспоминают, уже столько лет прошло.

Мать Алешки смерила ее взглядом, значение которого Эн не сразу поняла.

— Ты всегда такая спокойная?..

Спросила про умершего ребеночка, расспрашивала, не стесняясь, о том, о чем все избегали упоминать, спросила, как же теперь Эн живет пустовкой бездетной, чем душа занята.

— Любовника тебе завести надо, — посоветовала она.

Когда они вернулись, в комнате стулья были сдвинуты, и в тесноте, танцуя, топилось несколько пар. Эн сразу же пригласил Виктор Мошков, повел ее, церемонно держа двумя пальцами, как будто держал бокал. И другие сотрудники танцевали с ней иначе, чем с другими женщинами, держась на расстоянии. Никакого удовольствия от этих танцев она не получала. Она была женой их шефа, обожаемого руководителя, будь на ее месте мымра, они обращались бы с ней с той же опасливой бережливостью, ничего она в них не возбуждала.

Она выпила. Увиденное в этой квартире все больше расстраивало ее. Никак не укладывалось в голове. Ее стали просвещать: «Потому что все мы, как заявил Мошков, вышли из этой школы коммунизма». При чем тут коммунизм? — спросила Эн. При том, объяснили ей, что здесь формируется человек будущего, умеющий бороться за свое существование на минимальном жизненном пространстве, отступать ему некогда, маневрировать тоже. Коммуналка создает особый тип всеобщего человека, все выдающееся подстригается, выравнивается. Жизнь его прозрачна, на работе он на людях и дома на людях, одиночества у него не бывает, а если ему случается остаться одному, он места себе не находит.

— Сформирован новый тип человека, — заявил Мошков, — коммунальный. Хомо коммо — следующая высшая ступень по сравнению с хомо советикус. Хомо коммо не интересуется ни политикой, ни строительством коммунизма, что для коммунизма весьма ценно, коммунальный человек весь поглощен борьбой с соседями...

Эн заметила, как Андреа недовольно покачал головой, затем взял со стены гитару, стал тихонько ее настраивать. Все примолкли. Первый раз видели в его руках гитару. Гитара была дешевенькая, старая. Андреа хмурился, прилаживаясь к ней, потом поставил ногу на табуретку, взял несколько аккордов, черные глаза его устремились куда-то в невидимую точку, которая была далеко, за пределами этой комнаты.

Голос его зазвучал незнакомо. Пел он по-английски, надтреснутым пьяным голосом. Песня была военная, американских солдат. Лицом он не подыг-

рывал, оно оставалось бесстрастным, и таким же оно осталось, когда он запел мексиканскую любовную. Мужская нежность не вязалась с его холодным взглядом, но подружки невесты смотрели на Андреа завороженно, в их глазах разгорался знакомый Эн огонек, это случалось и в Мексике, когда после его песен девицы ходили за ним, не стесняясь жены, трогали его, гладили, становились, как говорила Эн, сексуально агрессивными, так действовал на них его голос. Эн относилась к этому со смешком.

Никто из сотрудников не ожидал, что их шеф поет, и поет профессионально. Сперва это показалось неприличным, как если бы на сцену с гитарой вышел Хрушев. После третьей песни они принялись аплодировать. Он взглянул на них недоуменно. Он пел как бы для себя, публика его не интересовала, ему хотелось что-то вспомнить, голос его доносился из прерий, потом, когда он запел по-гречески, пахнуло Адриатикой, жаром узких улочек, стиснутых нагретым мрамором домов, позади вставали выжженные солнцем холмы, где пировали боги Олимпа, земля, коричневая, как греческие амфоры, серые ослики, оливы... Отсюда, с холодной, сумрачной Петроградской стороны, Адриатика казалась ярко-синей, счастливо-теплой, играла музыка в портовых кабаках, крутилась рулетка, где-то существовали другие великие города, кроме Москвы и Ленинграда, с пляской рекламных огней, с потоком разноцветных машин, с роскошными женщинами, ковбоями, винными погребами, огромный, неведомый им мир медленно вращался перед ними. Было грустно оттого, что никогда не придется увидеть эти страны, все это не для них, никто из них никогда не выезжал за границу и вряд ли поедет.

Эн почувствовала их грусть, пение Андреа перестало ей нравиться. Впервые она слушала его отчужденно. Поза его показалась манерной, и то, что он не позволял им аплодировать, тоже было неприятно, в сущности, мнение их было ему безразлично. Его испанский, греческий, английский — щегольство, он не чувствует, как он выглядит среди этих ребят, в этой ужасной коммунальной квартире. Он ничего этого не заметил — ни их безнадежной зависти, ни своего успеха.

XX

В одно из воскресений Джо пригласил Эн на открытие выставки в Русском музее. Андреа был в командировке, и Джо полагалось опекать Эн. Выставки, литературные вечера были в то время местами яростных споров. Джо, так же как и Андреа, мало что понимал в живописи. Однако он считал, что живопись — это первое, с чего начинается человек, читать еще не умеет, а рисует, изображает мир, каким его видит, не искажая его умением и правилами рисования. Примерно об этом ораторствовал он посреди зала, привлекая к себе внимание громовым голосом, несоразмерными жестами и акцентом. Он не признавал никакой эстетики, его замечания о картинах были чудовищны, он не мог отличить Рембрандта от Рубенса, и тем не менее его слушали с удовольствием. С пылом проповедника он доказывал, что все они — мальчишки и девочки, пенсионеры, отставники, приезжие провинциалы, — все они могут разбираться в живописи, оценивать картины лучше искусствоведов, чем наивнее, тем вернее. Эн потешалась над их легковерием, потом ей стало стыдно и за них и за чушь, которую нес Джо. Когда-то в Нью-Йоркском университете она слушала лекции об условности в искусстве, и профессор, разбирая картины Модильяни, признавался, что не может до конца понять, раскрыть секрет выразительности этих неестественно вытянутых лиц, непрописанных глаз. Он учил добираться до тайны великих художников, до непонятного. Разбирается в искусстве тот, кто начинает что-то не понимать, повторял старик, и Эн это усвоила.

Слушать Джо было тягостно, Эн отошла в сторону. Выставка ленинградских художников показалась ей робкой и устарелой. Кто-то смотрел на нее. Она почувствовала спиной пристальный взгляд, обернулась. Мужчина, совершенно незнакомый, смотрел на нее с безграничным изумлением. Эн нахмурилась, перешла в соседний зал. Мужчина отправился за ней, он шел за ней как привязанный. Она остановилась у какой-то гравюры, он тоже остановился поодаль, вдруг что-то решил, подошел к ней и, странно посмеиваясь, извинился.

— Дело в том, что вы похожи на один портрет.

— Ну и что? — резко сказала Эн.

— Видите ли, портрет этот написан был мной несколько лет назад.

— Вы что, художник?

— Да.

Она посмотрела на него успокоенно и ответила улыбкой.

— Может, я была у вас натурщицей.

— Тогда бы вы меня помнили. Нет, я писал просто так. И потом, в натурщицы вы не годитесь.

— Это почему?

Он расхохотался.

— Ключули? Ни одна женщина не может удержаться от такого вопроса.

Он был рослый, плечистый, с открытым грубоватым лицом, пегие курчавые волосы делали его похожим на большого пса.

— А в натурщицы вы не годитесь потому, что вы личность.

— Это что у вас, способ знакомиться?

Ему было лет за сорок, на висках проблескивала седина, на нем была потертая кожаная куртка, хлопчатобумажные штаны с пузырями на коленях, фланелевая рубашка.

— Нет, у меня есть более простые способы.

На нее смотрели нахальные глаза, слишком молодые и слишком яркие, глаза не от этого добродушного, простецкого лица. Он снова оглядел ее.

— Все же это похоже на чудо.

— Что?

— Этот портрет... Я хочу вам показать. Приходите в мастерскую сегодня вечером.

— Как у вас быстро.

— Вы что, из Прибалтики?

Эн неопределенно пожала плечами.

— Этот тип там ораторствует — вы с ним?

Она кивнула.

— Это ваш муж?

— Нет.

— Слава богу! Интересно, как это могло случиться — с вашим портретом. Жаль, если вы не придете. — Он продолжал разглядывать ее и удивляться. — А может быть, я ошибаюсь, — сказал он. — Вы по сравнению с ней рациональны... Как все прибалты, — добавил он.

Нахальный смешок взблескивал и исчезал в его светлых глазах, так что Эн не успевала обидеться. Она старалась держаться тоже иронично.

— Значит, я должна прийти к вам в мастерскую. Если не приду, значит, я рациональна...

— О господи! Это же всего лишь портрет, поясной.

— По пояс, да? Значит, вы будете сравнивать по пояс? Это, конечно, легче.

— Поскольку вы так не уверены в себе, можете прийти с вашим другом, с мужем, с милицией. В любой день.

Он показал ей, где его найти. Это было тут же, в запаснике. Маленькая белая дверь без вывески. Сбоку незаметная кнопка. Нажать три раза, спросить Валерия Петровича. Лучше к концу рабочего дня, часов в пять. Его мастерская неподалеку, через канал.

— Только не откладываете, — предупредил он. — Я могу исчезнуть.

— Как это исчезнуть?

— Как сон, как утренний туман... Меня грозятся выгнать отсюда.

— Тогда другое дело.

Он ответил ей взглядом, значение которого она не поняла, но который убедил ее, что это не шутка. В течение нескольких дней она припоминала предупреждения учтивых майоров в штатском, рассказы о ловушках. Но в среду, выйдя из Дома книги, решительно свернула к Русскому музею. Она была стопроцентной американкой и знала, что чудес не бывает, что все кончится обманом, разочарованием, в лучшем случае какой-то ерундой, глупостью.

Позвонила трижды. Дверь открыл ей сам Валерий Петрович: Увидев, что она одна, усмехнулся. Был он в синем длинном халате, в заношенной кепке. Повел через длинный полутемный зал. Под тусклой целлофановой пленкой рядами стояли бюсты вождей. Больше всего было бюстов Сталина. Валерий

Петрович объяснил, что здесь запасник современного искусства, что ей повезло, никого сейчас нет, начальство на ученом совете, и можно взглянуть на картины художников, которые не выставляются. По правилам доступ сюда закрыт. Для запасника надо получить пропуск в Москве, в Министерстве культуры, чуть ли не у самого министра. Потому что хранятся тут картины идеологически вредные, для простых людей крайне опасные. Никто не должен их видеть. Валерий Петрович советовал использовать счастливый случай. Опять было непонятно, шутит он или всерьез, как могут быть картины опасными.

— Вы что, здесь работаете?

— Да, нечто среднее между чернорабочим и помощником хранителя. Надо иметь какой-то постоянный заработок.

Стеллажи до потолка, в несколько этажей, плотно заставленные картинами. Окна в решетках.

— Тюрьма, — сказал Валерий Петрович. — Похоже?.. И нары, брат, и нары! — пропел он.

Сотни картин, может, тысячи.

Он усадил ее в кресло, плащ просил не снимать, если придут, скажет, что она только что пришла за ним, она, извините, — он театрально раскланялся — натурщица, словом, шуры-муры, это у нас поймут, простят, потому что шуры-муры есть у всех.

Стоит ли рисковать, сказала Эн, тем более что советская живопись ее не интересовала. Стоит, стоит, немного даже обиженно заверял он. Полотна, которые он ставил перед ней, были и впрямь хороши. Но она готовилась к другому, сюда можно будет прийти в другой раз, считала она. Впоследствии она часто жалела, что была так нетерпелива. Другого раза не было, его никогда не бывает, другого раза, все бывает только один раз, пора бы научиться, что к этому разу надо относиться как к единственному и последнему. И Валерий Петрович был в ударе, сам откровенно восхищался полотнами, любовался ими, словно драгоценными камнями, игрой их красок, ходил большой и легкий, словно бы позабыв об Эн. Кто-то второй в нем перебивал смешком, и этот второй не упускал случая как бы невзначай положить ей руку на плечо, тронуть ее.

— Чего ж тут секретного, — сказала Эн, невольно любясь огненно-красными креслами, пылающими на черно-синем фоне картины.

— Вот именно! — ликуя, восклицал Валерий Петрович, и Эн вспомнила Алешину маму и очередь в уборную. Та государственная тайна была хоть как-то понятна, но эти самовары или приклеенная к холсту папиросная коробка — в них-то какая опасность? — Вам смешно, — сказал Валерий Петрович. — Здоровая реакция нормального человека. Хотя большинство людей находят оправдания. Лучшие наши художники захоронены здесь. Перед вами трагедия огромного искусства. Представляете, если бы итальянское Возрождение было запрещено и папа Лев Десятый запретил Рафаэля, Боттичелли, Микеланджело, Леонардо, упрятал бы их в подземелье на века, так, чтобы мы понятия о них не имели!

Эн посмотрела на свои часики.

— Извините, — сказал Валерий Петрович и стал снимать халат.

Его мастерская помещалась неподалеку, на последнем этаже шестизэтажного старого петербургского дома. Все показалось Эн необычным: переходы по застекленным галереям, парадная с мраморным фигурным камином, выложенный плитками пол, остатки цветных витражей на лестничных окнах. Вечерний желтый свет, проходя сквозь них, распался на толстые цветные лучи. Лифт не работал. Сквозь стеклянные дверцы видна была кабина красного дерева. На одном из подоконников две старушки играли в карты.

Небольшой портрет в простенькой черной рамке стоял на полу у мольберта. Молодая женщина в платье вишневого бархата со стоячим воротником, отороченным белыми кружевами. Изображение как бы заплыло, не хватало света, и что-то там, в глубине картины, поблескивало. Эн не сразу поняла, что художник написал зеркало, старое, помутневшее от времени зеркало, в котором отражалась стоящая перед ним женщина. Местами облетела амальгама, отсюда и происходил блеск попорченного местами зеркала. По плечу женщи-

ны полз большой жук-олень. Женщина зачарованно смотрела на его отливающий изумрудом панцирь и грозно устремленные к ней рога. Чем-то она была похожа на Эн, помоложе, помягче, глаза темнее, хотя Эн никогда в точности не могла определить свой цвет, он менялся у нее. Так что поначалу она была даже разочарована. Чуда не состоялось. Что-то она съязвила по этому поводу, Валерий Петрович не ответил, он разглядывал обеих женщин, ее и ту, все с большим удовлетворением. Он не слышал Эн и не обращал внимания на нее. Перед ним была модель, с каждой минутой сходство увеличивалось, она стала узнавать себя, свой поворот, свое выражение, то, что таилось в припухлостях по краям губ, в уголках глаз, это была она, Эн. Впервые она видела себя на портрете. Там было и то, чего она не знала в себе, что не подсмотреть в зеркале, из зеркала на нее всегда смотрела женщина, которую никак не удавалось заставить врасплох.

Почему-то ей в голову не пришло, что Валерий Петрович мог написать портрет за эти дни, по памяти. Может, потому, что по краям и на рамке лежал слой пыли. Конечно, и это можно подделать, художники это умеют. Но она не сомневалась, что портрет написан давно. Валерий Петрович смотрел не на портрет, а на нее, любуясь своей находкой. Она не сразу заметила, что он обнял ее. Она отвела его руки, спросила:

— А жук зачем?

Валерий Петрович удрученно покачал головой, не ответил. Он повернул портрет, на заднике черным было написано: «Женщина с рогатиной. 1954 г.».

— Как давно, — сказал он.

— С кого вы ее писали?

— Это была женщина моей мечты.

— Была? — невольно спросила она, и он усмехнулся.

— Я думал, что избавился, но теперь, оказывается, вы существуете, вот в чем чудо-юдо. В натуре вы богаче. У нее разве грудки, у вас они хорошо торчат, интересно, как бы вы на жука смотрели. Впрочем, писать с натуры не люблю, в натуре мне трудно найти загадку.

Разговаривая, он как бы рассеянно, как бы невзначай то брал ее за руки, то трогал ее колено и непонимающе вскидывался, если она отстранялась.

Мастерская имела длинное окно, в окне виднелись зеленые и красные крыши, подсвеченные закатным солнцем. Она стояла, смотрела на них. Валерий Петрович подошел сзади, положил ей руки на плечи.

Прикосновения его были приятны. Она не сопротивлялась и не помогала. Она как бы наблюдала за собою со стороны с некоторым любопытством к себе и к нему. Что-то Валерий Петрович продолжал говорить, уже волнуясь, о загадках жизни, в которые не стоит вдумываться, потому что существование человека необъяснимо... У него была фраза про Адама и Еву, которые не любили друг друга, пока не согрешили... Она очнулась оттого, что он взялся за «молнию» на юбке.

— Это зачем? — услышала она свой спокойный голос.

— Впервые слышу такой вопрос. — Он не удержался от своего обычного смешка.

— Поэтому и не можете ответить.

— Могу... Разве он вам нужен? Будем считать, что вы победили, хотя победитель не получает ничего.

Она поправила «молнию», привела себя в порядок и попросила продать этот портрет.

— Вы мне отказали, — сказал Валерий Петрович, — я вам тоже отказываю.

Потом на кухоньке они пили чай с пряниками и брусничным вареньем. Ни того, ни другого Эн никогда не пробовала.

— Надо будет вас свозить за брусничкой. На Карельский перешеек.

На Карельском она тоже не была. И на Ладоге не была. И в Кижях не была.

— Целая программа.

— У меня большие планы насчет вас.

Он проводил ее до метро, прощаясь, попросил телефон, она, не подумав, назвала номер, но когда он переспросил, сказала, что звонить ей не следует, да он и не побеспокоился узнать, как ее звать. Он хмыкнул и сказал, что она

тоже хороша, не попросила показать другие его работы. Кажется, он был всерьез обижен. Впрочем, о нем нельзя было сказать ничего наверняка. Он мог глазами раздвигать ее, оглядывать подробности ее тела и при этом учтиво рассуждать о живописи Пикассо, мог, стоя к ней спиной и заваривая чай, говорить о ее бедрах так, что она начинала ощущать их. Он чересчур много позволял себе, и она не мешала ему вести двусмысленную неприличную игру.

Она ничего не рассказала ни Джо, ни Андреа, вряд ли они приняли бы все это всерьез. Наверняка упростили бы эту историю, а как раз этого ей не хотелось.

Словно нарочно кто-то подсовывал совпадения, не давая забыть о происшедшем. В комиссионном магазине она увидела отрез вишневого бархата. Слишком плотный, скорее для портьер, она не удержалась, купила, решив сшить себе халат. Не платье, так по крайней мере халат и чтобы со стоячим воротником. Она любила стоячие воротники, странно, что и у той особы был стоячий воротник. Вдруг она нашла у Андреа на столе том энциклопедии, раскрыв, наткнулась на красочные таблицы жуков, среди них сразу ей бросился в глаза тот самый жук с оленьими рогами, по-латыни он назывался *Lucanus cervus*. Почему том оказался именно на эту букву, почему она раскрыла именно на этой таблице?

На рынке продавали бруснику. Гладкие румяные ягоды лежали большой кучей. Эн долго стояла, задумчиво перебирала их. Напоминания были слишком назойливы. Ей пришло в голову, что с портретом несомненно ее разыграли. Неизвестно, художник ли он, его ли эта картина, она не видела других его вещей. Когда через неделю он позвонил, она обрадовалась. Они гуляли по Михайловскому саду, потом по Летнему. В тот день она увидела его работы. В них было несоответствие облику Валерия Петровича, шутливому, чуть циничного, любителя женщин и любителя удовольствий, словом, вполне земного, практичного. Первая же картина поразила ее: вставленный в раму как бы кусок стены, обклеенный выцветшими грязноватыми обоями. Посредине свежий прямоугольник с розоватыми чистенькими полосками, увитыми мохнатыми стеблями, и дырка от гвоздя, на котором, очевидно, висела картина. Какая-то картина, которая сохранила часть обоев, и они теперь стали картиной. Было еще нечто похожее: песчаный пляж, спокойное холодное море прилегло на ровный плотный песок, и на нем, на песке, выделялся четкий след одной босой ноги. И кругом ничего, ни малейшего отпечатка. След, который никуда не вел.

— Ангел, — неожиданно определила Эн.

Брови Валерия Петровича недоуменно поднялись, видно было, как слово это медленно пробивается к нему, и вдруг он просиял, наклонился к Эн и чмокнул ее в щеку.

— Как вам пришло на ум? Потому что вы сами ангел. — Он восхищенно оглядел ее как-то по-новому, но тот, другой, что сидел в нем, перебил: — Нет, ангел существо бесполое, скорее всего среднего рода, что вам никак не подходит. Но вы, как ангел, коснетесь меня ножкой и улетите...

Мотив пляжа повторялся. На бескрайнем пустом пляже стояла черная ученическая парта, за ней лицом к морю сидел школьник. На следующем пляже, уже горячем, раскаленном от летнего солнца, лежал одетый в черный парадный костюм, с галстуком, в начищенных ботинках человек и смотрел в небо.

Раздался звонок в дверь, и сразу застучали кулаком. Валерий Петрович пошел открывать, вернулся со своим приятелем, лохматым, высоким, тонким, со шляпой на макушке. Приятеля звали Кирилл, Кирюша, как представился он Эн, целуя ей руку. От него разлило вином, он старался держаться прямо, но иногда сгибался так, что казалось — сломается.

— Красавица, простите меня, вы — красавица, — объявил он Эн. — Валера, ее надо писать и писать. Причем не нагую. Руки, смотри, какие руки! — Он поднял ее руку. — Без всяких колечек, понимает, бестия, такую руку не надо украшать. Ну скажи, Валера, почему мы должны писать доярок, ткачих, а не женщин? Ты-то устроилась.

Расставленные на полу картины вызвали у него слезливую гордость:

— Поэтому его и не выставляют. Чернорабочий. Насмешка. И оттуда тебя

скоро попрут. Разве тебе можно доверять крамольников сторожить? Извините, как вас звать? Валера, представь мне свою даму. Кто такая?

— Между прочим, я и сам не знаю вашего имени, — сказал Валерий Петрович.

— Зовите меня Эн.

— Эн! — произнес Кирюша торжественно. — Некая Эн. Икс. Без подробностей. Эннин, звенит! Эн, вы небось иностранка. Покупайте Валеру, пользуйтесь его бедственным положением, великий художник. Валера, ты показывал ей свои сказки? Немедленно! Вы понимаете в живописи? Ты, мужик, за чем ее сюда привел? Употребить или продать ей? Употребишь потом, сейчас тащи, давай сюда вертушки. Ты что, стесняешься?

— Уймись, — сказал Валерий Петрович. — Иначе я тебя выкину.

Сам Кирюша зарабатывал тем, что писал бесконечные портреты членов Политбюро и дописался до того, что на иллюстрациях к Толстому у него получились те же физиономии.

— Представляете, смотрю, Каренин у меня почему-то получается морда, а это Кириленко! Ужас! Слушай, я ведь к тебе по делу.

Заключалось его дело в том, что приятели его, чешские художники, задумали сделать монографию о советском авангарде, художниках революции. У них есть разрешение снять в запаснике Петрова-Водкина, разрешение из Москвы, по всей форме, под это дело он, Кирюша, уговорил их заснять и других художников — Филонова, например, Малевича, Фалька. Без ведома хранителя. Допустим, Валера выйдет по нужде, они чик-чик — и готово. Уговорил их запросто. Теперь он уговаривал Валеру. Тот не поддавался. Патриотизм проявлял. Кирюша умолял — такой случай, в цвете издадут, для всего мира открытие будет. Узнают, какая у нас могучая живопись. Европа ахнет, XX век наш! Наше первенство. На это Валерий Петрович ухмылялся — они узнают, что у нас художественный ГУЛАГ устроен. Опозорят нас.

— Больше опозорить нас, чем Хрущев, невозможно! — орал Кирюша. — Накинулся на лучших художников. Нашел кого топтать. Самого Неизвестного! Главный враг наш!

Валера соглашался, но добавлять позора не хотел. И потом, боялся, что после этого вообще такой шухер наведут, никого на выстрел не подпустят к хранилищу.

— Он просто трусит, — Кирюша обратился к Эн, — за свое место боится. Ну выгонят его, подумаешь. Зато совершит великое дело. Побег устроит, выпустит на волю этих беделог. Уговорите его, Эн, что вам стоит, сослужите службу! Эх, я бы на вашем месте живо его скрутил... Отдался бы — и он готов.

Судя по всему, Эн забавляли эти выпады. Появилась бутылка водки, мужчины выпили прямо из стаканов, Эн тоже сделала вид, что пьет, она уже усвоила, что в России нельзя отказываться от водки, надо чокаться со всеми, морщиться, закусывать, пить необязательно.

— Его все равно скоро выгонят, — убеждал Кирюша. — Бесславно прогонят.

Валерий Петрович от водки пришел в покаянное настроение, появилось в нем что-то трогательно-щенячье-доверчивое.

— Какой же я охранник, я укрыватель, — жаловался он Эн. — Мы прачем картины прежде всего от начальства. Нет, прежде всего от художников-стукачей. Они доносят начальству. Приезжал в Эрмитаж Серов, пошел в залы импрессионистов, потребовал, чтобы сняли и их. Взял рабочих-передовиков с собой. Они высший авторитет. Им приятно запрещать: импрессионисты — антинародное искусство. Такие вполне могут наши запасники потребовать распродать. При Сталине — продавали, Хрущева тоже уговорят.

Эн прошлась по мастерской, проговорила с вызовом:

— По-моему, Сталин правильно делал, что продавал картины. Это лучше, чем их прятать. Там, за границей, на них будут люди смотреть.

— Такого я еще не слышал, — сказал Валерий Петрович. — Постороннее мышление... Потому что вы не русская, для вас искусство космополитично.

— Ну конечно, лучше пусть лежит в сундуках, никто не видит, зато мы патриоты. Какие вы патриоты, если никто за границей про русских художников не знает. Ни в одном музее Нью-Йорка вы не найдете ничего русского.

— А вы откуда знаете?

— Я?.. Я была там!

Взгляд его ткнулся в нее и словно расшибся, но жаркая волна несогласия несла его, не давая остановиться, впервые Эн удалось зацепить его.

Они схватились в споре, не заметив, что Кирюша застонал, его вырвало прямо на пол. Пришлось уложить его на диван. Эн стащила с него ботинки, принесла воды.

— Почему ему все? — рыдал Кирюша. — И талант и вы, этот сукин сын еще хочет выглядеть порядочным. Что я скажу чехам, Эн? Уговорите его. О господи, как меня мутит, это из-за тебя, Валерка. — И он уныло матерился.

Валерий Петрович отсылал ее домой, она не ушла, пока не подмыла пол. Открыла окно, обтерла потного Кирюшу. Делала она все это ловко, быстро, уверяла Валерия Петровича, что без всякого отвращения, дело житейское, и, шагая по улице, она улыбалась и дома продолжала работать, готовить ужин с той же летучей улыбкой.

XXI

Теплоход вышел на простор Ладоги. Волны не было, вечернее озеро лежало спокойное, до самого горизонта зеркально-гладкое.

Редчайший случай, как сообщил по радио голос гида. Тьма никак не наступала. От воды шел свет молочно-сизый, мелкие облака отражались на водной равнине как серебристые льдины, и теплоход надвигался на эти льдины, ломая их, а они снова всплывали. Ничего нельзя было сделать и с отражением бледной луны. Вода была прозрачна, чистое ее дыхание заполняло все пространство. Вода пахла водой, ничем другим, и это было хорошо, потому что запах чистой воды никогда не надоедает. Так же как вкус хлеба, как вид неба. Воздух продувал Эн насквозь, проходил через поры ее тела. Ее куда-то несло, она послушно отдавалась потоку, стараясь ни о чем не думать. Зачем она поехала? Сказала, чтобы узнать тайну портрета. Посмотреть Валаам, Киж и узнать про портрет. Причина достаточная. Ничего другого она не имела в виду. То, что произошло потом, было случайностью. Кому-то она объясняла свои поступки, приводила причины, оправдания, и этот кто-то пока что не возражал.

Прекрасно было это бледное небо, белая вода, дальний берег, отороченный черно-зеленым лесом. Тишина, прочный покой. Она радовалась тому, что может воспринимать эту красоту, в которой не было прошлого, не было будущего, была лишь огромность настоящего, которой люди пренебрегали.

Несколько парочек стояли вдоль борта на палубе, любясь светлой ночью. Эн вдруг увидела среди них любовников. Их можно было узнать по тому, как они оглядывались, старались уединиться, счастливо вполголоса говорили. Неподдалеку от нее у трапа жались друг к другу немолодая пара. Наконец-то они могли побыть вдвоем, не урывками, а несколько дней и ночей насладиться своей тайной любовью. Эн благословляла их, так же как тесную свою каюту, пропахшую табаком, невкусный ужин в ресторане, бедный буфет, — все открывалось ей как дар незаслуженный.

В каюте было тепло. На ее койке по-прежнему спал Валера. Курчавая голова его свесилась, голые ноги в темных волосах торчали из-под простыни. Лоб его разгладился, рот был полуоткрыт, он вкусно посапывал. Эн сидела на откидном стульчике, разглядывая его влажное лицо, по которому пробегали смутные отблески сновидения.

Человек этот вдруг перестал быть чужим. Произошел не просто акт, как называл Валера, — произошло то, что в Библии называется «она познала его». Она узнала его тело, его ласки, его мужскую плоть, но вместе с тем и что-то еще, часть его существа вошла в нее, это и было — познать.

Когда-то с ней случалось подобное... Валера был совсем другим, Андреа низкорослый, Валера большой, Андреа молчалив, этот разговорчив, она уже в курсе его работ и того, что творилось в запаснике, художническая музейная жизнь была ей понятна, интересна, то же, что делал Андреа, было и непонятно, и закрыто на замок.

...Они ушли в зеленые холмы Итаки. Андреа заснул прямо на горячей траве, она сидела перед ним, вот так же разглядывая его спящего, с поджатыми

коленими. Но ведь и то было прекрасно, и тогда было счастье, зачем сравнивать, она была благодарна и за ту далекую, отдельную от этой жизнь. Эн верила в Бога, но тот, перед кем она оправдывалась, был не Господь Бог, а нечто такое, что, по ее представлению, следило за нею, укоряло за плохие мысли и поступки, грозило ей, к нему она обращалась перед сном, оправдываясь, давая обещания. И сейчас она доказывала, что все правильно, что она имеет право на это утешение после смерти мальчика, единственную милость, которую даровал случай, она благодарила судьбу за это новое чувство, удивляясь и не веря. Еще недавно, еще по дороге в порт, она испытывала любопытство к самой себе, наблюдала за собою, не видя никаких признаков волнения. Она не могла не понимать, для чего ее пригласил Валера в этот трехдневный рейс. Она шла на это, она была из тех женщин, которые выбирают сами. Валерий Петрович ей нравился, но что-то останавливало ее, какая-то его настороженность. Он не спросил ни разу, кто она, что у нее за семья, хорошо, что Кириуша спросил, как ее звать. Возможно, это была деликатность. Возможно, отстраненность таланта, занятого собой. Он всех вовлекал в свой мир, другие миры были ему чужды.

Эн имела превосходную зрительную память. Все картины Валерия, которые он показал, она запомнила, его несомненный талант был неудобен, его трудно было с кем-то сравнивать. Насчет гения Кириуша преувеличивал, в чем-то, однако, Валера был необычен. Ее последнее время окружали гениальные физики, гениальные математики. Проверить это было невозможно, через несколько лет некоторые оказывались посредственностями. Валерия Петровича она смогла оценить сама.

...Валера потянулся, открыл глаза. Эн смотрела в окно. Он сделал знак, чтобы она не обращала на него внимания, торопливо оделся, выскользнул из каюты, вскоре вернулся с альбомом. Эн уже нырнула в постель, нагретую его телом. Он попросил ее снова встать у окна и сделать, как он сказал, лицо святой грешницы. Эн попробовала, но ничего не получилось, ей хотелось спать.

Наутро Валера сказал, что у него не выходит из головы вчерашнее ее лицо. То, что было до этого, он не вспоминал, как будто от всего вечера и ночи осталось только ее лицо. Он сделал несколько набросков, и все было не то. Ему не давал покоя сюжет покинутого рая. Валяется огрызок яблока, Адам и Ева уходят изгнанные. Адам в тоске, а Ева счастлива. Сюжет мог получиться и другой, ее ночное моление само по себе картина — женщина, которая благодарит Господа Бога за сладость совершенного греха. Его не интересовало, чему она на самом деле молилась, он ее ни о чем не спрашивал, ему достаточно было того, что он придумал.

Монастырь, церковь она осматривала рассеянно. Облизанные волной камни, огромные гранитные плиты спускались в прозрачную воду. Трава, кривые сосенки — все на острове выглядело диким, и цепкость этой небогатой северной природы, живущей не напоказ, скрытыми своими страстями, и скромные запахи ее и краски — все требовало пристальности. Глаз Валеры подмечал молодые сыроежки, рыжую россыпь лисичек, ягоду морошку, незнакомые Эн радости здешних мест.

Они провели на этом острове не три часа, а часть жизни, прекрасную пору их любви.

После обеда они сидели на палубе, Валера рассказывал про здешние места, про языческие предания о Перуне, который молнией прогоняет злых демонов, отворяет облачные скалы, потом перешел на судьбы художников двадцатых — тридцатых годов, их поиски, находки. Эн смотрела на его заросший черной щетиной подбородок, небритость шла ему, если бы они жили вдвоем на этом острове, он ходил бы с черной бородой, с длинными кудрями.

Она заметила, что он ждет ее оценок, согласия, одобрения. Она не привыкла к такой роли. Смешно было бы, если б Андреа советовался с ней о своих работах и замыслах. Ее мнение ничего для Андреа не могло значить. Без него она как бы ничего из себя не представляла. Она вдруг увидела себя со стороны за последние годы, с тех пор как они расстались с Винтером, как она из любовницы стала женой, или, как тут называют, домашней хозяйкой. Она вспомнила слова Винтера: «Как вы там будете? Он там найдет замену куда удобнее».

С Валерой она неожиданно приобрела уверенность. Он считался с ней как с судией, чуть ли не как со специалистом.

Иногда, следуя женскому инстинкту, она подкусывала его, это было в ее характере — немного подперчить отношения.

— Ты добиваешься, чтобы твоих заключенных выставили. Хорошо, их выставят — чем ты будешь обольщать своих посетительниц? Сейчас любят твоими выпадами. Ты борец. А тогда у тебя ничего не останется.

Он коротко хохотнул, сказал вызывающе:

— Ну, кое-что останется.

— Кое-что есть у всех.

— Я думал, что тебе понравилось.

— Для начала было неплохо, — сказала она холодно.

Она смотрела на бегущую волну. Джо говорил про женщин: «Они не понимают, что надо уступать, но не полностью, не на обе лопатки, огонь борьбы не должен гаснуть».

— Ты был женат? — спросила она.

— Дважды.

Одна была искусствовед. Она тащила все время его на путь истинный. Рыдала над его картинами, заявляя, что они не способны поднимать массы на большие, благородные дела, обогащать их духовно. Вторая была радиожурналистка. Красавица. Ей нужна была веселая жизнь, банкеты, вернисажи, наряды, поездки за границу, все это получила у бывшего приятеля Валеры, благодаря ей он стал писать портреты жен начальства.

Рассказывал Валерий без злости, подтрунивая и над собой. Эн все больше нравилось его небрежное отношение к своей жизни. Впервые она сталкивалась с такой бесхозяйственностью. При всем его тщеславии он не умел пользоваться своим талантом. Он только писал и ничего другого не делал. У него не было ни одной выставки — почему?

— Да ты что! — изумился он. — В магазине-салоне меня несколько раз ставили на продажу и сразу снимали. Теперь начисто запретили. На годовые выставки уже десять лет не допускают. Меня никуда не допускают. Ты первая меня допустила.

Эн поморщилась и принялась потрошить его жизнь, установив, как она и предполагала, что продавать свои картины он не умел. Было несколько коллекционеров, которые ценили его, но больше кланчили, чем покупали. А иностранцы? Иностранцы приходят, они бы рады, так ведь жалко им продавать. Похоже, что они спекулировать будут. Он не скрывал, что побаивается с ними иметь дело, рано или поздно наступают неприятности. Для него продать за границу — все равно что бросить картину куда-то в бездну. Даже звук от падения не донесется.

В этой стране все боялись иностранцев, надо было терпеливо вразумлять того же Валеру, что за границей прекрасные ценители, знатоки живописи, что его картины, попадая туда, заживут новой жизнью то ли в частных галереях, то ли в богатых домах. Надо продавать и продавать. Со временем можно будет там собрать выставку его картин, появится каталог, возникнет имя. Даже если он не уверен в себе, следует попробовать.

— В себе я, может, и не уверен, — сказал Валерий Петрович. — А в работах своих — уверен!

Она сказала, что тоже уверена, что надо действовать, что он ленив, апатичен, что надо утверждать свое искусство; чего он боится?

— Боюсь влюбиться в тебя, — необычайно серьезно отвечал он, блестя смеющимися глазами.

Эн не давала ему отшутиться. Она допытывалась, выпрашивала, не стесняясь быть назойливой. В конце концов, никого не может обидеть интерес к нему, к его делам и нуждам. Тем более что Валерий Петрович отвык от такого внимания. Он свыкся со своей безвестностью, отчасти даже гордился тем, что числится чернорабочим в музее, что его как бы скрывают, держат на полулегальном положении. Собственно, он даже не испытывал ущемленности, ему не мешали работать, писал что хотел, общался с такими же запрещенными, да еще с прошлыми мастерами авангарда, которые лежали в запаснике, они помогали ему держать форму, жалованья ему хватало на краски и для брюха... Она высмеивала его скромность: может, это робость, боязнь выйти на свет бо-

жий? О нем почти не слыхали, у кого она ни спрашивала, все пожимали плечами, зачем он избрал себе такую участь, его работы могут произвести сенсацию.

С каким-то неожиданным упорством она старалась прошибить его благодушие. Один раз ей удалось его растревожить, он признался, что с юности мечтал побывать в Италии. Русские художники всегда посещали Италию. Бродить по музеям Флоренции, Рима, видно, уж не придется. Опечаленно он окинул взглядом низкий топкий берег вдаль, красные бакены на холодной воде, вытянул ноги, откинулся на полосатую спинку шезлонга.

— Смотри лучше, какой роскошный закат нам готовят, — сказал он, — а ты все про будущее. Давай жить тем, что имеем. Я имею закат и рисую его. Я имею тебя и все время рисую тебя. Я не знаю, есть ли ты в будущем.

Перед ней предстал человек, не понимающий своих возможностей, замкнутый в свою странную живопись, необычное видение окружающего. Закат был для него росписью на холсте неба. Вид озера с пустынными островами, бедными черными избами он видел как большое полотно, зарисованное аккуратным реалистом, ему же хотелось порвать эту унылую картину посередине, чтобы реальностью стала дыра и в ней обнаружилось другое существование...

От его фантазий казалось, что они действительно движутся в нарисованном мире, среди декораций. Объемный цветной фильм, который кто-то крутит для них.

— Тебе нужна жена, деловая женщина. Чтобы понимала твой талант. Она могла бы многое сделать. — Эн остановила на нем задумчивый взгляд. — Создать нормальные условия. Освободить от работы в музее.

— Мне там надоело, — пробормотал он.

— Продавать твои работы в Европе.

— Опять ты про них.

— Не про них, а про нее.

— Знаешь, как за это меня станут чествовать. Про одного из нашей группы писали: «Раз за границей восхваляют этого отщепенца, значит, хотят сделать его орудием борьбы с советским искусством».

Она закрыла глаза, спросила как бы дремотно:

— Ты бы мог переселиться туда?

— Вряд ли, — с запинкой произнес Валера, видно, он сам не ожидал от себя этой запинки; желая ее сгладить, добавил насмешничая: — Языков мы не знаем.

Эн кивнула, но не его ответу, однако ничего далее с ее стороны не последовало. Вместо этого она встала, напомнив, что пойдет переодеться к ужину.

После ужина они распили бутылку кахетинского и взяли еще одну с собою в каюту Эн.

— Ты знаешь, что в тебе особенного? — сказал Валера, поднимая стакан с вином. — Свежесть! Ты вся свежая, тебя только что сорвали с дерева.

На этот раз все было по-другому. Он принес краски, раздел ее, усадил на койку и что-то стал писать в альбоме. Ему нравился этот молочный свет, темно-красные деревянные панели каюты, ее загорелое тело, скрещенные ноги, нравилось, что она не стесняется своих чуть сникших грудей, где-то тронутых морщинками тела.

Он захлопнул альбом.

— Не получается. Ты не годишься в натурщицы. Невозможно рисовать женщину, которую любишь. Выходит просто красивое тело.

Ему хотелось передать свое чувство, которое он сам не мог определить. Когда он делал тот портрет, не зная ее, все было просто, он создавал женщину, как Господь Бог лепил Еву. Теперь он окончательно перестал видеть что-либо таинственное в появлении ее портрета.

В постели они оба становились безжалостными и грубыми. Поначалу она казалась ему хрупкой, он боялся ее раздавить, но очень быстро он уже забывал обо всем. Она билась под ним как рыба, удивляла своей силой, что-то вырывалось у нее по-английски. Однажды она заплакала. На его распросы она виновато и счастливо улыбалась мокрой улыбкой, которой от нее невозможно было ожидать.

Если человек — это тайна, то женская половина содержит в себе самую тайную тайну, которую мужчина разгадать до конца не в состоянии, потому

что нет общей женской тайны, а каждая женщина, красивая или некрасивая, молоденькая, или зрелая, или даже старая, все равно имеет свою тайну. что проявляется в совершенно непредусмотренных, непредсказуемых поступках.

В то же время действия мужчин для женщин часто ожидаемы, даже спровоцированы. Как говорил Джо, это легко проследить на брачных делах: из ста предложений, которые делает мужчина женщине, семьдесят были ею внушены, подсказаны, подготовлены тем или иным образом.

— А с какой стати иностранцы будут ко мне ходить? — вдруг спросил Валера.

— Кто-то им должен подсказать.

— Допустим, пришли. Говорить-то с ними мне как, через переводчика?

— Наверное, — лениво отвечала Эн.

— А переводчики все стукачи, — сказал Валера с торжеством.

Эн потягивалась, говорила неохотно.

— Я бы могла переводить.

— А в тебе можно быть уверенным?

— Нелепый вопрос.

— Почему?

— Рискни.

— Они, значит, придут, а где я тебя возьму?

— Да... сложно. — Она подумала. — Попробуем, для начала я их приведу к тебе.

Она осторожно предложила проверить, получится или нет, и как получится, и стоит ли этим заниматься. Она все брала на себя, ему надо только назначить цену, торговаться, не дешевить. Вышло так, что он просил помочь ему, а она согласилась, вздохнув над своей уступчивостью. Когда же он стал благодарить, она расцеловала его с новым чувством, прикрыла ему рот ладошкой, прижала голову к себе, как прижимала голову малыша. Хорошо, что он не видел ее лица в эту минуту. Теперь от нее зависело сделать ему имя, создать известность. Как знать, может, Кирюша не ошибся, может, он и впрямь гений. Она была уже не просто любовницей видного собой мужика, к которому должна тайком пробираться в мастерскую и заниматься любовью на холодном скользком клеенчатом диванчике. У нее появилась миссия, ее чувство наполнено отныне высоким смыслом, он дурачок, его надо опекать, иначе он упадет из-за своей наивности.

XXII

Лаборатория разрасталась. Захватили еще один этаж. Соседний флигель. Прибывали заказы. Начались работы над микрокалькулятором. Морякам нужен был специальный компьютер для подводных лодок. Расчетчики просили повысить надежность. Андреа не отказывался от военных заказов. Они давали деньги, обеспечивали аппаратурой, фирма должна быть заинтересована в заказчиках, к этому он привык. Кто-то из молодых принес в тот год впервые выражение «наша фирма веников не вяжет». Оно понравилось Андреа, он употреблял его к месту и не к месту, ему приятно было произносить слово «фирма», тем более что это была его фирма.

Несмотря на то, что штат увеличился до восьмисот человек, он по-прежнему старался устраивать экзамен каждому поступающему. В крайнем случае поручал это Джо, обычно же они терзали новичка вдвоем, приглашая на это зрелище еще руководителя группы.

Времени не хватало. Когда его приглашали на активы, на заседания в райком, обком, он посылал кого-либо из своих замов: «Вы уж извините, мне некогда». Когда настаивали, отвечал резче: «Там будет полезной информации не более десяти процентов. Мне передадут все без искажений». Окружение советовало ему бывать в обкоме и райкоме. В эти учреждения надо ходить и ходить. Зачем? А затем, зачем ходят в церковь, отвечал ему Зажогин, его заместитель по общим вопросам, человек с виду грубый, матерщинник, примитив, «бульжник с челочкой», как определил его Джо. На самом же деле тонкий политик, знаток номенклатурной психологии. «Чем чаще ходишь в райком, тем выше престиж организации. Ваш же вопрос, Андрей Георгиевич, некорректен, меня, например, спросили в том же райкоме, зачем я пью, я им сказал — затем, чтобы выпить, и они сочли мой ответ исчерпывающим».

Перед ноябрьскими праздниками позвонил по вертушке сам первый секретарь райкома товарищ Каюмов и попросил Андрея Георгиевича приехать к нему завтра в двенадцать часов.

В приемной Андрея продержали минут двадцать, затем пригласили в кабинет. Каюмов встретил его шумно, обрадованно, наконец-то к нам пожаловал гость дорогой, осмотрел его одобрительно, отметил подтянутость Картоса, свободно сидящий костюм в полоску, туфли на толстой подошве, чуть припущенный галстук — во всем этом у вас, заграничней, есть шик, а мы, как бы ни наряжались, все те же тюхи-матюхи.

Он играл рубаху-парня, работягу, заваленного делами, который не чужд обычных радостей, да времени не хватает. По-восточному смуглый, скуластый, с быстрым взглядом жуликоватых черных глаз, он нравился начальству своей динамичностью. А то, что играл простачка, так он этого не скрывал, игру его обычно принимали, и то, что Картос не принял ее, могло значить лишь, что ему, иностранному человеку, надо освоиться.

Каюмов усадил его в глубокое кожаное кресло, сам сел напротив на ручку такого же кресла. Заговорил, похлопывая себя по колену, крикая, — вот-де с каких неприятностей приходится начинать знакомство, а дело в том, что слишком большая засоренность кадров в лаборатории. Нехорошо, нельзя дальше так.

Картос непонимающе заморгал — какая засоренность, кем они, кадры, засорены?

— Должен понимать, — Каюмов подмигнул, — не темни, ты прост, а я еще проще.

— Засорены, по-моему, от слова «мусор». — Картос вынул из кармана словарик, на официальные визиты он всегда брал с собою словарик. Прочел: — «Мусор — сухие ненужные отбросы».

— Насчет сухих не знаю, — пошутил Каюмов. — Может, есть и мокрые, а ненужные — это точно.

— О ком вы говорите?

Картос упорствовал, требуя прямого текста, который в таких случаях Каюмов не любил употреблять, потому что прямой текст могли процитировать, могли на него сослаться, существовали общие формулы: засоренность, неправильный подбор, не та кадровая политика, — все понимали, что сие означает.

— Слишком много у тебя этих, с пятым пунктом, — сердясь, произнес Каюмов.

— То есть? — добивался Картос.

— Ну евреев, евреев.

— Я не подсчитывал.

— Вот и плохо. — Каюмов протянул Картосу приготовленную бумагу, подписанную начальником отдела кадров.

Картос посмотрел, слегка удивился.

— Действительно, я на это не обращал внимания. Мне такие сведения не нужны, они ничего не дают.

— Картина неприглядная.

— Я брал тех, кто делает машину быстро и хорошо.

— Что, русских толковых мужиков мало?

Картос добросовестно обдумал этот вопрос.

— Немало. Возможно, ко мне приходят те, которых увольняют. Есть много таких, толковых... Еще те, которые не могут устроиться в других местах.

— Получается, что ты подбираешь отбросы. Я правильно говорил — засоренность кадров.

Тщательно подбирая слова, Картос стал рассказывать про свою систему приема на работу, про экзамены, собеседования. Он волновался, видя, что никак не удастся Каюмова заинтересовать ни принципом отсева, ни микроклиматом в группах. Анкеты, которыми он пользуется перед личной беседой, содержат минимум сведений: возраст, образование, где работал.

— Потому ты и влип; они тебя оккупировали.

Каюмов дал Андрея выговориться. Это было в его правилах — чтобы каждый руководитель с чистой совестью мог рассказать, как, не шадя себя, он отставил своих сотрудников. Они, все, старались сохранить лицо, самоуваже-

ние, а он, секретарь райкома, брал на себя всю черную работу, они же сохраняли себя чистенькими.

Когда Картос кончил, Каюмову пришлось произнести ряд фраз о национальной политике, о том, что грузины создают свои кадры, русские — свои. Его забавляла напряженность, с какой этот маленький грек вслушивался в каждое слово.

— Мы с тобой, дорогой мой, живем в России, а не в Израиле и не в Америке.

Почему-то при этих словах Картос поднялся, вытянулся — маленький, безукоризненно официальный, как представитель другой державы.

— Позвольте заметить, что в капиталистической американской фирме никто не считает количество евреев, или греков, или русских на предприятии. Может, это является язвой капитализма?

Каюмов благодушно улыбнулся:

— Напрасно ты на себя берешь. К грекам я ничего не имею. Греки ведь православные. У нас американские порядки заводить не будем. Там капиталист ради прибыли кого хошь к себе возьмет. Это не наш курс.

— Там такой же порядок и в государственных учреждениях.

— У них всюду капитализм. Всюду главное — нажива. Америкой управляют сионисты.

Он соскочил с кресла, мягко нажал рукой на плечо Картоса, усаживая.

— Техника у них неплохая, но не будем перед ней преклоняться. Тебе как руководителю надо критически к американским порядкам относиться. Вот мне сообщили, что вы калькулятор делаете лучше американского. Значит, можете. Молодцы. Только подать себя не умеете. Ты зря не общаешься с нами. Как пишет Сент-Экзюпери, «самое дорогое — это человеческое общение».

— За что же их увольнять? — как бы размышляя, спросил Картос.

— Предоставь это кадровику. И в дальнейшем советуйся с ним.

— Не знаю... Не вижу причин. У нас сейчас задание ответственное.

— Чего ты за них заступаешься? — жестко сказал Каюмов, жесткость по ритуалу означала исчерпанность обсуждаемого вопроса. — У меня от них одни неприятности. Будируют инакомыслие, самиздат. Они и тебя подведут под монастырь.

— Что такое значит «под монастырь»?

— Ладно, не будем заниматься деталями. Я ведь могу не только уговаривать, могу и власть употребить.

Картос опять встал.

— Я попрошу вас дать мне предписание и указать точно число евреев.

— Тебе что, мало моих слов?

— Как у вас говорят: Москва словам не верит.

— Слезам не верит, — покровительственно поправил Каюмов. — Нашим словам поверит. И твоим. Есть установка. Наше с тобою дело — выполнять.

Картос задрал голову к потолку, его поза явно означала несогласие.

— Если мы сорвем сроки, я должен буду предъявить министру ваше указание.

— Думаешь, тебе это поможет? — Каюмов повеселел. — Снисхождения не жди. А вообще-то, Андрей Георгиевич, скажу тебе по секрету: министры приходят и уходят, а мы остаемся. То есть партия. Ты на них не надейся. Ты почему в обком не ходишь, а? К нам не заглядываешь? Рапорты свои шлешь в Москву. Все же в Ленинграде живешь. Как это все понять?

Картос неловко улыбнулся:

— Не привык я ходить без дела.

В кабинете как-то сразу посветлело. Каюмов похлопал его по плечу, доверительно сообщил, что идут анонимки, жалуются, что в лаборатории русским ходу не дают, на лучшие места подыскивают сионистов. Что делать с этими анонимками? Как на них реагировать?

— Не читать.

— Ишь какой пряткий.

— Я слышал, что Петр Великий велел подметные письма сжигать не читать.

— Писать станут наверх, обвинят нас, что мы тебя покрываем. Послушай, чего ты за них заступаешься? Ну, я понимаю, головастые среди них есть, удобные тебе, ну, оставь нескольких. Но зачем ты в принцип ударился, что,

они тебя охомутили? Они это умеют. Прибрали, значит, к рукам, подчинили себе.

— Меня подчинить? Это трудно.

— Вижу... Тем не менее. Не пойму я тебя.

— Я тоже, — сказал Картос. — За что вы их ненавидите?

Каюмов неожиданно покраснел, прошелся по кабинету, встал за стол.

— Много чести, чтобы я их ненавидел. Есть установка, и я понимаю ее. Идеологически от них одни неприятности. Мы пропустили твоего Брука в главные инженеры. Достаточно. Превращать лабораторию в кагал — не будет этого. Не стоит тебе защищать их. Пустое дело. Ничем хорошим не кончится. Передадим вопрос на ваш партком. Увидишь, как там тебя общипают. Репутация твоя пострадает. Сам виноват, с тобой по-доброму хотели.

— Я тоже хотел... — Картос выглядел несколько растерянно, он не ожидал такого резкого перехода.

— Ничего, тебе полезно будет. Ты думал, я с тобой торговаться стану? Здесь не спрашивают. Мы тебя научим уважать партийные органы.

Заседание парткома провели на следующий же день. Докладывал начальник отдела кадров. За ним выступил секретарь парткома, предлагая отметить неправильную кадровую политику, предложить руководству принять меры в такие-то сроки... Затем предоставили слово Картосу. Он изложил свой принцип отбора и приема на работу инженеров. Повторял то, что говорил Каюмову, но погасшим голосом, без обычной убедительности. Члены парткома вопросов не задавали, что-то чиркали — рисовали на разложенных листах бумаги.

— Кто имеет слово? — спрашивал секретарь парткома. — Тогда предлагается такой проект постановления...

Он достал бумагу, но инструктор райкома, грузная большая женщина, пробасила из угла:

— Надо, чтобы было мнение.

Секретарь парткома просительно обвел всех глазами.

— Может, вы, Михаил Андреевич, — обратился он к Захогину.

— Почему я? — обиженно сказал Захогин. — Да и чего говорить. — Он махнул рукой.

— Можно, я скажу? — вдруг подал голос Назаров, морщинистый, желтоватый, насквозь прокуренный плотник, всегда дремавший в конце стола.

— Давай-давай, Назарыч, — обрадовался секретарь.

Назаров начал, глядя на свои тяжелые руки, лежащие на столе:

— Помните, может, как мы оставили Крым, то есть Керчь, в сорок втором году. Немец прорвался в мае месяце и пошел крушить. Начали эвакуацию наши начальники. Ни пароходов не хватало, ни барж...

— Ты, Назарыч, ближе к делу, — перебил его секретарь. — Мемуары твои военные сейчас ни к чему.

— К чему. Конечно, если товарищи торопятся, тогда извиняюсь.

— Пусть доскажет, в кои веки человек слово взял.

— Ладно, продолжай.

Назаров покашлял в ладонь, положил руки на стол.

— Не знаю, что там фронт делал, нашу группу от каменоломен отрезали, прижали к берегу. Честно говоря, командование бросило нас, сели на последние катера и драпанули к Новороссийску. Остались солдаты с младшими офицерами. Стали мы искать, как бы переправиться нам на Тамань. От нашей роты двадцать пять человек уцелело. Решили строить плот. Один на всех. Бревен нет. Разобрали домишки дощатые, набрали жердей, связали кое-как. Поплыли. А как вышли в море, волна поднялась, плот не держит, тонет.

Секретарь парткома громко вздохнул. Назаров остановился.

— Вы уж потерпите, товарищ секретарь. Не толкайте меня в спину. Слушали мы ваши доклады не меньше часа... Такой каюк получается, тонет наша худобина. Видим, что перегрузка. Винтовки бросать боимся, да и не поможет. Командир наш, лейтенант Коняшкин — помню его имя-отчество: Борис Матвеевич, — могучий был, кулак что кувалда, доски для плота ломал с одного удара. Скомандовал он возвращаться на берег. Вернулись. Немцы совсем близ-

ко. Автоматчики трещат. Достраивать плот нет никаких возможностей. Что делать? Расклад такой: либо всем оставаться немцам на сдачу, либо хоть кто-то уплывет. Спрашивается — кто? Коняшкин предлагает жребий тянуть, кому на плот, кому оставаться. Пятнадцать человек выдержит плот, десять, значит, останутся. И тут Коняшкин сделал нам такое примечание: «Жребий тянуть будут только русские, украинцы, азербайджанцы». Евреи, говорит он, тянуть не будут: если оставим их на берегу, фашисты их немедленно уничтожат. Так он сказал, и никто ему перечить не стал. Я плот вытянул, а Коняшкин не вытянул и остался. Обняли мы их, попрощались. Между прочим, три наших еврея стояли в стороне как виноватые. Коняшкин подошел, расцеловал их, сказал им что-то, а что, я не слышал. Хочу я про это рассказать к моему голосованию. По мотивам, так сказать. Не знаю, может, у вас есть указание, только я не хочу нарушить указание нашего лейтенанта. Так что вы извините.

Наступило молчание.

— Может, еще кто-то хочет? — неуверенно предложил секретарь.

— Я думаю, что лучше нам не срамиться и идти вслед за рабочим классом, к тому же фронтовиком, — дипломатично сказал Зажогин.

На том и разошлись.

XXIII

Познакомиться с иностранцами оказалось не так-то просто. Туристы были всегда под присмотром. Не ловить же их на улице. Или в ресторане. После нескольких неудач Эн нашла единственное подходящее место — Эрмитаж. С первого же раза все произошло естественно и легко. Американская пара сразу признала в ней американку, схватились за нее, пригласили обедать, она отказалась, сказав, что занята, у нее свидание с местными художниками по поводу покупки картин. На их расспросы она призналась, что делает бизнес, и, кажется, удачный. Здесь, в городе, есть оригинальные и молодые, и зрелые художники. Сейчас, после хрущевских выступлений, их загнали в подполье, они бедствуют, и можно по дешевке приобретать отличные работы. Она ничего не предлагала, американцы сами стали напрашиваться. Это были муж и жена, оба врачи, участники какого-то московского симпозиума, они специально приехали в Ленинград ради Эрмитажа и пригородов. На следующий день она повела их к Валере, предупредив, что не считает себя специалистом, но местные художники чтят его как гения. Короче говоря, американцы купили у Валеры две работы, были в восторге и порекомендовали его друзьям. Раза два Эн приводила еще любителей из Эрмитажа, и этого оказалось достаточно. Американцы платили рублями, валюту Валера брать остерегался, больше двух-трех картин зараз не продавал, не хотел привлекать внимание. Иностранцев он принимал под вечер, часов с пяти, Эн как бы случайно оказывалась в это время в мастерской. Обычно в ее присутствии платили больше, она не набивала цену, она принимала как бы размышляющий вид, как бы сама прикидывала, не купить ли. Ей и в самом деле было жаль, когда благодаря ее стараниям конгрессмен из Канзаса купил «Ангела», название это Валера написал на задней стороне холста красной краской над своей подписью. Конгрессмен собирался повесить картину в своем офисе. Он пригласил Эн зайти к нему, когда она будет в Канзасе. Прощаясь, признался, что доволен, картина куплена, в сущности, за гроши, а она несомненно возбудит интерес. Все это он говорил, несколько не стесняясь присутствия художника, и даже похлопал его по плечу.

— О'кэй, Валэра?

— О'кэй, — повторил Валера, беспомощно улыбаясь.

Конгрессмен захохотал, подмигнул Эн.

— Вы знаете, мистер, это похоже на жульничество, — сказала Эн.

— Ерунда, — уверенно успокоил ее американец. — Это бизнес.

Когда она передала Валере их разговор и призналась, что они просчитались, возможно, они все время просчитываются, она виновата, не знает конъюнктуры, Валера отнесся к этому благодушно:

— Сколько стоит картина, никогда не известно. Из чего состоит ее цена? Только из удовольствия. Я иногда думаю: за что платят художнику? Допустим, музей купил картину, повесил. Мы купили билет, пришли, посмотрели. От картины убьло что-нибудь? Нет. Смотрят на нее или нет, она ничего не теря-

ет. Вечером, ночью музей закрыт, картина висит впустую, не работает. От этого цена ее не уменьшается. Что-то в этом непонятное. Скрипач, допустим, — ему платят за исполнение. Все ясно. Композитору — за то, что песню его поют в ресторане. Архитектору ты заказала дом, платишь за проект. Это все как бы товар. Картину же ты купила и сунула за шкаф, в запасник... Сколько стоит удовольствие? Тысячу? Или три тысячи? В Америке кто-то даст за нее десять. Мы никогда не узнаем, сколько на самом деле она стоит. Обычно художников сравнивают друг с дружкой. А если меня не с кем сравнивать? Если эксперты пишут, что художественной ценности не имеет?..

Его рассуждения были хороши здесь, в России; там, в Штатах, престиж художника определяется просто и точно — успехом его картин. Никакие другие критерии не действовали. В этом, если угодно, была известная демократичность, отсутствие всяких привилегий. Постепенно ей удалось втолковать это Валере.

Покупатели были главным образом американцы. Эн впервые видела их со стороны, они держались самоувереннее всех прочих иностранцев, они чувствовали себя хозяевами, они смотрели на русских свысока, им были смешны здешние автомобили, витрины, освещение. Эрмитаж они разглядывали как сундук с наследием какой-то разорившейся аристократки. После войны они чувствовали себя победителями больше, чем русские. Валера был для них один из туземцев, у которого можно было выгодно выменять драгоценность. Они не считали, что обманывают его, поскольку он сам не представлял стоимости своих изделий. Были два или три ценителя, которые восхитились талантом художника, остальные же просто радовались удачной покупке и благодарили Эн.

— Зря ты их ругаешь, — успокаивал ее Валера. — На их месте наши ничего подобного не купили бы.

К нему приехали корреспонденты из американского журнала «Art», пересняли несколько его работ, взяли интервью. Судя по всему, о нем начались какие-то разговоры в Штатах, его стали упоминать вместе с московскими опальными художниками и несколькими молодыми ленинградцами.

Эн искала теперь знатоков, настоящих коллекционеров, европейцев, ей нужны были люди, с чьим именем считались, профессионалы, которые делают каталоги.

Журнал «Art» оказался роскошным изданием. Там поместили две хороших репродукции и небольшую статью о Валере; заметка того же автора появилась в воскресном номере газеты «Нью-Йорк таймс».

Эн ликовала, это был ее успех, она сама не подозревала в себе такой энергии, находчивости, изворотливости, с какой ей удавалось играть свою роль. Валера упрекал ее за то, что она весь пыл тратит на дела, не оставляя на любовь. Он избегал спрашивать, как она отлучается из дому, что у нее происходит с мужем, он хотел сохранить ее как любовницу. На первый же гонорар он купил финский диван; синяя с золотом обивка, подушки, валики, упругие пружины, а то последнее время они устраивались на полу, кушетка совсем развалилась; еще купил себе и Эн по махровому халату, шикарный сервиз и фужеры — для гостей. Ходил он по-прежнему в своей драной кожаной куртке, Эн с этим смирилась, художник имеет право на причуды.

После ноябрьских праздников Валерия вызвал заместитель директора музея и предложил подать заявление об уходе по собственному желанию. Снизил голос, прижав кулачки к груди, уверял, что указано уволить, борись не борись, он лишь пробил формулировку, чтобы не портить трудовую книжку...

Валера признался Эн, что предвидел такой поворот, и заложил в дальний стеллаж хранилища три свои картины, чтобы остался в истории русской живописи некто Валерий Михалев.

— Мой бескорыстный дар приютившему меня музею, — заявил он. — Когда-нибудь объявят о счастливой находке, будут ликовать!

XXIV

— Вы находились у Валерия Михалева, когда к нему явились французские журналисты из газеты «Монд»?

— Находилась.

— Зачем?

- Я помогала ему как переводчица.
- Французы говорят по-русски.
- Да, но мы не знали об этом.
- Мы!.. Вы давно знакомы с Михалевым?
- Несколько месяцев.
- Вы бываете у него?
- Да.
- Зачем?
- Он приглашает меня как переводчика.
- Вы давали подписку, что не будете знакомиться с иностранцами.
- Я не считала, что это было знакомство.
- Вы как-то называли себя?
- Иногда только по имени.
- Они вас о чем-то спрашивали?
- Мы говорили о живописи.
- Откуда они узнали адрес Михалева?
- Думаю, что это передавалось по цепочке.
- А кто же вначале их вывел на него?
- Вначале я.
- Каким образом?

Они выслушали ее рассказ почти безучастно, словно им читали позавчерашнюю газету.

- Зачем вы это сделали?
- Его выгнали с работы, оставили без средств.
- Как бы там ни было, получается, что вы его толкнули на связь с иностранцами.
- Я?.. Или вы?.. Я думаю, что ему не оставили выхода. Никому из них не оставили.

- Каковы ваши отношения с ним?
- Хорошие.

Они оба улыбнулись.

- Вы состоите в интимной близости?
- Вопрос не произвел никакого впечатления на Эн.
- Вас что интересует: сколько, где и каким образом?

- Молчавший до сих пор Петр Петрович сделал успокаивающий жест рукой.
- Можете не отвечать. — И кивнул молодому.
- Что говорил Михалев иностранцам о преследовании художников?
- При мне говорили только о продаже его картин.
- А без вас?.. Вам известны его взгляды... Мог ли он еще где-то, без вас,

встретаться с иностранцами?

Эн отстраняла его вопросы плечом, бровями, слабым движением губ. В движениях ее сквозила брезгливость, которая более всего раздражала Николая Николаевича. Всей своей внешностью, манерами он старался показать, что он не из тех следователей, — молод, интеллигентен, модно одет, разговаривая с женщиной, умеет смотреть ей в глаза мужским взглядом, устанавливая особый чувственный контакт: а все же ты баба, интересная баба, и для меня это главное. Он действительно любовался Эн, и то высокомерное безразличие, которое он читал в ее глазах, мешало ему выдерживать галантно-ироничный тон.

- Я бы не советовал вам так вести себя. Вы не хотите нам помочь.
- Почему я должна вам помогать?
- Это в ваших интересах.
- Не понимаю.

— Вы нарушили обязательства. Вас можно привлечь к ответственности за связь с иностранцами.

- Пожалуйста.
- Вы подумали о вашем муже?

Эн посмотрела на Петра Петровича.

— Это похоже на шантаж.

Петр Петрович вздохнул, нажал кнопку.

— Давайте заьем это дело. Надюша, — сказал он возникшей в дверях горничной, — принеси-ка нам... Вам чего, Анна Юрьевна, чайку или кофе? Кофе? Ну и нам кофейку.

Он вел себя благодушно, примирительно, как старший среди задиристой молодежи.

Чашечка была темно-синего фарфора, с золотом, того же рисунка вазочка с печеньем и конфетами.

Николай Николаевич надкусил трюфель, запил глотком кофе, сказал:

— Мало ли чего Михалев наговорит иностранцам, будут неприятности, и вы окажетесь в виноватых...

— Что вам надо, я не пойму, — сказала Эн. — Неужели вас всерьез беспокоит, что скажет Михалев иностранцам? Скажет, что не нравится кампания против абстракционистов. Многим художникам не нравится. Вам что, это неизвестно? Обругает начальство. Военных секретов он не знает.

Николай Николаевич допил кофе, облизнул губы.

— Прекрасно. Вы, оказывается, хорошо знаете, чем нам надо заниматься, а чем не надо. Годитесь в сотрудники. Вполне. Чего ж вы отказывались?

Довольный неожиданным поворотом он собирался поиграть и дальше, но Петр Петрович постучал ложечкой.

— А что, Анна Юрьевна трезво рассудила. Раз вы ничего плохого за Михалевым не усматриваете, мы вам верим. Считайте, ваша информация сработала. Пусть торгует своими картинками. Нас что беспокоит — не попытаются ли иностранцы через него выйти на вашего мужа.

— Известно ли Михалеву что-либо о характере работы вашего мужа? — спросил Николай Николаевич.

— Нет.

— Задавал ли он какие-нибудь вопросы?

— Нет.

— Что он знает о вас? О вашей семье?

— Ничего.

— И вы ему ничего не рассказывали?

— Ничего.

— Ваше знакомство, — он подчеркнул это слово смешком, — длится несколько месяцев.

Эн молчала.

— Работа Андрея Георгиевича получает все большее значение, — мягко сказал Петр Петрович. — Мы знаем, что ваши земляки ищут ходы и выходы, как бы им вынюхать, что он делает. Да и кто он такой, этот Картос. Любую трещинку, дырочку они готовы использовать. Михалев может стать для них такой щелкой. Согласитесь. Так что не удивляйтесь нашим расспросам.

Эн сидела, закинув ногу на ногу, ни разу во все время разговора им не удалось ее смутить, иногда она отворачивалась к окну, откровенно скучая. Пригубив кофе, она отодвинула чашечку.

— Не нравится? — тотчас спросил Петр Петрович.

— Не нравится, — сказала Эн.

— Сварить кофе — это искусство, — согласился Петр Петрович. — У нас в городе нигде не умеют. Ни в одном ресторане. Бурда. Я вам могу признать, Анна Юрьевна, мы еще не знаем, какую ловушку ЦРУ готовит Андрею Георгиевичу. С какой стороны ждать беды. Мечемся. На работе подстраховали крепко. А вот дома Андрея Георгиевича обеспечить труднее.

Он выжидательно замолчал. Эн тоже молчала. Некоторое время они перетягивали это молчание — кто кого. Петр Петрович закурил, тут же спохватился, спросил:

— Не возражаете?

— Не возражаю.

— Помогите нам, Анна Юрьевна, нелегко мне с такой просьбой обращаться, потому что это в какой-то мере признать нашу беспомощность. Но без вас не выйдет.

— Что именно?

— А все. Допустим, гости. Кто, чего, о чем. Если вам, конечно, что-то покажется. Или кто-то позвонил. Любая мелочь тут может сыграть. Собрались вы куда-нибудь. Допустим, на теплоходе, Валаам посетить. Мало ли что там может быть.

Эн пристально взглянула на него, в ответ Петр Петрович виновато пожегил.

— Они на все способны. Похитить. Спровоцировать. Не выйдет, так убьют.

— Что же — я должна следить за своим мужем?

— Анна Юрьевна, я исхожу из того, что вы любите своего мужа. — Петр Петрович посмотрел на нее из-под нависших толстых бровей. — Или это дело прошлое?.. Вы его по-настоящему любили, поэтому я считал, что вы наша союзница, готовы на все.

— И чтобы он не знал?

— Зачем ему создавать напряжение? — вступил в разговор Николай Николаевич. — Вы же не все ему рассказываете. Есть вещи, которые он не знает.

Эн даже не повернулась в его сторону.

— Вы полагали, что я соглашусь на такое предложение?

— Как сказал Петр Петрович, если человек любит...

— Вы что же, не надеетесь на Андрея Георгиевича?

— С чего вы взяли? Он надежен. Но ведь всякое может быть. Вечеринка, свадьба, допустим. Напоили его, и он проболтался.

— Он не пьет.

— Как так не пьет?

— Представьте себе.

— Совсем не пьет?

— Он никогда не напивается. Как же вы это не знаете? Чем же тогда тут занимаетесь?

Взгляд Николая Николаевича стал тяжелым, запоминающим.

— С нами так не разговаривают.

Петр Петрович придавил сигарету в пепельнице.

— Посоветуйте, Анна Юрьевна, как нам быть. Мы хотели сделать по-хорошему. Не заставляйте нас вербовать вашу домработницу, соседей.

— Я сказала вам.

— Нам не хотелось бы принуждать вас, — сказал Николай Николаевич.

Эн молчала.

— Мы держим в тайне ваши похождения на стороне — вы идете нам навстречу. Согласны?

Молчание.

— Иначе станет известно, что было на теплоходе... Что было в мастерской.

Эн взяла чашку, не торопясь вылила кофе на ковер, повертела чашку в руке, вдруг размахнулась, запустила ее в стену так, что чашка разлетелась вдребезги.

Николай Николаевич вскочил, выругался, но Петр Петрович коротким жестом остановил его.

— Ничего страшного. Дмитрий Иванович Менделеев советовал: бейте посуду! Тем более это казенная. — Он с удовольствием хохотнул. — Разрядились? Итак, я вас спрашивал, можете ли вы что-то нам посоветовать. Мы вышли на вас потому, что ничего другого не имеем. Поверьте, нам неприятно копаться в ваших похождениях. А как иначе вас заставить?

Петр Петрович откинулся в кресле, стал разминать пальцами новую сигарету. И сразу заговорил Николай Николаевич, они сыгранно перекидывали разговор друг другу.

— Вообразите, что все раскроется. Жена такого человека — любовница какого-то бездарного мазила, осужденного общественностью. Ведь не постесняются называть вас... знаете, как у нас в народе...

Ее взгляд обратился к Николаю Николаевичу, который хотел сказать, что она обыкновенная шлюха, потаскуха, несмотря на все ее испанские и прочие языки, херувимское личико, породистые ноги, надменность. Все равно курва, курва, какую бы прекрасную незнакомку из себя ни строила. Любой бабе Николай Николаевич выложил бы не раздумывая, а тут не мог перескочить.

— Если разразится скандал, Михалев отшатнется от вас. Он ведь трус. Напугается так, что вас и на порог не пустит, — сочувственно говорил Петр Петрович. Что-то располагающее было в его рыхлой, мягкой фигуре, в прокурен-

но-желтых больших руках. — У вас тут ни родных, ни друзей. Вы совсем одна-одинешенька. Порвется с Андреем Георгиевичем. Что вам делать? Вы все ж подумайте. Не решайте с ходу.

Эн открыла сумочку, посмотрела в зеркальце, погладила пальцами под глазами.

— Что будет со мной, это у вас рассчитано. А что будет с Андреем Георгиевичем, вам известно?

— Знаете, как писал наш поэт Есенин, — сказал Николай Николаевич, — «да, мне нравилась девушка в белом, но теперь я люблю в голубом». Женщина приходит на смену женщине, и все быстро зарастает.

— Вы не рассматривали такие варианты: он повесится, утонет, убьет меня, покончит с собою и со мной...

— Ой, не надо, не пугайте нас! — воскликнул Николай Николаевич с преувеличенным ужасом. — Страшно слушать.

— Вы плохо его знаете. Вы не изучили как следует свой объект. Он самолюбив. Болезненно самолюбив. Он может выкинуть бог знает что, любой поступок. Когда он сломается... Вы его сломаете этим...

— Лучше о себе подумайте, — перебил ее Николай Николаевич.

Она не взглянула в его сторону, она обращалась исключительно к Петру Петровичу:

— Ему не до работы будет, он ее вообще может забросить. Такое с ним уже было.

— Когда, где? — заинтересовался Петр Петрович.

— В Штатах. Его довело ФБР.

— Вы что же, нас с ними равняете? — возмутился Николай Николаевич. — Ничего себе!

— Он впал в прострацию, было страшно, вы бы видели...

Воспоминания вырвались из той запретной тьмы: его рыдания, его голова, прижатая к ее коленям, вздрагивающие плечи. Петр Петрович заметил, как отчаянно задержалась жилка в углу ее глаза, он внимательно наблюдал за тем, что происходило на ее лице, как перехватило у нее дыхание, еще немного — и она сдастся. Он перегнулся через стол к ней.

— А теперь ваше упрямство его погубит. Не нас вините, вы будете виноваты. Вы, только вы, от вас все зависит сейчас... — тоном гипнотизера внушал он ей ровным тихим голосом. — Анонимки, телефонные звонки, подозрения... Зачем? Из-за глупых ваших предрассудков. Ради чего вы губите и себя и его?

Сочувствие его звучало искренне. Она должна была согласиться. У нее не было выхода, ей некуда было податься, повсюду ее ждали бесспорные доводы. За много лет здесь все было отработано. Каких только отговорок не придумывали сотни мужчин и женщин, которые тоже пытались увернуться. Давно были известны предельные возможности их сопротивления.

— Поймите, Анна Юрьевна, глупо ссориться с машиной. Я могу что-то смягчить, но не более. Наше учреждение — машина, неумолимая, как рок, бездушная часть системы. Вам еще повезло, у вас есть моральное оправдание. Никто не смеет вас упрекнуть в доноситечестве. Вы охраняете мужа. Вы исполняете долг. Так выполняйте его и наслаждайтесь жизнью. Вам никто не будет мешать. Информировать нас, предупреждать, ничего другого от вас не надо. Устно информируйте.

Ей предлагали выбор. Между покоем и страхом, между счастьем и крушением, все было очевидно, слишком очевидно. Беда ее была в том, что она не умела взвешивать и рассчитывать. Решения приходили к ней безотчетно, откуда-то из глубины души.

Она вдруг попросила водки. Неожиданно для себя самой, но мужчины обрадовались, появилась запотевшая бутылка из холодильника, стопочки, плавленые сырки. Эн выпила не чокаясь, поспешно, не стала закусьвать, передернулась и тут же выпрямилась, глаза ее заблестели, она заговорила властно, громко:

— Ваши коллеги потратили много сил, чтобы вытащить нас, переправить сюда. Это было трудно. Они помогли найти нужное место, помогли наладить работу. Это тоже было трудно. Теперь, когда дело пошло, вы хотите все испортить. Защищаете нас от провокации? Ничего подобного. Я заявляю вам:

ваши действия будут хуже любой провокации. Я обращусь к вашим московским коллегам. Работать на вас, то есть работать вместо вас, быть вашим агентом, находиться у вас в руках, да? Вот чего вы хотите. А сами? Нет уж, вам поручено, вы и работайте!

Эн вскочила, легкая, гибкая, все в ней напряглось, она ошестинилась, словно разъяренная кошка, готовая на все, чтобы защитить Андреа.

Здесьнюю машину, о которой говорил Петр Петрович, она сталкивала с такой же бездушной, еще более мощной московской машиной. Нет ничего болезненней и опасней внутриведомственного скандала. Она не могла знать об этом, ею двигал только инстинкт. Каким-то образом она отбросила все то, что удалось внушить ей. Петр Петрович не понимал, что произошло, где, в чем они просчитались. По всем правилам они загоняли ее в загон слаженно, аккуратно, и вдруг, когда дверца должна была захлопнуться, она очутилась на свободе.

— Ничего другого я вам не скажу, и пожалуйста, больше меня не вызывайте, я не приду.

В ней было что-то незнакомое — материал, который Петру Петровичу еще не попадался. Она обрела неожиданную уверенность и просто предупреждала их. Не мудрено, что это возмутило Николая Николаевича. Как это не придет, на то есть законы для советских граждан, силком приведут.

— Между прочим, я не советская гражданка, — сообщила Эн.

— А чья же вы подданная? — осведомился Николай Николаевич как можно язвительней.

— Я не подданная, я американская гражданка.

— Были.

— И остаюсь. Тот, кто родился в Штатах, остается американским гражданином пожизненно. Имейте в виду, — впервые она удостоила Николая Николаевича взглядом, посмотрев на него как на назойливую муху, — если я обращусь в американское консульство, то это будет из-за вас.

Петр Петрович принужденно засмеялся.

— Господь с вами, Анна Юрьевна, только этого нам не хватало. Американцы вас добром не встретят. Знаете, пролитого не соберешь.

Он провожал ее по лестнице вниз, придерживая под локоть, говоря доверительно:

— Мы, конечно, привыкли, что нас боятся. Это у нас от сталинских времен. Не учли мы, что в вас еще многое осталось от другой вашей жизни. А вот нашего страха у вас не накопилось. Но, как говорят, еще не вечер, слава богу, этим не кончатся наши отношения.

— Ваша ошибка в другом была, — сказала Эн.

— В чем же, Анна Юрьевна?

— Вы не разбираетесь в женщинах.

Она шла не разбирая дороги. Ее колотило. Ей хотелось прислониться, прижаться к стене, озноб бил ее. Увидев прицерковный садик, она зашла, опустила на скамейку, вцепилась руками в сырые перекладыны. Тупо уставилась на старинную ограду. Стволы чугунных пушек, связанных длинными цепями. Она никак не могла успокоиться. Прохожие оглядывались на нее. Тогда она поднялась на паперть, вошла в сумерки собора. Здесь было тихо, безлюдно. Горели тонкие свечи. Мерцали оклады икон. Желтые язычки пламени слабо высвечивали лики незнакомых русских святых. Присесть было негде. Ноги подгибались, она обессиленно опустилась на колени. Холод каменных плит успокаивал. Слезы катились, обжигая глаза, и вдруг хлынули сплошным потоком. Она прижалась лбом к камню, рыдания сотрясали ее, больше она не сдерживала себя. Вместе со слезами уходила боль и то душное, что не давало дышать. Слезы лились и лились, внутри все омывалось, слезы согревали ее, дрожь утихала. Она плакала горько и сладостно.

Большие строгие глаза, вопрошая, смотрели на нее со всех икон. Беззвучно она молилась им всем сразу, умоляя дать силы, ибо силы ее кончились, она не понимала, как она могла выдержать это испытание, потому что на самом деле она боялась их, все время боялась, безумно боялась. Больше всего боялась, что они увидят, почувствуют, как она их боится. Самое страшное было

вперед, неизвестно, что они еще придумают, удастся ли ей в следующий раз устоять. Ей не с кем было посоветоваться, некого просить о помощи. Все вокруг оказалось чужое, она была одна среди чужих. «Господи, дай мне силы, — просила она, — не позволь мне пасть, ты мне помог сегодня, помоги еще. Я виновата, но не оставь меня...»

Назавтра она все же позвонила Валере, позвонила из уличного автомата, сказала, что надо встретиться немедленно, лучше всего там, где они встретились в первый раз, только не внутри, а у входа. Он никак не мог взять в толк, где именно, потом догадался: «У Русского музея?» Она вынуждена была сказать: «Да, у Русского».

Моросило, дул холодный ветер, они долго ходили по Михайловскому саду.

— И про теплоход им известно? — переспрашивал он. — Какая гадость! Все испорчено. Я придумал одну вещь написать, теперь не смогу. Что за жизнь! Я так и знал. Я тебе говорил, что нельзя с иностранцами связываться.

Он слишком часто повторял это.

— Значит, они следили за мной!

— Наверное, нам не нужно больше видаться.

— Да, конечно, — сразу согласился он.

Потом он сказал:

— Я ведь никогда не спрашивал про твоего мужа. Знать ничего не знаю...
Что же они могут мне предъявить?

Потом он сказал:

— Надо было им сообщить, что я не знаю иностранных языков.

Потом стал допытываться, как они относятся к его картинам...

Эн и не предполагала, что прощание получится таким простым и легким. Они походили еще немного под холодной моросью. Он первый сказал:

— Ну ладно, бывай. — И задержал ее руку. — Теперь мне будет плохо — без тебя.

Она смотрела ему вслед, пока его черная высокая фигура не затерялась среди мокрых черных деревьев.

(Окончание следует)



**Поздравляем Беллу Ахмадулину
с присуждением ей Пушкинской премии,
учрежденной Фондом Альфреда Тёпфера
(Германия).**

СТИХИ: ПОЭЗИЯ И ПРОЗА



ЛЕОНИД ГРИГОРЬЯН

ЦЕЗАРИ В ГАБАРДИНЕ



Надо менять свой герб. Впрочем, дело не в гербе.
Надо менять одежду и другой реквизит.
Жизнь уже на ущербе — чеховское «их штербе»
В мире твоём давно сквозь полумрак сквозит.

Надо менять позывные, лозунги и пароли,
Камни, что разметал, пристально собирать.
Надо смириться с тем, что излюбленной роли
До окончания пьесы все же не доиграть.

Пахнет сосной, стеарином и почему-то корицей.
Надо стирать рубаху и подметать жильё.
Надо взглянуть окрест и, погрузив, смириться
С тем, что твоё родное — более не твоё.

Стал отдаленней друг и безразличней вражина,
Стало уже не нужно мыкаться и спешить.
Кровь твоя запеклась на пружинах режима,
Но ни тебе, ни ему друг без друга не жить.

Слишком долго глядел ты в глухую кромешность,
Слишком долго шептал: Господи, не приведи!
Время сменило пульс. Суть проросла сквозь внешность.
Надо смирить гордыню. Надо достойно уйти.

Можно локти кусать, можно в стельку напиться,
Но на излете дня кончился разнобой.
Кто бы подумать мог: убитые и убийцы
В темень единым строем уходят вместе с тобой.

Двое

Он вяло смирился с иным обиходом
В палате, где пахнет карболкой и йодом,
Где градусник к ночи разносит сестра,
А ветка в окне убеждает: пора...

Вчерашний фрондер, рифмоплет и любовник,
Зевая, журнал под подушку сует.
Вчерашний гебист, отслуживший полковник,
Глядит на него и с трудом узнает.

И сам он не тот в этом рыжем халате —
 Потухли зрачки, под глазами мешки.
 В палате с противником! Вот уж некстати.
 Заброшен. Не нужен. Почти двойники.

Могутное тулово сделалось рыхло.
 Он немощен тоже и тоже притих.
 И гончая прыть понемногу затихла,
 И градусник выдан один на двоих.

Обоим неловко и малость противно,
 И оба лежат, отвернувшись к стене.
 И слушают молча, как жутко и дивно
 Скрипит оголенная ветка в окне.

Не овцы уже и тем паче не волки,
 Как это бывало в недавние дни.
 И запах побелки, мочи и карболки
 С брезгливостью равной вдыхают они.

Сестрица на них равнодушно косится —
 Небритые лица, в прорехах белье...
 А ветка свое: разумеете, языцы!
 Так нет, не желают. А ветка — свое.

* *
 *

С. Ч.

Все это было в ином обличье,
 Если окрест поглядеть бесстрастно.
 Просто векам придает величье
 Время, помноженное на пространство.
 Плебс простодушной амёб и актиний,
 Вялые речи без сути и соли.
 Цезари в фетре и габардине
 На мавзолее глаза мозолят.
 Тронутые вырождением лица,
 Квелье флаги, щиты из фанеры,
 Немочь сатрапов, восстанье провинций,
 Оголодавшие легионеры.
 Всюду торги средь утруски-усушки,
 Пик говоренья-бумагомаранья,
 Алчные бестии рвутся к кормушке,
 Пятна распада, следы вымиранья.
 Только и стоит презрительной грусти
 То, что помойкой разит порою,
 То, что Светоный или Саллюстий
 Повеличавей Медведева Роя,
 То, что бессовестный Катилина
 Поимпозантнее, чем Янаев,
 То, что летит разлюли-малина
 В дымную пропасть, того не зная.
 Все остальное — та же натура,
 Хоть и по видимости иная.
 Та же дряхлеющая диктатура,
 Лишь повизгливей ее отходная.

ВЛАДИМИР ФАЙНБЕРГ

ПЕРЕД ЭТИМ МИГОМ

Чайхана ноябрьским утром

Слышен разговор, а тишина.
Горлица воркует — тишина.
Над жаровней тихо дым восходит.
Чайхана, как утро, неслышна.
Всходит солнце. И стоит луна.
Лист кружит в беззвучном хороводе.

Чай зеленый стынет в пиале.
Стынет снег в ложбине на горе.
Остывает год перед зимою.
Мало мест я знаю на земле,
где я так наедине с собою.

Эта остановка на пути —
миг короткий дух перевести:
многолетнее я кончил дело.
Все, что позади и впереди,
перед этим мигом онемело.

В стылой синеве парит орел.
Терпкий чай мне крепко скулы свел.
Голоса людей и птиц слышнее...
Лист чинары падает на стол.
Миг еще я посижу под нею.

* *
*

Хотелось счастья хоть немножко,
устал от горя.
Лежала лунная дорожка,
как будто молнии застежка,
в полночном море.

Отца похоронил я, маму.
Жил без просвета.
...Вела дорожка прямо-прямо
к финалу заурядной драмы —
нырнул, и нету.

Один я плыл луне навстречу.
Так было странно.
Во мне вдруг отзвучали речи.
Себя жалеть мне стало нечем.
Закрылись раны.

Ни горя не было, ни счастья.
 Вдруг стало цело
 все, что расколото на части.
 И сам не зная, в чьей я власти,
 плыл без предела.

Ночью

Удивлен Владимир Львович —
 электричество зажглось.
 Он задул свечу в шандале —
 проживем еще авось!
 Отрывает ветер ставни,
 дождь полночный лупит так,
 что порой не слышно грома,
 только молнии зигзаг.
 А порою так шарахнет
 Зевса трехэтажный мат —
 рюмки чокаются в кухне,
 стены дома дребезжат.
 ...Под настольным светом ярким,
 что давно я не видал,
 жизнь моя стоит огарком,
 вставленным в чужой шандал.

ЛЕОНАРД ЛАВЛИНСКИЙ

РАЗГАДКА СНОВ

* *
 *

Кристалльная пора осенних дней
 Горчила медом тополиной прели.
 Сквозь деревья синело все родней,
 Меня своим дыханьем листья грели,
 Дом, улица и солнышко над ней.
 Звенела школа, рассыпая трели.

Наверно, там начало всех начал,
 Разгадка снов, исток добра и худа.
 Я раньше в суете не замечал:
 Вселенная расширилась оттуда.
 Конец дороги. Близок мой причал.
 Трясет листву осенняя простуда.

Замкнулся круг. Трясет мою листву.
 И солнце, захворав, куда-то скрылось.
 И не могу пробиться в синеву:
 Связала дух телесная бескрылость.
 Но под российским небом доживу
 И не зарюю жизни в тлен и сырость.

* *
*

Почти дворцы — огромные дома
В наглядном стиле грамотного века.
Как будто настрогал отец-Дюма
И на продажу выставил тома.
Но камень груб, темна библиотека.

Мой персонаж — не герцог Ришелье
И не миледи в кружевном белье.
Те — с первых слов понятно, что злодеи.
А мой бурлит, услышав о жулье:
Поборник чести, мученик идеи.

На высоте, где бродят облака,
Отлеживает за полночь бока,
Барахтается в омуте бессонниц.
И лгут его кумиры с потолка,
Цепями строк опутывая совесть.

На сердце давит непосильный груз.
Стеснилась твердокаменная кладка
И пленника замуровала гладко.
Кого ты предал, вышколенный трус,
Большой хапуга среднего достатка?

Ты думаешь: «Охранники внизу
Бездарно спят по замкнутым отсекам.
С утра к балкону шефа приползу,
Размажу покаянную слезу,
Стерплю грозу и встану человеком».

Такая прыть бумажного ума
Не снилась простодушному Дюма.
Но истинный кошмар — твое жилище.
Огромный дом — безлюдная тюрьма.
На воровской малине воздух чище.



МОДЕСТ КОЛЕРОВ

*

САМОАНАЛИЗ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ КАК ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

Наследство и наследники «Вех»

Публикуемая ниже полемическая статья историка Модеста Колерова приурочена к восьмидесятилетию выхода знаменитого сборника «Вехи» (1909) и двадцатилетию к моменту первого издания сборника «Из-под глыб» («ИМКА-пресс», 1974).

Обозревая историю становления и развития русской либеральной социальной и религиозной мысли нынешнего столетия, автор рассматривает взгляды и воззрения как предшественников веховцев, так и их последователей. В этом контексте говорит он и о размытых, межеумочных социальных позициях нынешней российской «демократической» интеллигенции. Таким образом, настоящий материал продолжает дискуссию о роли интеллигенции в исторических судьбах России, ведущуюся на страницах «Нового мира» на протяжении двух последних лет (см.: Д. Лихачев, «О русской интеллигенции»; Д. Штурман, «Остановимо ли Красное Колесо?» — 1993, № 2; Ю. Шрейдер, «Между молохом и мамонной» — 1993, № 5; А. Кува, «Intelligentsia в час испытаний» — 1993, № 8; А. Быстрицкий, «Приближение к миру» — 1994, № 3; Д. Штурман, «В поисках универсального со-знания» — 1994, № 4; Ю. Каграманов, «На стыке времен» — 1994, № 5; Д. Шушарин, «Возращение в контекст» — 1994, № 7).

«Внешняя» — политическая и экономическая — свобода никогда не стояла в центре русской политической философии. Сама «свобода» была редким гостем в ряду философских категорий. А появляясь — чаще мыслилась отрицательно, не как «свобода для», но как «свобода от». Тем легче было Н. А. Бердяеву утверждать божественную первичность свободы, что никто так и не мог объяснить: в чем же механизм, каковы жизненные основания той попутной политической и экономической свободы общества от государства, которая созревает в тени свободы социальной? Социальная справедливость — вот то максимальное приближение к социальной практике, что позволяла себе русская политическая мысль, та сверхзадача, что заставляла ее формулировать требования правового государства и заводить разговор о либеральных ценностях. Многолетние исследовательские усилия польско-американского специалиста по истории российской философии Анджея Валицкого доказать существование полноценной либеральной традиции русской мысли лишь обнаружили ее чрезвычайную разнородность. Во всяком случае, либеральный охранитель Б. Н. Чичерин, социал-либерал П. И. Новгородцев, умеренный социалист Б. А. Кистяковский и социалист более решительный С. И. Гессен мало беспокоились о выяснении того, как именно сохранить политическую свободу, когда она станет не исключением, а правилом русской жизни. Не менее знаменитые исследования В. В. Леонтовича по истории русского либерализма прекрасно иллюстрировали давнее подозрение критиков о том, что оный либерализм был либо мнением *ad hoc*, философией «по случаю», либо безответственными прожектами. Те же мыслители, кои, по образцу Б. Н. Чичерина и Л. А. Тихомирова 90-х годов, серьезно задумывались о творческом рав-

новесии свободы и власти (показательное различие!), совершенно явственно держали равнение направо, питая надежды наследников на качественный русский либеральный консерватизм.

Археологически отчищая классическую мысль от полемических и актуальных наслоений, именно проблему свободы и власти вывел из политической философии Б. Н. Чичерина другой либерал — П. Б. Струве. В середине нынешнего века П. Б. Струве числил себя уже либеральным консерватором и немало сил отдал пропаганде этого синтеза. Там, в эмиграции, где писал он апологию Чичерина, и сложилось «окончательное», с годами все более общее мнение, что вершиной русской политической философии было веховское, синтетическое направление, ведущее свое начало от Чичерина — к сборникам «Вехи» и «Из глубины» и их главным авторам Н. А. Бердяеву, С. Н. Булгакову, П. Б. Струве и С. Л. Франку, отчасти Б. А. Кистяковскому и П. И. Новгородцеву, к политической публицистике Е. Н. Трубецкого в его «Московском еженедельнике».

В дидактическом изложении, своей целью имеющем «каталогизацию» направления, веховству довольно быстро определили итоговое положение в затянувшемся русском споре консерваторов вообще со всеми мало-мальскими либералами. «Люди или учреждения» — так на протяжении ста лет до сборника «Вехи» (1909) звучала дилемма, в решении которой первым отдавали предпочтение консерваторы, вторым — «либералы». В предисловии к сборнику «Вехи», написанном М. О. Гершензоном и одобренном участниками, дилемма получала на первый взгляд однозначное решение: «...общей платформой является признание теоретического и практического первенства духовной жизни над внешними формами бытия в том смысле, что внутренняя жизнь личности есть единственная творческая сила человеческого бытия и что она, а не самодовлеющие начала политического порядка, является единственно прочным базисом для всякого общественного строительства. С этой точки зрения идеология русской интеллигенции, всецело покоящаяся на противоположном принципе — на признании безусловного примата общественных форм, — представляется участникам книги внутренне ошибочной, т. е. противоречащей естеству человеческого духа, и практически бесплодной, т. е. неспособной привести к той цели, которую ставила себе сама интеллигенция, — к освобождению народа»¹. Но один из авторов, А. С. Изгоев, вполне обоснованно усомнился в такой определенности. Накануне выхода сборника в свет он писал по поводу «общей платформы» М. О. Гершензону: «Вы возбудите только бесплодный спор на тему, что было раньше: яйцо или курица? Боюсь, что вместо обсуждения сборника по существу наши противники всю свою артиллерию направят на вопрос: учреждения или личности? — и ничего кроме старого шаблонного спора Вы не получите... Я тоже полагаю, что для интеллигенции вопросы внутренней духовной жизни имеют первенствующее значение, но обосновываю это совсем иначе»².

Нарушенная в предисловии к «Вехам» и почти не замеченная их авторами деликатность состояла не в одном лишь соблюдении «равновесия» личности и учреждений, того равновесия, что и содержало в себе весь смысл либерально-консервативного синтеза. Предисловие как-то вскользь указывало на «освобождение народа», словно не в его горизонте возникала и развивалась сама проблема свободы и власти. Будто бы лишь самокритика интеллигенции, предпринятая в «Вегах», заставляла ее тщательнее задуматься о наиболее успешном механизме этого освобождения. Одним словом, «Вехи» звучали так, словно вся проблема свободы в России была проблемой интеллигентского сознания.

Тем не менее если и есть какие-либо основания для почитания «Вех» за одну из вершин русской мысли, то вовсе не потому, что они, «Вехи», ловко встроились в «старый шаблонный спор», или оттого, что явили миру образцы самокритики. Ни то, ни другое нельзя отнести к их собственным достижениям, как об этом до сих пор твердят интеллигенты-самообразованцы.

¹ Дабы не усложнять текст, я не даю ссылок на страницы сборника, но считаю необходимым отметить, что единственным критическим и потому научно приемлемым изданием текста является сборник, вышедший в приложении к журналу «Вопросы философии», — «Вехи. Из глубины» (М. 1991).

² К истории создания «Вех». Публ. В. Проскуриной и В. Аллоя. «Минувшее». 11. М. — СПб. 1992, стр. 270.

* * *

Внятный спор об «учреждениях», привнесенный в Россию духом Просвещения еще при Петре Великом, впервые коснулся политической практики лишь тогда, когда его «правнук» Павел I, истребляя в стране антимоноархические следствия Просвещения, попытался распространить власть «учреждений» на духовный мир подданных. Отторгнутая обществом, эта попытка романтически-консервативной реакции на якобинство нашла свою афористическую формулу едва ли не на следующий исторический день после своей неудачи. «Дней Александровых прекрасное начало», либерально-просветительские реформы первых лет XIX века, вернули «учреждениям» былое предназначение — исправлять нравы — и немедленно встретили отповедь зрелого консерватора. «Не формы, а люди важны!» — заключил в записке «О древней и новой России...» Н. М. Карамзин. Аппелируя к «внутреннему самосовершенствованию», русское охранительство так и развивалось по предначертанному пути, пока К. П. Победоносцев в конце XIX века не превратил «внешнее» в абсолютное зло, а «внутреннее» — в последний устой традиционной власти.

Но как это часто бывает, жесткость утверждений Победоносцева прямо зависела от радикальности оппонентов. Оппонентов, порожденных самим государством — и в годы предельного своего господства при Николае I, и в годы отступления при Александре II. На этом контрасте несвободы и либерализации и возник главный противник власти в России и на первый взгляд главный защитник свободы — интеллигенция³. Во всяком случае, именно она своим существованием заставила русскую мысль перейти от догматического утверждения государства к критическому осмыслению его отрицаемой оппонентами ценности, к его оправданию перед лицом проповедуемой свободы. Интеллигенция стала в центр русской политической философии как посредник между свободой и властью, личностью и учреждениями, как единственный полноценный, насколько это было возможно в России, политический деятель.

Первые опыты самоопределения политической мысли по отношению к интеллигенции, сопутствовавшие ее общественному дебюту на рубеже 50-х и 60-х годов, показали, что русская культура приобрела чрезвычайно удобный критерий для самоопределения политических мыслителей, своего рода оселок, на котором каждый мог поверять свою систему политико-философских предпочтений, — понятие интеллигенции. Забегая вперед можно признать, что и веховская традиция именно на понятии интеллигенции и представлении о ее роли в обществе выстраивала ряд своих предшественников, подыскивала единомышленников и, собственно, свой публицистический язык черпала из полемики вокруг интеллигенции 50 — 90-х годов.

Б. Н. Чичерин заметил, что в интеллигенции выявляется «элемент разгульной свободы, которая не знает себе пределов и не признает ничего, кроме самой себя». И, очевидно, истолковывая суждение С. М. Соловьева о казачестве как исторически антигосударственной силе, называл интеллигенцию казачеством⁴. Рассматривая те ее черты, что позже получили название «нигилизм», публицисты сравнивали ее с «калмыками», именовали сепаратистами, отщепенцами и т. д.⁵ Ответная апология интеллигенции вплоть до конца 60-х годов оставалась зеркальным отражением критики. Таким образом, сам спор велся исключительно в контексте того отмеченного Чичериным интеллигентского понимания свободы, которое не знает ни «меры и границ», ни «действительного и возможного», что было следствием политической незрелости общества, незнания интеллигенцией законов его (общества) преемственного развития и сохранения его жизненных основ. В переключке с Карамзиным, надеясь на сохранение равновесия свободы и власти, найденное реформаторами Александра II, Чичерин было согласился: «И корень зла, и средства врачевания лежат не в учреждениях; не во внешних условиях, а в нас самих»⁶. Но стоило реформам застопориться, как мыслитель

Свой взгляд на факторы возникновения русской интеллигенции я изложил в статье «Дитя несвободы. Рождение и смерть интеллигенции» («Знание — сила», 1992, № 2, стр. 102 — 111).

⁴ Б. Чичерин. Несколько современных вопросов. М. 1862, стр. 27, 77, 79.

⁵ Об этом см. специально: М. А. Колеров, «„Отщепенство“ интеллигенции: от Великих реформ к „Вехам“» («Россия и реформы: 1861 — 1881»). Сб. статей. М. 1991).

⁶ Б. Чичерин. Несколько современных вопросов. М. 1862, стр. 7, 14, 140, 146 — 150, 165.

вновь утверждал неразрывность «внутреннего» развития личности с ее «внешним» освобождением. Отрицание «первенства учреждений», таким образом, находилось в непосредственной зависимости от меры свободы, предоставляемой ими человеку. Охранительство лишь тогда обнаруживало свой позитивный смысл, когда существовал хотя бы минимум, хотя бы убедительная перспектива свободы.

В уничтожении упомянутого минимума — с противоположных, но смыкающихся сторон — сотрудничали интеллигентский максимализм и антиинтеллигентское охранительство. После убийства Александра II «нигилизм» занял место отправного понятия для выстраивания общественной философии. Ведущая роль в формулировании ее консервативной альтернативы принадлежала Ивану Аксакову, еще в 1861 году критиковавшему «отчужденность интеллигенции от народной стихии», а впоследствии также внесенному Петром Струве в число предшественников веховства. В издаваемой им газете «Русь» увидели свет письма Ю. Ф. Самарина А. И. Герцену, в 1864 году прозорливо указывавшие на связь интеллигентского материализма с максимализмом и предупреждавшие о неизбежности кровавого исхода из его идей⁷. В той же газете Н. Н. Страхов опубликовал «Письма о нигилизме». Идя по пути, проложенному Ф. М. Достоевским в анализе социалистического «христианства без Бога», Н. Н. Страхов писал об интеллигентском радикализме: «Их нравственный разрыв с обществом, с греховным миром, жизнь отщепенцев... — все это черты, в которых может искать себе удовлетворения извращенное религиозное чувство». Но этот материалистический «суррогат религии», тесно связанный с идолопоклонством и утилитаризмом, «должен рано или поздно прийти к мысли, что цель освящает средства». Посему страховский выбор был в пользу «внутреннего человека» и религии, прочь от «внешне-го» искоренения общественных пороков⁸.

Рационализм, «беспочвенность», доктринерство, «народопоклонничество», «аскетические недуги» критиковали и обстоятельно анализировали и сами народники — В. П. Воронцов, А. Н. Пыпин, А. М. Скабичевский. А бывший террорист Л. А. Тихомиров просто-таки составлял исчерпывающий список претензий к интеллигенции: «суррогат веры», вера в прогресс, материализм, непрактичность, догматизм, утилитарная мораль, уничтожение личности, «кружковщина», партийный подход к науке, преследование свободы совести⁹. На критику «народолюбия» Н. Минским, прозвучавшую еще в 1897 году, указывал веховец С. Л. Франк¹⁰. О близких веховцам настроениях А. И. Эртеля говорили Франк, Струве, Гершензон и другие. Что же отличало критиков от самокритиков? И в равной степени удаляло их от искомого либерально-консервативной мыслью «равновесия»?

Спеша на идейную помощь Н. Н. Страхову, это невольно обнаружил И. С. Аксаков. В отличие от него и в соответствии идеям Чичерина Аксаков устанавливал *единство* «усовершенствования общественного» с «личным внутренним совершенствованием» (разрядка моя. — М. К.)¹¹. Интеллигентским «доктринам, проповедям и действиям во имя высших нравственных принципов недостает именно нравственной подкладки, живого нравственного чувства и смысла, а потому и в результате — безнравственность»¹². Отсутствие воли к общественному действию и капитуляция перед насилием делали страховскую проповедь годной лишь для тех, кто и не думал о «внешних» — политических, экономических, социальных — проблемах, не испытывал ими свою веру в Бога. Требование же общественного действия, просвещенного нравственным чувством и смыслом, спорило и с безрелигиозным активизмом террористов, и с религиозным абсентизмом охранителей.

Что есть эта аксаковская (в терминологии начала XX века) «религиозная общественность» и какова должна быть ее политическая практика, в конце XIX века

⁷ См. «Русь», 3 января 1883 года; 17 января 1883 года.

⁸ Н. Страхов. Борьба с Западом в нашей литературе. Кн. 2. Изд. 2. СПб. 1890, стр. 94—98.

⁹ См.: Лев Тихомиров. Почему я перестал быть революционером. М. 1895; Лев Тихомиров. Начала и концы. «Либералы» и террористы. М. 1890.

¹⁰ См.: С. Л. Франк, «Две книги по философии современной общественности» («Критическое обозрение», 1909, № 4, стр. 89).

¹¹ «Русь», 15 марта 1883 года, стр. 9.

¹² «Русь», 15 марта 1883 года, стр. 8.

пытался ответить Л. А. Тихомиров. Он был глубоко озабочен причинами своего террористического «грехопадения» и определением принципиальных условий, от него гарантирующих. Ставя задачу отвергнуть не только «крайность», но и «самые основания», он стремился опровергнуть либерализм как целое. Выясняя ложность революционных идей, Тихомиров подразумевал «переработку с новой точки зрения целых обширных областей науки исторической, социальной и экономической»¹³. Разумеется, эта задача не могла быть делом одного человека, но должна была быть задачей любого, кто, опровергая интеллигентский либерализм и его производные, претендовал на собственную общественную программу.

Примечательно, что выводы Тихомирова совпадали с чичеринскими: «Истинный консерватизм... совершенно совпадает с истинным прогрессом, в одной и той же задаче: поддержание жизнедеятельности общественных основ, охранение свободы их развития, поощрение их роста»¹⁴. Развивая направление вслед за Аксаковым, логично было бы свести в единой практике противостоящие «личности» и «учреждения» и по примеру Чичерина поставить в центр борьбы с радикализмом интересы не только власти, но и личности. Но Тихомирову оказалась чужда отстаивавшаяся Чичериним «свобода лица».

Отстаивание личной свободы входило лишь в программы русских либералов, но не более как дань принципам: иных, кроме чисто правовых, оснований личной свободы программы не предусматривали. Выдвигаемая в пике марксизму с его доктринальным отрицанием личности «субъективная социология» народников служила лишь оправданию интеллигентского волонтаризма, оставляя непродуманными духовные и социально-экономические права личности. Народнический проект общественного устройства идеалом своим полагал однородность, утверждение же самостояния личности преследовалось общественностью как «буржуазный индивидуализм». В общественной изоляции оказался А. Л. Волынский, в одиночку выступивший против господствовавших позитивизма, утилитаризма и партийности. Однако именно тогда, когда будущие веховцы еще терзались компромиссами со своим радикальным окружением и прошлым, он призывал «отбросить всякий компромисс между новым идеализмом и старым материализмом»¹⁵ и пророчески отмечал, что «цельное мышление о человеке и мире» может быть только религиозным и должно полагать свои перспективы мимо культа чисто политической «гражданственности». Одиночество критика и слабость его «религиозной гражданственности» не в последнюю очередь определялись тем, что он, по его признанию, не мог подобрать себе в русском обществе 90-х годов единомышленников по вопросам политики и социологии. Такими единомышленниками вполне могли стать авторы «Вех» — профессиональные экономисты, юристы и социальные теоретики, активно практикующие политики и образованные политические аналитики, появившись они не в годы революции 1905 — 1907 годов, а прежде.

Коротко говоря, идейный контекст и даже живые идейные предшественники были готовы принять либерально-консервативные поиски авторов «Вех» как свои собственные, как часть сложившейся традиции. Сама проблематика и все главные тезисы «Вех», будь то критика интеллигенции, или утверждение религиозных принципов жизни и общественной деятельности, или поиск оптимального соотношения полюсов свободы и власти, «духа» и «учреждений», вошедшие во все хрестоматии социально-философской мысли под именем веховства, были хрестоматийны еще до их появления. Даже дотошная, популуктная критика революционной интеллигенции, без всякого сомнения опирающаяся на собственный революционный опыт веховцев, не добавила ничего нового к тому, что критиковали за предшествующие пятьдесят лет. Причем далеко не только те, чьи имена называли авторы сборника, но и те многие, кто не был упомянут ими.

Можно было бы подумать, что «Вехи» систематизировали и актуализировали традицию, внесли в философско-публицистическую повседневность забытое или замалчиваемое. И что многочисленные их критики, указующие на полное отсутст-

¹³ Лев Тихомиров. Борьба века. Изд. 2. М. 1896, стр. 3 — 4.

¹⁴ Там же, стр. 38, 51 — 53.

¹⁵ А. Л. Волынский. «Книга великого гнева». Критические статьи. Заметки. Полемика. СПб. 1904, стр. 153.

вие идейной новизны сборника, были недостаточно искренни... Не зря же в своей веховской статье С. Н. Булгаков писал, что сама критика интеллигенции является достоянием основанием для идейного объединения авторов.

Следует, однако, признать, что общественный «скандал», сопутствовавший выходу сборника в свет, затмил глаза и его участникам, и его оппонентам, и его редким сторонникам. Антиинтеллигентская публицистика и исходящие из нее теоретические выводы наполняли не только статьи будущих веховцев в 1905 — 1908 годах¹⁶, но и буквально всю радикальную и либеральную, не говоря уж о консервативной и черносотенной, журналистику начала XX века. О религиозном народолюбии интеллигенции писал марксист П. Юшкевич¹⁷. В «Московском еженедельнике» Е. Н. Трубецкого В. П. Быстренин анализировал «народопоклонство» интеллигенции и ее преклонение перед западными идеями¹⁸. Д. Н. Овсяннико-Куликовский отмечал ее «психологическую религиозность», фанатизм, утопизм, сектантство, утрату «внутренней свободы», тщательно исследовал ее «отщепенство»¹⁹. «Отщепенство» изучал и А. Н. Потресов²⁰. Активной критике подвергались «направленство», обожествление политики, внутреннее рабство, презрение к жизни и интеллигентский мессианизм²¹. Против сектантства, «якобинизма» и «безнародности» боролись меньшевики²². Предвосхищением ряда веховских тезисов еще в 1908 году впоследствии гордился К. Чуковский²³. Почти веховскую формулу критики интеллигенции дал А. С. Волжский²⁴. Проблему интеллигенции систематически исследовали окормляемые Струве Л. Галич, В. Шмидт, М. Могилянский, Э. Д. Гримм, М. М. Рубинштейн²⁵, С. В. Лурье; широко известны и веховские мотивы у Д. С. Мережковского, в письмах В. Г. Короленко А. В. Луначарскому и т. д.

Весь этот длинный список понадобился мне для того, чтобы решительно отказаться от каких бы то ни было поисков значения и смысла «Вех» в их самой неоригинальной и несамостоятельной части. Чтобы, как того требует изложенный выше их идейный контекст, сосредоточиться на позитивной программе сборника и на том, как его авторы, те самые профессионалы, пришедшие на подмогу «целостному мирозерцанию» одиночек, мыслили себе диктуемую этой программой общественную практику²⁶.

Сорок лет спустя Франк писал, что «механистическому воззрению о самочинном, умышленном человеческом строительстве жизни» авторы «Вех» противопоставили «органическое духовно-общественное мирозерцание»²⁷. Согласно Струве «„Вехи“ учили, с одной стороны, общественному реализму, разоблачая мечтательное заблуждение глубоких почвенных условий развития всякой культуры и, в частности, культуры русской; с другой стороны, материализму и нигилизму интеллигент-

¹⁶ Об этом подробно: М. А. Колеров, Н. С. Плотников, «Примечания» («Вехи. Из глубины», стр. 501 — 503).

¹⁷ См.: П. Юшкевич, «О современных философско-религиозных исканиях» («Литературный распад». Сборник. СПб. 1908).

¹⁸ См.: В. П. Быстренин, «Богоискание и боготворчество» («Московский еженедельник», 1908, № 40, 41. См. здесь же статьи Е. Н. Трубецкого. Струве непосредственно причислял «Московский еженедельник» к веховскому направлению: «Россия и славянство», 18 января 1930 года).

¹⁹ Д. Н. Овсяннико-Куликовский, «Горизонты будущего и грани прошедшего» («Зарницы». Сборник I. СПб. 1908. II отд., стр. 9 — 12).

²⁰ См.: А. Н. Потресов. Этюды о русской интеллигенции. СПб. 1906.

²¹ См.: И. М. Бикерман, «Очерки русской жизни» («Бодрое слово», 1908, № 2, 3). В. В. Водозов указывал, что термин «направленство» был пущен в оборот еще в 80-е годы («Запросы жизни», 1909, № 4, стр. 19).

²² См.: Л. Мартов, «Религия и марксизм» («На рубеже». Сборник. СПб. 1909. См. здесь же статью А. Н. Потресова «Лейтмотивы современного хаоса»).

²³ См.: К. Чуковский. Критические рассказы. Кн. I. СПб. 1911, стр. 39, 63.

²⁴ См.: А. С. Волжский, «Новая книга о русской интеллигенции» («Русская мысль», 1907, № 6, II отд., с. 46—67).

²⁵ В журнале Струве и Франка «Свобода и культура»: Л. Галич, «Два пути социализма» — 1906, № 3; В. Шмидт, «Партия и секта» — 1906, № 3; М. Могилянский, «К психологии партийности» — 1906, № 7. М. М. Рубинштейн, «Философия и общественная жизнь в России» («Русская мысль», 1909, № 3). См. также: Ю. Александрович. После Чехова. М. 1909, т. II, стр. 9 — 15.

²⁶ Следующие ниже размышления являются результатом длительного сотрудничества с Н. С. Плотниковым.

²⁷ С. Л. Франк. Биография П. Б. Струве. Нью-Йорк. 1956, стр. 87

ского мирозерцания „Вехи” противопоставили религиозный идеализм²⁸. Религия была признана «основой общественности»²⁹.

Требование не просто нравственной оценки жизни, но и нравственной практики в «Вехах» дополнялось убеждением в абсолютной ценности нации, государства и культуры, в согласии с которыми только и может реализовать себя человеческая личность. Распространение нравственного начала на противостоящие человеку «учреждения» позволяло отказаться и от политического морализаторства, и от истребления самих идей нации или государства, чьи конкретные воплощения противоречили нравственности. Точно так же как религиозное отношение к личности подразумевало оценку ее поступков, а не природы, религиозное отношение к общественности, проповедованное «Вехами», вынуждало различать религиозную природу государственности и ее зачастую совершенно дьявольские деяния. «...Всякое требование, во имя нравственного идеала предъявляемое к действительности, — растолковывал Франк, — есть не обращение идеального начала к чуждой ему сфере бытия, а лишь дальнейшее углубление и обогащение тех идеальных сил, которые и до этого требования содержатся в действительности»³⁰. Потому-то столь резко заявленное в предисловии к сборнику противопоставление внутренней жизни личности и внешней силы «учреждений» способно было лишь преуменьшить тот реальный интеллектуальный прогресс, что был достигнут его авторами. Не случайно обращаясь к опыту «Вех», в преемственном ему сборнике «Из глубины» П. И. Новгородцев уточнял: «Противопоставлять духовную жизнь личности внешним формам общежития и самодовлеющим началам политического порядка — это значит с другого конца повторять ту самую ошибку, в которую впадают проповедники всемогущества политических форм»³¹. Не в банальном «с одной стороны», «с другой стороны» состояла чаемая премудрость либерального консерватизма, а в признании свободной личности источником живого содержания «учреждений».

Логично, что именно личного подвига ждали от интеллигентов авторы «Вех» и на нем полагали перспективы общественного переустройства. По Булгакову, на «новые практические пути» могли стать только «новые люди»: «Речь идет... о самой человеческой личности, не о деятельности, но о деятеле». На «воспитание человека» надеялся Струве: ответственность, профессионализм, «личная годность» — вот что позволило бы, по его мнению, преодолеть и индивидуалистическую самодостаточность и диктат политики. Булгаковское «подвижничество» и струвеанская «личная ответственность» вынудили бы интеллигенцию к решительному перевороту и самоупразднению как разрушительной по отношению к жизни силы. Струве полагал, что интеллигенция должна перевоспитаться и в своем перевоспитании раствориться в нации. Ему вторил другой автор «Вех», Изгоев: «От интеллигентского периода жизни надо переходить к национальному, народному»³². Бердяев еще более заострял эту оппозицию национального и интеллигентского (органического и механического, религиозного и рационалистического): «Внутреннее устройство своей личности и внутреннее устройство своей родины — вот лозунги, которые должны быть провозглашены взамен старых интеллигентских лозунгов. Регулятивными идеями должны быть идеи личности и нации, а не интеллигенции и класса. Вот за что ратуют „Вехи”»³³.

Ясно, что авторы «Вех» не хотели, не могли и не должны были выработать тактических или даже стратегических рецептов политической линии интеллигенции. Здание религиозного подвига личности во имя общественности опиралось на целую традицию политического поведения и не нуждалось в дополнительных основаниях.

²⁸ П. Струве, «Оздоровление власти» («Русская мысль», 1914, № 1, II отд., стр. 150).

²⁹ П. Струве, «Памяти А. А. Бакунина и П. А. Корсакова» («Русская мысль», 1908, № 6, II отд., стр. 202).

³⁰ С. Л. Франк, «Нравственный идеал и действительность» («Русская мысль», 1913, № 1, II отд., стр. 14).

³¹ П. И. Новгородцев, «О путях и задачах русской интеллигенции» («Вехи. Из глубины», стр. 426).

³² А. С. Изгоев, «На перевале. VII» («Русская мысль», 1910, № 8, II отд., стр. 66).

³³ Н. Бердяев, «Исторические записки о современности» («Московский еженедельник», 1910, № 9, стлб. 51).

Как бы катастрофичны ни были предчувствия «Вех», следует признаться, что никто из авторов сборника не задумывался и потому не вырабатывал дополнительных принципов на случай гибели традиционной государственности и вместе с ней гибели тех минимальных начал свободы, которые в ней содержались. Для сохранения минимума свобод в существующем государстве действительно было достаточно интеллигентского самоограничения и личного подвига. Для спасения же государства ничего не годилось. «Те пути, на которые стала русская интеллигенция в завоевании свободы гражданской и политической, были в значительной мере ложны и завели и ее и страну в тупик величайшего деспотизма. Это видели ясно авторы „Вех“», — из эмиграции убеждал Струве³⁴. Но составленный по горячим следам революции 1917 года многими из прежних веховцев сборник «Из глубины» заставляет в этом глубоко усомниться. Проповедники парализованы, и те, кто не помнит свою прозорливость, лишь перечисляют причины катастрофы. Как в этих условиях распорядиться религиозным подвигом, как в большевистском государстве прозреть Государство, каким, в конце концов, иным путем теперь идти к свободе — ни слова. Вот что осталось от веховской социальной философии.

И это не случайно. Ибо еще в «Вехах» обнаруживался трагический зазор — то, что в «Из глубины» Франк назвал «философской неясностью и религиозной не вдохновенностью» либеральной веры в ценность... нации и государства. Религиозный подвиг интеллигента оказался не приспособлен к тому, что входит в него неотъемлемой частью, — к самой борьбе, тому неизбежному злу, которое не может не учитывать «живое сознание трагической трудности и ответственности всякой власти». О том, с кем приближалась в веховские годы борьба, авторы сборника вряд ли себе представляли. Иначе не было бы столь узкого понимания вооруженной борьбы, как оно было изложено Франком. «Внешняя война бывает нужна для обеспечения свободы и успешности национальной жизни... — формулировал он, — внутренняя война — революция — может всегда быть лишь временно необходимым злом, но не может без вреда для общества долго препятствовать социальному сотрудничеству». Контрреволюция, призванная «для обеспечения свободы и успешности национальной жизни», отсутствовала в либерально-консервативных прозрениях. Но получала вполне прозрачный отклик «социальных сотрудников». Например, фразу Франка о том, что «основная морально-философская ошибка революционизма есть абсолютизация начала борьбы», один из читателей «Вех» сопроводил репликой: «О, господи». Это был Ленин³⁵.

* * *

К пятидесятилетию Катастрофы, в 1967 году, «Посев» издал репринт сборника «Вехи», а «ИМКА-пресс» — буквально выхваченный из полубытия, забытый почти всеми его авторами «Из глубины». Их параллельное бытование в советской диссидентской среде естественным образом вызвало к жизни попытки продолжения и подражания. Подражания, заведомо обреченного на неудачу. Ведь не стало даже повода к тому здоровому охранительству, что продемонстрировали «Вехи»: в советской России государство не уступало минимума свобод, а активная и радикальная интеллигенция не угрожала этому минимуму катастрофой. Не случайно сами «Вехи» из советского далека воспринимались сквозь призму «Из глубины», в ключе, заданном амбициозным предисловием Струве к этому сборнику: «Сборник «Вехи»... был призывом и предостережением... русское образованное общество в своем большинстве не вняло обращенному к нему предостережению».

В своих текстах авторы сборника «Из-под глыб» (изданного в 1974 году «ИМКА-пресс») ни разу не упомянули сборник «Из глубины». И тем не менее внутренняя переключка этих двух книг явственно ощущалась. Так, например, предисловие гласило: «Ожидая от истории дара свободы и других даров, мы рискуем никогда их не дожидаться. История — это сами мы, и не минут нам самим взволочить на себя и вынести из глубин ожидаемое так жадно»³⁶.

³⁴ П. Струве, «Дневник политика» («Россия и Славянство», 1929, № 13).

³⁵ РЦХИДНИ, ф. 2, оп. 1, л. 23577, л. 86 об.

³⁶ «Из-под глыб». Paris. YMCA-PRESS. 1974, стр. 5.

Прямые и косвенные отсылки на «Вехи» и их авторов заполняли «Из-под глыб». Сам язык их, очевидно, был веховским и поэтому языком XIX века. Тем легче было сослываться и сличить обе книги. А. И. Солженицын в статье «Образованщина» сличал веховский (из «Вех» извлеченный) анализ интеллигенции с ее советским подобием и полемизировал с Г. Померанцем, чье определение интеллигенции как «центра» и «поля» было не чем иным, как переложением концепции П. Н. Милюкова, изложенной им в статье против «Вех»³⁷. И. Р. Шафаревич в «Социализме» ссылаясь на предвеховскую работу Булгакова³⁸. В полемике с А. Д. Сахаровым Солженицын апеллировал к тому же Булгакову³⁹. На милюковскую критику «Вех» ссылаясь В. М. Борисов⁴⁰.

По понятным причинам отношение к наследию «Вех» было вполне догматичным. Солженицын варьировал предисловие к «Из глубины»: «Пророческая глубина «Вех» не нашла сочувствия читающей России...», «Вехи» и сегодня кажутся нам как бы присланными из будущего...»⁴¹ Ф. Корсаков апологизировал: «„Вехи“ исчерпали проблему интеллигентского распада, последующая судьба интеллигенции, не захотевшей услышать предостережения и пророчества, эволюционировала в полном соответствии с предсказанным»⁴². Очевидно, что речь шла не о реальном сборнике «Вехи», а о том его образе, что к тому времени сложился в эмигрантской литературе и стал в центр хрестоматийной книги Н. Зернова «Русское религиозное возрождение XX века» (тоже цитируемой в «Из-под глыб»). Образ «пророчества» позволял верным наследникам занять ту позицию тотального отрицания «греховного мира», о которой в свое время писал Н. Н. Страхов. Обличительный, предельно бескомпромиссный тон — дух «суда над интеллигенцией и революцией» — склонял новых веховцев к большей радикализации веховских формул.

Перемены, невольно вносимые в либерально-консервативный строй «Вех», коснулись самой принципиальной его стороны. Солженицын так формулировал свое представление об аутентичном веховском наследии: «Сама по себе безграничная внешняя свобода далеко не спасает нас. Интеллектуальная свобода — очень желанный дар, но как и всякая свобода — дар не самоценный, а — проходной, лишь разумное условие, лишь средство, чтобы мы с его помощью могли бы достичь какой-то другой цели, высшей...» «Главная часть нашей свободы — внутренняя, всегда в нашей воле... Коль скоро абсолютно необходимая задача сводится не к политическому освобождению, но к *освобождению нашей души от участия в навязываемой лжи*, она и не требует никаких физических, революционных, общественных, организационных действий, митингов, забастовок или союзов...»⁴³ Еще более конкретное политическое применение «примата духовной жизни» выстраивал М. С. Агурский: «Справедливая разумная система может быть построена лишь при условии, что в ее основу будут положены духовные и нравственные ценности. А это означает, что при решении социальных, экономических и политических вопросов следует исходить как из принципа социальной справедливости для всех, так и из принципа отказа от насилия как средства решения общественных проблем»⁴⁴. Идя по веховскому пути, оставалось лишь определить меру неизбежного насилия и те абсолютные ценности, во имя коих возможно его применение: для «Вех» это нация и государство, их политическое и гражданское освобождение...

Но «Из-под глыб» не могли привечать государство и из веховского ряда выбирали лишь нацию. Абсолютное значение нации — одна из доминант сборника 1974 года. Важно, что это значение полагается одновременно с наделением нации личностными характеристиками (Солженицын)⁴⁵ и даже утверждением ее как «соборной личности» (В. М. Борисов). Неполитический, явно негосударственный смысл нации в «Из-под глыб», очевидно, использовался его авторами в качестве «духовной» альтернативы внешнему устройству жизни. Красноречиво сравнение,

³⁷ «Из-под глыб», стр. 230.

³⁸ См. там же, стр. 33.

³⁹ См. там же, стр. 24.

⁴⁰ См. там же, стр. 213.

⁴¹ Там же, стр. 217.

⁴² Там же, стр. 162.

⁴³ Там же, стр. 21 — 22, 28.

⁴⁴ Там же, стр. 88.

⁴⁵ См. там же, стр. 117

сделанное Солженицыным: «*Партии* — видимо, вполне бесчеловечные образования... Зато нации — живейшие образования, доступные всем нравственным чувствам...»⁴⁶

Полное воспроизведение веховской позиции в контексте коммунистического государства имело немалые трудности: тотальные претензии власти на духовную жизнь человека, даже и отступавшие в послесталинский период, лишали «личный подвиг» его естественной общественной огласовки. Не только данное в «Вехах» религиозное вчувствование в государственность, но и даже эмпирическая к ней лояльность подходили к черте «участия во лжи». Относительности же посюстороннего порядка и неизбежности несправедливости и насилия в этом мире авторы «Из-под глыб» специально не объясняли. Выстраиваемая ими религиозно-национальная личность была начисто лишена реального поля деятельности, а ее проповеданное веховцами внутренне-внешнее сродство с «учреждениями» изначально отсекалось «неучастием во лжи».

«Путь внутреннего духовного подвига, — писал в «Из-под глыб» А. Б., — это единственный путь, который приведет человека — и все общество — к освобождению. Об этом тоже писали 70 лет назад авторы сборника «Вехи», в особенности С. Булгаков и С. Франк, но тогда их мало кто понял»⁴⁷. Однако Булгаков четко определил совершенно земные сферы приложения этого подвига: «Россия нуждается в новых деятелях на всех поприщах жизни: государственной — для осуществления «реформ», экономической — для поднятия народного хозяйства, культурной — для работы на пользу русского просвещения, церковной — для поднятия сил учащей церкви, ее клира и иерархии». Под коммунистами, конечно, нельзя было столь свободно распоряжаться духовными силами, но и Булгаков вовсе не учил «неучастию». Франк тоже словами, не допускающими двояких толкований, осуждал аскетическое отношение интеллигенции к политике: «...ее фанатизм и нетерпимость, ее непрактичность и неумелость в политической деятельности... отсутствие у нее государственного смысла». Разумеется, в советской России и речи быть не могло о практичности и умелости в политической деятельности, но и Франк не мыслил себе освобождения земной жизни человека без приведения политики в соответствие с элементарными принципами «внешней» свободы.

И еще одно важное обстоятельство. Излишне говорить, что степень и качество информированности авторов «Вех» о ведущих западных идеях, о фактической стороне и принципах развития западной цивилизации во много раз превосходили подобного рода сведения авторов «Из-под глыб». Не следует забывать, что и Россия начала XX века соответствовала стандартам «открытого общества» и в главнейших направлениях социальной науки развивалась в едином и одновременном поле с Западом. Повторимся: и лично веховцы, несомненно, принадлежали не только к интеллектуальной элите, но и к разряду профессиональных «социологов» не ниже среднего европейского уровня. Но никто из них, даже отдавая дань славянофильству, не позволил себе высказывать суждений о перспективах, слабостях или пороках Запада. Напротив, тот же Булгаков в своей веховской статье показал пример спокойного и трезвого отношения к достижениям общественной жизни Европы, недвусмысленно высказываясь об их приемлемости и желательности для России. Во всяком случае, мнение веховцев о направлении общечеловеческой эволюции не вплеталось в разговор о задачах внутреннего устройства интеллигентской психологии. Интеллигенция не соответствовала принятым ею европейским формам деятельности — констатируя это, Булгаков, Франк, Струве, Бердяев не заводили бесплодных бесед о несовершенстве Запада вообще и об удивительном преимуществе отсталой России, на новом историческом витке оказывающейся в выгодном положении перед свободным, но духовно исчерпанным Западом. Из-под глыб же, из тотальной несвободы, не участвуя во лжи и, следовательно, не имея доступа ко сколь-нибудь представительной информации о Западе, обходясь случайным выбором отрывочных цитат, авторы 1974 года — судили Запад, заботясь о глобальном значении внутреннего, духовного освобождения русской интеллигенции, отнюдь не по формальному признаку называвшейся советской.

⁴⁶ Там же, стр. 118 — 119.

⁴⁷ Там же, стр. 154.

Идеал чаемого общественно-экономического строя, обрисованный в «Из-под глыб» М. С. Агурским, предусматривал не только прощительно наивные суждения о выборах руководителей средств массовой информации и цензоров, но и (под стать идеалам XIX века, скорее всего ненамеренно реконструированным «наследниками» «Вех») народнически-коммунистические цели: «Центр тяжести сместится на уровень отдельной небольшой общины»; «Исчезнет современная классовая структура общества, питающая политический антагонизм, но исчезнет и то, что называется интеллигенцией (не в духовном, а в социальном смысле), ввиду стирания противоположности физического и умственного труда»⁴⁸. Так решалась ставшая стержневой для русской политической мысли проблема интеллигенции.

Здесь следует оговориться. Развитие русской социальной мысли не было стабильным и поступательным. На протяжении XIX и начала XX века русская социальная наука чаще всего оставалась в небрежении у публицистов и литературных теоретиков, в тени общественного внимания накапливая качественные перемены и лишь от случая к случаю участвуя в спорах на актуальные политические темы. Роль своеобразных резюме достижений в таких условиях принадлежала громким, мобилизующим все подручные знания полемикам (как, например, об общине) и столь же громким сборникам, служившим манифестами общественных направлений. Таким готов был стать и сборник «Вехи», вкуче с критикующими его другими сборниками статей открывший ожесточенную полемику по самым принципиальным проблемам общественной деятельности. Но высокая степень актуальности и политизированности полемики, как уже отмечалось, вытеснила из сознания ее участников некоторую научную архаичность социального знания авторов «Вех»: в 1908 — 1909 годах они в известной мере еще продолжали опираться на свои штудии марксистских и ближайших лет — 1890-х и 1900 — 1902 годов. Однако, повторюсь, о такой «архаичности» можно было бы только мечтать в 1974 году.

Путь, избранный «Из-под глыб», путь упрощения и мифологизации и наследия «Вех», вынудил его авторов сосредоточиться на том, что, собственно, и не принадлежало «Вехам», а было, как я пытался показать, воспроизведением общих мест антиинтеллигентской либерально-консервативной, охранительной критики, народнической самокритики, публицистических штампов эпохи первой русской революции. Музеефицированный, этот хрестоматийный, дважды архаичный образ «Вех» был подан как «пророчество из будущего». И уж вряд ли стоит особо доказывать, что ни о каком резюмировании социально-философской мысли второй половины XX века в «Из-под глыб», по форме и по существу — сборнике второй половины века XIX, и речи быть не могло.

Но псевдовеховская проповедь «Из-под глыб» претендовала стать идеологией подсоветской интеллигенции. И что же вышло из нее теперь?

* * *

В сборнике 1974 года Солженицын писал: «...обратный переход, ожидающий скоро нашу страну, — возврат дыхания и сознания, переход от молчания к свободной речи, тоже окажется и труден, и долог, и снова мучителен — тем крайним, пропастным непониманием, которое вдруг зинет между соотечественниками...»⁴⁹ Так оно и случилось после августа 1991 года. Ибо уничтожаемая в «Из-под глыб» сфера политики и строится на оппозициях, различиях и расколах. И проповедь «Вех» в том и состоит, чтобы, интеллигентски не превознося и не унижая «посюсторонности», прорваться к ценностям, личности более созвучным и для ее духовного здоровья практически полезным: нации и государству.

Свободы не может быть достаточно. Свобода не может быть чистой, полноценной и не истребляемой ежесекундно названными неизбежностями и относительностями. Чтобы только представить себе чаемую полноту политического освобождения и высшую ценность свободы, вовсе не обязательно твердить о ней и уличать оппонентов в неуважении к ней. Для идейной и политической жизни России в принципе довольно было одного дня — 21 августа 1991 года, довольно, чтобы чувство реальной полноты и неотносительности вошло в интеллигентское со-

⁴⁸ «Из-под глыб», стр. 93.

⁴⁹ Там же, стр. 8.

знание. Уже не требовалось заклинять чуждое чудовище политики и пестовать не-общественный аскетизм. Оставалось лишь нести свой «личный подвиг» по той полной программе и в здравом сознании того охранительства возможной свободы, что были преподаны «Вехами». (Преподаны, заметим, в условиях более несвободных, чем после 1991 года.)

В 1990 — 1992 годах «Вехи» выдержали несколько переизданий, журналы пережили волну рефератов и толкований, публицистика наполнилась реминисценциями и присяганиями их наследству. Поклонение «Вехам» сделало невозможной даже лояльную к ним сколь-нибудь антивеховскую полемику. Триумф их стал фактом. И вновь, как в 1974 году, хрестоматийная, заемная и неоригинальная часть веховских идей возвысилась до вершин, затмевая предшественников... Вдогонку им к читателям пришли «Из глубины», ярко антикоммунистические, горько кающиеся в легкомысленном попустительстве Катастрофе... Вослед им интеллигентному читателю беспрепятственно открылись «Из-под глыб», дотошно подтачивающие ложь недавнего режима, утверждающие достаточность хотя бы внутренней свободы. И что же? Разве интеллигенция прониклась охранительной любовью к государству, гарантирующему небывалую для России всех времен свободу духовную, политическую, экономическую, информационную и т. д.? Изготовилась к «личному подвигу», задумалась о собственной «личной гордости»? Отвергла искушения социализмом и привычной оппозиционностью ко всему и вся? Эксперимент, проведенный в истекшие годы при максимально благоприятных для веховской традиции условиях, убедительно показал: веховская проповедь — даже в предельно упрощенном и догматизированном, пропагандистском виде — бессильна, доступна единицам, единицам адресована, единицам — важна.

Политическая философия, поставившая в центр своих рассуждений такого общественно инфантильного нарцисса, как интеллигенция, оказалась бесперспективной. Невольно задумаешься, что русская интеллигенция только в своем радикальном самоуничтожении как социальной общности, как замкнутого, самодостаточного «ордена» способна не навредить своей стране и хотя бы выработать сколь-нибудь значимое социальное знание⁵⁰. Если еще не поздно. Если уже не пишется какое-нибудь «Из тьмы», не задумывается какое-нибудь «Из-под гнета», призванное в близком XXI веке продолжить застарелый, уже двести лет как бесперспективный для России интеллигентский спор: люди или «учреждения»? внутренняя свобода или все-таки внешняя? государство или интеллигенция?..

⁵⁰ В тех же «Вехах» в статье «Интеллигенция и революция» П. Б. Струве провидчески писал: «Самый кризис социализма на Западе потому не выступает так ярко, что там нет интеллигенции. Поэтому по России кризис социализма в идейном смысле должен ударить с большей силой, чем по другим странам. В этом кризисе встают те же самые проблемы, которые лежат в основе русской революции и ее перипетий». И в той же статье, только несколькими абзацами выше, утверждал:

«Русская интеллигенция, отрешившись от безрелигиозного государственного отщепенства, перестанет существовать как некая особая культурная категория. Сможет ли она совершить огромный подвиг такого преодоления своей нездоровой сущности? От решения этого вопроса зависят в значительной мере судьбы России и ее культуры. Можно ли дать на него какой-нибудь определенный ответ в настоящий момент? Это очень трудно, но некоторые данные для ответа все-таки имеются.

Есть основания думать, что изменение произойдет из двух источников и будет носить соответственно этому двоякий характер. Во-первых, в процессе экономического развития интеллигенция «обуржуазится», т. е. в силу процесса социального приспособления примирится с государством и органически стихийно втянется в существующий общественный уклад, распределившись по разным классам общества. Это, собственно, не будет духовным переворотом, а именно лишь приспособлением духовной физиономии к данному социальному укладу. Быстрота этого процесса будет зависеть от быстроты экономического развития России и от быстроты переработки всего ее государственного строя в конституционном духе».



ЮЛИЙ ШРЕЙДЕР



ЦЕННОСТИ, КОТОРЫЕ МЫ ВЫБИРАЕМ

1. Мир необходимости и мир предпочтений

В мире природы царит необходимость — все природные процессы происходят по определенной причине, обусловленной неуклонно действующими законами. Природные предметы движутся так или иначе не потому, что они стремятся достигнуть той или иной цели, но потому, что на то есть закономерные причины, предопределяющие путь и скорость их движения¹. Все это означает, что природные объекты не могут иметь предпочтений, не могут произвольно выбирать траектории движения по своему вкусу. Иначе говоря, они не обладают свободой — способностью действовать «ни почему», а по прихоти, состоящей в том, что тот или иной результат обладает для данного объекта большей ценностью, то есть более привлекателен. Если бы падающий с горы камень обладал способностью сознавать, что с ним происходит, он осознавал бы свое падение в пропасть как природную необходимость, вызванную наличием силы земного притяжения. Если бы он верил в известную марксистско-гегельянскую формулу о том, что «свобода есть осознанная необходимость», он вполне мог бы сознавать себя свободным.

Эта формула совершенно не случайно была принята советской идеологической машиной, ибо лагерная система (как на территории ГУЛАГа, так и вне территории страны) систематически отбирала у людей любые возможности определять собственные цели и реализовывать те или иные простейшие ценностные предпочтения. Разница между заключенными и находящимися на воле (под непрерывной угрозой заключения за рассказанный анекдот, опоздание на работу, попытку собрать колоски на колхозном поле или просто в силу ложного доноса) состояла в том, что у первого свобода отбиралась в наказание, а второму внушалось, что свобода и есть осознанная необходимость подчинять свою жизнь всем ограничениям, которые ему навязало государство. После чего ему оставалось только петь в общем хоре: «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». И действительно, никакой другой страны ему не дано было знать. Эта возможность у него отбиралась раз и навсегда.

В мире необходимости слово «должен» означает только одно: так неминуемо произойдет. Только в мире свободы это слово выражает долг перед высшими ценностями. Это совершенно различные значения слова. Любой человек догадывается, что он смертен, то есть должен умереть. Но это «должен» он обычно не понимает как долг совершить самоубийство. Наоборот, его моральный долг, как учат и христианство и иудаизм, — избегать самоубийства как смертного греха.

Тоталитарная система прежде всего стремится внушить человеку, что это не он определяет течение собственной жизни, но его жизнь определяется неумолимыми законами общества, которому целиком принадлежит каждый человек. Система внушает, что нарушить законы, движущие обществом, столь же невозможно, как и противодействовать законам природы. Лагерная система уничтожает нарушителя с той же неизбежностью, как сила тяжести — упавшего со скалы человека. Похоже, что именно это внушение неизбежности подчинения требованиям общественных законов, выражаемых в требованиях следователей НКВД, заставляло последствен-

¹ Правда, как выяснилось, законы квантовой физики, царящие в микромире, имеют вероятностный характер — они не позволяют однозначно предсказывать будущее положение микрочастиц, но тем не менее и эти законы не допускают произвола, но предопределяют соответствующее распределение вероятностей. В мире квантовых явлений причинность не отменяется, но приобретает более сложный характер.

ных в сталинских застенках признавать несуществующие и совершенно нелепые вины.

В обществе, где человек разуверился в праве на личные предпочтения, невозможна трагедия, которая всегда связана с попыткой человека бороться со стихией обстоятельств, препятствующих достижению его сокровенных целей. Трагическая ситуация всегда связана с тем, что герой, имеющий реальные возможности преодолеть препятствия, по роковому стечению обстоятельств терпит неудачу. Поражение в борьбе с роком, с собственной судьбой не означает, что стремления героя фатально обречены на неудачу. Человек, бросающийся с утеса в пропасть, — безумец или самоубийца. Однако человек, соорудивший летательный аппарат и пытающийся с его помощью взлететь с горного склона, вправе претендовать на успех, а если он гибнет в результате неверного расчета, непредвиденной поломки или коварного противодействия, то это трагическая гибель. Трагедия подразумевает свободный выбор предпочтений, когда герой ради поставленной цели готов бороться с препятствиями, и от его способа действий зависит, достигнет ли он чашевого результата. Трагедия состоит в том, что герою неведомы все обстоятельства, складывающиеся для него роковым образом. Но так они складываются для него, в его конкретной ситуации. В этой неудаче нет заведомой фатальности — герой не обречен на гибель всеобщими законами, он вправе рассчитывать и на победу, когда принимает решение, «ополчась на море смут, сразить их противоборством». Не случайно, что ни в советской, ни в антисоветской литературе нет места трагедии. Судьба героя обуславливается тем, что он принадлежит определенной общественной системе. Он должен либо поступать по правилам, которые она ему навязывает, как, например, герой повести А. Бека «Новое назначение», личность которого окончательно подавлена в тот момент, когда он безоговорочно признает правоту Сталина в споре с Орджоникидзе (невзирая на то, что предмет спора, который те ведут на грузинском языке, для него совершенно невятен), либо система его неминуемо уничтожает, как подследственного Рубашова в повести А. Кестлера, которому в конце концов остается одна незакрытая возможность, и то подсказанная соседом по камере: перед расстрелом облегчить мочевой пузырь.

Однако в глубине души всякий человек интуитивно ощущает свою свободу как возможность поступка, совершаемого по собственной воле, а не по принуждению обстоятельств. Это ощущение эмпирически подтверждается в ситуациях, где фактически приходится выбирать между теми или иными ценностями. Человека отличает способность сознательно предпочитать хорошее плохому. Это значит, что человек внутренне не соглашается с предопределенностью того, что ему предлагают внешние обстоятельства, но считает себя вправе выбирать способ поведения в предлагаемых обстоятельствах. Тем самым он выражает свое глубинное несогласие с детерминистской точкой зрения на мир, а вместо того чтобы осознать необходимость диктуемого извне способа поведения, протестует против этого диктата, выбирая по возможности то, что соответствует его интересам, как он сам их понимает. Это глубоко человеческая установка по отношению к миру, ибо она неявно предполагает наличие свободы в самой природе человека. Она основана на признании того, что у человека есть собственные желания и предпочтения. Казалось бы, все это разумеется само собой — недаром самым тяжелым наказанием для нас оказывается лишение свободы, лишение возможности по своей воле перемещаться, строить распорядок своей жизни, выбирать тот или иной вид посильного труда... Словом, подчинение тюремному или лагерному режиму мы воспринимаем как насилие над собственной природой и как безусловно тяжелое наказание. Дело, конечно, не в том, что свободу ограничивает только заключение в тюрьму, пребывание на принудительных работах, ссылка или административное ограничение разрешенного места жительства. Свободу человека так или иначе ограничивают объективно действующие физические, биологические или социальные законы.

Но в отношении таких ограничений все люди, в общем, равноправны. Никому из нас не дано пребывать без пищи и воздуха, никто из людей не рассчитывает всерьез на физическое бессмертие или вечную молодость. Мы готовы смириться с той необходимостью, которая распространяется на всех членов сообщества, к которому мы себя причисляем. Москвичи покорно стояли вместе в очередях за дешевой колбасой и водкой, а жители провинции отстаивали свое право попасть в эти очереди, используя, например, автобусные экскурсии в мавзолей.

Но ни один человек не согласен признать правоту обстоятельств (пусть даже стихийных, пусть даже закономерных), лишаящих лично его тех естественных возможностей реализовать свои предпочтения, которыми обычно обладают

другие члены сообщества. Одним словом, если все обитают в тюрьме, то это уже не тюрьма, а социальная система — общественный строй как неизменяемая данность. Тюрьма же неприемлема для человека тем, что она лишает его и тех возможностей выбора, на которые он привык рассчитывать. Тем не менее даже в условиях принудительного ограничения свободы у человека остается некоторое пространство, в котором он волен выбирать определенные действия согласно своим предпочтениям, направленным на достижение значимых для него ценностей. Это означает, что пространство обитания человека радикально отличается от природного мира, где любое случающееся с субъектом событие необходимо следствие причин, заключенных в предыстории самого субъекта и во внешних обстоятельствах. Именно об этом говорит простейший опыт выбора между хорошим и плохим в самых элементарных его проявлениях, когда человек в состоянии решить, потратить доставшиеся ему деньги на бутылку водки, сладости для ребенка или подать милостыню нищему, притулившемуся в мрачном переходе метро. В этом выборе реализуется та самая свобода, которая нужна и для политического выбора, и для принятия морального решения, и для того, чтобы совершить фундаментальный выбор в религиозной сфере. Свобода во всех случаях одна и та же — это способность к спонтанному действию, не обусловленному никаким внешним принуждением, никакой осознанной или неосознанной необходимостью. В одних случаях свобода дает возможность совершения героического поступка; в других — свобода является залогом того, что человек в состоянии отказаться от очень соблазнительного действия, сулящего выгоду или личную безопасность, в силу того, что совесть указывает ему дурные с моральной точки зрения последствия этого действия; в третьих — свобода реализуется в том, как человек истратит заработанные деньги. Надо сказать, что выражение «совесть не позволяет» не вполне точно, ибо в нем совесть выступает как ограничитель свободы. В действительности совесть помогает увидеть в совершаемом по естественному влечению поступке предмет морального выбора, то есть расширяет сферу свободы, освобождая от автоматического следования неразумным или дурным инстинктам. В одних случаях ощущение свободы увеличивает комфорт человека, в других — делает ситуацию дискомфортной, ибо человек лишается возможности слепо следовать внутренним импульсам.

Тем не менее речь идет о разных проявлениях одного и того же феномена свободы. В любом случае выбрать может только тот, кто обладает свободой воли и знает о том, чем он обладает. Но чтобы убедиться в наличии собственной свободы воли, надо все же иметь к чему ее применить. Нужно обладать хоть какой-то собственностью, чтобы иметь случай распорядиться ею по собственной воле. Советский строй стремился лишить каждого, в том числе и стоявшего наверху общественной пирамиды обладателя привилегий, любой ситуации выбора. Привилегии — это не собственность, которой любой мешанин (это слово не случайно было превращено в ругательную кличку) вынужден свободно распоряжаться. Казенную квартиру, дачу и мебель нельзя подарить, продать или пропить. С этим вообще нельзя никак поступить — этим можно только пользоваться, пока привилегии не отняты властью. Тоталитарное государство не оплачивает труд, но дарует социальный статус, требующий не выбора, но неукоснительного выполнения долга. От своего функционера тоталитарный строй ждет не поступков, но выполнения «воли партии», которая полагала себя умом, честью и совестью эпохи. Не важно в данном случае, кто выражал эту волю: высший руководитель, аппаратный чиновник или спецслужбы. Тоталитарная партийно-государственная структура стремилась максимально сузить сферу, где человек мог проявлять свои личные предпочтения, распространяя свое влияние даже на выбор призвания, направляя людей на работу, в армию или на учебу по партийно-комсомольским «путевкам» и одновременно всячески ограничивая допуск на сколько-нибудь престижную работу или учебу «социально чуждых». По существу, всякий работающий становился государственным служащим, то есть попадал в кабалу к той же структуре.

Законы сталинских времен фактически запрещали переход по своей воле с одного места работы на другое и предусматривали суровое наказание за ничтожные опоздания, а тем более прогулы. Дело здесь было вовсе не в укреплении трудовой дисциплины — глубинный смысл этих драконовских законов состоял в том, чтобы еще больше сузить сферу, где человек был бы способен осуществлять индивидуальные предпочтения, связанные с простейшим ценностным выбором: как заработать на жизнь, как ее организовать, как ее украсить...

Опыт свободы начинается не с героических моральных решений, но с того, что человек осуществляет предпочтения в области вполне эгоистичных частных интересов. Считалось, что советский человек должен жить общественными интересами, то есть посвящать свою жизнь общественной работе, политической учебе, соцсоревнованию и т. п. Все дело в том, что «общественная жизнь» легче поддается тотальному контролю, а сфера частных интересов гораздо менее программируема извне. Человек, пользующийся общепитом, гораздо более ограничен в выборе, чем тот, кто обедает дома. Человек, строящий свой дом или оборудующий купленную для себя квартиру, более свободен в своих притязаниях, чем обитатель коммуналки или койки в общежитии.

«Мещанские» интересы обустройства быта и добывания на это средств вовсе не столь плохи для души, как нас когда-то учили. В реализации этих интересов возникает тот самый опыт личной свободы, без которой человек не может быть ни моральным, ни духовным существом. Более того, в этом опыте рождается ощущение ценности свободы, открывающей возможность реализации собственных притязаний. Я надеюсь, что читатель не поймет сказанное здесь как апологию самого оголтелого эгоизма и призыв ограничить свою жизнь и личные притязания устройством собственного житейского благополучия. Мы вспоминаем торговца тканями Пьетро Бернардоне, жившего в городе Ассизи, исключительно как отца святого Франциска Ассизского, реализовавшего свою личную свободу в отказе не только от личного имущества, но и от любых материальных благ. Весь вопрос в добровольности такого отказа и его соразмерности собственной силе духа. Принудительная бедность не освобождает, а порабощает. Человек, умеющий позаботиться о своих нуждах, лучше способен понять нужды других, чем «бескорыстный» революционер, живущий за счет партийной кассы. Уместно напомнить, что вторая заповедь любви в Евангелии звучит так: «Люби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 19:19), то есть устанавливает мерой любви к ближнему способность любви к самому себе, а не стремление к самопожертвованию. Человеку, не верящему в возможность добра для себя, трудно найти меру доброго отношения к ближним. Более того, только человек, жаждущий истинно хорошего для себя, в состоянии оценить значение свободы выбора.

Другой вопрос, что никто не в состоянии достигнуть истинного добра за счет чужого несчастья, а свободы — за счет порабощения других. Но чтобы это осознать, необходимо понять, что есть ценности, выходящие за рамки простого благополучия. Святой Фома Аквинский учил, что «наша любовь к самим себе искренна, постоянна и всепрощающа и ее надо (если возможно, в неприкосновенности) перенести на ближнего»². Стремление к личному благополучию есть первый опыт любви к себе, и его не следует подавлять, но следует понимать, что этим стремлением она не ограничивается.

2. Уровни ценностей

Первое, с чем сталкивается человек, желающий хорошего для себя, — это зависимость успеха его стремлений от взаимодействия с другими людьми. Это взаимодействие имеет два аспекта — этический и политический. Как писал Аристотель, «человек по природе своей есть существо политическое...»³. При этом Аристотель утверждает, что «совершенно невозможно действовать в общественной жизни, не будучи человеком определенных этических качеств, а именно человеком достойным»⁴. Последнее, с точки зрения Аристотеля, «значит обладать добродетелями»⁵. Любой гражданин нуждается в справедливости, обеспечиваемой государственными учреждениями и законами, и в соблюдении некоторых этических принципов в отношениях между людьми. В отличие от Канта, резко разделявшего этику и практические действия, направленные на достижение непосредственной пользы, Аристотель считал этику неотъемлемой частью политики.

Во всяком случае, ясно одно: возможность личного благополучия человека зависит от того, насколько государственное устройство и отношения с другими людьми обеспечивают ему справедливые условия существования, в том числе необходимую свободу действий, защиту

² Честертон Г. К. Вечный человек, М. 1991, стр. 324.

³ Аристотель. Сочинения. М. «Мысль». 1984, т. 4, стр. 378.

⁴ Там же, стр. 296.

⁵ Там же.

его безопасности и здоровья. Более того, в современном технически развитом обществе личный успех человека опирается на те представляющиеся ему необходимыми блага, которые могут быть обеспечены лишь обществом в целом, а не усилиями непосредственно взаимодействующих единиц. Человек не может замкнуться в кругу тех простейших материальных ценностей, которые он сам непосредственно ощущает как необходимое для устройства своей жизни благо и которые требуют для своего достижения исключительно личных усилий. Тем самым в круг его притязаний входят такие ценности, как свобода и справедливость. Строго говоря, свобода воспринимается как самостоятельная ценность, пока она стеснена принуждением. По существу, свобода есть условие выбора между ценностями, то есть предпосылка ценностно ориентированного поведения. Стремиться к свободе может только тот, кто внутренне свободен. Несвободный жаждет не свободы, но компенсации за ущерб, причиненный ему отсутствием свободы, или возмездия тем, кто нанес ему этот ущерб. Он ищет не свободу, но виновников собственной несвободы. Справедливость тоже часто видится не столько в обеспечении естественных прав человека, сколько в наказании действительных или мнимых виновников в совершенных несправедливостях. Вот почему столь часто революционные движения за свободу и справедливость приводят к еще худшему рабству и еще большей несправедливости.

Для того чтобы ждаты от политических решений утверждения этических ценностей — таких, как справедливость, — нужно быть уверенным, что эта политика опирается на этику. Мы не просто хотим, чтобы политическая структура обеспечивала успешное развитие экономики, способной удовлетворить наши материальные потребности. Мы хотим, чтобы политическое устройство обеспечивало справедливое и свободное использование открывающихся экономических возможностей. Человека не удовлетворяют податки даже самой богатой экономики, ему нужно справедливое участие в политической и экономической жизни своей страны, которое обеспечивало бы не только минимальный достаток, но и человеческое достоинство. Это стремление играет отнюдь не последнюю роль в выборе политических ценностей и в симпатиях к тем или иным партиям и политическим лидерам. Умение того или иного политика называть болевые точки народа свидетельствует о небезразличии к достоинству тех, к кому он апеллирует. За это ему часто прощаются самые нелепые и безнадежные проекты ликвидации этих болевых точек.

После многих лет полного бесправия, когда о выборе политических ценностей не было и речи, когда все политические решения принимались в самом узком кругу, мы оказались в ситуации, когда эти ценности десакрализировались — стали предметом обсуждения на улицах и в средствах массовой информации. Но при этом мы еще не осознали, что политические ценности сами суть лишь средства для гарантии человеческих условий существования, обеспечивающие свободу, справедливость, стабильность общества и достоинство человека. Это в особенности относится к глобальным политическим предпочтениям, связанным с выбором государственного строя, конституции, государственной символики. Для одних демократия означает гарантию от возвращения к тоталитарной власти и полному изоляционизму. Для других само слово «демократия» связывается с падением национального престижа и развалом не только коммунистической, но и Российской империи, которые привели к экономическому и политическому хаосу. В конечном счете все политические предпочтения основаны на естественном желании получить нормальные условия жизни, присущем большинству людей, понимающих, что благосостояние каждого зависит от благосостояния общества в целом. Но при этом не так уж просто разобраться, как в конечном счете то или иное политическое решение скажется на общем благосостоянии.

Любые реформы болезненны, ибо меняют сложившийся уклад жизни, к которому люди привыкли и как-то приспособились. Но и отказ от необходимых реформ приводит в конечном счете к катастрофе. Сегодняшние беды нашей страны в значительной мере порождены тем, что коммунистическое руководство страшилось любых изменений, которые неминуемо привели бы к ослаблению абсолютизма этой власти и необходимости демократизации режима. Ведь сегодняшние политики, несмотря на все споры о демократии, взахлеб пользуются теми возможностями, которые она им подарила. Демократия у нас существует не как истинное народоправие, но как арена действия разнообраз-

ных политических сил — как необходимость политиков апеллировать к мнению народа, выражаемому путем голосования, путем полемики в прессе, вплоть до надписей на заборах, что было абсолютно исключено при советской власти, беспощадно душившей любые оппозиционные проявления. Борьба политических интересов, проявлявшаяся ранее лишь тайным образом в высших эшелонах власти, приобрела гораздо более открытые формы. С этой точки зрения все партии и движения, участвовавшие в выборах парламента и конституционном референдуме, являются демократическими постольку, поскольку использовали демократические средства борьбы за представительную власть. Октябрьские события 1993 года отсекали от этой борьбы и фактически от политического влияния те группировки, которые предпочли силовые приемы. Альтернатива демократии не национал-патриотизм, а деспотия, частным случаем которой является диктатура Советов.

Разумеется, диктатура может возникнуть путем захвата власти с помощью демократических механизмов. Так уже было в Германии. И эту опасность нельзя сбрасывать со счетов и в нынешней России. Однако следует учитывать два существенных отличия между Веймарской республикой и современной Россией. Первое состоит в том, что в Германии существовала угроза сразу двух диктатур — национал-социалистической и коммунистической. Не надо забывать, что угроза диктатуры Тельмана была не менее серьезной, чем диктатуры Гитлера, ибо она означала бы превращение Германии в придаток Советского Союза. Гинденбург стал президентом, победив на выборах того и другого. Он вручил власть Гитлеру, чтобы не допустить к власти компартию. Тот факт, что наши коммунисты блокировались с крайними националистами, не усиливает в действительности ни тех, ни других. Второе важное отличие состоит в том, что наши демократические силы набрали треть мест в Государственной Думе, фактически не проводя избирательной кампании, то есть получили голоса на чистом доверии избирателей, не пытаясь разъяснить суть своей политической программы колеблющимся.

Ни «Выбор России», ни «Яблоко», ни другие демократические движения не использовали избирательную кампанию для серьезного разговора с избирателями ни о том, какие они видят трудности и пути их разрешения, ни о том, как они оценивают правительственный курс, ни о том, каковы реальные перспективы проводимых реформ для простого человека. Естественно, что фактическое отсутствие обращения к избирателям стоило им потери многих голосов. Я понимаю боязнь популизма — опасение ответственных политиков-демократов наобещать избирателям с три короба, чтобы добиться своего избрания. Но я боюсь, что эта боязнь завела их слишком далеко — они дистанцировались от той части народа, которая не принимает их безоговорочно, но вполне бы смогла понять серьезные аргументы, могла бы вполне разумно сопоставить то, что предлагают реформаторы разного толка, с безответственными обещаниями собрать недоимки с обанкротившихся должников бывшего СССР, остановить инфляцию за счет торговли оружием и выпустить дешевую водку по примеру незабвенного Юрия Владимировича, обессмертившего себя знаменитой «андроповкой».

Беда в том, что нам все время приходится выбирать между разными политическими ценностями глобального плана, а они не только не исчерпывают эти ценности, но даже в известном смысле не являются решающими. В сущности, никто не спорит, что демократия как участие народа в решении политических проблем (по сути, суверенность народа), духовное возрождение России и укрепление ее экономики и международного престижа — это хорошо. Проблема состоит в том, какими мерами это можно осуществить при минимальных жертвах. Таким образом, реальный политический выбор — это предпочтение той или иной стратегии развития, а не выбор между общими лозунгами о демократии, парламентаризме или национальном возрождении. Магическое употребление таких слов, как «демократия» или «национальные интересы», есть признак нашей общей политической некультурности, есть непонимание того, что реальный политический выбор состоит в поддержке тех или иных социально-политических программ, а не чисто словесных лозунгов. На этом мы уже достаточно обожглись в 1917—1918 годах.

Выбор политических ценностей подразумевает достаточно ясное представление о субъекте этого выбора, то есть о том, что имеется в виду под народом. Замечательный русский мыслитель Димитрий Панин верно отметил разницу между народом и нацией. Великий народ всегда складывается из многих наций, интегрирующихся в культурно-политическую общность. Это относится и к русскому народу, или, как часто говорят сегодня, к россиянам. Лично я не думаю, что интересы соб-

ственно русской нации как народообразующего фактора антагонистичны интересам русского (или, если кому-то угодно проводить это различие, российского) народа. В частности, защита русских интересов в странах ближнего зарубежья и русских эмигрантов в дальнем зарубежье может быть эффективной именно как защита народа, а не только этнически чистых русских.

Стоит обратить внимание, что в нынешних условиях восстановление государственной общности на территории СНГ привело бы — в случае демократического устройства этой общности — к неизбежности поступиться российскими интересами под влиянием представителей других республик и даже, более того, подчинению этих интересов желаниям многочисленных и влиятельных кавказских и среднеазиатских регионов. Создавать же новую империю, в которой Россия взяла бы на себя достаточно жесткое руководство этими регионами, — значит вести Россию к политической и экономической нестабильности.

Вернуться к дореволюционной ситуации невозможно. Нужны новые формы мягкой межгосударственной интеграции, которые не заложили бы новые мины замедленного действия под возрождающуюся российскую государственность. Мы не можем взять на себя роскошь решения чужих политических и экономических проблем. Надо в первую очередь научиться решать свои собственные.

Наши реальные политические проблемы связаны с воссозданием эффективной промышленности, способной производить полезный продукт, а не работать на воспроизведение самой себя. Сегодня продукция наших металлургических гигантов идет на обеспечение их функционирования — выпуск новых мощных агрегатов, горнодобывающую промышленность (обеспечение сырьем), транспорт, доставляющий уголь и руду для их ненасытной глотки. И это только один из примеров паразитизма социалистической промышленности. Как сократить фактически непроизводящие и экологически опасные производства, одновременно стимулируя создание новых рабочих мест? Вот реальная политическая проблема. И здесь важный политический выбор связан с налоговой политикой, системой финансирования и кредитования и рядом других альтернативных предпочтений.

Огромный клубок политических проблем, связанных с предпочтением тех или иных ценностей, представляет вопрос организации армии и, более широко, обороны. Наверное, все согласятся, что армия должна быть боеспособной, технически оснащенной и социально защищенной. Выбор возникает при решении вопросов о необходимой численности, социальных гарантиях отслужившим офицерам, о наборе на профессиональной основе и т. п. Этот выбор имеет политический характер, ибо зависит от приоритета тех ценностей, которые определяют политику и экономику нашей страны.

Наконец, мы в своем выборе ценностей ничтожно мало по сравнению с США и другими странами Запада уделяем внимания стратегическим вопросам здравоохранения и социального обеспечения. Про советскую систему один мой знакомый врач сказал: «У нас бесплатная медицина, но большего она и не стоит». Как показал опыт США, американская система медицинского страхования тоже обладает существенными пороками, оставляя за бортом медицинского обслуживания десятки миллионов беднейших граждан. Нам необходимо найти свое, приемлемое для России решение этих вопросов, учитывая западный опыт, но не копируя его буквально. С другой стороны, в России есть и свой опыт организации богоугодных заведений и земских больниц. Впрочем, и сама попытка возродить земство, предпринимаемая при поддержке Русской Православной Церкви, представляет собой определенный политический выбор (несмотря на то, что земство как организация мыслится, судя по ряду высказываний, как внеполитическая). В этом нет противоречия — создание внеполитической организации, призванной решать целый комплекс местных проблем, означает, что она объединяет людей различной политической ориентации, готовых проводить общую политику в сфере компетенции данной организации. Мы привыкли относить к политике только общегосударственные проблемы, но существует огромный круг вопросов, которые возникают и решаются на местном уровне, и это тоже политика, где выбор тех или иных ценностей непосредственно сказывается на жизнедеятельности общества.

Вообще споры о том, должна ли Россия идти своим самобытным путем или пойти по пути западной цивилизации, носят не политический, но абстрактно-идеологический ха-

ра ктер. Последовательно скопировать западноевропейский путь невозможно в силу иных начальных условий, не говоря уж о том, что перенимать разумно лишь то, что может принести пользу на нашей почве. Столь же нереалистична и идея последовательно самобытного развития. Не возвращаться же всерьез к языческим временам!

Является ли русское предпринимательство заимствованным от западного капитализма явлением, или оно достаточно самобытно? Я убежден, что в слишком общем виде сама альтернатива западного или восточного пути не имеет смысла. Во-первых, есть общие для всех цивилизованных стран социальные формы, без которых развитие невозможно. Это прежде всего свобода частной собственности и какие-то демократические институты, выражающие суверенность народа. Во-вторых, стратегия политических и экономических реформ выражается в выборе эффективных политических решений на основе мирового и собственного опыта и с учетом конкретных интересов.

Политика — это прежде всего искусство поступаться принципами ради приемлемого для всех компромисса. Иначе политика превращается в средство подавления всех недовольных. Поступаться нельзя не политическими принципами, а этическими нормами. Более того, способность находить разумный компромисс с людьми при достижении собственных вполне корыстных целей — это и есть фундаментальная этическая ценность, формулируемая как золотое правило морали не делать другому того, чего ты не хотел бы для себя. Политика служит в конечном счете личной или общей выгоде, а мораль требует не нарушать при этом интересов других, считаться с этими интересами. Иммануил Кант полагал, что это правило действует как категорический императив — абсолютное требование, предъявляемое к человеку его собственной природой. Из того, что человек предъявляет себе абсолютные моральные требования, Кант выводит существование Бога. Христианская религия учит, что каждому человеку, верующему или не верующему, христианину или не христианину, ведом естественный моральный закон. Об этом пишет апостол Павел: «Когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон... дело закона у них написано в сердцах» (Римл. 2:14—15). С точки зрения религии моральные ценности имеют в своей основе абсолютизм религиозных ценностей. Даже, совершая дурные действия, человек стремится найти им моральные оправдания — придать им легальный этический статус как злу, которое служит добру.

Такое оправдание иногда формулируют в виде принципа «цель оправдывает средства». В действительности он означает готовность человека вступить в компромисс со злом. Такая готовность терпимо относится ко злу, точнее, к смешению добра со злом, приводит обычно к неспособности терпимо относиться к людям, ценить достижение компромисса с людьми как благо, к которому следует стремиться. Наоборот, бескомпромиссное отношение ко злу, отрицательное отношение к принципу «цель оправдывает средства» влечет за собой высокую оценку способности достичь компромисса с конкретными людьми, даже если их интересы вступают в противоречие с нашими. Действительно, отказ от компромисса с другим лицом даже ради добрых целей означает конфронтацию интересов, в результате которой этому лицу может быть причинено зло. Это и будет использованием дурных средств ради хорошей цели. Заметим, что даже сама формулировка принципа, предназначенного для оправдания дурных действий, иллюстрирует фундаментальную роль моральных ориентиров в жизни человека, подтверждает, что эти ориентиры «написаны в сердцах». Зло нуждается в оправдании тем, что оно служит добру, но добро в оправданиях не нуждается. Так что даже ложный этический принцип, используемый для демагогического самооправдания перед укорами совести, свидетельствует об абсолютизме приоритета добра над злом.

В политической деятельности часто приходится встречаться с ложными обещаниями политиков перед избирателями, с ложью и обманом как средством решения политических задач. Особой формой лжи является демагогия — раздача от лица политических сил заведомо ложных или невыполнимых обещаний, как это было в знаменитых ленинских декретах о земле и мире. Не случайно политику часто считают грязным делом. Но это не значит, что политические ценности суть ложные ценности. Настоящая политика основана на выборе ценностей, от которых существенно зависят жизненные возможности огромного количества людей. Фаль-

сификация этих ценностей или использование их как средства для обмана — это нарушение моральных законов, разрушающее всю сферу политической жизни, ибо делает невозможной договоренность между людьми и группировками и тем самым исключает компромисс как средство политического решения проблем.

Итак, непосредственно осязаемые жизненные ценности в определенной степени зависят от реализации каких-то политических ценностей, а те в свою очередь нуждаются в опоре на моральные ценности. В конце концов встает вопрос об основании, на котором зиждется незыблемость морального закона. Разумеется, вполне можно сослаться на полезность моральных установлений для обеспечения нормальных условий жизни как в сфере частных отношений, так и в сфере социальных взаимодействий между людьми. Парадокс в том, что если бы моральный закон возник лишь в результате общественного соглашения или в процессе эволюционной адаптации общества, то он не обладал бы той абсолютностью, благодаря которой он способен так эффективно влиять на общество. Естественное происхождение морального закона привело бы к приспособлению диктуемых им норм к конкретно-историческим условиям жизни. Моральные ценности менялись бы тогда в зависимости от обычаев, то есть подчинялись бы обычаям, а не вершили бы суд над обычаями.

Один герой А. П. Чехова не смущался брать взятки, так как был уверен, что их дают из уважения к его моральным качествам. Недавно мне довелось услышать от одного заведующего лабораторией такие слова о своем директоре: «Он не может понять, почему я не ворую. А я не ворую потому, что тогда бы я оказался вором». За годы советской власти чиновники научились воровать фактически бесхозное имущество, не ощущая себя ворами. Демократизация вопреки довольно распространенному представлению не породила воровства чиновников, но сделала его более явным и потому более оскорбительным. Но воры по-прежнему не чувствуют себя ворами. Это изъян общественной морали, а не политической системы. А моральные изъяны не исправляются усилением наказания. Обычай красть страхом не отменить. Единственный путь — ограничить возможности чиновников бесконтрольно распоряжаться имуществом, кредитами, лицензиями и т. п. Собственность — это отнюдь не кража, как уверяли и уверяют господа социалисты. Право собственности, охраняемое законом, — это единственная защита от воровства наряду с осознанием элементарного факта, что всяк крадущий безусловно вор.

Все это должно было бы убедить в правоте Канта, считавшего моральный закон абсолютным и превосходящим любые разумные соображения выгоды или удовольствия. Монотеистические религии утверждают абсолютизм морального закона, рассматривая его не как естественный феномен развития общества, но как неотъемлемую часть Божественного закона. Коммунистическая идеология стремилась вытравить сознание абсолютизма морали, внушая ее зависимость от классовых интересов. Демократии Запада нередко пытаются подменить этот абсолютизм моральным релятивизмом, попыткой приспособить мораль к современной культуре. В обоих случаях речь идет об угрозе самим основам человеческого существования. Для нашего общества жизненно важно не только освободиться от коммунистического поспрапия абсолютизма моральных ценностей, но и противостоять релятивизму демократического толка, четко отделять восстановление капиталистических отношений, основанное на либерализации экономики, от совсем иного явления — либерализации морального закона. Коммунистическая атака на религию и абсолютизм морального закона привела к произволу партии и власти, жестко регулировавших все и вся. Поэтому либерализм моральных норм у нас выглядит как противодействие коммунизму. Во всяком случае, он разрушает царившую псевдомораль. Однако демократический релятивизм — плохая альтернатива релятивизму коммунистическому. (Хотя не надо и забывать, что именно либеральное разрушение казавшихся незыблемыми устоев коммунизма открыло дорогу в храмы всем тем, кто при коммунизме не решался переступить церковную ограду ни в прямом, ни в переносном смысле.)

По существу, Запад и Россия стоят перед общей проблемой восстановления религиозных оснований человеческого бытия, без которых оно обезчеловечивается. Миру сегодня угрожают общие болезни, хотя и проявляющиеся в разнообразных формах. И лекарство от них нужно искать вместе.

3. Абсолютизм истины как основа свободы

5 октября 1993 года папа Иоанн Павел II обратился ко всем епископам Католической Церкви с окружным посланием, посвященным моральному учению Церкви. Как принято традицией, это послание (энциклика) носит название по ее первым словам *veritatis splendor*, что в русском переводе лучше всего передается как «сияние истины». Если попытаться совсем коротко сформулировать основную идею послания, то ее можно было бы выразить так: наличие абсолютной, вечной и неизменной Истины есть основание и условие существования свободы и нравственной жизни человека. Это послание состоит из трех частей.

Первую часть составляет медитация на тему известной евангельской истории (Мф. 19:16—23) о богатом юноше, который спросил Иисуса: «Что сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь вечную?» На это Иисус призвал его соблюдать заповеди и перечислил моральные установления из Декалога, добавив к ним заповедь любви к ближнему, сформулированную в Ветхом Завете (Левит 19:18). Юноша знал эти заповеди, но его волновал вопрос: «Чего еще недостает мне?» Иисус, апеллируя к его свободной воле, отвечает: «Если хочешь быть совершенным, пойди продай имение твое и раздай нищим... и следуй за Мною». Автор энциклики подчеркивает здесь неразрывность морали и веры, свободы и закона. Исполнение морального закона — необходимое начало пути к спасению, но за этим началом должно следовать продолжение — путь за Христом, не отменяющий морального закона, но усиливающий его абсолютизм. Но это не подавление свободы, но ее укрепление через жизнь в Истине.

Вторая часть посвящена анализу современной ситуации в католической теологии и опасности тех распростирающихся в ней течений, которые понимают необходимость внимательно относиться к современным проблемам человека и общества как неизбежность адаптации церковного учения к современным условиям. Так возникают релятивизм и пропорционализм, в которых моральное значение поступка определяется не его содержанием, но сопутствующими обстоятельствами, позволяющими при их достаточной значимости оправдывать (считать если не хорошими, то правильными) действия, традиционно осуждаемые Церковью.

В энциклике подчеркивается несовместимость таких подходов, во многом навеянных естественнонаучным стилем мышления, с церковным учением.

Третья часть посвящена пастырским задачам Церкви — необходимости противостоять размыванию моральных основ, отрыву морали от веры, а свободы от истины. Пример христианских мучеников показывает, что человеку под силу не поддаться даже самым тяжким искушениям и нарушить моральный закон.

На Западе опубликованная энциклика вызвала резкое противодействие сторонников пропорционализма, настаивающих на том, что моральная оценка поступка возможна только в контексте всех сопутствующих обстоятельств. Здесь проявляется типичная для современного Запада тенденция оградить человека от неизбежных конфликтов совести, помочь ему найти комфортный выход из морально щекотливых ситуаций. Несомненно, что обстоятельства часто загоняют человека в ситуации, где любое практическое возможное действие, казалось бы, сопряжено с моральными нарушениями. Но это еще не основание для того, чтобы снижать уровень моральных требований ради душевного комфорта. Позиция психотерапевта, стремящегося облегчить душевный конфликт, заглушая голос совести, по сути, противоположна моральной позиции, которую отстаивает автор энциклики.

В послании предупреждается об опасности представления о свободе как о категории, автономной от Истины, допускающей волюнтаристски, произвольно устанавливать систему ценностей на основе эмпирического опыта той или иной культуры.

Представление о свободе как о ценности, независимой от абсолютной Истины и тем самым от ответственности перед Богом, не совместимо ни с евангельским учением, ни с многовековой богословской традицией.

Тоталитарный строй создал острый дефицит свободы, а его падение — иллюзию возможности ее обрести за счет простого снятия внешних ограничений. Сегодня самое время вспомнить слова Иисуса Христа: «И познаете истину, и истина сделает вас свободным» (Ин. 8:32). Самое страшное в тоталитарном режиме — идеологическое давление, при котором постижение истины требует от каждого человека героических усилий. Этим внешняя несвобода закрепляет несвободу внутреннюю. Коммунистическая пропаганда, поддерживаемая аппаратом власти, сумела заглушить голос Церкви, несущий свет евангельской истины. С падением комму-

нистического режима последствие этой пропаганды отнюдь не кончилось и познание истины остается хотя и возможным, но не столь легким делом. Попытка заменить старую идеологию новой, демократической также не решает проблему. Об этом свидетельствует и опыт западных демократий, где свобода личности рассматривается как нечто автономное, а не ускоренное в Истине. Это далеко от христианского понимания свободы, выраженного в евангельских словах «всякий, делающий грех, есть раб греха» (Ин. 8:34).

Тоталитарная власть стремилась путем запугивания и подкупа сделать всех соучастниками творимых насилий. Но само по себе ее падение еще не освободило нас из рабства. Универсальная болезнь современного общества — размывание морального закона, релятивизм в самом понимании греха. Более того, целый ряд богословских течений в современном христианстве, по сути, пытаются оправдать этот релятивизм, приспособливая требования религии к действующим обычаям той или иной культурной среды.

Об опасности таких богословских и философских течений, существенно искажающих не только христианское воззрение на абсолютизм истины и моральных запретов, но и сущность естественного морального закона, присущего всем людям независимо от их принадлежности к тому или иному вероисповеданию, предупреждает папская энциклика «Сияние истины». Автор энциклики подчеркивает, что само наличие естественного закона отнюдь не свидетельствует о том, что мораль не укоренена в Боге. «Естественный моральный закон есть не что иное, как свет разума, полученный нами от Бога в акте творения». Моральный закон не задается культурой. Человек существует в культуре, но не выражается в ней полностью, он не узник культуры. Поэтому моральный закон не изменяется при изменениях культуры, он только прилагается к иным ситуациям. В послании Иоанна Павла II говорится, что в основе всех происходящих в обществе перемен лежат ценности, не подлежащие перемене. Подлинная свобода человека, обеспечивающая возможность разумного строительства общества, реализуется лишь в слиянии Божественной Истины. В свете этой Истины очевидна всеобщность и универсальность морального закона, который нельзя рассматривать как адаптацию к историческим или культурным условиям, как нечто подчиненное интересам самосохранения человечества и его отдельных групп. Моральный закон есть Божественное установление, а налагаемые им запреты абсолютны, не имеют исключений. Никто не обладает привилегией нарушать закон. Евангелие напоминает, что путь к жизни вечной лежит через исполнение ветхозаветных заповедей: не убий; не прелюбодействуй; не кради; не лжесвидетельствуй; почитай отца и мать; люби ближнего твоего как самого себя (Мф. 19:18).

Каждый человеческий поступок есть моральный акт, меняющий не только внешний, но и внутренний духовный облик человека. Папа апеллирует к словам святого Григория Нисского: «Мы становимся собственными родителями».

Существует важная разница в отношении к позитивным и негативным указаниям морали. Первые следует благоразумно оценивать, насколько они применимы в данной ситуации, каковы предвидимые последствия соответствующего действия и не упустим ли мы при этом более важные обязанности. В противоположность этому моральные запреты абсолютны, любое их нарушение есть грех — отпадение от Бога. Присущая человеку совесть сигнализирует о соблазне совершить непоправимое зло и терзает за уже совершенное. В папском послании совесть характеризуется как единственный свидетель верности или неверности закону. Это свидетельство самого Бога, действующего в человеке изнутри, а не с помощью внешнего принуждения.

Совесть прилагает закон к конкретной ситуации, в которой находится человек, и формулирует, в чем состоит моральный долг, то есть делает закон внутренним правилом. Совесть делает явной связь свободы с истиной. (Именно поэтому иллюзорная свобода побуждает человека заглушить в себе голос совести. Гитлер объявил совесть химерой, а коммунисты объявили «совестью эпохи» собственную партию.) Послание предупреждает о возможных ошибках совести, когда человек не заботится о поисках истины и добра. Источник верной совести — объективная истина. Зло по неведению еще не делает человека грешником, но остается злом. Мы несем ответственность за неизвестную нам вину, поскольку не хотим достигнуть света, но ориентируемся на предрассудки эпохи. В то же время апостол Павел предупреждает: «...не сообразуйтесь с веком сим» (Римл. 12:2). Мы обязаны четко пони-

мать, что свобода совести не может быть свободой от Истины. Папское послание подчеркивает роль человеческого разума в познании добра, но призывает не обольщаться автономностью разума, который, будучи предоставлен самому себе, способен привести человека к трагическим ошибкам. Добро познается как через природный разум человека, так и — целостно и совершенно — через сверхъестественное откровение Бога.

Моральное поведение человека глубоко целенаправленно. Моральный добрый поступок — это свободный выбор, согласующийся с истинным добром, выражающий подчинение человека финальной цели — самому Богу. (Заметим, что вне истинного добра нет и истинной свободы, но лишь подчинение злым стремлениям.) Добровольное стремление к добру, познанному разумом, — вот основа моральности человека.

Христос явил собой живой пример совершенной свободы в полном послушании воле Отца. Отрыв свободы от Истины превращает свободу в морально опасную иллюзию, способную санкционировать любое зло. Еще более опасен разрыв между религией и моралью. Секуляризация современного общества привела к тому, что даже многие люди, считающие себя верующими христианами, живут так, как будто Бога не существует. Поведение христиан в дехристианизированной культуре часто оказывается чуждым Евангелию. Папа призывает всех христиан заново открыть новизну своей веры, осознать, что эта вера не сводится к формальному следованию некоторому набору рациональных положений, но является Истиной, которой следует жить. Для христианина вера — это решение, которое ангажирует всю экзистенцию человека, это встреча, диалог и общение в любви с Христом. Добавим, что христианская вера учит видеть в каждом человеке образ и подобие Бога, дающие ему способность жить в соответствии с естественным моральным законом.

Автор послания подчеркивает моральную размерность веры, через которую она становится свидетельством подлинно христианской жизни. Высокие моральные требования христианства нисколько не нарушают личной свободы человека. Наоборот, упорство в отстаивании универсальности и неизменности моральных норм служит настоящей свободе личности. Категорическая защита требований, вытекающих из личного достоинства человека, есть путь к свободе и условие самого ее существования.

Эти нормы образуют фундамент и гарантию справедливого и мирного сосуществования людей, а тем самым истинной демократии. Именно потому, что мораль невозможно приспособлять к запросам текущей жизни, она порождает элементарные принципы общественной жизни, которые составляют основу определенных требований к власти и гражданам. Никакие добрые намерения или трудные обстоятельства не дают права нарушать фундаментальные права личности. Только безусловная мораль, обязательная для всех и всегда, может составить этический фундамент общества.

Думается, что этот новейший томистский опыт рационального анализа бытования и искажений в современном мире основ христианской этики (как и опыт западного богословия в целом), обогащенный православной духовной традицией, мог бы стать общим достоянием Апостольской Церкви — одним из возможных оснований ее чаемого единства в Истине.

В мире, где все расширяются проявления социальной несправедливости, политической коррупции, пренебрежения к основным правам людей и народов, необходимо радикальное моральное обновление. В основе этого лежат вопросы, связанные с культурой, то есть с определенными взглядами на человека, общество и мир. Важно понимать, говорится в энциклике, что в основе всякой «культурной проблемы» лежит ее моральный смысл, несущий в себе религиозное содержание. Только Бог есть основа и незаменимое условие общественной морали — прежде всего абсолютных запретов любых действий, нарушающих достоинство любого человека, Им сотворенного и искупленного.

Все сказанное выше имеет несомненное значение для всех людей доброй воли. Именно эти проблемы мы вынуждены решать и осмыслять применительно к сложным условиям посттоталитарного общества, еще только нащупывающего выходы из тяжелой тьмы прошлого, еще только пытающегося осознать, что такое свобода, законность, права человека и обязанности правителей. Папское послание от 5 октября 1993 года не выдвигает никаких новых догматов или вероучительных истин, но обращает наше внимание на стоящие проблемы и необходимость отчетливо понимать смысл тех фундаментальных категорий, в которых мы осознаем свое

существование. Понимать их в свете евангельской истины и святоотеческой традиции. Это послание не может не найти отклика в душе всех людей доброй воли, независимо от их конфессиональной принадлежности. Оно является призывом увидеть собственную жизнь в лучах Вечной Истины.

4. Ловушки «обезьяньей лапы»

Есть старая история про высушенную обезьянью лапу, выполняющую три желания ее обладателя. Ловушка заключается в том, что очередной обладатель не в состоянии предвидеть, каким образом она исполнит его желание. Скажем, он просит денег, а ему сообщают, что только что погиб его единственный сын, за смерть которого ему причитается компенсация. Он просит лапу вернуть сына, а к нему является привидение. Последнее желание владелец лапы тратит на просьбу о том, чтобы привидение исчезло.

Политики часто предлагают «волшебные» средства, сулящие быстрые и радикальные решения проблем, волнующих общество. Те, кто готов принять эти средства за чистую монету, попадают тем самым в очередную ловушку «обезьяньей лапы». Эта готовность есть следствие магического сознания, свойственного домонотеистическим религиям, а также ересям гностического толка. Магизм предполагает возможность «рукотворного чуда», способного кардинально изменить сложившуюся ситуацию. Гностицизм приписывает дьявольским силам могущественное влияние на судьбы мира и тем самым предполагает возможность апелляции к этим силам как обладающим возможностью резко исправить положение. (Такое сознание, например, ярко выражено в романе М. Булгакова «Мастер и Маргарита», где Воланд волшебным образом устраивает судьбу героев, восстанавливая справедливость. Правда, из романа можно понять, что и тут не обошлось без «обезьяньей лапы», ибо посланец Воланда убивает главных героев, а Ивана Бездомного сводит с ума.)

Такие ловушки рассчитаны на наивные надежды «купить на грош пятаков», получить от могущественного волшебника меч-кладенец или скатерть-самобранку, снимающие с человека ответственность за собственную судьбу и все происходящее в мире. Даже свобода, полученная не за счет личных усилий и благодатной помощи свыше, но как внешнее освобождение от рабства, способна превратиться в ловушку

Ловушкой оказывается и любая попытка вернуть общество к некоей исходной точке истории, которая в ретроспективе видится как утраченный идеал. Идеал никогда в истории не достигался, а периоды жизни нашего отечества, сегодня закономерно вызывающие ностальгию по «России, которую мы потеряли», несли в себе прорастающие зерна последовавших бед. Нет никаких гарантий того, что, возвратившись в прошлое, мы сумели бы предотвратить все катастрофы, происшедшие потом. А главное — возвратиться в прошлое, которое из будущего видится как золотой век, столь же невозможно, как рыцарю Печального Образа из Ламанчи возвратиться в золотую эпоху странствующих рыцарей. Восстанавливать можно и нужно подлинные ценности прошлого, цену которым мы сегодня видим лучше, чем современники, но то, как ориентация на эти ценности повлияет на настоящее, мы не можем предвидеть сколько-нибудь зримо.

Экономические трудности, необходимость в гораздо большей степени самим строить свой жизненный путь при ограниченном запасе возможностей способствуют ностальгии по коммунистическим временам, несмотря на то, что именно коммунистический строй до основания разрушил ту самую прежнюю Россию и привел к деградации нашей культуры и к подавлению Церкви. Попытки восстановить частную собственность и торговлю оказались достаточно эффективными, чтобы уже показать жесткую сторону рыночных отношений, но недостаточны, чтобы большинство народа ощутило тенденцию к оздоровлению экономики. Однако объяснение того, что ощущаемые сегодня несправедливости были вызваны отходом от «заветов дедушки Ленина», очень похоже на то, как язычники приписывали утерю могущества Римской империи забвению древних богов. «До тех пор, пока римляне почитали Юпитера, заявляли они, Рим оставался могущественным, ныне же, когда императоры отвернулись от Юпитера, он перестал защищать своих римлян»⁶ На самом же деле язычество в качестве государственной религии разложило Рим, а

⁶ Рассел Б. История западной философии. М. 1959, стр. 371

христианство не могло залечить сразу застарелую болезнь. Впрочем, останься Рим языческим, он не смог бы цивилизовать и ассимилировать пришедшие орды варваров, дав им свой язык, и остаться надолго культурным центром мира. Равно также нынешние беды объясняются не отказом от коммунизма, ибо коммунистический путь установления равенства и справедливости неминуемо ведет к массовым лагерям и террору, к уничтожению христианских ценностей и духовной жизни в ообщее. Поэтому с коммунистической идеологией не может быть никакого компромисса. Именно коммунистической строй привел к тому, что мы утратили способность компромисса, утратили отношение к компромиссу как фундаментальной моральной ценности. Сегодня эту ценность приходится мучительно восстанавливать, чтобы наше общество стало способным к конструктивному взаимодействию.

Есть некая опасность и в том, что для многих, заново обращающихся к христианским ценностям, религия есть лишь идеологический инструмент укрепления государства. Опасно путать религиозные и политические ценности, рассматривать Церковь как политическое средство. Церковь Христова не средство, а цель, не носитель идеологии, а дом, где присутствует живой Иисус, Его живое тело. В противном случае Церкви грозило бы омертвление, превращение в механизм манипулирования людьми. Сращивание Церкви с государственной структурой всегда было губительно для нее самой, ибо заставляло идти на компромиссы в духовной и моральной сфере.

Очередной ловушкой «обезьяньей лапы» оказываются и обещания иных политиков решать житейские и социальные проблемы на чисто национальной основе, ставя интересы нации над интересами народа. В то время как народ — это объединяющее единство людей в совместном устройстве жизни, членение на отдельные нации — это возвращение к архаическому родовому началу. Народ формируется как сложный конгломерат этнических групп, объединенных культурной и государственной общностью, способный добиваться реализации совместных интересов. Ориентировка на национальный принцип организации общества усиливает национальное раздробление и порождает национальные конфликты, равно опасные для существования как основных национальных групп, так и меньшинств. Национализм является препятствием к религиозному единению. Нынешняя политическая нестабильность на окраинах бывшего СССР порождена неумением найти приемлемые компромиссы между узконациональными интересами. Аналогичные опасности, чреватые разрастанием национальных конфликтов, грозят самому существованию России.

Только религиозное просвещение может удержать нас от соблазна использовать для решения наших проблем магические средства и избежать ловушек, подобных выше описанным. Осознанный монотеизм несовместим с магическими средствами решения каких бы то ни было проблем. Единственный способ избежать попадания в такого рода ловушки состоит в том, чтобы ясно понимать: «обезьянья лапа» обязательно готовит нам западню и ее услугами ни при каких обстоятельствах не следует пользоваться. Большевики и нацисты сумели захватить власть потому, что прежде всего прельстили большинство духовно непросвещенных, духовно инертных людей обещаниями и посулами немедленного и всеобщего благоденствия. Только духовное просвещение могло бы помочь людям разобраться, что предлагаемые этими силами «чудодейственные» средства преобразования общества в «рай на земле» идут не от Бога, а от дьявольских сил, которые потребуют соответствующую цену за все свои обещания. Характерная черта ловушки — кажущаяся простота и легкость предлагаемых путей, обещания немедленной раздачи «бесплатных пирожных». Нам всегда должна настораживать сама легкость получения обещанного вознаграждения, превышающего всякую разумную цену за вложенный труд. Это значит, что кто-то пытается купить не наш труд, а нашу душу. А на этот товар есть в конечном счете лишь один покупатель. Поэтому избежать ловушек подобного рода может только тот, для кого спасение души есть абсолютная ценность, которой нельзя поступиться ни при каких условиях и ни за какое вознаграждение.



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

Н. Н. ПОКРОВСКИЙ



ПОЛИТБЮРО И ЦЕРКОВЬ. 1922—1923

Три архивных дела

Сегодня историки, кажется, почти утратили доверие нынешнего российского общества. Их упрекают в том, что сейчас они говорят прямо противоположное тому, что говорили совсем недавно, или, напротив, в том, что они продолжают упрямо талдычить то, о чем говорили вчера. И надо сказать, в этих упреках есть немалая доля истины. Так что следует подумать о том, какими путями выходить из кризиса в исторической науке. Я полагаю, что главная проблема здесь состоит в том, что за десятилетия советского режима, создавая мифологизированную историю нашего общества, коммунистическая власть изрядно постаралась, уничтожая именно те сферы гуманитарного знания, в частности историко-филологического, которые теснее всего связаны с реальным фактом, реальным документом, реальным источником. (Недаром крупнейший академическим процессом, с которого начались многие неприятности в нашей науке, был процесс 1929 — 1930 годов над группой историков-архивистов.) Были разгромлены знаменитые русские гуманитарные школы. И все-таки кое-что уцелело. Традиция изучения исторического источника, традиция создания объективных методик извлечения из этого источника правды о реальной действительности, по счастью, не совсем исчезли в нашей стране. И сейчас, на мой взгляд, самое главное — возродить именно источниковедение как основу не только специальных исторических дисциплин, но гуманитарных знаний вообще. То есть заняться в первую очередь не сменой одних абстрактных, оторванных от фактов концепций на другие, но работой по публикации возможно более широкого массива источников, особенно тех, которые оставались раньше в тени или не были вообще известны.

Мы еще мало осознаем, что в самое последнее время в источниковом обеспечении нашей истории произошел сдвиг удивительных масштабов. Если раньше во всех доступных архивах РФ хранилось несколько меньше 100 миллионов дел, то огромный массив документов, пришедших из ранее засекреченных архивов в течение последних месяцев, умножил это число до 240 миллионов.

Сегодня время издавать источники, издавать во всей их полноте, слово в слово, буква в букву.

Кое-что в этом направлении уже делается. Сенсационные газетные и журнальные публикации ранее секретных источников становятся делом привычным, но не о них сейчас речь. Приходит время солидных, спокойных, академических изданий, беспристрастных и даже несколько сухих. Архивисты и историки, возродив закрытый в свое время по приказу Политбюро журнал «Исторический архив», начали работу над многотомными сериями документальных публикаций. О двух таких планах мне довелось рассказать на заседании президиума Российской академии наук летом 1992 года — о многотомных сериях «История Сибири. Первоисточники» и «Архивы Кремля». Первая уже начала выходить. Некоторые материалы первого тома «Архивов Кремля» и предлагаются сейчас вниманию читателей «Нового мира». Том этот (работа над ним почти завершена) посвящен проблеме руководящей роли Политбюро РКП(б) в широкомасштабной попытке разрома Русской Православной Церкви, которая была предпринята вождями партии и правительства в 1922 — 1923 годах. В основу издания положены материалы делопроизводства Политбюро ЦК РКП(б), хранящиеся в фонде этого учреждения (ф. 3) в Архиве президента России. При осуществлении издания были приняты следующие принципы:

- 1) издавать все дела фонда, посвященные данной проблеме;
- 2) публиковать все документы каждого дела;
- 3) тексты издавать буква в букву, не допуская стилистической и иной правки, что, как оказалось, нередко делалось в советских изданиях.

Следующий том серии будет посвящен отношению руководства партии к интеллигенции и другим партиям, еще сохранявшим в начале 20-х годов статус легальных.

Передо мной на столе три дела фонда Политбюро ЦК РКП(б) Архива президента России (ф. 3, оп. 60, № 23 — 25), более 200 листов документов. Дела умело подобраны тематически и посвящены трем взаимосвязанным аспектам проблемы отношений большевиков с различными религиозными конфессиями, в первую очередь с Русской Православной Церковью. И уже на стадии предварительного знакомства с внутренними описями документов этих дел, составленными в архиве, сталкиваешься с первым важным фактом. Оказывается, церковные дела в 1922 году привлекали самое пристальное внимание главной директивной инстанции страны. Весной и летом того года они стояли в повестке дня многих заседаний Политбюро, подчас по два-три раза в неделю, то есть практически на каждом заседании.

Я напомним, что это было за время. Только что начался нэп, большевики, казалось бы, отказались от некоторых наиболее утопических и губительных для экономики страны фантазий, от попыток создать народное хозяйство вообще без денег и рынка. Началось оживление экономики, но во второй половине 1921 года страшный голод обрушился на страну. Голод, во многом связанный с разрушительной, жесточайшей гражданской войной, с коммунистическими экспериментами в экономике, с кровавым подавлением крестьянских волнений в самых хлебных районах страны.

Уже во второй половине 1921 года, когда выявились масштабы бедствия, для оказания помощи голодающим начали организовываться силы благотворительности как в самой России, так и за рубежом. Церковь еще летом провозгласила сбор средств для этой цели. (Имелись в виду, конечно, добровольные пожертвования, а не принудительные изъятия.) 9 декабря 1921 года Президиум ВЦИК разрешил религиозным организациям заниматься сбором пожертвований в помощь голодающим под руководством созданной для этой цели особой комиссии, призванной координировать усилия государственных органов и общественных организаций (Помгол). Несмотря на экстренность ситуации, в столичных коридорах советской власти больше двух месяцев разрабатывали хитроумные бюрократические правила, определяющие условия, на которых Русская Православная Церковь могла быть допущена к этой работе. Лишь 1 февраля 1922 года было утверждено соответствующее положение. 14 февраля последовало воззвание патриарха Тихона, который призывал православные церковные общины жертвовать ценности в пользу голодающих, включая церковные предметы, не имеющие прямого богослужебного назначения.

Казалось, была создана основа для делового сотрудничества советской власти и Церкви в поистине святом деле спасения миллионов голодающих. Но 23 февраля 1922 года в позиции власти происходит крутой перелом. (Вообще-то не столь уж и крутой, если принять во внимание все коварство и цинизм, изначально присущие большевикам.) Высшая законодательная власть страны, ВЦИК, принимает декрет о насильственном изъятии церковных ценностей якобы в пользу голодающих. Этим декретом предшествующие компромиссные документы практически аннулировались. Новая линия состояла в том, чтобы использовать отчаянную ситуацию голода не для сотрудничества с Церковью, а для организации ее разгрома.

Три издаваемых в «Архивах Кремля» дела как раз и посвящены усердной каждодневной работе главного боевого штаба Российской коммунистической партии (большевиков) по руководству этим разгромом. Три дела четко отражают аспекты этого руководства: собственно изъятие (разгром церквей), судебные репрессии (директивы партии по организации расстрельных дел) и, наконец, ставшее особой проблемой судебное дело патриарха Тихона.

Следов обсуждения проблемы церковных ценностей в Политбюро в феврале — начале марта 1922 года в наших трех делах нет. Дело № 23 об изъятии церковных ценностей открывается следующим постановлением Политбюро:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б) № 111, П. 39

от 13 марта 1922 г.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

Опросом членов ПБ от 11.III.22 г....39. — Утверждение комиссии по изъятию ценностей из Московских церквей.

Утвердить комиссию в составе т.т. Сапронова — председатель, члены т.т. Уншлихт (заместитель) — Медведь. Самойловой-Землячки и Галкина.

Секретарь ЦК.

Это постановление реализует идеи записки Л. Д. Троцкого от 9 — 10 марта 1922 года, направленной «членам Политбюро т.т. Ленину, Молотову, Каменеву, Сталину» (л. 2). Троцкий обеспокоен сохранением жесткого партийного руководства всем делом изъятия. Такое руководство ранее осуществляла особая секретная комиссия во главе с Троцким, с включением руководителей ГПУ, прокуратуры. Но ВЦИК, издавший декрет от 23 февраля 1922 года, создал свои комиссии «из представителей Помгола, председателей Губисполкомов и Губфинотделов». Политбюро утвердило предложение Троцкого «о необходимости образования в Москве секретной ударной комиссии», которая «должна в секретном порядке подготовить одновременно политическую, организационную и техническую сторону дела. Фактическое изъятие должно начаться еще в марте месяце и затем закончиться в кратчайший срок». Все органы советской власти, включая Президиум ВЦИК и Президиум Моссовета, а также Помгол, должны были признавать эту секретную комиссию «как единственную в этом деле и всячески ей помогать». Но при этом «формальное изъятие в Москве будет идти непосредственно от ЦК Помгола, где т. Софронов будет иметь свои приемные часы». Партия большевиков с увлечением опять занимается конспирацией, засекречивает от народа реальные органы руководства делом изъятия.

Проходит несколько дней, и Политбюро опять возвращается к церковной проблеме.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б) № 111, П. 33

от 13 марта 1922 г.

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

33. — О временном допущении «советской» части духовенства в органы Помгола в связи с изъятием ценностей из церквей
(Предл. т. Троцкого).

Согласиться с предложением тов. Троцкого.

Секретарь ЦК.

Это краткое постановление фиксирует важный новый поворот в деле. Политбюро, как покажут дальнейшие события, приходит к выводу о желательности стимулирования церковного раскола. Сложное и неоднозначное движение за обновление православного церковного быта, зародившееся в недрах Церкви еще в годы первой русской революции, будет грубо, «без сантиментов» направлено рукою ГПУ в полезное партии русло. Партия перед трудным выбором: одним махом ликвидировать в огромной крестьянской стране веру и Церковь или же создать и поддерживать на определенных условиях «советское духовенство», чтобы, расколов Церковь, вернее справиться с ней. В марте 1922 года Ленин будет склоняться к первому решению (лл. 20 — 23), Троцкий же срочно создаст «историко-философскую теоретическую базу» в пользу второго варианта. Забегая несколько вперед, полностью приведем одну из имеющихся в деле подробных теоретических разработок Л. Д. Троцким этой проблемы (лл. 73 — 74):

ЗАПИСКА Л. Д. ТРОЦКОГО О ПОЛИТИКЕ ПО ОТНОШЕНИЮ К ЦЕРКВИ

30 марта 1922 г

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

В ПОЛИТБЮРО

1 Октябрьская Революция докатилась до церкви только теперь. Причины идейная слабость церкви и ее сервиллизм. Переход от «самодержавного» к «благоверному временному правительству». При переходе к советской власти отделение церкви от государства помогло безхребетной церковной иерархии приспособляться и отмалчиваться. Но несомненно, что за время советской власти церковная иерархия, чувствуя себя «гонимой» (потому что непривилегированной), готовилась и готовится воспользоваться благоприятным моментом. Вокруг нее определенные контрреволюционные кадры и политическое влияние через посредство религиозного влияния.

2. Европейская церковь прошла через стадию реформации. Что такое реформация? Приспособление церкви к потребностям буржуазного общества. Ему предшествовали секты среди ремесленников и крестьян. Секта — это религиозная партизанщина крестьянства и мелкой буржуазии вообще. Буржуазия подняла секты до уровня реформации, обуржуазив религию и церковь, и тем придала ей больше жизненности и устойчивости (Англия).

3. У нас оппозиция против церковной казенщины дальше сект не шла. Буржуазия была слишком ничтожна, чтобы создать реформацию (как режим демократии). Интеллигенция чудила в религиозной области — каждый по-своему. Церковь оставалась формальной, бюрократической и, как сказано, вставила в свой ритуал вместо «самодержавнейшего» — «благоверное временное правительство»

4. Таким образом, церковь, вся пропитанная крепостническими, бюрократическими тенденциями, не успевшая проделать буржуазной реформации, стоит сейчас лицом к лицу с пролетарской революцией. Какова же сможет быть ее дальнейшая судьба? Намечаются два течения: явно, открыто контрреволюционное с черносотенно-монархической идеологией и — «советское». Идеология «советского» духовенства, по-видимому, вроде сменовеховской, т. е. буржуазно-соглашательская.

5. Если бы медленно определяющееся буржуазно-соглашательское сменовеховское крыло церкви развилось и укрепилось, то она стала бы для социалистической революции гораздо опаснее церкви в ее нынешнем виде. Ибо, принимая покровительственную «советскую» окраску, «передовое» духовенство открывает себе тем самым возможность проникновения и в те передовые слои трудящихся, которые составляют или должны составить нашу опору.

6. Поэтому сменовеховское духовенство надлежит рассматривать как опаснейшего врага завтрашнего дня. Но именно завтрашнего. Сегодня же надо повалить контр-революционную часть церковников, в руках коих фактическое управление церковью. В этой борьбе мы должны опереться на сменовеховское духовенство, не ангажируясь политически, а тем более принципиально. (Позорные передовые статьи в партийных газетах о том, что «богородице приятнее молитвы накормленных детишек, чем мертвые камни», и пр.)

7 Чем более решительный, резкий, бурный и насильственный характер примет разрыв сменовеховского крыла с черносотенным, тем выгоднее будет наша позиция. Как сказано, под «советским» знаменем совершаются попытки буржуазной реформации православной церкви. Чтобы этой запоздалой реформации совершиться, ей нужно время. Вот этого-то времени мы ей не дадим, форсируя события, не давая сменовеховским вождям очухаться.

8. Кампания по поводу голода для этого крайне выгодна, ибо заостряет все вопросы на судьбе церковных сокровищ. Мы должны, во-первых, заставить сменовеховских попов целиком и открыто связать свою судьбу с вопросом об изъятии ценностей; во-вторых, заставить довести их эту кампанию внутри церкви до полного организационного разрыва с черносотенной иерархией, до собственного нового собора и новых выборов иерархии.

9. Во время этой кампании мы должны сменовеховским попам дать возможность открыто высказываться в определенном духе. Нет более бешеного ругателя как оппозиционный поп. Уже сейчас некоторые из них в наших газетах обличают епископов поименно в содомских грехах и пр. Думаю, что следует разрешить им и даже внушить им необходимость собственного органа, скажем, еженедельника для подготовки созыва собора в определенный срок. Мы получим, таким образом, неограниченный агитационный материал. Может быть, даже удастся поставить несколько таких изданий в разных концах страны. Мы до завершения изъятия сосредоточиваемся исключительно на этой практической задаче, которую ведем по-прежнему исключительно под углом зрения помощи голодающим. Попутно расправляемся вечекистскими способами с контр-революционными попами, ответственными за Шую, и пр.

10. К моменту созыва собора нам надо подготовить теоретическую и пропагандистскую кампанию против обновленной церкви. Просто перескочить через буржуазную реформацию церкви не удастся. Надо, стало быть, превратить ее в выкидыш. А для этого надо прежде всего вооружить партию историко-теоретическим пониманием судеб православной церкви и ее взаимоотношений с государством, классами и пролетарской революцией.

11. Надо уже сейчас заказать одну программно-теоретическую брошюру, может быть с привлечением к этому делу М. Н. Покровского, если у него есть малейшая возможность.

30/III 22.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ ДЛЯ СОВЕЩАНИЯ СЕКРЕТАРЕЙ ГУБПАРТКОМОВ И ПРЕДГУБИСПОЛКОМОВ

1. Провести агиткампанию в самом широком масштабе. Устранить как слезливое благочестие, так и глумление.
2. Расколоть духовенство.
3. Изъять ценности как следует быть. Если было допущено попустительство, исправить.
4. Расправиться с черносотенными попами.
5. Побудить определиться и открыто выступить сменовеховских попов. Взять их на учет. Неофициально поддерживать.
6. Теоретически и политически подготовиться ко второй кампании. Выделить для этого одного партийного «спеца» по делам церкви.

Л. Троцкий.

Вклад Л. Д. Троцкого в марксистскую теорию и практику датирован, как мы видим, 30 марта 1922 года, но несомненно, что уже постановление Политбюро от 13 марта основано на сходных идеях. Однако до полной реализации этих идей ситуация прошла еще через несколько острых поворотных пунктов. Один из них зафиксирован в шифротелеграмме, поступившей в ЦК 18 марта из Иваново-Вознесенска:

**ШИФРОТЕЛЕГРАММА СЕКРЕТАРЯ ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКОГО
ГУБКОМА РКП(б) КОРОТКОВА**

17 марта 1922 г.

Поступила для расшифровки
18/III 1922 г. в 11 час. 30 мин.

МОСКВА, ЦК РКП.

17/3-22 года. Губком сообщает, что в Шуе 15 Марта в связи с изъятием церковных ценностей под влиянием попов монархистов и с.р.* возбужденной толпой было произведено нападение на милицию и взвод красноармейцев. Часть красноармейцев была разоружена демонстрацией. Из пулеметов и винтовок частями ЧОН и красноармейцами 146 полка толпа была разогнана, в результате 5 убитых и 15 раненых зарегистрировано больницей. Из них убит Помотделения Красных Кавалеров красноармеец. В 11 с половиной часов 15 Марта на этой же почве встали 2 фабрики. К вечеру в городе установлен порядок. 16-го утром, как обычно, рабочие фабрик приступили к работе. Настроение обывателей и части рабочих подавленное, но не возбужденное. Губисполком выделил специальную Комиссию для расследования событий. Подробности письмом.

Секретарь губкома Коротков.

* Исправлено по смыслу, в документе — «т. с. р.».

Сведения об убитом красноармейце впоследствии окажутся неправильными — он был избит, а не убит. Но к тому времени, когда это выяснится, Политбюро примет жесткие решения. В Шую будет послана специальная комиссия «для расследования», в составе которой туда прибудет и командующий войсками Московского гарнизона Н. И. Муралов (лл. 15, 24). Партия займется организацией репрессий в Шуе (результаты этой деятельности будут отражены в деле № 24). Но одновременно Политбюро отправит директиву на места (л. 19) отсрочить в связи с событиями в Шуе начало активных действий по изъятию церковных ценностей, ограничившись пока лишь пропагандистской кампанией.

Впрочем, это последнее более осторожное решение будет частично дезавуировано уже в день отправки таких телеграмм самим «вождем мирового пролетариата». 19 марта 1922 года В. И. Ленин сочтет приостановку изъятия ошибкой, хотя при этом заметит, что сама отправка телеграмм может оказаться полезной, «ибо посетит у противника представление, будто мы колеблемся, будто ему удалось нас запугать» (л. 22).

Последние строки взяты из документа, ставшего теперь знаменитым. Это сверхсекретное письмо Ленина, снабженное кроме обычного грифа «строго секретно» особым категорическим его указанием «ни в каком случае копий не снимать», было издано по одной из снятых все же копий в 1970 году за рубежом, в «Вестнике Русского Студенческого Христианского Движения» (1970, № 4, стр. 54 — 57) и в «Русской мысли», а с 1990 года неоднократно переиздавалось в нашей стране. В деле № 23 (оп. 60 фонда Политбюро) находится другая копия этого дела. Хотя различные цитаты из этого письма в публицистике последних лет многократно использовались для самых разных политических целей, документ этот настолько важен для уяснения логики принятия решений в Политбюро, что ниже я привожу несколько выписок из него (лл. 20 — 23):

ИЗ ПИСЬМА В. И. ЛЕНИНА ЧЛЕНАМ ПОЛИТБЮРО

17 марта 1922 г.

Товарищу Молотову.
Для членов Политбюро.

СТРОГО СЕКРЕТНО
Просьба ни в каком случае
копий не снимать, а каждому
члену Политбюро (тов.
Калинину тоже) делать свои
заметки на самом документе.
Ленин.

...Именно теперь и только теперь, когда в голодных местностях едят людей и на дорогах валяются сотни, если не тысячи трупов, мы можем (и поэтому должны) провести изъятие церковных ценностей с самой бешеной и беспощадной энергией и не останавливаясь подавлением какого угодно сопротивления. Именно теперь и только теперь громадное большинство крестьянской массы будет либо за нас, либо во всяком случае будет не в состоянии поддержать сколько-нибудь решительно ту горстку черносотенного духовенства и реакционного городского мещанства, которые могут и хотят испытать политику насильственного сопротивления советскому декрету.

Нам во что бы то ни стало необходимо провести изъятие церковных ценностей самым решительным и самым быстрым образом, чем мы можем обеспечить себе фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей (надо вспомнить гигантские богатства некоторых монастырей и лавр). Без этого фонда никакая государственная работа вообще, никакое хозяйственное строительство в частности и никакое отстаивание своей позиции в Генуе в особенности совершенно немыслимы. Взять в свои руки этот фонд в несколько сотен миллионов золотых рублей (а может быть, и в несколько миллиардов) мы должны во что бы то ни стало. А сделать это с успехом можно только теперь. Все соображения указывают на то, что позже сделать нам это не удастся, ибо никакой иной момент, кроме отчаянного голода, не даст нам такого настроения широких крестьянских масс, который бы либо обеспечивал нам сочувствие этой массы, либо, по крайней мере, обеспечил бы нам нейтрализирование этих масс в том смысле, что победа в борьбе с изъятием ценностей останется безусловно и полностью на нашей стороне...

Поэтому я прихожу к безусловному выводу, что мы должны именно теперь дать самое решительное и беспощадное сражение черносотенному духовенству и подавить его сопротивление с такой жестокостью, чтобы они не забыли этого в течение нескольких десятилетий. Самую кампанию проведения этого плана я представляю себе следующим образом:

Официально выступить с какими то ни было мероприятиями должен только тов. Калинин, — никогда и ни в каком случае не должен выступать ни в печати, ни иным образом перед публикой тов. Троцкий.

...Самого патриарха Тихона, я думаю, целесообразно нам не трогать, хотя он несомненно стоит во главе всего этого мятежа рабовладельцев. Относительно него надо дать секретную директиву Госполитупру, чтобы все связи этого деятеля были как можно точнее и подробнее наблюдаемы и вскрываемы, именно в данный момент. Обязать Дзержинского и Уншлихта лично сделать об этом доклад в Политбюро еженедельно.

...Чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии удастся нам по этому поводу разстрелять, тем лучше. Надо именно теперь прочесть эту публику так, чтобы на несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и думать...

Ленин.

19.III.22.

Письмо Ленина было приурочено к заседанию Политбюро 20 марта, на котором рассматривались события в Шуе, утверждались решения, принятые по этому поводу опросом членов Политбюро еще 18 марта. На этом заседании было утверждено еще одно постановление Политбюро по вопросу об изъятии церковных ценностей, также принятое опросом 18 марта. В нем по предложению Троцкого доводилось до логического совершенства решение той проблемы, которая открывала все дело № 23, — проблемы жесткого партийного руководства комиссиями по изъятию церковных ценностей. Творчески разрабатывая идеи, заложенные уже в постановлении от 11 — 13 марта, Политбюро принимает теперь написанную Троцким детальную схему создания сети секретных комиссий в центре и на местах:

«1. В центре и в губерниях создать секретные руководящие комиссии по изъятию ценностей по типу московской комиссии Сафронова — Уншлихта. Во все эти комиссии должен непременно входить либо секретарь Губкома, либо заведующий агит.-пропотделом...

3. В губернских городах в состав комиссии привлекается комиссар дивизии, бригады или начальник политотдела».

Центральная «ударная» комиссия при этом была несколько расширена, а председателем ее был назначен М. И. Калинин, председатель высшего легального органа советской власти — Президиума ВЦИК. Так реализовалось предложение Ленина использовать имя Калинина в качестве ширмы, прикрывающей реальное самовластие партии и ГПУ.

Следующий пункт этой схемы был посвящен оформлению придумки Ленина и Троцкого о создании целой сети подобных ширм из официальных советских органов:

«4. Наряду с этими секретными подготовительными комиссиями имеются официальные комиссии или столы при комитетах помощи голодающим для формальной приемки ценностей, переговоров с группами верующих и пр. ...Строго соблюдать, чтобы национальный состав этих официальных комиссий не давал повода для шовинистической агитации».

Далее документ детально разрабатывал методы организации агитации, ставил задачу «внести раскол в духовенство, проявляя в этом отношении решительную инициативу, взяв под защиту государственной власти священников, которые открыто выступают в пользу изъятия». Рекомендовалось проведение манифестаций «с участием гарнизона при оружии в защиту изъятия церковных ценностей» и оказание давления на «видных попов» через губполитотделы.

Документом предусматривалось, что если верующие захотят выкупить изымаемые церковные ценности, обменяв их на свои личные золото или зерно, то переговоры об этом следует вести, ни в коем случае не прекращая самих изъятий ценностей из церквей. Одновременно Политбюро требовало провести всю кампанию по изъятию в кратчайшие сроки (лл. 17 — 18).

Таков был ответ Политбюро на события в Шуе. Но события эти были первым, однако далеко не последним актом протеста верующих. Многочисленнейшие протесты эти довольно слабо отражены в деле. В него включены подобные сообщения из Калуги, Ростова-на-Дону, Смоленска. Приводим для примера лишь смоленскую телеграмму (л. 27):

ШИФРОТЕЛЕГРАММА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СМОЛЕНСКОГО ГУБИСПОЛКОМА БУЛАТОВА

17 марта 1922 г.

МОСКВА ГПУ из СМОЛЕНСКА

ВЦИК тов. КАЛИНИНУ. Попытка приступить к фактическому изъятию ценностей Смоленского собора не имела успеха. Толпа верующих* день и ночь находится в соборе и не допускает комиссию к работе. Все переговоры выборными верующих* ни к чему не привели. Беседовали по сему вопросу с ТРОЦКИМ, полученные от него руководящие указания, которые проводим в жизнь. Сообщите, нужно ли действовать решительно. Дешифрант передать по назначению.

Предсмолгубисполкома Булатов.

17/3-22 г.

* В документе — «ведущих».

Историкам еще предстоит собрать воедино разбросанные по самым разным фондам центральных и местных архивов свидетельства о подобных актах стихийного протеста против изъятия церковных ценностей. Все они, еще недавно наглухо скрытые от исследователей грифами строгой секретности, теперь вполне доступны. Мы приведем здесь лишь один из подобных документов. Это подлинная телеграфная лента донесения секретаря Смоленского губисполкома в Москву о дальнейшем развертывании событий вокруг изъятия церковных ценностей в Смоленске. Как и в других случаях, мы не решаемся исправлять орфографию и стиль источника.

ТЕЛЕГРАММА СЕКРЕТАРЯ СМОЛЕНСКОГО ГУБИСПОЛКОМА
В ЦК ПОМГОЛ

30 марта 1922 г.

СЕКРЕТНО

М[о]ск[ва] ЦЕКПОМГОЛ

ИС СМАЛЕНСКА 30/3 17.2...

ЧЕРЕС ДЕЖУРНАГО ПАЛИТК[О]МА

М[О]СК[ВА] ЦЕКАПОМГОЛ К[О]ПИЯ СЪЕЗД РКП ДЕЛЕГАТУ БУЛАТОВУ

22 НОЧЬЮ ПРАИСВЕДЕНА ВСЕСТОРОНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ИЗЪЯТИЮ ЦЕННОСТЕЙ СОБОРЕ ЗПТ ТРОИЦКОЙ ВОЗНЕСЕНСКОМ МОНАСТЫРЯХ РАНИМ УТРОМ СОБОР МАНАСТЫРИ БЫЛИ ОБЛОЖЕНЫ ЦЕПЬЮ КУРСАНТОВ ТЧК 10 ЧАСОВ УТРА КАМИССИИ ПРИСТУПИЛИ РАБОТАМ ТЧК ВОЗНЕСЕНСКОМ ТРОИЦКОМ МАНАСТЫРЯХ ППРАИСВЕДЕНА ИЗЪЯТИЯ БЕС СОПРОТИВЛЕНИЯ ПОЛНОМ СОДЕЙСТВИИ НАСТОЯТЕЛЕЙ ВЕРУЮЩИХ ТЧК СОБОРОМ ПРАИСОШЛИ ОСЛОЖНЕНИЯ ТЧК СОБОРЕ НАЧЕВАЛО 15 ЖЕНЩИН ПОДРОСТКОВ ЗПТ 2 ВЗРОСЛЫХ ЖЕНЩИН ЗПТ 5 МУЖЧИН ТЧК ПРИБИЛИ КАМИССИИ НАСТОЯТЕЛ[Ь] ДВОЕ ВЕРУЮЩИХ СОГЛАСИЛИС[Ь] УЧАСТВОВАТЬ РАБОТЕ КАМИССИИ ТЧК ДВЕР[Ь] СОБОРА ОКАЗАЛАС[Ь] ЗАПЕРТОЙ ИЗНУТРИ ЗПТ КЛЮЧИ НАХОДИЛИС[Ь] НЕИЗВЕСТНО ГДЕ ТЧК ЕТО ВРЕМЯ НАЧАЛАС[Ь] СОБИРАТЬСЯ ТОЛПА ЗПТ УСЛОВНОМУ СИГНАЛУ БЫЛ УСТРОЕН СИГНАЛ НЕСКОЛЬКИХ ЦЕРКВАХ ТЧК БОЛЬШАЯ ТОЛПА НАЧАЛА ТЕСНИТ[Ь] СТОРОЖЕВЫЕ ЦЕПИ ЗПТ БРОСАТ[Ь] КАМНИ СНЕГ ПАЛКИ КУРСАНТОВ ЗПТ КУСТ* ИМ РУКИ ЗПТ ОТНЯЛИ РЕВОЛЬВЕР КРАСНОАРМЕЙЦА ЗПТ НЕКОТОРЫХ СМЕЛИ ПРАИЗВЕЛИ ВЫСТРЕЛЫ ТЧК ДОПОЛНЕНИЕ НОВЫХ РОТ НЕСКОЛЬКИМИ ВЫСТРЕЛАМИ ВОЗДУХ ТОЛПА ОТТЕСНЕНА ТЧК ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ДОЗНАНИЕМ РАНЕНО 6 ЧЕЛОВЕК ЗПТ ОДНА ЖЕНЩИНА УМЕРЛА ВЕДЕТСЯ РАЗСЛЕДОВАНИЕ ПРИЧИНА И ОБСТОЯТЕЛЬСТВО РАНЕНИЕ ТЧК ДВЕР[Ь] СОБОРА БЫЛА ВСКРЫТА ПРИАСВОДИТСЯ РАБОТЫ ИЗЪЯТИЯ ЗПТ МАНАСТЫРЯХ ПРАИСВЕДЕНО ТЧК БЫЛИИ ПАПЫТКИ РАЗГРОМОВ ЕВРЕЙСКИХ ЛАВОК ЗПТ ИЗБИЕНИЯ КАММУНИСТОВ ЗПТ ЕВРЕЕВ ТЧК 12 ЧАСОВ ДНЯ 28 ЗПТ СЕГОДНЯ НОЧ[Ь] И ДЕН[Ь] ПОЛНАЯ ТИШИНА ЗПТ ВСЕ ИДЕТ НОРМАЛЬНО ПОРЯДКОМ ТЧК ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЯ МЕРЫ ПРИНЯТЬ ЗПТ ГУБЕРНИИ БЛАГОПОЛУЧНО ТЧК СИКРЕТАР[Ь] ГУБИСПОЛКОМА ПОПОВ 30/3

* Неясно, так в документе.

Отсутствие в деле № 23 сколько-нибудь представительных документов о настоящем размахе протестов против изъятия церковных ценностей отнюдь не означает, что Политбюро, принимая свои решения, вообще не было осведомлено об этом размахе. Директивы Политбюро в немалой степени определялись инициативными предложениями ГПУ, а это серьезное ведомство уже в 1922 году было хорошо осведомлено обо всем, что творилось в России. ГПУ представляло вождям партии через каждые несколько дней весны и лета 1922 года подробные сводки о том, как в каждой губернии России идет изъятие церковных ценностей, каковы настроения разных групп духовенства и населения, где произошли беспорядки, что удалось слavnым чекистам сделать для раскола Церкви.

Иногда ГПУ осмеливалось решительно возражать вождям, даже Ленину. Как мы упоминали, 20 марта 1922 года Политбюро вполне одобрительно отнеслось к письму Ленина о шуйских событиях, где вождь предлагал «самого Тихона не трогать». Но уже 22 марта ГПУ внесло на Политбюро свое мнение по этому поводу.

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА ГПУ В ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)

[Не позднее 21] марта 1922 г.

**О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДУХОВЕНСТВА В СВЯЗИ С ИЗЪЯТИЕМ
ЦЕННОСТЕЙ ИЗ ЦЕРКВЕЙ.**

Патриарх ТИХОН и окружающая его свора высших ерархов, членов синода в лице: ГРОМОГЛАСОВА, протоерея ХАТОВИЦКОГО (неофициальный член Синода), митрополита НИКАНДРА (в мире Финоменова), Епископа СЕРАФИМА, профессора богословия ЛАПИНА и др. в противовес декрета ВЦИК от 26/II-22 года об изъятии церковных ценностей ведут определенную контр-революционную и ничем не прикрытую работу против изъятия церковных ценностей. Работа их выражается:

1) В личном инструктировании приезжающих с мест известных им церковников против изъятия церковных ценностей. —

2) В посылке на места дерективов с призывами воспрепятствовать сбору церковных ценностей, при чем дерективы носят замаскированный характер (ссылка на церковные каноны и изречения т[ак] н[азываемых] святых отцов). —

3) Устройство нелегальных собраний духовенства в Москве, на которых члены синода предлагали духовенству будировать верующие массы против изъятия ценностей из церквей (данные агентурой). —

4) На последнем заседании Синода решено (данные агентурой): духовенству против изъятия ценностей из церквей открыто не выступать, а выдвигать для этого преданных им верующих, которые якобы по своему личному почину должны выступать против изъятия церковных ценностей.

ГПУ располагает сведениями, что некоторые местные архиереи стоят в оппозиции реакционной группе синода и что они в силу канонических правил и др[угих] причин не могут резко выступать против своих верхов, поэтому они полагают, что с арестом членов Синода им представляется возможность устроить церковный собор, на котором они могут избрать на патриарший престол и в синод лиц, настроенных более лояльно к Советской Власти.

Основание для ареста ТИХОНА и самых реакционных членов синода у ГПУ и его местных органов имеется достаточно.

ГПУ находит: 1) что арест синода и патриарха сейчас своевременен, 2) что допущение духовного собора на предмет избрания некого синода и патриарха сейчас также возможно, и 3) что всех попов и церковников, резко выступающих против изъятия ценностей из церквей, необходимо выслать в самые голодные районы голодающего Поволжья, где их афишировать перед местным голодным населением как врагов народа.

ЗАМПРЕДГПУ [Уншлихт]

НАЧСОГПУ Самсонов.

[22] марта 1922 года.

Жесткие формулировки чекистов, исполненные духа кровожадного революционного правосознания и вполне подходящие для трибунала, явно произвели впечатление на Политбюро. Было принято следующее предложение Л. Д. Троцкого, идущее навстречу пожеланиям ГПУ:

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ Л. Д. ТРОЦКОГО, ПРИНЯТОЕ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)
С ПОПРАВКОЙ В. М. МОЛОТОВА**

22 марта 1922 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРОТОКОЛУ ПОЛИТБЮРО № 115 п. 12.

1. Арест Синода и патриарха признать необходимым, но не сейчас, а примерно через 10 — 15 дней.

2. Данные о Шуе опубликовать, виновных Шуйских попов и мирян — Трибуналу в недельный срок (коноводов — расстрелять).
3. В течение этой же недели поставить процесс попов за расхищение церковных ценностей (фактов таких немало).
4. С момента опубликования о Шуе печати взять бешеный тон, дав сводку мятежных поповских попыток в Смоленске, Питере и пр.
5. После этого арестовать Синод.
6. Приступить к изъятию во всей стране, совершенно не занимаясь церквами, не имеющими сколько-нибудь значительных ценностей.

Последний пункт этого постановления явно расходился по тональности с генеральной линией — если, конечно, под таковой понимать не спасение голодающих, а разгром Русской Православной Церкви, как это четко выразил в своем письме Ленин. Этот шестой пункт внесен по предложению В. М. Молотова (соответствующее замечание он оставил и на письме Ленина). Но уже буквально на следующий день Политбюро спохватилось и по предложению Троцкого особым постановлением исключило из предыдущего постановления эту поправку Молотова (л. 36).

В тот же день, когда Политбюро, отвергнув поправку Молотова, внесло полную ясность в вопрос о подлинных целях всей кампании по изъятию церковных ценностей, оно рассмотрело и с небольшими уточнениями приняло еще целую серию предложений Троцкого (л. 37 — 38). Все они направлены на совершенствование агитационного прикрытия этих действительных целей. Калинин продиктованы Троцким шесть разделов документа, который должен появиться в печати как интервью, данное Председателем ВЦИК. Калинин должен всячески доказывать гражданам страны тезис, прямо противоречащий скрываемой действительности: «...изъятие ценностей ни в коем случае не является борьбой с религией и церковью». Калинин обязан был в интервью способствовать дальнейшему расколу духовенства, а также разъяснить, что «декрет об изъятии ценностей возник по инициативе крестьян голодающих губерний, широких беспартийных масс и красноармейцев», что его активно поддерживают «многомиллионные массы». А сопротивляются декрету якобы лишь «кучка князей церкви и поддерживающих их бывших купцов, подрядчиков, отставных чиновников»; логическим завершением интервью служат вполне реальные угрозы в адрес этой «кучки». Эта пропагандистская установка парадоксальным образом соседствует в деле с секретными донесениями о массовом характере сопротивления декрету об изъятии церковных ценностей.

Наряду с этими пропагандистскими ухищрениями Политбюро рекомендовало и некоторые практические меры. Было решено купить на миллион рублей хлеба для голодающих и отправить поезд с хлебом в Поволжье, чтобы сразу же «широко оповестить об этом как о первом ассигновании» за счет изъятых церковных ценностей. Калинин предписывалось привлечь «как спеца» к работе по изъятию одного из «лояльных епископов». Троцкий для этой операции прикрытия рекомендовал кандидатуру епископа Антонина (Грановского). Льву Давыдовичу не откажешь здесь в прозорливости (или очень хорошей информированности): в 1922 — 1923 годах епископ Антонин внесет свою немалую лепту в дело раскола Церкви.

В конце марта — апреле Политбюро получает первые известия о неразберихе и хищениях, сопутствующих изъятию церковных ценностей. Дело идет не так быстро, как предполагалось, а Политбюро постоянно торопит. Одно из сверхсекретных писем проговаривается и о такой причине спешки: скоро в Европе произойдет пролетарская революция, там тоже конфискуют церковное золото и наше русское будет тогда невозможно дорого продать на внешнем рынке.

Политбюро в это время принимает немало решений, подстегивающих изъятие. Те церкви и монастыри, откуда поступило слишком мало (по мнению коммунистических вождей) золота, приказывается тщательно обыскивать еще раз. За местным духовенством велено строго следить, чтобы оно на деле, а не только на словах радело об ограблении храмов. Приказывается ввести персональную ответственность местных священников за все случаи хищения ценностей. По всем губерниям идут из Москвы грозные телеграммы. Приводим текст лишь одной из них, разосланной 2 апреля 1922 года по решению Политбюро, за подписями Калинина и Молотова. (Договоры, упоминаемые в телеграмме, — это, по всей видимости, договоры об использовании храмов общинами верующих — л. 52.)

**ШИФРОТЕЛЕГРАММА ЦК РКП(б) В ГУБКОМЫ РКП(б)
И ГУБИСПОЛКОМЫ**

[2] апреля 1922 г.

ВСЕМ ГУБКОМАМ И ГУБИСПОЛКОМАМ

Циркулярно.

Сов[ершенно] Секретно.

Во многих местах Комиссии в целях «мирного» изъятия церковных ценностей изъедают ничтожную часть, оставляя главные ценности. Равным образом во многих местах изъятие приостанавливается вследствие предложения со стороны верующих выкупить церковные ценности. Сим предлагается производить изъятия ценностей согласно точного смысла декрета ВЦИК и инструкций. Неполное изъятие [церковных] [ценностей] будет рассматриваться как нерадение местных органов. Где произведено не полное изъятие, немедленно нужно произвести дополнительное согласно декрета и инструкций. Ходатайства об оставлении части ценностей не приостанавливают изъятия и с заключением комиссии направляются в ЦК Помгол ВЦИК.

Председатель ВЦИК Калинин.

Секретарь ЦК РКП Молотов.

4 мая 1922 года Политбюро приняло постановление по одной вроде бы частной проблеме, четко отразившей, однако, глубинные цели всей кампании по изъятию церковных ценностей. В ЦК РКП(б) пришел запрос костромских властей. В городе Варнаvine изымали серебряную раку, в которой покоились мощи преподобного Варнавы Ветлужского (XV век). Уком и уисполком интересовались, что после изъятия раки следует предпринять с самими мощами. Если бы все дело было только в серебре, ответ был бы ясен. Хлеба для голодающих на мощи не купишь. Однако в Москве решением проблемы занялись первые лица государства. Запрос поступил Сталину, тот переслал его Троцкому, а последний отправил на экспертную оценку известному деятелю карательной системы П. А. Красикову. Политбюро утвердило предложение последнего: мощи Церкви ни в коем случае не возвращать, их «следует поместить, по вскрытии, в особый ящик и препроводить в Губмузей или в Москву» (л. 58).

И затем в деле еще полтора десятка листов, свидетельствующих о неусыпном надзоре руководства партии за всем ходом столь важной политической кампании в губерниях России. Политбюро все время торопит, подстегивает власти «нерадивых» губерний, ставит на вид и руководству всей системы Советов, указывая ВЦИК на «недопустимость волокиты, проявленной им при проведении в жизнь» соответствующих решений Политбюро (л. 70). Политбюро дважды, по докладам И. В. Сталина и В. В. Куйбышева, принимает решения о назначении помощников Л. Д. Троцкому в комиссии по изъятию ценностей — назначают сначала А. С. Бубнова; через три дня его сменяет Н. Н. Поповым.

А вот и еще одна записка Л. Д. Троцкого, утвержденная 26 мая 1922 года постановлением Политбюро. После констатации успехов усилий по расколу Церкви в ней прогнозируются три возможных пути дальнейших действий:

- «1) сохранение патриаршества и выборы лойяльного патриарха;
- 2) уничтожение патриаршества и создание коллегии (лойяльного синода);
- 3) полная децентрализация, отсутствие всякого центрального управления (церковь как «идеальная совокупность общин [в тексте «общих». — Н. П.] верующих»)» — л. 71.

Троцкий заключает, что выгоднее перессорить между собой сторонников каждого из этих направлений, не связывая себя ни с одним из них. Затем Политбюро коммунистической партии решает для себя важную проблему оптимальных сроков созыва церковного собора. Не будем удивляться: собор «лойяльного» духовенства, который состоится в Москве 29 апреля — 9 мая 1923 года и примет решение о лишении Тихона сана патриарха, священника и монашества, будет для своей организации требовать неустанных забот партии и ГПУ. В нашем распоряжении имеется

отчетный доклад начальника VI (церковного) отделения следственного отдела ГПУ Е. А. Тучкова о работе отделения в 1923 году, на страницах коего главный чекистский начальник по делам религии подробно описывает немалые многомесячные усилия его ведомства по обеспечению важного мероприятия (РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 87, д. 176, лл. 137 — 149). Тучков хвастается, что подчас даже сами участники не могли понять причин, по которым они принимали то или иное решение. «Причины же эти заключались в том, что мы, имея на соборе 50% своего осведомления, могли повернуть собор в любую сторону» (л. 140). Конечно, историк не обязан полностью доверять всей этой похвальбе, «контора», вероятно, уже и тогда занималась приписками; но общей картины это не меняет.

...И вот наконец документ, подводящий итог всем усилиям Политбюро по изъятию церковных ценностей (лл. 76 — 77). Итог в цифрах — рублях и копейках. Золотых. Завершить дело в марте — апреле 1922 года, как хотели, конечно, не успели. Итоговая ведомость отправлена в ЦК РКП 4 ноября 1922 года.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЦК ПОСЛЕДГОЛ ВЦИК О КОЛИЧЕСТВЕ ИЗЪЯТЫХ ЦЕРКОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

[4 ноября 1922 г.]

ВЕДОМОСТЬ

количества собранных церковных ценностей по 1-е ноября 1922 г.

I. По телеграфным сведениям местных Комиссий по изъятию ц[ерковных] ц[енностей] изъято:

1. Золота	33 п. 32 ф.
2. Серебра	23.997 п. 23 ф.
3. Бриллиантов	35.670 шт.
4. Пр[очих] др[агоценных] камней	71.762 шт.
5. Жемчуга	14 п. 32 ф.
6. Золотой монеты	3.115 руб.
7. Серебрян[ой] монеты	19.155 руб.
8. Различ[ных] драг[оценных] вещей	52 п. 30 ф.

II. Из указанного количества поступило в Гохран:

1. Золота	18 п. 16 ф.
2. Серебра	18.567 п.
3. Жемчуга	1 п. 25 ф.
4. Монеты золотой	3.115 руб.
5. — — сереб[ряной]	19.155 руб.
6. Бриллиантов	5.209 кар.
7. Розы	1.712 кар.
8. Цветн[ых] камней	13.403 кар.
9. Пр[очих] различн[ых] вещей	2.732 шт.

ИЗ НИХ:

а) запродало НКФину:

1. Золота	14 п.		
2. Серебра	17.000 п.	На общую сумму	В Золотых рублях: 2.915.507. р. 50 к.

б) Отсортировано и оценено драгоценных камней:

1. Бриллиантов	5.209 кар.	Вся партия	
2. Розы	1.712 кар.	оценена	
3. Цветн[ые] камни	13.403 кар.	в зол[отых]	132.886 р. 75 к.
4. Жемчуг	1.076 зол.	рубл[ях]	

в) Остается в Гохране не реализованными по оценке курсу дня в золотых рублях:

1. Золота	4 п. 32 ф.	31.946 р. 40 к.
2. Серебра	1.567 п.	271.240 р.
3. Жемчуга	1 п. 12 ф.	19.966 р.
4. Монеты зол[отой]	—	3.115 р.
5. Сереб[ря]н[ых] размен[ных] монет	19.155 р.	4.631 р.
ИТОГО		330.902 р. 40 к.

III. Осталось на местах по оценке курсу дня:

1. Золота	15 п. 18 ф.	на сумму	121.274 р. 60 к.
2. Серебра	7.430	— " —	947.781 р. 60 к.
3. Жемчуг	13 пуд. 7 ф.	— " —	202.368 р.
ИТОГО	1.271.424 р. 20 к.		

Всего изъято по приблизительному подсчету на сумму

4.650.810 р. 67 к.

Кроме указанных церковных ценностей отобраны антикварные вещи в количестве 964 пред., которым будет произведена особая оценка.

ЦКПоследгол ВЦИК: А. Винокуров.

Итак (без некоторой части антиквариата), немногим более 4,5 миллиона золотых рублей. Ленин 19 марта 1922 года писал о сотнях миллионов и миллиардах золотых рублей, которые надо отнять у Церкви. Троцкий, заботясь о том, чтобы партия успела продать русское церковное золото за рубежом до всемирной пролетарской революции, создавал комиссии по оценке этого золота, а затем и комиссии по проверке работы первых комиссий (одну из них возглавил такой крупный специалист, как Фаберже).

Приступая к работе над «Архивами Кремля», мы гадали, на что пошли церковные ценности. На успешную денежную реформу, проведенную министром финансов Г. Я. Сокольниковым? На индустриализацию? Источники дали ответ неожиданный. Партия сумела собрать в государственную казну лишь ничтожную часть предполагаемых церковных богатств, и мы вряд ли когда-нибудь узнаем, куда делась основная часть. Была ли разграблена в гражданскую войну, еще до 1922 года? Или, быть может, растащена в ходе самой акции по изъятию? Показания источников об этом разграблении имеются в нашем деле, но как учесть все его результаты?

Для оценки итоговой цифры полезно сопоставить ее с одним документом апреля 1922 года из Государственного архива Российской Федерации (ф. Р — 130, оп. 6, д. 61, лл. 117 — 118, 121). Это смета расходов технических комиссий по изъятию церковных ценностей в стране — в России и других федеративных республиках. Это только чисто технические расходы — на транспорт, грузчиков, упаковочные материалы. Да еще на антицерковную агиткампанию и на приезд в Москву «лояльного» духовенства. Смета составлена на один только месяц в сумме 2 000 006 рублей, но затем сокращена до 1 559 592 рублей. Повторяю — на один только месяц 1922 года. И без указания немалых расходов на карательные меры, например.

Так на что же были потрачены изъятые у церкви ценности? Теперь мы можем сказать наверное: на саму кампанию по изъятию. Точнее говоря, на раскол и разгром Русской Православной Церкви. Такая вот самокупаемость.

* * *

Два других дела Политбюро ЦК РКП(б), издаваемых в первом томе «Архивов Кремля», посвящены материалам обсуждения в главном директивном органе страны репрессивных мер против Церкви. Это дело о готовившемся суде над патриархом Тихоном (д. 25) и дело о нескольких процессах, закончившихся расстрелом духовных лиц и мирян за сопротивление изъятию церковных ценностей (д. 24). Конечно, эти два дела не могут дать сколько-нибудь полного представления о размахе репрессий. Здесь еще нужна огромнейшая работа по выявлению ранее секретных материалов в центральных и местных архивах, прежде всего в архивах карательных органов. И о патриархе Тихоне, и о судебных процессах над «церковниками» имеются особые следственные дела ГПУ в бывшем архиве КГБ. Мы их пока не видели, хотя очень хотели бы увидеть.

Вместе с тем дела фонда Политбюро помогают понять обстановку, механизм и логику принятия ответственных решений на самом верху.

Дело фонда Политбюро «О судебном процессе по делу патриарха Тихона (Белавина)» открывается письмом на бланке председателя Реввоенсовета. Украшенное красноармейской звездой письмо в ЦК РКП(б) на имя В. М. Молотова было получено последним 24 марта 1922 года. Лев Давыдович предписывает Вячеславу Михайловичу тотчас разослать органам московской и провинциальной печати за подписью Молотова секретную инструкцию, составленную Троцким. Молотов отдает соответствующие распоряжения и подписывает инструкцию своим именем. Это очередная накачка прессе. Троцкий обрушивается на газеты, которые печатают «веселые сатирические стишки против попов вообще», что «бьет по низшему духовенству и сплачивает духовенство в одно целое». Между тем газеты должны стремиться к более серьезной и дальней цели:

«Политическая задача данного момента совсем не та, а прямо противоположная. Нужно расколоть попов или, вернее, углубить и заострить существующий раскол... Еще раз: политическая задача состоит в том, чтобы изолировать верхи церкви, скомпрометировать их на конкретнейшем вопросе помощи голодающим и затем показать им суровую руку рабочего государства, поскольку эти верхи осмеливаются восставать против него» (л. 2).

За два дня до этого, как мы помним, Политбюро поддержало в принципе инициативу ГПУ об аресте патриарха и Синода, постановило отложить этот арест на десять — пятнадцать дней, а тем временем «печати взять бешеный тон против попыток церкви помешать изъятию».

С арестом патриарха не все ясно. В «Известиях» за 12 апреля 1922 года было объявлено об аресте патриарха Тихона за контрреволюционную деятельность, но, возможно, речь шла о каких-то дополнительных мерах изоляции патриарха на Троицком подворье, где он и так уже был под строжайшим надзором. Между тем 26 апреля Московский трибунал начал под председательством Бека рассмотрение судебного дела большой группы духовенства и мирян, прихожан московских церквей, сопротивлявшихся изъятию церковных ценностей. 3 мая президиум ГПУ на своем секретном совещании, состоявшемся в полночь при участии Уншлихта, Менжинского, Ягоды, Самсонова, Красикова, рассмотрел вопросы, связанные с ведением этого процесса и арестом патриарха. Руководство чекистов сочло опасным вызывать патриарха Тихона в Московский ревтрибунал, заседания которого проходили открыто в Политехническом музее. Вместо этого было рекомендовано тайно вызвать патриарха в ГПУ «для предъявления ему ультимативных требований по вопросу об отречении от должности, лишения сана и, предания анафеме представителей заграничного монархического антисоветского и Интервенционного активного духовенства»; патриарха обязывали немедленно потребовать от заграничного духовенства выдачи представителям советской власти всех ценностей в их церквях! В случае отказа патриарха предлагалось его немедленно арестовать и предъявить обвинения по совокупности всех «преступлений», якобы совершенных им против советской власти.

Совещание предписывало также «ввиду предстоящего процесса ТИХОНА развить против него самую бешеную агитацию, как устную, так и [в] печати, в Республиканском масштабе».

Совещание постановило также «обратить внимание Ц.К.РКП на проявленную мягкость Президиума ВЦИК в отношении осужденных попов, противоречущей в этой дерективам Ц.К.РКП» (л. 4).

В этом безграмотном документе с удивительной точностью отражены реальные отношения власти в стране: чекисты с помощью чекистов дают нагоняй якобы высшему органу власти — Президиуму ВЦИК.

Уншлихт буквально в тот же час (24 часа 3 мая) переправляет этот документ лучшему другу чекистов — Сталину, прося его «поставить этот вопрос на Политбюро». Сталин действует очень оперативно, и Политбюро уже на следующий день принимает по докладу Троцкого, Каменева и Бека постановление.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б) № 5, П. 6

от 4 мая 1922 года.

СТРОГО СЕКРЕТНО.

...6. — О московском процессе в связи с изъятием ценностей (т.т. Троцкий, Каменев, Бек).

а) Дать директиву Московскому трибуналу 1) немедленно привлечь Тихона к суду, 2) применить к попам высшую меру наказания.

б) Ввиду недостаточного освещения в печати московского процесса поручить т. Троцкому от имени Политбюро сегодня же инструктировать редакторов всех московских газет о необходимости уделять несравненно большее внимание этому процессу и, в особенности, выяснить роль верхов церковной иерархии.

Секретарь ЦК.

Мы уже не удивляемся, что партийные органы дают директиву органу судебному, диктуют ему расстрельный приговор. И не только советским и судебным властям, но и средствам массовой информации. Вот несколько фраз из принятого Политбюро документа, разосланного в редакции «Известий», «Правды», «Рабочей Москвы» (л. 6):

ИЗ ЗАПИСКИ Л. Д. ТРОЦКОГО ОБ ОСВЕЩЕНИИ В ПЕЧАТИ ПРОЦЕССА НАД МОСКОВСКИМИ СВЯЩЕННИКАМИ

4 мая 1922 г.

[есьма] срочно
с. секретно.

РЕДАКЦИИ «Известий»

РЕДАКЦИИ «Правды»

РЕДАКЦИИ «Рабочей Москвы»

ЦК РКП

Тов. Зеленскому

Что же это такое? Сегодня ни в «Известиях», ни в «Правде», ни даже в «Рабочей Москве» нет ничего по поводу поповского процесса. Окончание процесса отсрочено специально для того, чтобы дать возможность прессе выполнить свое прямо-таки преступное упущение в деле освещения и разъяснения процесса. И несмотря на то, что каждый день имеет решающее значение, ни вчера, ни сегодня в газетах нет ничего о процессе...

Предлагаю редакциям по поручению Политбюро ЦК отвести в субботнем и воскресном номерах поповскому процессу главное место. Все силы редакции должны быть мобилизованы для всестороннего освещения процесса и его главных выводов. Важнейший из этих выводов таков: в советской республике существует централизованная антинародная контр-революционная организация, которая прикрывается религией, а на деле является политическим сообществом... Процесс в Шуе, процесс в Москве раскрыли всероссийскую контр-революционную организа-

цию, прикрывающуюся именем церкви. Необходимо довести дело до конца. Необходимо привлечь к строжайшей ответственности действительных виновников и организаторов монархически-поповского заговора.

Л. Троцкий.

4/V.

Р. С. Извещаю редакции, что мною будет внесено в Политбюро предложение о привлечении к партийной ответственности редакций за невыполнение постановления ПОЛИТБЮРО.

В соответствии с решением президиума ГПУ и Политбюро 5 мая Е. А. Тучков допрашивает патриарха Тихона и составляет об этом допросе сводку, разосланную Сталину, Троцкому, Дзержинскому, Менжинскому, Уншлихту. Сталин знакомит со сводкой Ленина (лл. 7 — 10). С патриархом, как потом признается Тучков, ему было нелегко работать.

День 5 мая был для патриарха трудным. В этот день он был вызван в зал Политехнического музея для дачи показаний перед Московским ревтрибуналом по делу московского духовенства и мирян. Вот как это описывали 6 мая «Известия» (цитируем по известной книге А. Левитина и В. Шаврова «Очерки по истории русской церковной смуты» /Кюснахт. 1978, т. 1, стр. 74 — 75/).

«„Следующего свидетеля“, — роняет приказ председатель тов. Бек. В дверях слева, откуда красноармейцы пропускают свидетелей, появляется плотная духовная фигура, ничем не отличающаяся от прочих батюшек, фигурирующих на суде. Вместо наперсного креста у него на груди крупный образ (панагия). Окладистая, но довольно редкая борода, седые волосы на голове. Лицо розово-благодушное, старческие слезящиеся глаза. Поступь мягкая и сутулые полные плечи. В общем впечатление солидного столичного протоиерея. Но этот «протоиерей» прекрасно понимает свою роль. Сначала он делает легкий поклон в сторону публики и благословляет ее по-архиерейски, сложенными пальцами обеих рук. Три четверти публики безмолвно поднимаются с мест.

...И патриарх Тихон начинает громко рассказывать, если не все, то многое из того, что ему известно. Держит себя с большим достоинством. Во время его показаний председатель по какому-то поводу напоминает ему: прошу вас, свидетель, особо взвешивать каждое ваше слово ввиду вашего положения среди верующих и вашей особой ответственности за него. Свидетель и без этого напоминания действительно подолгу взвешивает каждый ответ, скупно тратя взвешенные слова... мыслит отчетливо и говорит хорошо».

«В своих показаниях, — продолжают уже от себя А. Левитин и В. Шавров, — патриарх принял ответственность за воззвание (от 28 февраля 1922 года. — Н. П.) на себя; на вопросы о том, кто печатал и распространял воззвания, дал совершенно странный, но хороший ответ, что печатал и распространял воззвание якобы он лично, без чьей-либо помощи».

В тот же день 5 мая 1922 года патриарх занимался трудной проблемой углубляющегося раскола с русскими православными приходами за рубежом. Он издал известный указ о переподчинении их от Высшего церковного управления в Карловцах (оно решило отделиться от Московской патриархии как порабощенной) в руки патриаршего сторонника митрополита Евлогия.

Вопрос о Карловицком соборе стоит первым в следственной сводке Е. А. Тучкова о допросе патриарха 5 мая. Патриарх подтвердил свою известную ранее позицию по этому вопросу, он заявил, что «намерен созвать совещание из 12-ти иерархов на предмет вынесения того или иного осуждения участникам Карловицкого собора» (л. 9).

Однако уже в ответ на ультимативные требования Тучкова издать совершенно нереальное, конечно, распоряжение — русским заграницным священникам сдать церковные ценности своих церквей представителям советской власти — патриарх ответил уклончиво.

Но главным моментом этого допроса была попытка Тучкова заставить патриарха Тихона открыто осудить деятельность тех священников, которые протестовали против насильственного изъятия из церквей ценностей. Именно здесь было важнее всего сломить патриарха. Напомним, что приговор Московского ревтрибунала еще не был оглашен, хотя Политбюро и постановило уже — расстреливать.

Но здесь у ГПУ вышла осечка: патриарх ответил Тучкову, что, осуждая вообще открытую политическую агитацию священников, в том числе и по этому вопросу, он никоим образом не осуждает «агитацию такую, которая выражена священно-

служителем на задаваемые ему вопросы верующими с просьбой разъяснить им церковное правило или учение по сему поводу». А древние церковные каноны как раз запрещали в весьма категорических выражениях любое насильное изъятие церковных ценностей как святотатство.

Уже на следующий день к патриарху был приставлен усиленный караул, а ночью 18 — 19 мая он был переведен в Донской монастырь под строжайшей охраной в полной изоляции от внешнего мира.

В деле Политбюро не отложилось документов об этом изменении режима содержания патриарха. После сводки о допросе патриарха 5 мая в деле идут первые документы о протестах мировой общественности против ареста патриарха. Самый ранний, поступивший в Наркоминдел 17 мая, содержит просьбу римского папы освободить патриарха Тихона. Папа предлагает одновременно выкупить у советского правительства ценности, изъятые в православных церквях, и передать их архиепископу Цепляку, главе Католической Церкви в России. Папа обещает немедленную оплату, но нарком Г. В. Чичерин считает, что это «вызовет бурю в России», и от соблазнительного плана приходится отказаться (л. 11).

Политбюро, передав патриарха Тихона в руки ГПУ и создав специальную комиссию для подготовки суда над ним (Калинин, Крыленко, Рыков, Ярославский), вплоть до весны 1923 года гораздо меньше занимается этим делом. Внимание руководителей партии направлено в это время в первую очередь на всяческую поддержку противников патриарха Тихона, «советских попов», на организацию массовых репрессий против остального духовенства.

Волна протестов, поднявшихся во всем мире против ареста патриарха Тихона, а затем и архиепископа Цепляка, оставила мало следов в деле № 23 фонда Политбюро. Здесь, правда, есть несколько документов об усилиях правительств Финляндии, Чехословакии, Польши противостоять гонениям в России на верующих разных конфессий, но наиболее яркие свидетельства такого рода отсутствуют. Впрочем, они уже давно опубликованы и хорошо известны исследователям. Но зато в деле имеются секретные материалы о рассмотрении в Политбюро некоего итогового документа об этих протестах. Он был отправлен 10 апреля 1923 года на имя И. В. Сталина наркомом иностранных дел Г. В. Чичериным. Чичерин писал о том огромном уроне, который был нанесен репутации Советской России казнью католического прелата Будкевича, викарного епископа. Он был осужден 23 марта 1923 года к расстрелу вместе с архиепископом Я. Цепляком, но последний из-за многочисленных протестов западных правительств, религиозных и общественных движений был помилован.

Чичерин писал Сталину: «Уважаемый товарищ! НКВД предлагает Политбюро заранее принять решение о невынесении смертного приговора Тихону. Факты показали, какой громадный вред мы себе причинили казнью Будкевича». Приведа ряд таких фактов, в том числе и о немалом экономическом ущербе, Чичерин продолжает: «Всякий, кто хоть сколько-нибудь знает, что происходит за пограничными столбами, подтвердит, что во всех отношениях наше положение крайне ухудшилось в результате этого дела. Между тем в деле Будкевича имеется возможность ссылаться на польский шпионаж и на связь с агрессивным польским шовинизмом. В деле Тихона и этого нет. Все другие страны не усмотрят в таком приговоре ничего, кроме голого религиозного преследования» (л. 23).

Но доводы Чичерина вроде бы не произвели впечатления на Политбюро. Во всяком случае, было решено указать наркому его место.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б) № 61, п. 3

от 12 апреля 1923 г.

СТРОГО СЕКРЕТНО.

тов. ЧИЧЕРИНУ

СЛУШАЛИ:

...3. Вопросы НКВД:

а) О Тихоне
(тов. Чичерин).

ПОСТАНОВИЛИ:

3.а) 1. Предложение тов. Чичерина отклонить.

2. Признать, что Политбюро не видит оснований для исключений в деле примене-

ния меры пресечения в отношении такого рода процессов и в частности в отношении Тихона.

3. Поручить НКВД, Росте и редакциям газет на основании всех имеющихся материалов поднять кампанию, особо подчеркнув, что Тихон стоял не только во главе церковной контр-революции, но и контр-революции дворянско-помещичьей, т. е. против передачи земли крестьянам. На тов. Ярославского возложить наблюдение за тем, чтобы кампания эта не нарушала тайн предварительного судебного следствия.

4. Обязать НКВД, Росту и т.т. Радека и Ярославского усилить необходимую контр-агитацию в связи с расстрелом Будкевича...

Секретарь Цека.

Но и это показалось недостаточным. В деле имеется уникальнейший документ — сверхсекретное дополнительное постановление Политбюро по этому вопросу. Оно было принято одновременно с приведенным выше на том же заседании 12 апреля. Но его не доверили даже засекреченным машинисткам. Единственный экземпляр этого решения написан от руки человеком сверхпроверенным, выполнявшим функции тайного протоколиста этого заседания, А. Назаретяном.

ЗАПИСЬ ОСОБОГО ПУНКТА ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПОЛИТБЮРО

ЦК РКП(б) № 61, п. 3

от 12 апреля 1923 г.

Только для т. Сталина.

Строго секретно.

Поручить Секретариату ЦК дать директиву Верховному Трибуналу вести дело Тихона со всею строгостью, соответствующей объему колоссальной вины, совершенной Тихоном.

Это практически негласное приказание трибуналу приговорить патриарха Тихона к расстрелу.

Но проходит еще несколько дней — и позиция Политбюро круто меняется. Главный чекист страны Феликс Дзержинский начал понимать серьезность и реальность предупреждений, сделанных Чичериным. Он был информирован лучше всех. Быть может, когда-нибудь историки узнают, какое именно известие повлияло на его позицию. Оставались считанные дни до известного ультиматума Керзона (8 мая 1923 года). 21 пункт этого документа будет посвящен религиозным преследованиям в России, расстрелу митрополита Вениамина и делу архиепископа Цепляка, подготовке суда над патриархом Тихоном: «Эти преследования и казни являются частью сознательной кампании, предпринятой Советским Правительством с определенной целью уничтожения всякой религии в России и замены ее безбожием. Как таковые эти деяния вызвали глубокий ужас и негодующие протесты во всем цивилизованном мире». При всех агитационных насмешках советской прессы над ультиматумом Керзона и другими протестами, большевикам приходилось реально считаться с ними.

Как бы то ни было, 21 апреля 1923 года Дзержинский вносит короткое предложение в Политбюро отложить на неопределенное время процесс патриарха Тихона. Аргументы он заимствует у Чичерина. И советские вожди, только что отказавшие Чичерину, соглашаются с Дзержинским.

**ЗАПИСКА Ф. Э. ДЗЕРЖИНСКОГО В ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)
ОБ ОТСРОЧКЕ ПРОЦЕССА ПАТРИАРХА ТИХОНА**

21 апреля 1923 г.

В ПОЛИТБЮРО ЦК РКП

Полагаю, что необходимо отложить процесс Тихона в связи с разгаром агитации за границей (дело Будкевича) и необходимостью более тщательно подготовить процесс.

Ф. Дзержинский.

21.IV.23 г.

Я думаю, что Дзержинский прав.

Г. Зиновьев. Л. Каменев.
Троцкий. Сталин.

Безусловно прав.

М. Томский.

Согласен.

М. Калинин.

г. Рыков — против.

Предложение Дзержинского принято Политбюро того же 21 апреля (л. 32).

Вскоре члены Политбюро были ознакомлены еще с одним документом, укрепившим аргументацию Дзержинского. Со страстным призывом не расстреливать патриарха Тихона к Троцкому обратился Фритьоф Хансен (лл. 46 — 47), один из организаторов зарубежной помощи голодающим России.

Внешне вроде бы ничего нового в предложении Дзержинского не содержалось — суд над патриархом откладывался и раньше по той же причине «неподготовленности». Но готовить его и впрямь оказалось очень трудно: мешали зарубежные протесты и сведения ГПУ о недовольстве внутри страны борьбой Политбюро с Церковью. Дело было и в самом патриархе. Е. А. Тучков вскоре будет вспоминать об этих днях в своем докладе Менжинскому, «что здесь с Тихоном работы было чрезвычайно много» (Тучков присовокупляет, что о приемах своей работы он сознательно не пишет, ибо они Менжинскому известны). И все же записка Дзержинского означает начало поворота в этом деле, который 25 июня 1923 года завершится принятием решения об освобождении патриарха Тихона из-под ареста без прекращения, однако, его следственного дела. Характерно, что путь к освобождению большевики решили проложить для патриарха через усиление репрессивных мер по отношению к нему. Из Донского монастыря его переведут во внутреннюю тюрьму ГПУ; кажется, это произойдет 23 мая 1923 года. Детали пока еще неизвестны, основные источники все еще недоступны. Несколько позднее иностранная печать писала в этой связи о Бутырской тюрьме, так ли это — надо проверять. В новом узилище, где патриарх проведет больше месяца, ему будет создан особенно тяжелый режим содержания — об этом проговаривается Е. А. Тучков в том же докладе Менжинскому. Возможно, на патриарха воздействовали и санкцией Политбюро на его расстрел.

Первосвященник Русской Православной Церкви должен был в эти дни учитывать и куда более общую проблему. Неоднократно предававшаяся им анафеме советская власть явно укреплялась, страна пошла по пути нэпа, для сохранения не ушедшей в катакомбы Церкви и церковной организации следовало искать базу, компромисс для легального ее существования в Советской России. Поиски эти патриарх вместе с несколькими верными ему иерархами начал еще до своего ареста. Летом 1923 года дело резко осложнилось быстрым формированием под заботливым крылом ГПУ структур враждебной патриарху Тихону «советской» Церкви

(«обновленцы», «Живая Церковь» и др.). Объявив 3 мая 1923 года о низвержении патриарха, эти группы интенсивно занялись созданием и укреплением своих общероссийских структур.

Таким образом, пространство для столь необходимого маневра у патриарха было очень небольшим. После нескольких бесед с патриархом были выработаны весьма тяжелые для него условия. Их оформил как итог этих бесед в двух записках в Политбюро от 11 июня 1923 года известный безбожник и член всяческих антирелигиозных комиссий Емельян Ярославский (лл. 49 — 50).

Соответствующее заявление в Верховный суд РСФСР было подписано патриархом Тихоном 16 июня 1923 года (л. 52). Его копия, заверенная Тучковым, была направлена последним Сталину и легла в издаваемое нами дело Политбюро (л. 52). Патриарх признавал в основном правильность обвинительного заключения Верховного суда по его делу, писал о раскаянии в своих антисоветских поступках и просил Верховный суд изменить ему меру пресечения. Он фактически заявлял об отказе борьбы с советской властью.

Опубликовав этот документ, коммунистические вожди мирового пролетариата, конечно же, попытались извлечь из него немало пропагандистских выгод. О них подробно рассуждали и Емельян Ярославский, и Евгений Тучков в своих секретных записках. Но, выйдя на свободу и немедленно объявив о возвращении к обязанностям главы Русской Православной Церкви, патриарх Тихон в ближайшие же месяцы сумел выиграть непростую борьбу за консолидацию церковных сил. Большинство приходов и епархий, многие из которых уже примкнули к обновленцам разных толков, вернулись под омофор законно избранного предстоятеля Русской Православной Церкви.

Посвященное патриарху Тихону дело Политбюро заканчивается подборкой документов, связанных с его кончиной. Среди них копия известного воззвания патриарха (часто неправильно именуемого его завещанием). Оно датировано днем его смерти — 7 апреля 1925 года. Документ этот представлен здесь в редакции «Вестника центральной информации РОСТА». Редакция эта весьма характерна. Так, например, слова «господа и спаса нашего исуca христа» написаны сплошь без заглавных букв, одними строчными, но зато в словах «Советская Власть» — две заглавные буквы. (Как не вспомнить тут горькие слова А. И. Солженицына о тех, кто пишет слово «Бог» с маленькой буквы, а «КГБ», «ГПУ» — с большой!)

В деле имеется также донесение начальника следственного отдела ГПУ Дерибаса о смерти патриарха Тихона:

«7.IV.25 года в 23 часа 45 минут умер в больнице Бакуниных по Остоженке 19 патриарх Тихон в присутствии постоянно лечивших его врачей Е. Н. Бакуниной и Н. С. Щелкан и послушника Тихона Пашкевич.

Смерть произошла от очередного приступа грудной жабы».

В донесении перечислялись врачи, консультировавшие больного, сообщалось о том, что тело его доставлено в Донской монастырь, «где и предположены его похороны». Дерибас советовал в печати дать лишь краткое сообщение (л. 60). Секретное донесение было почему-то адресовано известному сталинскому палачу Мехлису. Оно требовало немедленного реагирования, и Политбюро 8 апреля рассмотрело путем опроса своих членов вопрос о смерти патриарха. Было постановлено в вечерних газетах 8 апреля сообщения не печатать, а поместить его «в обычном газетном порядке 9 апреля... ограничившись извещениями: а) где и в чьем присутствии умер, б) от какой болезни, в) кто лечил». Четко определив все органы печати, которые должны были поместить это сообщение, Политбюро Российской коммунистической партии (большевиков) на этом закончило неусыпные свои наблюдения над патриархом Тихоном (л. 59). Все дело приобретало вполне логичный и стройный вид, и его можно было теперь отправить на полку секретного архива (л. 59).

* * *

Последнее из трех издаваемых в «Архивах Кремля» дел (д. 24) посвящено выработке детальных директив Политбюро по важному вопросу о том, кого и когда расстреливать в связи с сопротивлением изъятию церковных ценностей. Директивы эти, как видно из дела, были выше и судебных приговоров, и права помилования, принадлежавшего по конституции верховной советской власти — ВЦИК.

В деле отложились три комплекса документов, относящихся к процессам в Иваново-Вознесенске, Москве и Петрограде. Репрессии в 1922 году обрушились

не только на православных, но и на представителей других конфессий, в том числе на католиков, иудаистов. В деле есть несколько документов, содержащих руководящие указания Политбюро по организации судебного процесса ксендзов в Белоруссии, но это особая тема.

2 мая 1922 года заседания Политбюро не было. Но Сталин извещает членов Политбюро о необходимости безотлагательного решения одного вопроса. Трибунал в Иваново-Вознесенске, следуя директивам Политбюро, приговорил двух священников к расстрелу за сопротивление изъятию церковных ценностей в Шуе. Однако Президиум ВЦИК счел возможным помиловать приговоренных, и М. И. Калинин, формально имеющий право подписать указ о помиловании, обращается за разрешением в Политбюро. Сталин распорядился узнать опросом мнение членов Политбюро (лл. 2, 3).

**ЗАПИСКА И. В. СТАЛИНА ЧЛЕНАМ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)
О ГОЛОСОВАНИИ ОПРОСОМ ДЛЯ УТВЕРЖДЕНИЯ
ПРИГОВОРА РЕВТРИБУНАЛА
О РАССТРЕЛЕ ДВУХ ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИХ СВЯЩЕННИКОВ**

2 мая 1922 г

Членам Политбюро

Т.Т. ТОМСКОМУ, РЫКОВУ, МОЛОТОВУ

Препровождается на опрос
Членов Политбюро.

Сессией Ревтрибунала в Иваново-Вознесенске приговорены к расстрелу два попа; тов. Калинин предлагает отменить решение Ревтрибунала;

Т.т. Сталин, Троцкий и Ленин наоборот предлагают не отменять решение Ревтрибунала.

Секретарь Цека И. Сталин.

Это беловик документа. В деле имеется и написанный рукою Сталина черновик с примечательной авторской правкой: Сталин зачеркивает написанное ранее «Президиум [ВЦИК] предлагает...» и пишет вместо этого «тов. Калинин предлагает...». Сталин счел, что предложение об отмене расстрела лучше представить исходящим не от Президиума ВЦИК, а от одного человека, хотя, конечно, голосующим все ясно. Результаты голосования отражены на следующем листе:

**ЗАПИСЬ О РЕЗУЛЬТАТАХ ГОЛОСОВАНИЯ В ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ М. И. КАЛИНИНА ОБ ОТМЕНЕ ПРИГОВОРА
РЕВТРИБУНАЛА О РАССТРЕЛЕ ДВУХ ИВАНОВО-ВОЗНЕСЕНСКИХ
СВЯЩЕННИКОВ**

[2 мая 1922 г.]

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Тов. ЛЕНИН

ТРОЦКИЙ

Утвердить решение Ревтрибунала

СТАЛИН

МОЛОТОВ

Тов. РЫКОВ

За отмену смертного приговора.

ТОМСКИЙ

За отмену приговора.

КАМЕНЕВ

За отмену приговора.

Тройка — Ленин, Троцкий, Сталин — голосует всегда за более жесткое, более жестокое решение; к ним примыкает и Молотов. Так большинством в один голос решается участь священников. Голос этот будет весомее мнения Президиума ВЦИК. На очередном заседании Политбюро 4 мая 1922 года результаты голосования будут официально утверждены (л. 1). Это к вопросу о том, что такое советская власть, как говаривал Владимир Ильич.

Сходным образом идет первоначально и надзор Политбюро за процессом московских священников. Московский революционный трибунал рассматривал это дело с 26 апреля по 7 мая 1922 года. 5 мая Политбюро постановило дать трибуналу директиву «применить к попам высшую меру наказания» (л. 6). Во исполнение этой директивы трибунал приговорил к расстрелу 11 человек. Но затем Л. Б. Каменев предложил сократить это число до двух. 8 мая Сталин поставил этот вопрос на голосование членов Политбюро (л. 9).

**ЗАПИСКА И. В. СТАЛИНА ЧЛЕНАМ ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)
О ГОЛОСОВАНИИ ОПРОСОМ ДЛЯ УТВЕРЖДЕНИЯ ПРИГОВОРА
МОСКОВСКОГО ТРИБУНАЛА О РАССТРЕЛЕ 11 ЧЕЛОВЕК**

[8 мая 1922 г.]

СПЕШНО. СЕКРЕТНО.

ВСЕМ ЧЛЕНАМ ПОЛИТБЮРО

Московский суд приговорил к расстрелу 11 человек, из них большинство попы (8 попов, 1 дровокол, агитаторша, торговец мясной лавки). Каменев предлагает ограничиться расстрелом 2-х попов.

Прошу голосовать «за» или «против» предложения т. Каменева. Я лично голосую против отмены решения суда.

Секретарь ЦК Сталин.

А результаты этого голосования сходны с предыдущими. Ленин, Троцкий, Сталин за более жесткий приговор; Молотов не голосует, но его место успешно занял Зиновьев (л. 9).

**ЗАПИСЬ О РЕЗУЛЬТАТАХ ГОЛОСОВАНИЯ В ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б)
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ Л. Б. КАМЕНЕВА ОБ ОТМЕНЕ ПРИГОВОРА
МОСКОВСКОГО ТРИБУНАЛА О РАССТРЕЛЕ 11 ЧЕЛОВЕК**

[8 мая 1922 г.]

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

- Т. ЛЕНИН — против отмены
- т. ТРОЦКИЙ — ”
- т. СТАЛИН — ”
- т. ЗИНОВЬЕВ — ”
- т. ТОМСКИЙ — за предложение т. Каменева
- т. РЫКОВ — за предложение т. Каменева

На заседании Политбюро 11 мая 1922 года результаты этого голосования будут утверждены особым постановлением (л. 7). Все как будто в «полном порядке»: участь всех 11 приговоренных окончательно решена. Приговор Политбюро обжалованию не подлежит, хотя бы это решение и было принято опять большинством лишь в один голос. Действует вполне демократический централизм.

Но внезапно Троцкий дает творческий импульс этой расстрельной арифметике. За хорошую политическую компенсацию большевики могут и помиловать не-

скольких человек. Конечно, не девятерых, тут Каменев загнул. Но главное не в числе, а в генеральной линии. Линии на уничтожение Церкви посредством раскола.

И на том же заседании Политбюро, на котором были утверждены результаты опроса 8 мая и, таким образом, был утвержден приговор трибунала, было решено отдельным постановлением приостановить исполнение приговора и «поручить т. Троцкому к вечеру 12.V с.г. ориентироваться и внести письменное предложение в Политбюро» (л. 14).

Троцкий ориентировался на следующий день, 12 мая, заседая с какой-то из своих антирелигиозных комиссий. Смысл решения сводился к тому, чтобы ценой отказа от нескольких расстрелов значительно укрепить позиции «прогрессивного» духовенства (это терминология для внешнего употребления, для внутреннего же, как мы видели, — «сменовеховское», «буржуазное духовенство», «главный враг завтрашнего дня»). Сложное движение за обновление церковного быта Русской Православной Церкви, прошедшее через ряд нелегких этапов после свертывания церковной реформы 1860-х годов, следовало теперь превратить в главное орудие Политбюро и ГПУ в деле раскола и поэтапного разгрома всего церковного организма. Вскоре один из видных деятелей ГПУ, Медведь, получит задание готовить организационно «учредительное собрание» «обновленцев», используя для этого деньги, полученные от изъятия церковных ценностей. Собрание это состоится 29 мая 1922 года и официально оформит организацию «Живой Церкви». Но ГПУ и Политбюро хорошо понимали, что требуется предпринять срочные меры для укрепления авторитета «живоцерковников» в глазах верующих. Вот тут-то и решено было не пожалеть для этого важного партийного дела несколько расстрельных приговоров. Уже 12 мая Троцкий сообщает сверхсекретной запиской в Политбюро:

**ЗАПИСКА Л. Д. ТРОЦКОГО В ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б) О ПРИГОВОРЕ
МОСКОВСКОГО ТРИБУНАЛА ПО ДЕЛУ О СОПРОТИВЛЕНИИ ИЗЪЯТИЮ
ЦЕРКОВНЫХ ЦЕННОСТЕЙ**

12 мая 1922 г.

С. СЕКРЕТНО.

хранить конспиративно.

В ПОЛИТБЮРО ЦЕКА

1. Вчера на совещании выяснилось, что защитники подали кассационную жалобу и что в таких случаях всегда бывает задержка на несколько дней, а иногда и на несколько недель, если процесс имел место в провинции.

2. Вчера же у нас было совещание и дано поручение:

а) всемерно использовать настоящий критический момент для опубликования воззвания от имени прогрессивной части духовенства (надеюсь, что завтра или самое позднее послезавтра такое воззвание появится в печати и пойдет в провинцию по радио).

б) разбить тем временем приговоренных на две группы как на основании обстоятельств, вытекающих из дела, так и на основании отзывов и ходатайств лояльных священников, которые подпишут воззвание. Разбивка на две группы поручена председателю трибунала Беку и Уншлихту.

Надеюсь, что уже завтра можно будет подвести итоги и предложить окончательное решение.

Л. Троцкий.

12/V 22 г.

№ 353

Подручные Политбюро и ГПУ обернулись с удивительной быстротой. В тот же день 12 мая группа «прогрессивного духовенства» посетила арестованного патриарха и потребовала, чтобы он отказался от своей патриаршей власти (в ответ патри-

арх временно передал эту власть митрополиту Агафангелу, противнику «обновленцев»). 12 и 13 мая «обновленцы» провели сбор заявлений «прогрессивного духовенства», в которых восхвалялись мудрость советской власти и справедливость расстрельного приговора, но одновременно содержались просьбы о помиловании нескольких или даже всех приговоренных к расстрелу. Чаще всего назывались имена девятерых приговоренных, так что вопрос был уже заранее «проработан». Эти заявления немедленно (12 — 13 мая) поступили в Политбюро. В деле № 24 находятся автографы заявлений протоиереев А. Введенского, Н. Русанова, С. Ледовского, священников С. Калиновского, В. Красницкого, Е. Белкова, псаломщика С. Стаднюка. Вскоре будет опубликовано их общее заявление, где они, обращаясь к «братьям-товарищам» из ВЦИК, заявляли о «справедливости борьбы Советской России с ее классовыми врагами», но просили помиловать осужденных.

Через день глава трибунала М. Бек и заместитель Дзержинского Уншлихт закончили работу по сортировке приговоренных на два списка. Шестерых было решено помиловать, а пятерых расстрелять. Троцкий скрепил своей подписью эти предложения (л. 16), и 18 мая они были утверждены постановлением Политбюро (л. 15).

Таким образом, в результате московского процесса партии удалось значительно продвинуться в реализации своей генеральной линии по отношению к Церкви, решив сразу несколько важных задач. В центре столицы, рядом с Лубянской, была организована публичная трибунальская акция террора по отношению к «тихоновскому» духовенству. Наглядно проводилась в жизнь ленинская директива «расстреливать». Ну а до помилованных, осужденных на разные сроки «церковников» вполне можно было добраться в следующий раз. Политбюро смогло быстро продвинуть вперед организацию, оформление групп «Живой Церкви», и «обновленцы» сразу же предприняли серьезную акцию против арестованного патриарха. Для партии было очень выгодно, что акция эта исходила как бы изнутри духовенства. Она была подтверждена и частным определением трибунала о предании Тихона суду. А сторонники церковных реформ были поставлены перед страшным этическим выбором: можно было не только попытаться осуществить что-то из своих старых идей, но и спасти жизни приговоренных к расстрелу верных сынов Церкви. Но все это — дорогой ценой восхваления советских карательных органов и прямого участия в партийной работе по расколу Церкви. В тексте приговора трибунала — тексте напыщенном и безграмотном, изобилующем ошибками даже в именах осужденных, — историки не заметили одного важного, принципиального положения. Вот оно: трибунал «устанавливает незаконность существования, организации называемой православной иерархией тем более, что деятельность этой организации преследует и политические цели умело скрывая их своей внешностью религиозной организации» (л. 30). Судебным постановлением объявлялась незаконность самого существования православной иерархии старой Церкви. Пора было приниматься за иерархов (конечно, не в первый раз за годы советской власти). Последние документы дела посвящены известному петербургскому процессу митрополита Вениамина.

По делу митрополита Вениамина уже издано немало документов, но лишь сейчас мы получаем возможность судить о конкретных директивах Политбюро по итогам этого процесса.

Петербургский митрополит Вениамин, старавшийся не обострять конфликта с властями и даже сумевший добиться какого-то компромисса по вопросу об изъятии церковных ценностей, не стал, однако, санкционировать самочинного захвата церковной власти «обновленцами» и 28 мая объявил об отлучении от Церкви петроградских священников Введенского и Белкова. На следующий день митрополит Вениамин был арестован. Сам Введенский, ученик митрополита, присутствовал при аресте. Десятилетиями из уст в уста в Советской России передавали рассказ о происшедшем тогда. Приводим его в передаче А. Левитина и В. Шаврова: «А. И. Введенский также был здесь... завидев митрополита, он подошел к нему под благословение. «О. Александр, мы же с вами не в Гефсиманском саду», — спокойно сказал Владыка, не давая своему бывшему любимцу благословения, а затем все с тем же спокойствием выслушал объявление о своем аресте» (т. 1, стр. 102).

Судебный процесс начался 11 июня, приговор был объявлен 5 июля 1922 года. Обвинитель, глава пятого отделения Наркомюста П. А. Красиков, заявил, что 17 из 86 обвиняемых участвовали «в организации, действующей путем возбуждения населения к массовым волнениям в явный ущерб диктатуре пролетариата»

(ст. 62 УК). Приговором трибунала 10 из них во главе с митрополитом Вениамином были приговорены к расстрелу.

В тот же день 5 июля 1922 года А. И. Введенский обращается к председателю Петрогубисполкома Г. Е. Зиновьеву со страстным ходатайством о помиловании приговоренных к расстрелу. На следующий день Зиновьеву будет направлено коллективное ходатайство о том же от имени 11 петербургских «обновленцев». А. И. Введенский будет обращаться в ближайшие дни с такими же ходатайствами и в другие инстанции. В этих ходатайствах наряду со многословными восхвалениями справедливости советского трибунала, с осуждением контрреволюционной деятельности подсудимых будут содержаться просьбы не делать «из этих церковников мучеников для толпы» (л. 45 — 46). А. И. Введенский предпринимает отчаянную попытку убедить партию и правительство, «что все дело обновления церкви, попытка сделать ее не слугой буржуазии, а посильной помощницей пролетариату находится в моральной и этической зависимости от исхода приговора. Если вообще будут расстрелы, — мы, Живая Церковь (и я прежде всего лично), будем в глазах толпы убийцами этих несчастных. Попытка оздоровления церкви будет сорвана» (л. 50 — 51 об.). Введенский надеется на прочность союза с коммунистами, тогда как Политбюро уже определило свою линию: разгромить завтра своих сегодняшних союзников; для этого полезно опорочить их уже сегодня, повязать кровью.

Г. Е. Зиновьев срочно пересылает обращения «Живой Церкви» в Политбюро:

**ЗАПИСКА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПЕТРОСОВЕТА Г. Е. ЗИНОВЬЕВА
В ПОЛИТБЮРО ЦК РКП(б) И. В. СТАЛИНУ
О ДВУХ ХОДАТАЙСТВАХ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОМИЛОВАНИЯ
ПРИГОВОРЕННЫХ ПЕТРОГРАДСКИМ ТРИБУНАЛОМ**

7 июля 1922 г.

В Политбюро ЦК РКП

Тов. Сталину.

Пересылаю 2 документа по делу о питерских церковниках. Вчера имел телефонный разговор по этому поводу с т. Каменевым — он обещал передать его в Политбюро.

Представитель трибунала выезжает по этому поводу в Москву в понед[ельник]. Я рассчитываю быть в Москве в среду.

Прошу держать меня в курсе Ваших реш[ений] по этому поводу.

С комприветом Г. Зиновьев.

Зиновьев, еще недавно голосовавший за более жесткий исход московского процесса, не высказывает своего отношения к суду над петербургскими «церковниками». Содержание его разговора с Каменевым по этому поводу нам неизвестно. Но не исключено, что, торопясь поставить всю эту проблему на решение Политбюро, он как бы дает ход на самом верху пирамиды власти ходатайствам о помиловании. Однако сам Зиновьев при этом от решения вопроса устраняется.

Политбюро действует уже привычным образом. Приговор передается на рассмотрение особой комиссии ЦК РКП(б), надзирающей за организацией и ведением судебных процессов над духовенством. Комиссия эта (Галкин, Самсонов, Попов) 12 июля рассортировала приговоренных к расстрелу и оставила в силе расстрельный приговор в отношении митрополита Вениамина (Казанского), архимандрита Сергия (в миру Шеина Сергея Павловича), профессора Петроградского университета Юрия Петровича Новицкого и председателя правления православных приходов Ивана Михайловича Ковшарова (л. 42).

Политбюро постановлением от 13 июля 1922 года согласилось с этим предложением и одновременно поручило «секретариату ЦК переговорить с Президиумом ВЦИК на основании доклада комиссии» (л. 41). Переговоры с ВЦИК были необходимы, так как там находились на рассмотрении многочисленные ходатайства о помиловании всех приговоренных и по закону именно высшему органу советской власти принадлежало тут последнее слово. На постановлении Политбюро от 13 июля на следующий день И. В. Сталин с удовлетворением начертает: «Строго

Секретно. Исполнено. И. Ст. 14/VII». Однако, несмотря на эту резолюцию, постановление от 13 июля не будет еще последней точкой в деле митрополита Вениамина.

Виною этому станет досадная недоработка Калинина. Вместо того чтобы с готовностью подчиниться директиве Политбюро, ВЦИК робко выскажется за помилование. Конечно же ВЦИК не посмеет оформить свое мнение законным решением. Калинин прибегнет к необычному варианту — устному ходатайству партийной фракции ВЦИК о пересмотре директивы Политбюро.

**ЗАПИСКА СЕКРЕТАРЯ ВЦИК А. С. ЕНУКИДЗЕ
СЕКРЕТАРЮ ЦК РКП(б) И. В. СТАЛИНУ
С ИЗЛОЖЕНИЕМ ХОДАТАЙСТВА ПРЕЗИДИУМА ВЦИК
О ПОМИЛОВАНИИ ПРИГОВОРЕННЫХ ПЕТРОГРАДСКИМ
ТРИБУНАЛОМ К РАССТРЕЛУ**

2 августа 1922 г.

Совершенно Секретно.

Секретарю ЦК РКП

т. Сталину

Президиум ВЦИК, заслушав доклад о Петроградских церковниках, устно постановил: «поручить т. Енукидзе просить Политбюро от Фракции Президиума ВЦИК пересмотреть свою директиву по этому делу».

Ввиду того, что вопрос затянулся, я очень прошу Вашего распоряжения об ускорении ответа. —

В Президиуме присутствовали: т.т. Петровский, Курский, Сапронов и я (Мал[ый] презид[иум]).

А. Енукидзе.

2/VIII.

В это время работал Пленум Центрального Комитета РКП(б), бывший по уставу высшим органом партии. Он и занялся, вполне официально и ничуть свою диктатуру не скрывая, ходатайством высшего органа советской власти. И хладнокровно это ходатайство отклонил, спокойно оформив свое решение обычным партийным порядком:

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ЦК РКП(б) ОБ ОТКЛОНЕНИИ ХОДАТАЙСТВА
ПРЕЗИДИУМА ВЦИК О ПОМИЛОВАНИИ ПРИГОВОРЕННЫХ
ПЕТРОГРАДСКИМ ТРИБУНАЛОМ К РАССТРЕЛУ МИТРОПОЛИТА
ВЕНИАМИНА (КАЗАНСКОГО), АРХИМАНДРИТА СЕРГИЯ (С. П. ШЕЙНА),
ПРОФЕССОРА Ю. П. НОВИЦКОГО И И. М. КОВШАРОВА.
ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПЛЕНУМА, № 3, п. 5**

от 2 августа 1922 г.

Строго секретно.

СЛУШАЛИ:

...5. О полах.
(т. Сапронов).

ПОСТАНОВИЛИ:

5. а) Отклонить ходатайство Президиума ВЦИКа о пересмотре директивы ЦК по вопросу о полах.

б) Считать необходимым интервью т. Калинина в печати по поводу нашей политики в

церковном вопросе. Текст поручить составить комиссии из т.т. Троцкого, Калинина и Бубнова.

Секретарь Цека.

Под глумливой формулировкой «о попах» скрывалось осуждение на смерть митрополита, архимандрита, профессора, присяжного поверенного.

В ночь с 12 на 13 августа 1922 года митрополит Петроградский и Гдовский Венямин и трое его поделщиков были казнены.

* * *

Историки будут, вероятно, проследживать роль каждого из членов высшего руководства партии и страны в трагедии русской Церкви. Они отметят и кровожадную непреклонность Ленина, Сталина, Троцкого, и умелую заплечную диалектику последнего, и колебания Рыкова, Каменева, и робкие гуманные попытки Калинина. Но все они независимо от оттенков были связаны жесткой партийной дисциплиной, повязаны кровью своих жертв, и результаты любых голосований в полном соответствии с партийными нормами оформлялись как единая воля партийного монолита. Поэтому ответом на традиционный вопрос о том, кто же виноват в происшедшем, будет констатация вины властной цепочки, приводившей в движение всю адскую машину репрессий: Политбюро ЦК РКП(б) — ЦК РКП(б) — РКП(б).

В 1975 году А. И. Солженицын в интервью журналу «Ле пуэн» на вопрос, какой первый образ детства возникает у него в памяти, ответил: «Дайте подумать... Вот, вспоминаю. Я в церкви. Много народа, свечи. Я с матерью. А потом что-то произошло. Служба вдруг обрывается. Я хочу увидеть, в чем же дело. Мать меня поднимает на вытянутые руки, и я возвышаюсь над толпой. И вижу, как проходят серединой церкви отменные остроконечные шапки кавалерии Буденного, одного из отборных отрядов революционной армии, но такие шишаки носили и чекисты. Это было — отнятие церковных ценностей в пользу советской власти». И далее, говоря о позднейших (уже времен войны) попытках Сталина, дав Церкви больше свобод, использовать ее, Церковь, в собственных политических целях, Александр Исаевич замечает: «Так убийца вырядился в одежду своей жертвы, украшал себя ее драгоценностями и старался говорить ее языком».

Уважаемые читатели!

Если вы не являетесь подписчиками «НОВОГО МИРА» и хотите купить отдельные номера журнала за 1993 — 1994, а также и за другие годы, вы можете это сделать в нашей редакции по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Чеховская», «Пушкинская», «Тверская», за кинотеатром «Россия») ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 11.30 до 16.30.

Наложенным платежом журнал не высылается.

«НМ».

А. К. ВИНОГРАДОВ У ЛЬВА ТОЛСТОГО

27 февраля 1909 года Душан Маковицкий, автор «Яснополянских записок», сделал в своей хронике такую запись: «Л. Н. спал хорошо; утром гулял. После полудня был у него московский студент, говорил час о вере»¹.

Кто же разделил тогда час беседы со Львом Толстым? Д. Маковицкий не записал имени молодого человека. Мало ли молодежи посещало Толстого, обращалось к нему... Маковицкий, конечно, не предполагал, что пройдут годы — и «московский студент» станет известным писателем, автором популярных в свое время романов «Три цвета времени», «Осуждение Паганини», «Черный консул».

Итак, собеседником Толстого, как выяснилось, был Анатолий Корнелиевич Виноградов, учившийся в ту пору в Московском университете на философском отделении историко-филологического факультета. В записной книжке, которую А. Виноградов вел с 15 февраля по 3 июля 1909 года, содержатся записи о разговоре с Толстым². Они представляют собой не связный рассказ, а отрывочные, фрагментарные заметки для памяти. Прежде чем познакомиться с ними, поинтересуемся, что побудило студента Виноградова совершить паломничество к апостолу русской литературы.

«...может, менее чем кто иной смею беспокоить Вас, но не праздное меня зовет к Вам любопытство; не дерзнул бы я идти к Вам, но умер спутник мой и скорбь меня побуждает», — просит А. Виноградов о свидании в письме Л. Толстому³. Острая потребность в таком свидании возникла у Виноградова вскоре после смерти его друга, поэта Юрия Сидорова.

Ю. А. Сидоров был близок к кругу московских символистов, среди которых слыла личностью замечательной. «Эти люди нужнее многих прекрасных книг, многих мудреных трактатов. Те, кто помнит Сидорова, знают, что унес он с собой; он унес с собой редчайший дар, который делает человека знаменосцем целого течения», — так писал Андрей Белый в одном из трех предисловий к посмертно изданному «Альционов» сборнику стихотворений поэта (1910)⁴. Были еще в сборнике предисловия Б. Садовского и С. М. Соловьева, последний — тоже из ближайших друзей А. К. Виноградова.

Ю. Сидоров умер совсем молодым, двадцати двух лет, после недолгой болезни. С его смертью записные книжки Виноградова наполнились записями горестными, отчаянными: «Никто в мире не был мне так близок, как Юра. С ним я не был одинок. Нет его теперь...» Чувство скорби доходит до апогея: «Избави мя, Господи, от искушения пойти за Юрушкой», — записывает он⁵.

В 1909 году Анатолий Виноградов переживает глубокий душевный кризис. Каждое воспоминание о друге он наполняет особым смыслом. Ему кажется, что уход из жизни «Юрушки» имел мистическую окраску. Его посещают болезненные сновидения, в которых является умерший друг. А однажды ему приснилось, что Андрей Белый и Сергей Соловьев насмеяются над его горем. Тем не менее Виноградов сделал попытку сблизиться с Андреем Белым. Но когда пришел к нему в назначенный час помянуть вместе покойного Сидорова, Белого не оказалось дома. И Виноградов послал 12 мая 1909 года Белому письмо, где уведомляет, что «посещение было последней попыткой к сближению», и заверяет, что оно «никогда не повторится»⁶.

Ю. Сидоров и А. Виноградов были серьезно увлечены «апокалиптическим христианством» Д. С. Мережковского, его антиномией Христа и Антихриста. Вот что мы

Предисловие, публикация, подготовка текста и примечания СТ. АЙДИНЯНА.

¹ Д. П. Маковицкий. Яснополянские записки. «Литературное наследство», т. 90, кн. III, стр. 343. М. «Наука». 1979.

² РГАЛИ, ф. 1303, оп. 1, № 296, зап. кн. 2.

³ ГМТ, рукописный отдел, фонд Толстого, № 68327.

⁴ Андрей Белый, «Дорогой памяти Ю. А. Сидорова» (в кн.: Юрий Сидоров. Стихотворения. М. «Альциона». 1910, стр. 9 — 10).

⁵ РГАЛИ, ф. 1303, оп. 1, № 296, зап. кн. 1, л. 15.

⁶ ОР РГБ, ф. 25, к. № 13, ед. хр. 8.

узнаем по этому поводу у Бориса Садовского: «В мае 1908 г., встретившись с Юрием проездом через Москву, я заметил в нем необычайную нервную напряженность в соединении с какою-то странною переменной, к которой я не имел времени присмотреться. Увлечение идеями Мережковского достигло в нем в ту пору наибольших пределов. На личности Мережковского сосредоточились все надежды Юрия до самых последних месяцев его жизни»⁷.

Ю. Сидоров перед смертью на слова матери: «Вот выздоровеешь, будешь жить», — ответил: «Как я могу жить: сейчас приходил Антихрист и меня убил»⁸. Из записей Виноградова, где приведены эти слова, видно, что они его ужаснули. Обреченными предтечами осознал Анатолий себя и своего погибшего друга. Он заносит бисерным почерком в записную книжку: «Мы дело говорим, и положение наше серьезно и ответственно и опасно; что имя Гоголя воистину обязывает, это лучше всего показывает Юра своею смертью». К чему обязывает имя Гоголя, разъясняет С. М. Соловьев: «Гоголь являлся для него (Ю. Сидорова. — Ст. А.) носителем христианского, аскетического идеала, Пушкин — идеала языческого. Борьба Гоголя и Пушкина в современной поэзии являлась для проникнутого Мережковским сознания Сидорова чем-то вроде борьбы Христа и Антихриста»⁹.

А. Виноградов встречался с Мережковским: «Во второй день по смерти Юры я был в теснейшей связи с Мережковским. Только в этот день я был ему так близок, ибо говорилось и думалось о смерти, а Мережковский знает, что он и все, что идет за ним, умирает...

Дерзновенны наши речи,
И на смерть осуждены
Слишком ранние предтечи
Слишком медленной весны»¹⁰.

Строки эти из известного стихотворения Д. Мережковского обретают в записи А. Виноградова невольную обращенность к кончине Ю. Сидорова. А дальше — страшное подозрение посетило Виноградова: не обернулось ли причиной гибели друга влияние на него идей Мережковского?! И уже в запальчивом тоне обращается он к автору «Христа и Антихриста»:

«Вы имеете что-то, что Вы очевидно именуете сошествием на Вас Святого Духа и присутствием господина Иисуса Христа. Но тогда где ручательство, что то, Вас осеняющее, не есть от Антихриста? Вы сами знаете это не безусловно и не твердо. Как же Вы нас влечете, во имя какой реальности? К каким берегам нас зовете?

Раскрыл бы я все это. Смерть моего друга очень побуждает меня крикнуть: «Слово и дело». Но подождем»¹¹.

Итак, в Д. С. Мережковском, создателе так и не развившейся «церкви нового религиозного сознания»¹², был Виноградовым заподозрен Антихрист. Где же Христос?

Выяснить вопросы наболелишие, камнем на сердце лежащие, А. Виноградов отправляется в Ясную Поляну ко Льву Толстому, которого называет «Христов старик». Там он надеется найти духовную истину. Однако понимание Толстым веры как знания вошло в резкое противоречие с «пьяной» жаждой мистического озарения, которой томился А. Виноградов. «Пьяный с трезвым сошлись» — так оценил студент-философ свою встречу с Толстым.

Так или иначе, А. Виноградов получил ответ на заветный и страшный для него вопрос о причине смерти друга. В записной книжке посреди выписок из толстовского дневника, которые он делал, находясь в гостях у Черткова, — жестокая и прямая фраза: «Неужели Юра умер от ядовитой конфетки, Толстой говорит, что да»¹³.

Этому не приходится удивляться, потому что... Лев Николаевич, как пишет А. Виноградов, «не помнил» о Мережковском. Скорее не захотел вспомнить о том, что в 1904 году Д. Мережковский и З. Гиппиус посетили его в Ясной Поляне. После их

⁷ Б. Садовской, «Памяти друга» (в кн.: Юрий Сидоров. Стихотворения, стр. 14).

⁸ РГАЛИ, ф. 1303, оп. 1, № 296, зап. кн. 1, л. 14 (об.).

⁹ С. М. Соловьев, «Юрий Сидоров» (в кн.: Юрий Сидоров. Стихотворения, стр. 18).

¹⁰ РГАЛИ, ф. 1303, оп. 1, № 296, зап. кн. 1, л. 16 (об.).

¹¹ РГАЛИ, ф. 1303, оп. 1, № 296, зап. кн. 1, л. 22.

¹² Об этом, в частности, см. в кн.: М. С. Шагинян. Человек и время. М. 1980, стр. 393 — 395.

¹³ РГАЛИ, ф. 1303, оп. 1, № 296, зап. кн. 2, л. 47 об.

отъезда Толстой писал М. Л. Оболенской: «Сейчас уехали от нас Мережковские. Этим хочу любить и не могу»¹⁴.

Что до влияния идей Д. Мережковского на общество, то у Толстого есть такое вполне определенное высказывание: «Есть люди, которые пользуются религией для злых целей: для честолюбия, корысти, властолюбия, но есть и такие, которые пользуются ею для забавы, для игры: Мережковский и т. п.»¹⁵.

А. Виноградов не поверил Толстому. Страшно было поверить. Однако впечатление от встречи было огромным. В 1910 году Виноградов склонил голову при известии о смерти Толстого: «Сегодня 7-го ноября в 6 часов 5 минут утра умер Лев Николаевич Толстой. В железнодорожном доме на станции Астапово. Начав свое скитание, окончил многоскорбную жизнь в душевной муке за людские страсти. Не вернется более. И мы живем позорною жизнью»¹⁶.

А теперь откроем забытую книжечку А. Виноградова «Шейх Мансур», изданную в библиотеке «Огонек» в 1934 году. Вот что написано в авторском предисловии: «В январе (sic!)¹⁷ 1909 года я еще студентом филологического факультета был в Ясной Поляне. А через полгода с Е. Д. Гончаровой¹⁸, моей крестной матерью, я два раза был снова там, где А. К. Черткова¹⁹ нас принимала. Лев Николаевич говорил много и сердито о нездоровых увлечениях молодежи, а я тогда запоем читал Мережковского «Толстой и Достоевский». Концепции Мережковского не понимал, романы его любил, а об «идеях» спрашивал Толстого...»²⁰

Сюжет очерка «Шейх Мансур» Виноградов почерпнул из беседы с Толстым, который рассказывал о деятели кавказской войны XVIII века Мансуре, предшественнике Шамшия. Правда, когда очерк увидел свет, критика указала на то, что сам Толстой взял сведения о Мансуре из журнала «Русская мысль» и лишь пересказал содержание сомнительной по достоверности статьи. Но тем не менее очерк ценен как еще одно документальное свидетельство интереса создателя «Хаджи Мурата» к истории Кавказа.

Так и публикуемые здесь впервые памятные заметки Анатолия Виноградова интересны как еще одно живое впечатление о Толстом, о том, каким был яснополянский мыслитель в последний период жизни. Не менее характеризуют они и А. К. Виноградова, трагические искания которого были свойственны духовной атмосфере России начала века.

¹⁴ Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений в 90 томах. М. 1956, т. 75, стр. 104.

¹⁵ Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. М. 1937, т. 55, стр. 300.

¹⁶ РГАЛИ, ф. 1303, оп. 1, № 296, зап. кн. 6, л. 241 об.

¹⁷ А. К. Виноградов был в Ясной Поляне в феврале 1909 года.

¹⁸ Гончарова Е. Д. (ум. 1922) — одна из первых русских женщин-врачей, родная племянница Н. Н. Пушкиной-Ланской. О ней см. подробнее: Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. М. 1937, т. 86, стр. 101 — 102.

¹⁹ Черткова А. К. (1859 — 1927) — жена В. Г. Черткова (1854 — 1936), сподвижника и издателя Л. Толстого.

²⁰ Виноградов А. Шейх Мансур. М. 1934, стр. 4.

ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ А. ВИНОГРАДОВА

Риккерт¹ и гносеологический субъект. Мы все мыслим не в себе, а в Боге, ибо корни нашего бытия теряются при анализе. Мы в зависимости. Сущность нашего субъекта Бог. Так мы, исследуя себя, видим, что мы существуем не сами, а только в Боге, иначе нас нет.

Если Бога не существует, то и нас нет, ибо мы лишаемся корней бытия. Крепость и сладость моей веры. Гносеологический субъект не существует. Но воистину и жить не страшно и умереть не больно. Каждый человек сквозное окно в Бога. Каждый человек дверь в Бога. Любить человека — стучаться в Бога.

¹ Риккерт Генрих (1863 — 1936) — немецкий философ, неокантианец.

Как, будучи в вере, в религии, но выйдя из господствующей церкви, избежать сектантства, имея жажду церкви, любя людей и питая Вселенскую жажду, нельзя оставаться одному, — пропагандируя свое учение, можно лишь учредить еще одну секту и принять судьбу многих еретиков и сектаторов. Человеческое устройство вожделенно мне. Душу свою положу за други своя. Вопрос о личной жизни не любовен. Вот М<ережковский> сначала был одинок и говорил о грядущей Иоанновой церкви. Ныне же утверждается в новой секте, призывая Духа как Хлыст, ожидая и вызывая Христа на третий завет. Что вопрос не празден, я свидетельствую, и все свидетельствует смертью. Жизнь свою положил друг мой любимый.

Экономическая подкладка истории и понимание этого не исключают и не решают вопроса об усовершенствовании личности, а без этого ничего не удастся.

Вместо души отгоревший пепел. Об интеллигенции. О безбожии.

Радуюсь, Господи, о имени Твоем, Иисусе. Ты еси Бог, Творящий чудеса. Ныне сердцу моему осуществляешь заветы.

Л. Н., любить буду Вас неугасимо и молиться о Вас во все дни. Ей гряди, Господи.

О конце. Все люблю, всякую травку, всякую птицу, а человека тем паче, ибо человек Врата к Господу, сквозное окно в Бога, ибо нет человека не в Боге.

Интеллигенция много понимает, но мало любит.

24 февраля, вчера, молился у мощей Василия Блаженного и Иоанна Благочинного. Лобызал честные вериги. Молился у мощей Алексия Митрополита. Чудотворца. Получил благословение от иеромонаха Чудова монастыря. Молился я об успешности моего паломничества ко Христову старику. Об земле русской молился, о своих молился, молился о здравии живых и об упокоении усопших, и Юрушка незримо меня наставлял, и во всем я чувствовал его дух. Воздух на высотах кремлевских был легкий, колокола благоуханно звенели, и аз молился молитвой Ефрема Сирина. Так время прошло от трех до 5-ти часов. Сережа милый и дорогой <С. М. Соловьев. — Ст. А.>. Ласков был со мною, когда завтракали вместе. Целительна милая ласка его. Странника Смагда повстречал. О сем после.

У интеллигента опустошенная безбожием душа. Душа — отгоревший пепел. Говоришь с интеллигентом и словно пошлину платишь, что он-де не простой человек, а интеллигент. Можно быть культурным, минуя интеллигентность. Спустишься ниже и узришь, сколько света духовного, радости и тепла в убогой нищенской крестьянской душе. Сквозь убожество надо поллюбить. Ужаса там много. Или ужас, или любовь, а не то вместе, а это бывает. В городе человек человеку волк. Господи, прости мя осуждение. О понимании быта народна. С<оциал> Д<емократы> пренебрегают им совсем. Вечно помнить об Астафии и старце Смагде.

На Двине и в Заволжье народ иной: духом крепкий, верою благоухающий, в благочестии древнем твердый, и живут богато и полно, и дивным художеством преизяществом украшают свои храмы и моления. Сильна там старая Вера, как Адамантовая врата. Духом воистину тверды, в молитве благоуханны. Видели мы, что нельзя оставаться в лоне господствующей церкви, но любя дело церковное, скорбели о выходе; принять же сектаторство мы не могли, ибо как дерзать принятием на себя авторитета церковно-веро-учительства, будешь только основателем секты, которых и без того много, — где же здесь мечта всемирная, где вселенского счастья жажда?

И были мы грустящие одиноко, но поучать и пропагандировать не хотели, ибо смотрели на сие как на дело нелюбовное. И видели, как учитель нового Христа грядущего тоже скорбит и грустит несказанно, и думали, что пламенно ждет он Иоанновой церкви. Но и он оказался явным грустителем и тайным сектатором и почти хлыстом. «Аз бо есмь в чину учимых и учащих мя требую».

Интеллигенты и прочие свободомыслящие из старого ума выжили, нового не нашли, дураками умрут. Непредвидимость.

Ценно не то, в каких устройствах люди (община или...), ценен дух крепости, сила веры в отдельного человека. Без этого ни черта не сделаешь.

Бабы особенно стремительны к ложноучителям.

Слишком большое горе людей разделяет, а среднее близит.

Об отце², коего вся жизнь экзамен. Святой он. О Юре Книжечка. Прочитать все.

Люблю я их. Сколько страдают на земле. *Никого не любил я так, как Вас, да обрадует Вас простая человеческая любовь. Быть может, устал он, тогда прошу его сказать и прощусь с ним навсегда.* Страдания и любовь и вера во Христа меня приближают и поднимают до него. Крест. Ножичек. Книжки. Евангелие. Письмо. Деньги³. Слушать то, что скажет Христов старик. Написать о тайной беседе. Все избличает сдержанность и суровый дух и огонь души, свету его душа поддается и огненным горит сиянием. Как благодарю я Бога, что привел он меня к нему.

Длинная сосулька льда повисла у лошади со лба до ноздрей.

Нынче это кончаю, эту часть жизни, и начинается иная жизнь. Завтра увижу Христову старца и перейду к новым дням новой жизни.

Господи, посети сердце мое!

Ныне стоит Господь у сердец и стучит близко, близко и глаголет: «Се стучу. Се стою у дверей и стучу». Не внимают стучу сему. Вниди, Господи, вниди благословенный, вечеруй со мною, блуждающим нищим, странным младенцем Твоим. Что реальное понимать под любовью? Какой первый шаг? Каким делом выражается моя любовь?

<Посещение Льва Толстого>

26 февраля 1909 года. Ясная Поляна.

Спор с Гусевым⁴ бесплодный. Ему хорошо, а мне какво? Л. Н. Вошел в прихожую. Шаркает ногами и говорит: «Где молод щеловек?» Слышу через дверь: снимает калоши. Вошел в черной блузе, в сапогах порыжелых. Глаза светло синие, лицо потемневшее красно от мороза, серые волосы. Горбится. Поздоровался. «Помогу чем умею. Каждый сам себе помочь должен. Так ведь?» И засунул руки за пояс. Засим просил остаться и позавтракать: «А сейчас мое время». Сказал еще слов десять и ушел, спросивши, сколько мне лет.

Дал читать свои статьи неизданные и издаваемые за границей. Письмо Руквишникову Н. А. 4 февр⁵, письмо индусу 14 декабря 1908⁶, читаю, и нехорошее со мной делается.

С одной стороны, отрицает ложное умственное развитие (именно оно ведет к безбожию), с другой, утверждает немислимость христианства евангелического как непримиримого с умственным развитием современности. <...>

Ходит шагом старческим и частым.

О пантеистическом Боге.

Хорошо живут, привольно, но хочу добавить о Христе Боге моем, ибо вмещаю сие и без этого нет во мне жизни. Лев Николаевич! Я у Вас прочитал о том, что вмешательство Бога в жизнь — заблуждение. Мне кажется, я ошибся, если подумать, что Вы считаете ложным вмешательство Бога по молитве.

Воздух и дух у Вас легкий, живой дух. В Москве дух тяжелый. Тихо и спокойно. Беречь старика. С любовью и осторожностью говорить, не беспокоя.

Верую, Господи, и исповедую яко ты еси Христос сын Бога живого, пришедший в мир.

Еду к Черткову.

Любовь и далее это о жизни, а не об узнавании. Я же весь, все это приняв как прекрасное и для жизни радостное, еще глубоко таю в сердце своем веру младенческую. Не обманет Бог младенца своего. У Черткова. Хожу, говорю, читаю. <...>

² К. Н. Виноградов, отец А. К. Виноградова, учитель.

³ Перечень предметов, которые А. К. Виноградов наметил взять в Ясную Поляну.

⁴ Гусев Н. Н. (1882 — 1967) — секретарь Л. Н. Толстого в 1907 — 1909 годах.

⁵ См.: Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. М. 1955, т. 79, стр. 53—58.

⁶ См.: Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. М. 1956, т. 37, стр. 245 — 273.

Мое свидание с Л. Н.

27 февраля 1909. Ясная Поляна.

Рука несколько дрожит. Только что сошел с верха из кабинета Льва Николаевича. Пишу с трудом. Вошел к нему в кабинет, вижу: сидит в углу на кресле. Встал, здоровается. Я спрашиваю: «Как Ваше здоровье?», он говорит: «Ничего теперь, вчера слабость была большая. Нынче хорошо. Быть может, паралич будет. Помирать скоро, к смерти ближе». Я говорю: «Зачем помирать, с нами побудьте», а он: «Да и смерть хороша и умереть хорошо», улыбаясь. Затем начал: «Мне вчера Ф. А.⁷ сказал о Вас. Не думаю, чтобы мог я быть Вам чем-нибудь полезен, если Вы придерживаетесь таких убеждений, то я ничего не могу Вам сказать». Затем говорил о Достоевском: «много путаницы», о том, что «в мире тайны нет и вера не нужна, а знать о Боге нужно, это я знаю». О М<ережковском> он ничего не знает и не помнит. Когда я рассказал ему, то он сказал, что это религиозные конфетки и что если Вы любите Бога, то зачем Вам Мережковский, зачем Черезковский и Терезковский, к черту Мережковского. Никто Вам не нужен и Толстой Вам не нужен, к черту Толстого, ну его к собаке под хвост. Тут он рассмеялся веселым и быстрым смешком. Но дверь отворилась и вошла Софья Андреевна. Она очень молода и имеет прекрасный цвет лица. Поздоровалась со мною улыбнувшись и строго посмотрела на Льва Николаевича. Он спросил: «Ты что, Сонюшка?» «Да я, — сказала С. А., — слушаю ваши разговоры, и мне кажется, ты очень горячишься».

Про брата Ф. А. Степанова.

О тайне неисследимой в личности — здесь он после спора согласился. О личности. Личность он понимает в смысле ограничения.

Христа не выделяет из философов.

Пока это. О существенном писать не могу⁸.

Хорошо здесь: воздух легкий. Поля широкие. Ясные поля.

Не так уж он прост. Не верит.

Философией занимается, да еще плохой.

Пьяный с трезвым сошлись.

Пожил он, и я жить хочу. Ишь, 80 лет, а верхом катается, «божью тварь мучит». Скачет лучше кавалериста. <...>

Я ему сказал: «Вы все пользуетесь термином „христианство“». «Да, — сказал он, — с большою охотою: я его очень люблю и уважаю». Говорит, что воскресенье Христово ему не нужно. Наоборот, это разрушит все, что он строит... С моей единственной непревзойденной в мире чисто индийской способностью перевоплощаться я мог на минуту искренне и глубоко пережить всю психологию толстовца.

Если явится спирт и скажет, что тогда-то он <Христос. — Ст. А.> воскреснет, я скажу ему: сделайте одолжение, только мне до этого нет дела.

«Добрые люди посылают мне книги. Индийскую философию я люблю».

«В Евангелии Иоанна тож много глупостей, а Павел прямо злодей, испортил христианство, исказил все. Много глупостей в этой книге».

«Зачем Вы его⁹ читаете, ведь сколько истинно хороших книг. Посмотрите мой «Круг чтения», сколько их там. Вам надо своя душа спасти, как мужики говорят, «своя душа спасти». Вы вот на кресле этом сейчас умереть можете». «Я готов», — сказал я. «И я готов, и я тоже умереть могу», — сказал Л. Н. «Так вот зачем Вам М<ережковский>? Прежде всего надо душу спасти и жить истинной жизнью».

О всечеловеческой формуле жизни религиозной и о стирании дорогих граней индивидуальности. Социализм это дурнопонятое христианство.

О религиозных конфетках. «Или заниматься серьезно, или вовсе не заниматься, это дело серьезное». Я сказал, что там, где жизнью платятся, там уже не может быть речи о легком отношении к делу. Спросил о революционности

⁷ Ф. А. (Степанов) — личность не установлена. Нельзя исключить, что А. Виноградов неверно расслышал фамилию Ф. А. Страхова (1861 — 1923), философа, близкого друга Л. Толстого, потому ошибся, заменив ее на «брат Ф. А. Степанов» (см. ниже); братьями толстовцы называли друг друга.

⁸ Речь идет о смерти Ю. А. Сидорова.

⁹ Д. С. Мережковского.

в Москве. Я сказал, что слабо, но СД работают. «Как они работают, пропагандируют?» «Да». Отрицательная пропаганда. Они разжигают злобу и внушают те чувства, которых не было у крестьян: вражду и зависть. Проповедь отрицания. Подумаю, может быть, и правы Л. Н. и В. Г.¹⁰, но вернее что нет. Вздорно говорят про какую-то мистическую половину жизни. Л. Т., если угодно, он был мистиком в жизни своей и в искусстве, когда перестал быть художником, то это мистическое глубоко ушло в личную его жизнь, в интимнейшие его переживания. В теоретике он беспомощней ребенка, и любой его может здесь разбить, но мистического и веры <не> найти в его теоретике.

Когда сказал мне, что надо душу спасти, я быстро спросил: «От чего?» Он сим вопросом был изумлен и рассержен.

Прощаясь, сказал: «Мне очень приятно говорить с такими людьми, такие люди мне дороги. Простите, что сказал Вам неприятного». «Мне интересно знать, как пойдет у Вас дальше, что будет с Вами. Напишите мне иногда, как Ваша фамилия?» Я сказал. «Я Вам отвечу, если письмо будет того заслуживать».

На этом мы простились.

Во время разговора он брал нож для книг и круглый камень и на нем черенком обыкновенного ножа отбивал острие.

Вообще он чрезвычайно жив и бодр. Совсем не узнаешь дряхлого сторбленного старика, что приходил вчера ко мне.

<...> Встретил меня сердито и гневно. Сытенький и благодушный Ф. А. наговорил ему про меня вздору. Он с того и начал: «Чертков и Ф. А. говорили мне о Ваших убеждениях, с таким человеком у меня ничего нет общего, никаких точек соприкосновения, я не могу Вам помочь. Впрочем, может быть, Ф. А. напутал, скажите сами». Я сказал, что мы с Ф. А. говорили мало, но о личном бессмертии он со мной согласился. «Ну вот чепуха какая, я говорил нет, это нельзя, это разрушает все, что я делаю, не нужно мне это, совсем не нужно. Это вера. Не хочу я верить, я знать хочу, а ведь это то же, что вера в чудеса, не хочу верить ни во что. Я Бога знаю, но не верю». Я сказал, что не соединимо с молитвой представление о невмешательстве Бога в жизнь и в личную жизнь по молитве. Он был прямо на меня гневен. Я догадываюсь: розовый старичок Ф. А., возмущенный тем, что с самим Л. Н. я не соглашаюсь и имею какие-то свои еще мнения там, где все так просто. Он наговорил про меня, это подготовило и вызвало досаду у Льва Николаевича.

О непротивлении я сказал, что это единственно возможное понимание: «Это мне очень приятно, а то раньше интеллигенты мне писали, высмеивая это пресловутое непротивление». <...>

Когда я ждал лошади, сверху сошел Л. Н. и что-то спросил, ему ответили. «Ах это молодой человек». «Канта я считаю гениальным», — сказал Л. Н., а не знает о примате практического разума и даже о делении этом не знает. Антиномий не читал.

Голос старческий, слегка хрипящий, говорит «щелавек», «отщень». О категориях говорит как юный метафизик-первокурсник. «Ведь это так: ученые самые невежественные люди, смешной материализм». Презирает Геккеля. Любит Шопенгауэра.

Говорит о точке зрения происхождения видов: ну что он¹¹, сначала рыбы, потом иные животные, потом обезьяны, ну а рыбы откуда, земля откуда, из туманности, как из солнца, а солнце и Сириус откуда? И так видим, что здесь путаница: путь избрали неверный!

Дурной бесконечности не отличает от истинной.

Если по Толстому религия не для покоя и радости, а для познания истины, то я прав в своей жизненной деятельности.

Словно сон какой, так их жизнь странна и не похожа на нашу, что, уехав из Дивных Весей и Ясных полей, все дни пребывания там кажутся сном.

Жить он устал.

¹⁰ В. Г. Чертков.

¹¹ Имеется в виду Ч. Дарвин.

Я что-то забывчив стал, забываю, что делал минуту тому назад, цепь мысли обрывается. Убийственная улыбка, кроткая улыбка смерти, улыбка безумная умирающего человека или эпилептика. Как страшно это было, когда здоровый и тихий человек вдруг так страшно стал улыбаться, что сестра¹², взглянув в нечеловеческое лицо, упала в обморок.

Вознесение. С усами, с бородой.

Бог, входящий в комнату.

О раскольниках и русском религиозном крестьянстве. На него вся надежда. «Но ведь крестьянин верит — он не читал Шопенгауэра». О Леониде Андрееве: «читал три раза «Рассказ о семи повешенных» и рассказать не могу, не помню ничего».

Л. Андреев писал Толстому письмо, где просил разрешения посвятить ему «Семь повешенных». Толстой отказал. К Андрееву он относится отрицательно¹³. В. Гюго очень любит и восторгается. Теперь читает его.

Прекрасный Иосиф¹⁴.

Как о тех, кои, будучи воспитаны в религии, потом становятся софистами своих религиозных убеждений. Конт¹⁵ говорит: ну как? О времени и пространстве любит говорить и пишет. Думает, времени нет, поэтому больше всего любит настоящее. <...>

Л. Толстой любит свою любовь. <...>

О Всемогуществе Божьем. Об данной реальности ничего не знаем, что же говорить о бесчисленных возможностях. О райских древах и плодах.

Очистительный холод диалектики, прозрачные воды логики, огонь очищающей философии. Все это дает возможность вкусить сладкие плоды догматического богословия.

Приятно, что Л. Н. дает возможность чистого разыскания истины.

Христос Господь и тот человечески уставал и плакал и алкал, как легко становится, когда это вспомнишь.

Л. Н., это не религиозные конфекты. Там, где смертью платят, там не из-за конфект умирают!¹⁶ Там душу полагают за истину. Мне же своя жизнь не дорога.

Л. Т. прост в одну точку, не сворачивая шел, поразительна в нем эта прямолинейность; обратив внимание на точку предмета, обо всем предмете позабывает.

О нищенстве и убожестве моем. Один у меня Отец — Господь небесный. <...>Жду тебя, старче¹⁷. Л<ев> меня обманул.

¹² Личность не установлена, во всяком случае, вряд ли это сестра А. К. Виноградова — Н. К. Виноградова.

¹³ Здесь А. К. Виноградов ошибается. При отрицательном отношении к «Рассказу о семи повешенных» Л. Андреева Толстой посвящение принял. Он так отзывался об этом произведении: «22 мая 1908 г. Чтение «Рассказа о семи повешенных» Л. Андреева. Отзыв Толстого: „Отвратительно! Фальшь на каждом шагу!“» (см. в кн.: Гусев Н. Летопись жизни и творчества Льва Николаевича Толстого (1891 — 1910). М. 1960, стр. 626). Одновременно существует и письмо Л. Толстого от 2 сентября 1908 года, адресованное Л. Андрееву, с благодарностью за посвящение: «Получил Ваше хорошее письмо, любезный Леонид Николаевич. Никогда не знал, что значит посвящение, хотя, кажется, и сам кому-то посвящал. Одно знаю, что Ваше посвящение мне означает Ваши ко мне добрые чувства, то же, что я видел и в письме Вашем ко мне, и это мне очень приятно» (Толстой Л. Н. Полное собрание сочинений. М. 1956, т. 78, стр. 218).

¹⁴ Библейский сюжет об Иосифе Прекрасном занимал Л. Толстого; в неоконченной повести А. Виноградова «Очарованный книжник» этот образ должен был переключаться с Иосафом, царевичем индийским.

¹⁵ Конт Огюст (1798 — 1857) — французский философ, основатель позитивизма.

¹⁶ Снова речь идет о гибели Ю. Сидорова.

¹⁷ А. К. Виноградова все время преследовал образ старика-старца, носителя духовной тайны. Старец Виноградова — литературный герой его «Повести об очарованном книжнике», стихотворения «Встреча» (сохранились в рукописи). Этот «дивный старик» сходен чертами со схимником, с которым встречается Тихон в «Петре и Алексее» Д. Мережковского (см.: Мережковский Д. Антихрист. Петр и Алексей. Изд-е М. В. Пирожкова. 1907 стр. 593).

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ИРИНА РОДНЯНСКАЯ

*

ПРЕОДОЛЕНИЕ ОПЫТА, или ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СТРАНСТВИЙ

...Мои черты под неверной луной.
Двойник!

Генрих Гейне.

...**К**огда Автор, запертый в жестянку собственной машины и удаленный в этот миг от орудия продуктивных самоистязаний, от машинки пишущей, когда он, дожидаящийся стада танков на августовском подмосковном шоссе 1991 года, как только что дожидался недостижимых обезьян в их роскошной боевой-половой раскраске, ненароком попадает в еще один, воображаемый, текст, — в мозгу читателя, в моем по крайней мере, происходит какое-то схлопывание, что-то как бы космического порядка, как бы читанное в популярных брошюрах по астрофизике, некое внезапное пересечение параллельных миров, сопровождающееся необъяснимым чувством удовлетворения.

Андрея Битова хочется назвать, пусть вопреки наваленному в его книгах вороху нашего с вами сомнительного опыта, пусть чересчур вычурно, а все же — рыцарем легаты (напомню из «Дачной местности»: «...симметрия, казалось бы случайная... все это как бы на одной оси, совпавшей с взглядом и ветром, объединенное куполом неба, как легатой...»). Ищет он эту симметрию, эту связующую дугу, словно чашу святого Грааля. Ищет, когда восхищается талантом чемпиона по стрельбе, человека высшей души и воли: «Он сказал, что мозг, глаз, рука, ствол и мишень во время стрельбы являются не просто одной линией, но как бы перетянутой струной, которая поет на ветру...» Ищет вместе с пытающимся собрать себя Левого Одоевцевым: «...как уж там замкнулось в его мозгу, таким легким мостом, соединив две точки, столь удаленные...» Ищет ее, сочиняя за того же Леву «статью из романа»: «...намечалась такая органическая линия! ...Купол!» И сам над собою посмеивается, как в этой последней фразе. Ведь нужно не просто прочертить, сомкнуть, обнаружить замок свода, но — не потревожив живую жизнь, как бы случайно, не терпящую над собой геометрического насилия. Восхитительна небесная легата, открывшаяся, в виде обещания на долгие годы вперед, взору будущего «преподавателя симметрии»; но восхитительна и дурацкая невидаль — с грохотом вывалившееся из рамы и в обход физических правил оставшееся целехоньким дверное стекло: «Это редкая удача — когда никакого смысла». — «Чем восхитительна жизнь?! Тем, что она и впрямь — жизнь. Ее — не представишь».

И вот, кажется, — нашел, связал, замкнул. Разрешил Мысль, не загубив Жизнь. Самопознание («узнавание себя» в «нелицеприятном противостоянии собственному опыту») скорректировал юмором бытия, намекающим на относительность всех наших рефлексов и расценок. Навел-таки мост между Автором, вчуже знающим, как надо, и Героем, фатально поступающим, как не надо. Написал «Ожидание обезьян». И, объявив, что теперь завершена трилогия «Оглашенные», начата «Птицами» и продолженная «Человеком в пейзаже», что получился этакий «роман-странствие», предложил нам оборотиться вспять и пространствовать добрых двадцать лет в совершенно особом, простите за каламбур, пространстве, лишь отчасти совпадающем с хронотопом заката Империи.

Об «Ожидании обезьян» уже много писали — слава Богу, газеты теперь поспешливы и отзывчивы. Я, как всегда, попадаю к шапочному разбору и вроде бы могла, сделав из изыяна добродетель, вязаться и подытожить: устал — не устал?

удача — неудача? «империи» жаль — не жаль? Но лучше пренебрегу этой соблазнительной ролью замыкающего и останусь наедине с текстом. Тем более что он при всей его — на радость «постмодернистам» — сложносочиненности обладает недоступным им магнетизмом: дважды уже читанный мною, втягивает в себя и заставляет жалеть о приближении конца; не навязываю своего впечатления, но оно именно таково.

Авторская весть о завершении ни много ни мало — трилогии не произвела, кажется, среди профессиональных ценителей большого шума. Близки, которые новый текст бросает на два предыдущих, не столь уж густые, чтобы сразу, на слово, поверить Битову, что он реализовал некий, как теперь выражаются, метасюжет. И то сказать, разве не в его лукавых правилах и прежде было подвешивать к давней удавшейся вещице гирлянду новых? «Дверь» и «Сад» продлить в роман-пунктир о Монахове вплоть до полного истощения затюканного героя. В цикл «Преподаватель симметрии» вклинить «Фотографию Пушкина», в примечании многогоречиво уверяя, что ей там, грутально изъятый из совсем другой оперы, самое место. «Господи! что за каша... Но я ее тут же интерпретировал. Дивный способ! Объявлять получающееся намеренным» — признание самого Битова из «Исповеди графомана» (прелестного «околопушкинского» этюда). Да, в «Ожидании обезьян» выныривают те же собеседники-перипатетики, что в «Птицах» и «Человеке в пейзаже», — Доктор птичьих наук, превратившийся в окончательную условность под монограммой ДД, и Павел Петрович, без отрыва от бутылки продолжающий свои интеллектуальные провокации. Да, темам, именуемым философскими — о круговороте веществ в расковырянной человеком природе, о проблематическом месте художника в зазоре между Творцом и творением, — темам двух предполагаемых первых частей в «Ожидании обезьян» заботливо обеспечен резонанс. Но — не задним ли числом, не задним ли умом? Самые игристые, под высоким напряжением, эпизоды нового текста — «Конь» и «Кот» — легко могли бы утвердить свою автономию, обойдясь без таких переключек и отсылок к прошлогоднему снегу... Эти подозрения небезосновательны, но на поверку все же оказывается, что прав продававший свое странствие писатель, а не подстерегающий его в конечном пункте читатель. То было странствие внутреннего человека, и оно имело-таки свои неотъемлемые этапы, числом три.

Судьба подарила нам двоих, наилучшего качества, летописцев послеоттепельного тридцатилетия, чьи хроники, прилежно следуя за поступью эпохи, нисколько между тем одна с другой не совпадают. Насколько Маканин, умный антрополог и психодиагност, выслеживая сдвиги общественного подсознания, занимает наблюдательную позицию вовне, настолько Битов принимает эту пульсацию меняющегося мира, это «сотрудничество и соавторство времени и среды» внутрь, где-то в глубине души противопоставляя им свою смутную прапамять об идеальных началах вещей. В раме общего «хронотопа» один вглядывается в разыгрываемую драму, другой разыгрывает ее сам с собою. На редкость наглядная иллюстрация универсального принципа дополнительности.

В трилогии — или в тетралогии, если сообразить, что роман-странствие стекает с вершины «Пушкинского дома», как поток с горы, — границы десятилетий легко различимы, особенно на взгляд того, кто тогда жил, но, думаю, и на любой взгляд. «Пушкинский дом» — памятник 60-м; «Птицы» с их видением атомного апокалипсиса как пределом цензурно допустимого драматизма и с их экологическим пафосом, заменившим гражданский протест, — памятник 70-м; «Человек в пейзаже» (судорожное богоискательство спивающейся страны) — 80-м; «Ожидание обезьян» — бурному семилетию, тоже ушедшему в историю (от года, меченного Оруэллом — Амальриком, вернее, от его кануна до августовского падения социалистической державы).

Но вспомним, что трилогия названа «Оглашенные». Полагаю, сразу в двух смыслах — бытовом и церковном: «мятущиеся» — и «приближающиеся к богопознанию». Природопоклонство «Птиц», завершающихся пантеистической дзэн-буддистской притчей, сменяется на ступени «Человека в пейзаже» уверенным различением Творца и твари (художнику, чье дело здесь осмысливается, подобный разрыв между собой и своим произведением знаком по опыту), а в «Ожидании обезьян» — принятием крещения, о чем помянуто вскользь, но всерьез, целомудренно, но центробразующе. Как быстро пронеслось время! «В двадцать семь лет я впервые Евангелие прочел. И то от одного Матфея...» И вот... Целая, в сущности,

жизнь человеческая. И до чего наивно начало в виду открывающейся потом перспективы. «Под лягз прогресса человек уверовал в свою социальную природу гораздо глубже, чем в биологическую»: святая недоумочность споров — кто их теперь помнит? — между «природниками» и «общественниками», долетевших до любознательного слуха автора «Птиц», не так же ли она теперь смешна и трогательна, как фанатично зауженные брюки и ватный в плечах пиджак до колен на ископаемом стилинге-перестарке, мелком зарисованном в «Пушкинском доме»? А если сравнить начало трилогии («Мы живем на дне воздушного океана...») с ее концом («...в небе подремывали ангелы... Соң ангелов был тяжел и чуюк, как их крылья...»), то натуральное небо птиц совместится с трансцендентным небом ангелов и роман-странствие свернется в кольцо — ежели непреднамеренно, тем лучше. Этот путь пройден ее, трилогии, протагонистом (пока не станем уточнять, кем именно) хоть и в заданных историей обстоятельствах, но в сфере собственного духа. Потому-то на внутренних весах околевающий котенок Тишка перевешивает провокации «органов», коим в урочный час подвергается наш герой, и остроумный диссидентско-гебешный субсюжет демонстрирует всю периферийность того, что составляло драматическую интригу в соответствующих повестях Войновича и Владимова.

Однако, по-битовски увлекшись наведением «легаты» и убедившись, как легко это дается, особенно если пренебречь сопротивлением материала, я к сути дела еще не подошла. Нам предстоит «синтез» позатейливей, боюсь.

Тот, кто захочет разместить новорожденную трилогию внутри бахтинского «большого» литературного времени с его «памятью жанров», вправе наговорить немало умных греческих слов: перипатетики (уже поминались), мениппея — как странствие по альтернативным мирам, симпозион — многоголосие за пиршественным столом, наконец, майевтика — сократическое искусство «повивальной бабки», помогающее в диалоге родиться истине (выпивоха и джокер Павел Петрович — скорее овод-Сократ, чем Мefистофель, с которым себя сравнивает: его провоцирование носит характер педагогического «родовспоможения»). Все это в «Оглашенных» присутствует по нарастающей, так что и задача «всеобщей обязательной карнавализации повествования» решена здесь сполна. И пьют, и беседуют на предельные мировые темы, так что и читатель кое-что прихватывает с пиршественного стола, и бузотерят, и влетают в такие пограничные миры (в порушенное подземелье, в милицейский участок), что сравнимы с путешествием в преисподнюю или на луну.

Но есть обстоятельство, которое объемлет всю эту игру ума и мускулов, придавая ей совершенно новый смысл. Одни не без торжества отметят тут решительную заявку Битова на роль постмодернистского мэтра (какое звание, впрочем, он имел и прежде, по выслуге лет), другие, «традиционалисты», — досадное излишество: кажется, кто-то уже печатно жаловался на эту самую «пересложненность». Мне, в свою очередь, кажется, что чертой, о которой пойдет дальше речь, и определен верховный, если угодно — духовный, сюжет романа-странствия. О ней, об этой черте, дает знать то смолкающий, то возобновляющийся стук пишущей машинки, нескрываемо присутствующей внутри текста.

Наконец, Битов решил вывести наружу и одеть плотью то, что не давало ему покоя в прежних сочинениях, становясь неустранимой этической и эстетической проблемой.

Прежде писатель существовал в двух жанрах как в двух лицах. (Я уже говорила об этом в давней статье 1977 года — «Образ и роль».) В жанре «путешествия», если воспользоваться новейшим битовским обсротом, «на ветвь главного героя уселся Автор» — в более или менее откровенной роли «вашего корреспондента» и рассуждающего теоретика жизни. Он «проездилился» — нет, не по России, ибо окраины и инациональные анклав «империи» были куда гостеприимней к командированному малообеспеченному писателю, чем родные края, а по Армении, Грузии, Башкирии, Средней Азии. И, как правило, сюжетом этих бессюжетных повествований служили его, пишущего человека, честные впечатления от увиденного: никакой побочной выдумки, но и никаких примет той жизни, которой живет автор за гранью своего очеркистского амплуа. Иное дело — романы. Там присутствовал герой, «инотелесный» (битовское же слово) по отношению к своему создателю, но наделенный его душевным опытом — не автобиографический, а, как сказала бы Лидия Гинзбург, «автопсихологический». Ему приходилось не наблюдать

жизнь, а жить, то есть практикой существования подтверждать или опровергать правоту Битова Первого. Здесь Битову выпала одна большая удача — получившийся «как живой» Лева Одоевцев, и одна слабовыраженная неудача — невнятный Монахов. В третий же раз вдохнуть жизнь в вымышленного alter ego писатель, по-видимому, не мог.

И на это были свои глубокие причины. Битов так уж устроен, что писательство для него не профессиональная, а всецело экзистенциальная задача. Быть писателем — его жизненная позиция, его пожизненная каторга. Только оставаясь писателем, сознавая себя таковым, он может как-то справиться с жизнью, не спасовать перед вопросами «зачем я?» и «зачем все вокруг?». Битов-писатель по-человечески не умещался в своем герое-неписателе, который ввиду отсутствия этой, самой важной, жизненной константы не мог служить для него адекватным орудием самопознания. Ни на миг Битов не мог вполне перелить свое «я» в его оболочку. Не мог и самоустраниться, перестать донимать героя очными ставками с собою и назойливыми расспросами, не мог спрятаться (где? не в сундуке ли, что в прихожей? — беспокойно шутит он по поводу своего присутствия в главах «Пушкинского дома»), уйти за текст.

То, что можно счесть литературной игрой: наличие автора внутри повествования — изображенного за машинкой, от которой он то и дело отлынивает («...каждый день... я выходил из-за своей пишущей машинки...»), с его жалобами, что «не получается» или получается не сразу, с его взглядами то в окно, где, отвлекая от труда, бродит всякая деревенская живность, то куда угодно еще, лишь бы не на белый лист, на котором сейчас по его воле должна родиться другая, параллельная жизнь, — не игра все это и не прием, а искренняя, правдивая попытка разобраться с собственной душой. И он идет на риск надоесть этой своей кухней читателю, потому что она позарез нужна ему самому.

Так и определился роман-странствие, гибрид просто «путешествия» и просто «романа». Во внутреннем пространстве авторского сознания разместились реальное путешествие (Куршская коса, средняя Россия, Абхазия, Грузия, Подмосковье...) и параллельное, романное — вернее, двух романов, которые пишутся у нас на глазах и изображенным в них временем вторгаются в календарное время, протекающее по ходу писания. В точках пересечения достигается кульминация (на одну такую точку у указала вначале).

В искусстве, продукте искусственном по определению, должно быть, существует закон сохранения условности, подобный закону сохранения материи. Условность вымышленного героя мучила Битова, раздражала невозможностью без посредника творчески самоопределиться в жизни, литературно осознать жизнь, живя своей, а не сочиняя чужую. Жизненный путь долог, мучителен, преткновенен. Битов не ставил перед собой прустовскую задачу — вернуть утраченное время, ставил чисто русскую — разобратсь со смыслом проживаемых лет, им проживаемых и страной. Сколько же понадобилось бы заездить одоевцевых — монаховых, лобышевых — карамышевых на опытном полигоне вымысла, чтобы «мысль разрешить»? И Битов отказался от этого каннибализма. Героя Живущего он поместил внутри себя, Автора Пишущего, он самолично вышел на передовую. И тут же, избавившись от условности персонажа, сотканного одной лишь фантазией, впал в новую: резко обозначенное Я и ОН раздвоило протагониста обновленного повествования, смутив многие читательские умы. Чтобы ничего не выдумывать, пришлось прибегнуть к столь очевидной выдумке. Впрочем, она совсем не механична и богата смыслами.

«В этом сочинении ничего не придумано, кроме автора» — такой фразой предварено «Ожидание обезьян». Как всегда, Битов дотошно правдив: автор, ставший героем, даже компаний героев, конечно «придуман», то есть создан, воссоздан. Но все-таки — не вымышлен. В нас сохраняется уверенность, что и живущий, и пишущий эти вот страницы — одно лицо, как бы оно ни раздваивалось, что слово отныне отвечает за поступок, а поступок — за слово, ибо и то и другое исходит от единой личности.

Решение готовилось долго, годами, а вовсе не заскочило в ближайший к нам по времени битовский текст из усталой головы и растратившегося воображения.

Вот Битов в «Пушкинском доме» бьется над «парадоксом»: по его словам, «о себе-то как раз писатель-то и не может написать. Приближение героя к себе — лишь оптический писан: края пропасти сближаются, но сама она углубляется».

Разве здесь не остается всего лишь полшага до предпринятого четверть века спустя маневра: «сблизить края» настолько, чтобы пропасть превратилась в глубоко интимную трещину между Я и ОН? Вот в приложении к тому же роману, писанному вслед основному тексту, — в «Ахиллесе и черепахе» (где та же дилемма невозможного сближения между героем и автором иллюстрируется известным парадоксом Зенона) — писатель рассказывает о странном сне, когда удалось увидеть СЕБЯ как ЕГО: «...я-он вошел... «Так вот я какой? именно таким меня видят другие?» — я ревниво взглядывал на себя, как на соперницу... «Он-я» прошелся по комнате... «Ну?» — сказал он с усмешкой. «Ты извини, что я на тебя так смотрю, но это ведь понятно», — сказал я... «О чем ты еще хочешь меня спросить?»... «Да вот как жить дальше?» «А так же», — гениально ответил он». Ну не страничка ли это из «Ожидания обезьян», чудом перелетевшая в прошлое через два десятилетия? Даже шкодливо-авантюрный характер ЕГО, смущающий рефлектера Я, предвосхищен в «гениальном» ответе на робкий вопрос. К этому присовокупим одно из «путешествий» — «Азарт», недаром оказавшееся зародышем так и не написанного романа, то есть уже не вполне «путешествием», а скорее первой попыткой «странствия». Там у «автора» своя жизнь, не совпадающая с функцией «путешественника», наблюдателя с блокнотом; интересы записывающего впечатления Я и интересы не ко времени разлучившегося с близкой женщиной ЕГО так резко расходятся, что рассказ вынужден то и дело переключаться с первого лица на третье, то есть проделывать тот же вираж, что и в «Ожидании обезьян».

..Итак, автор и герой, ставший ему близким, как собственная плоть и кровь, наконец уравнились в правах; автор больше не нависает над героем, не препарирует его и за ним не подглядывает. Ахиллес догнал черепаху, и между ними как равными сторонами идет честная и открытая прятка, даже борьба за свеженькие курортные штаны. Не морочат ли нам все-таки голову? Нет, дело обстоит куда как серьезно.

Что такое странствие? Как стало ясно, не путешествие, не пересечение пространства, а устойчивая пространственная метафора духовного пути. Тут естественным образом вспоминаются «Откровенные рассказы странника», «Путь пилигрима» Дж. Беньяна, побудивший Пушкина написать стихотворение «Странник». На этой дороге драматическим образом взаимодействуют отдельные начала и силы человеческой экзистенции; они персонифицированы, как в юмористических моралите или духовных действиях, но, конечно, переливчатей, хитрей и юмористичней — как оно положено в литературе новейшего времени. «Я» (в чем нетрудно убедиться, следя за этим персонажем внутренней драмы) — носитель категорического императива, морального регулятора, к тому же — «фарисей» из староцерковного, с отсылкой к евангельской притче, текста, этим самым Я прилежно выписываемого во время посещения грузинского монастыря: «Человека же два — сердце и душа... Сердце убо есть фарисей... Душа же сама скажется мытарь...» И что особенно важно отметить, Я и есть тот сиделец за письменным столом, из-под дисциплинированной руки которого мы получаем текст. Профессиональная этика (усаживать себя за работу, писать честно и несмотря ни на что и т.д.) по необходимости совпадает с этикой элементарно-человеческой (не бузить, не блудить, не перепиваться, не врать ближнему своему). Ну а ОН — кто же? Этаким Панургом, живчиком, норвящим сбегать от письменного стола и присоседиться к пирушественному, хвастливо опрокинуть рог, чудом устояв на ногах, заполучить адресок у случайной девчонки и спяну им воспользоваться; словом, грешник, мытарь. Однако: «Да, я подонок. Но я живой. Я Богу молюсь», — запальчиво перекрикивает ОН свое фарисействующее суперэго. И в самом деле, именно ЕМУ мы, кажется, обязаны замечательной юмористической витальностью, которую — после какого-то периода тягостной анемии — обрело битовское письмо в «Человеке в пейзаже» и особенно в «Ожидании обезьян». Юмор не покидает Автора в ситуациях самых отчаянных, вплоть до маргинальности и гонимости. Юмор совершенно вытесняет иронию, проедавшую когда-то до дыр закомплексованного и оглядчивого Монахова. Юмор Битова кажется мне настроением, по существу, христианским; от иронии к юмору — тоже маршрут странствия.

Помнится, Леву Одоевцева очень занимала разница между «нежизненностью» и «жизненностью», причем собственная нежизненность угнетала его, а жизненность представлялась атрибутом пакостного Митишатьева (тот все пыжился: «Я ощущаю в себе силы...»). Дав волю ЕМУ, раздвоившийся Автор словно излечился

от малокровия, словно обрел немудрящего и неунывающего друга, которого прежде так недоставало его герою, окруженному зыбкими предательскими тенями. Что-то не припомню у прежнего Битова такой вот картинки, зародившейся, безусловно, в психическом настрое ЕГО: «...сильно и нежно задрожал подо мною газон, и... из сумерек хозяйственных строений, с удивленным ржанием выбежал Конь... О, что это был за зверь! Птица! Существо! Существо-конь вылетело к нам, не веря ногам своим, прямо в сад. Оно еще не знало, куда мчаться, но уже мчалась его душа; казалось, он был стреножен мощью собственного тела и должен был сначала выпутаться, вытопаться из него, вырваться из себя самого, как из следующей, после только что покинутой, темницы. Масть его была уже неотчетлива, но качество ее светилось: то крупом, то боком отражал он не взошедшую еще луну. Совсем было поверив в свободу, издав победное ржание, рванул он было, но тут же испуганно шарахнулся, приняв яблоневую ветвь не знаю уж и за что. Яблоко ударило его по морде, он схрустал его с детским восторгом. И будто сердце его не выдерживало уже одновременно три счастья: волю, движение и поднесенное прямо ко рту яблоко, — бок его судорожно вздымался, как от скачки. Он метался в этом лошадином раю, мелькая меж побеленных стволов, как зебра, и яблоко само бросалось ему в зубы; лунно-зеленый сок струился по его лицу, и над всем этим испуганно и бесстрашно торжествовал его косящий, ржущий глаз. Если есть яблоки, то есть и рай. Если рай для нас, то там будет конь...»

Так чувствует жизнь ОН, так пишет ее Я, тоже оставивший на этой картинке свой вензель (пропущенную мной в цитате фразу: «Лошадь вырывается *вперед из повествования*¹, с легкостью обойдя быка, тигра, кота, дракона и змею»), чтобы мы не забыли, кто для нас здесь потрудился, поймал и сплотил слова, позаботился и о «втором плане», на что-то намекнув зверинцем из восточного календаря.

На внутренней сцене странствующей души, в пределах диалога между Я и ОН, размещаются и другие версии «оглашенных». Рационально мыслящий птичий Доктор тяготеет к зоне Я, а проспиритованный диалектик Павел Петрович — к зоне ОН, под конец даже милосердно замещающая осиротевшему Я сгнувшегося во всемперском пожаре ЕГО. От первой части трилогии к последней Битов постепенно втягивал этих своих собеседников внутрь авторского душевного ареала. Окончательное решение такого рода появилось в «Ожидании обезьян», но к этому шло с самого начала. В «Птицах» Доктор как будто предстает реальным знакомцем автора-рассказчика, но вот когда они взад-вперед прохаживаются по Косе, рассуждая об экологическом безумии человечества, и пространство на их пути оборачивается двумерной, с высотой, но без ширины, полосой, а от фигуры Доктора остается один только профиль, тут-то уже закрадывается сомнение: где это все происходит, вправду ли в экзотическом уголке Балтии или на воображаемой арене спора с самим собой? Антураж и персонаж второй части ирреальны еще больше. Анонимное, незаглавленное место в дремучей глубине среднерусского запустения, где «одичание диче дикости», — и Вергий-проводник по лабиринтам порушенной святости, ни, прозрачный собутыльник-собеседник, откликающийся на произнесенные реплики, как будто и вопрос и ответ звучат лишь под черепной крышкой самого повествователя: «„А искусство?“ — *хотел было сказать я*. — А что искусство... — махнул он рукой». Так что: сведя в третьей части спорщиков — ДД и ПП — на условном берегу «Медитарании» и понудив их выяснять, прикладываясь к бутылке, разные разности насчет перспектив человечества и назначения искусства, Битов продвинулся от «внешнего» диалога к внутреннему по заранее проложенным мосткам. К тому диалогу, который ведет сам с собою единоподержанный Автор в своем особом, небудничном времени.

Пора, однако, объяснить, при чем тут «преодоление опыта». Разве двадцатилетнее с лишком «странствие» не следует считать, напротив, обременительным его, опыта, накоплением? И как эффектно, как вроде бы к месту было бы процитировать — с беспощадностью к осилевшему так или иначе эти два десятка Автору — финальные слова-мысли героя «Пушкинского дома», будто заготовленные Битовым впрок, на случай собственной отдаленной неудачи: «...в этой вот точке жизни он уже был, уже стоял, и тогда — где же он прощлялся долгие годы, описав эту мертвую петлю опыта, захватив этим длинным и тяжелым неводом, которым, казалось, можно выловить океан, лишь очень много пустой воды? С этим горбом, с

¹ Курсив в цитатах везде мой. — И. Р

этим рюкзаком опыта за плечами, вернулся он на прежнее место, ссутулившись и постарев...» Но нет же, Битов не дался.

«Опыт — явление буржуазное» — вспомним еще и эту реплику из романа об Одоевцеве. То есть — тюрьма духа, подгонка человека к обстоятельствам, к данностям, круговой конформизм. Опыт — копящаяся привычка жить вонне себя и питать душу внешним. И что же в трилогии странствий? Область «опыта» преодолевается здесь вхождением как в штопор в область риска, усилием прыжка из внешних пространства-времени во внутренние. Трамплином служит писательство и — не будем ригористами... пьянка. И то и другое у Битова, боюсь вымолвить, схоже с молитвой — то есть с отрешением от данности и выходом в иномерную жизнь (и если в каждой из частей «странствия» слышится молитвенный зов, а он слышен, то — именно в тех случаях, когда скрепы «опыта» рискованно расшатаны). И одно с другим загадочным образом связано и взаимосоотнесено. Говоря грубее, чем в битовском тексте: Я пишу, ОН пьет, Я и ОН — одно.

«Сорок страниц непрерывного текста, около двух поллитра уже, не считая шампанского... Это не всякому, это не всякий...» — юмор не снимает всей непреложности заявленного параллелизма, и более того: юмор жизни, одушевляющий новую прозу Битова, постижим именно сквозь две эти стихии. Метафора, описывающая соблазнительный момент зачатия литературного замысла — сопрягающая толчок воображения, эрос и спиритус, — тоже о многом говорит: «Всегда я залетаю с первого раза... А потом годами не могу разродиться. Плод давит на плод. Масса начинает бродить. Вина уже не получилось — приходится гнать самогон».

«Вывалиться из своей обыденности и серости *в настоящее*, в такую внезапную дыру» — так сказано про вихрь импровизированного застолья, когда все вдруг ставится на кон и режется буквально последний огурец (патиссон, «патефон»). «...в эту секунду пишу...» («Фотография Пушкина») — то же вневременное настоящее (опять-таки и в момент молитвы прошлого и будущего нет, да простится мне мое робкое кощунство).

Оттого именно, что герой трилогии Битова (Автор, Я-ОН) располагает в личном вне- и сверхопытном пространстве-времени — скажем так: в сюрреальном настоящем, — реальному сочинителю, живописателю, стилисту хватает простора на тесном, казалось бы, пятачке между Фазилем Искандером (абхазский «местный колорит») и Венедиктом Ерофеевым (субкультура пьянки). Он словно парит над их бесспорными территориями в непересекающемся измерении. Субъект одного из рассказов Битова не мог найти себе покоя в (не названном, но очевидном) Переделкине, среди «траченого» пейзажа, «выпитого» до него насельником-поэтом. А здесь все свежо и пьется по новой.

Но встает наконец вопрос, самый опасный для вибрирующего и криволинейного здания битовской трилогии: что, собственно, происходит с Автором и вокруг? какой опыт преодолен? Ближайший ответ: опыт «гибели империи», того исторического десятилетия, о котором можем воскликнуть пушкинским возгласом: чему, чему свидетели мы были! Пестроязычный — но и сплошь русскоязычный — мир, который можно изездить во все четыре конца, вооружившись какой-нибудь бумажкой центральной писательской конторы и запасшись скромными суточными, мир, населенный народами, где среди каждого из них найдется или друг, ценящий столичного посланца за опальность и за ученическую приязнь к чужой нерастраченной почве («Уроки Армении», «Выбор природы»), или, на худой конец, догадливый мирза, спорный на мелкие одолжения человеку из центра («Азарт»), мир по-своему уютный, где заранее просчитанная несвобода обещает немало степеней свободы, мир, в котором нет только впавшей в безымянность России («Это место мне явно не принадлежало. Я его не назову» /«Человек в пейзаже»/), зато она, как замороженное идеальное понятие, сохраняется в сердце вместе со старым Петербургом, Финляндией и Аляской, — мир этот в «Ожидании обезьян» ощутил сначала подземные толчки (грузины что-то с абхазами не поделили, тут и греки и армяне кинулись выяснять, чья изначально земля да кто в ней первым поселился, как будто вся она не наша). А потом — задымился и рухнул.

Травма от крушения так еще свежа в каждом из нас — и в тех, кто все-таки рад высвобождению скованных сил, сопровождавшему взрыв, и в тех, кто клянет случившееся и тоскливо глядит вспять, — что новая вещь Битова с предзнаменательным пожаром гостиницы «Абхазия», огненной гибелью «имперской» рукописи

и прущими на Москву танками по первому разу читается именно под этим знаком: как не в меру иносказательный и увлажненный тайными, сквозь смех, слезами реквием по вчерашнему миру. Как рассказ о превращении «солдат империи» в жителя фантомной республики «обезьян», как попытка в творческой игре избыть фантомные боли. Но такое прочтение кажется мне слишком утилитарным. В угоду ему пришлось бы многое в «Обезьянах» и впрямь «упростить», сломав их недоказуемо убедительный внутренний ритм.

По-моему, Битов написал уникальный по дотошности и темпераменту отчет о поединке писателя с действительностью. Она то и дело обгоняет его воображение (которому ведь не прикажешь: «ожидание обезьян» не есть ли ожидание вдохновения?), убегая вперед и оставляя его стоять соляным столбом с недоношенным замыслом во чреве. И она же преследует его, назойливо вмешиваясь в таинственный ход созревания творческой вещи. В каком-то фантастическом контрдансе они раз за разом меняются местами, поочередно дразня друг друга: ты охотник, но я не дамся, ты погоня, но я емь бег. Каждый факт жизни бросает художнику вызов, и тот, принимая вызов, преодолевает факт — тем, что преобразует его. Но — то запоздывает с ответом, то его вовлекают в новый ток событий. Эта узловатая кривая несовпадений прочерчена в «Ожидании обезьян» с конкретностью календарного плана, так что все выпадения жизни и рипосты художника помещены в узнаваемую раму. И, кажется, все сулит поражение Автору, как листок, гонимому ветром истории и, как мошка, увязшему в клейкой смоле сразу двух романских завязей. Но дело оканчивается победой.

Итак, этапы повествования датированы с нарочитой точностью — впрямую или внятным намеком (нетрудно ведь, к примеру, вспомнить, когда был сбит южнокорейский лайнер).

Воображение стартует 23 августа 1983 года; эта вводная дата «Ожидания обезьян» вместе с тем и финальная дата «Человека в пейзаже». Писатель пока еще всецело во власти старых тем, определяемых первыми двумя частями трилогии. Писательское Я отработало власть за письменным столом, словило кайф в обществе скандального парадоксалиста Павла Петровича — и теперь отпускает своего иссохшего от воздержания двойника, ЕГО, немного погулять. Тут, в Сухуме (без особой надобности отметим, что выбрана абхазская, а не грузинская транскрипция топонима, вслед легендарному Мухусу Искандера), — тут собирается теплая разноэтническая компания, даже в придачу с залетным «англичайнином», и судачит на ходовые темы «застойных» времен, из которых национальная — пока одна из самых безопасных: как бы задушевное подтрунивание и словесное похлопывание друг друга по плечу. Проворонил ли Автор отдаленные грозовые раскаты? Это покажет будущее. А пока он соблазняется свежееобещанным впечатлением, новым замыслом, легко вливающимся в знакомое русло: живущие на свободе обезьяны! здесь, рядом! взглянуть одним глазком — и сесть за сочинение.

Чем замысел манит, мерцая? Он, как в «Птицах», сулит нечто «социальное» и нечто «природное» разом. «Социальное» — в духе обезьянолюбца Ремизова (не помянутого, но витающего подле) и одновременно в духе эпохи и свойственных ей кукишей в кармане: «Освобождение обезьяны... Обезьяна, живущая на воле в условиях социалистического общества... Республика обезьян... Обезьянья АССР... ОбзАССР... Так нельзя — все обидятся» — и тому подобные насмешки над «социалистическим» обликом «империи» с ее дутыми автономиями и сомнительными достижениями («...разрослись гривы, зато подмерзли хвосты...»). Отметим, однако, что спор «абхаза, грузина, армянина, грека, еврея, русского» тоже просится уже в будущее сочинение, но действительность обгонит предчувственника...

Ну а «природное» вязывается в обезьяний замысел тоже незамедлительно: «...пусть я их расспрашиваю об обезьянах, как в свое время доктора Д. о птицах». И вот ровно через два дня (дата опять-таки аккуратно указана) после поездки к недостижимым обезьянам и идиллического загула в стиле колхозно-имперского гостеприимства Автор выводит нас на воображаемую территорию, какая и в первых двух частях служила ему полигоном для диалогизированных размышлений. Он торопится договорить то, чего не успел с Павлом Петровичем в подклети разрушенного русского храма. Универсальная «природная» тема (человек в отношении к творению и твари), оживленная впечатлением от рассказа о гривастых обезьянах, кладется на два голоса. Как Фауст и Мефистофель в известной «Сцене...» Пушкина, Доктор Докторович и Павел Петрович разбираются друг с другом на морском

берегу, но вместо символа тогдашней цивилизации — голландского трехмачтовика с богатым грузом шоколата — в глаза им бросаются символы нынешней: дохлый дельфиненок и разлагающаяся коровья туша, которую некому убрать.

И хотя оба мертвых животных значуют кое-что малопривлекательное в устройстве недавнего «социума» (погибшее дельфинье дитя, выбитое звено в цепи поколений, — вряд ли проблема чисто биологическая, а коровий труп, навсегда приписанный к межведомственной ничейной полоске побережья, — уж точно эмблема нашего управленческого абсурда), но — так у Битова, может, невольно получилось — эти издохшие меньшие братья исполняют роль и более значительную: одной из философских доминант трилогии.

В самом деле, в «Оглашенных» много великолепных и просто симпатичных тварей, но все они — все! — почему-то погибают. В «Птицах» мимоходом сообщается о преждевременной смерти вороны — умницы Клары, перед тем представленной в качестве героини повествования и пассивной повествовательницы. О красавице догине Линде, которую ее владелец, Автор, в «Человеке в пейзаже» «одолжил» воображаемому ПП, мы узнаем в «Ожидании обезьян», что и она уже скончалась. С хворью и концом котенка Тишки из текста, как бы через внезапную дыру, уходит какое-то маленькое тепло. Сказочного Коня, райское существо, того пристрелили. Ну а вольные, львиного калибра, обезьяны сохранились, видно, только в фантазии Я-пишущего; в прозаической реальности они скорей всего повимерзли (не предчувствие ли разгрома в уникальном Сухумском обезьяннике?), и все, в чем можно удостовериться своими глазами, это череп покойной обезьянки Люси с выпадающим зубиком, в конце концов затерявшимся.

Вся эта тварь — птица, конь, обезьяна, собака, корова, кот, дельфин — составляет словно бы сонм космического, «зодиакального» зверья, сжитого со свету человеком неразумным. Зверья, без которого рай не рай. Которое плодилось бы на земле, кабы земля сберегалась в «райском» состоянии. Здесь большая тема Битова, проведенная им от «Птиц» с их экологическим катастрофизмом и не потерявшаяся на фоне марш-броска «солдат империи». Что касается этих последних...

Вот тут-то жизнь ускоряет бег, обрывая Автора на полуслове и вытесняя старую, обжитую тему новыми провокациями. Расставшись с ним в августе 1983-го, в момент, когда он вывел своих двойников ДД и ПП туда, где сам пребывал в то время, — к белоснежным стенам гостиницы «Абхазия», — и когда привел их на поминки бича Семюна, персонажа из «Человека в пейзаже», о чьей смерти, случилась ли она в «реальном» или в «параллельном» мире, судить не берусь, — короче говоря, ненадолго расставшись с Автором, мы застаем его в ноябрьской Москве 1984 года. Странствие обогащается полудиссидентским-полубогемным опытом опального «метропольца». И, разумеется, преодолением этого опыта.

«Надо было побороться с собой, чтобы убедиться, что перед тобой именно то, что кажется, а не то, что есть. Борьба! Совершить положительные усилия независимо от возможности реализации». И далее в плотном куске автобиографической в точном смысле прозы, не более фантазмагоричной, чем сама тогдашняя жизнь лишенного государственных гарантий литератора, уясняется вполне отчетливо, хоть и не без черного юмора (Битова от рисовки всегда спасал вкус), что такое духовное сопротивление, естественное для человека искусства. Оно в переносе внимания с унылых условий гонимости на самопроверку: «Вопрос о том, кто я такой, встал необыкновенно остро». И оно же в переводе всех соударений с людьми и обстоятельствами в «параллельный» план творческого воображения, в план того, «что кажется». Второе — надо ли говорить — неотделимо от первого. Творчество — задача этическая, возможно, наиболее осязательная форма самопознания и самопреодоления.

Так, из наплыва впечатлений, среди которых и завистливо-восхищенное чтение грузинского романа, и метания по стране (один из таких рывков приметно повторяет атрибутику «Человека в пейзаже», только вместо ПП — монах; что было раньше, вымысел или факт, не нам судить), и вождение компании с забубенными головушками, и неизбежное знакомство с любопытствующими спецслужбами, — из житейской этой коллекции рекрутируется та самая возглавляемая Автором славная рота, которой присвоено звание «Солдаты империи».

Никто, кажется, не заметил усмешки, затаившейся в патетическом наименовании задуманного романа. Боже! Да ведь это инвалидная команда, сплошь маргиналы, включая предводителя; «империя» переехала их еще до того, как стала завали-

ваться. Так что воспоминание о бодром марше этого отряда по имперским просторам (только Сенек-Семион, жертва избыточной чачи, остался лежать без движения на обочине абхазской шоссейки) не возбуждает особенной ностальгии: в положении дембелей «солдатам», кажется, стало полегче.

А если всерьез — и «серьез» резко проступает сквозь прихотливость арабесок, — то повествованием захвачены судьбы тяжкие, выжатые, судьбы пасынков готовящейся рухнуть державы.

Уверенность, что судьбы эти не выдуманы и даже не расцвечены (как и заверили нас в первых же строках сочинения), подкрепляется легкостью, с какой опознается кое-кто из состава «роты»; Битов, кажется, не делает секрета, что Глаз — это Леонид Габышев, бывший зэк и автор «Одляна», а Зябликов — Геннадий Снегирев, легендарный наш писатель-странник... А тут еще майор, герой Афгана, на счету у которого сто двадцать девять убитых за кордоном и один спасенный дома утопленник, спокойный его рассказ — настоящий современный эпос, дымящийся тихим ужасом... А гениальная певица, чей дивный голос, Божий подарок миру, замирает в безвестности каких-то клубных площадок... А бич и бомж, мурманчанин, обеспокоенный не столько отсутствием прописки, сколько мнением опального писателя о своих рукописях, которые возит за собой в единственном постоянном жилище — стареньком «Запорожце»... Цепочка людей с так или иначе вывихнутыми биографиями, включая неудачливых провокаторов, которых тоже жаль, могла бы рассыпаться бесценным бисером по рассказам Шукшина и прижиться в его драматургически объективной прозе, осколочно отразившей лик все той же «империи». Но Битов исповедует принцип авторского единодержавия и, беглым очерком зарисовав каждую фигуру, «понизив их до звания персонажа», сколачивает причудливую команду под собственным водительством. Еще раз: авторский вызов превосходящим силам действительности, эта боевая готовность противопоставить то, что «кажется» воображению, тому, что навязывает себя в качестве неодолимого «опыта», — таковы здесь форма и метод резистанса. «Власть! вот что не рассматривается литературоведами в системе художественных средств. Вот что томило меня целый год как утраченное, вот что окрылило меня наконец как обретенное: это все — мое, мое! И это хотели у меня отнять? Дудки! не отдам. Понятно теперь, чего ВЫ от меня требовали, чего добивались, зачем преследовали... Чем интересуется власть, кроме власти?»

(Такая декларация художественного суверенитета, такое самоопределение искусства относительно власти — черта не одного Битова, а целой культурной эпохи позднего советизма, ее сколько-нибудь значительных действователей. В то самое время, когда — если верить битовскому календарю — Автор «Солдат империи» принимает единоличное командование своей ротой, Александр Кушнер пишет:

Никем, никем я быть бы не хотел,
И менее всего — царем иль ханом...

.....
...Что нам всего дороже на земле,
За что не жаль и жизнь отдать, и славу,
Под яркой лампой ждет нас на столе,
И шелестит, и нам дано по праву.

.....
Слух раскален... Ни слова за меня!
Я сам скажу, я сам за все в ответе.

Потеснил-таки хана — Автор-хан, как каламбурит Битов, перебрасывая легкий мостик от свободного сочинительства к запретному в те годы политическому чтению. И не стало ли провозглашение суверенности этого рода одним из первых в параде суверенитетов, расколовшем «империю»?)

Не стану проследивать сложный контрапункт двух соперничающих в писательской голове замыслов — «имперского» и «обезьяньего». После семилетнего перерыва мы вступаем в последний этап авторского раздвоения. Пока ОН проходит вместе со страной все стадии перестроечного житья, притом отсчет вех меж гульбой и пальбой знаменательно ведется от рокового инстинкта стремления виноградинок («...лоза была уже вырублена, а оружие выкопано»), — и наконец погибает в имперском пожаре, творящий Я на те же семь лет застывает в осенней тишине обезьяньей рощи. Ни души. В машинку заложен пугающе белый лист. «Клавиатура по-

росла серой шерстью». Знаменитый Doppelgänger Гейне так простоял долгие годы у дома любимой. Здесь — столь же приковывающая, повелительная страсть: вдыхая жизнь в мир, «параллельный» существу, художник принимает за него ответственность: покинуть — нечестно, расстаться — больно.

Но что же все-таки приключилось с Автором? Почему он потерял своего alter ego, «чумазого, наглого, родного», по какому недосмотру дал ему сгинуть — и вот измучен бесплодием одиночества? На последних страницах, в завершительной коде романа, вполне выясняется роль этого двойника. Не такая, как у Пушкина: «...в заботах суетного света ОН малодушно погружен». Скорее по Владимиру Соловьеву: «...Над черной глыбой/ Вознестися не могли бы/ Лики роз твоих,/ Если б в сумрачное лоно/ Не впивался погруженный/ Темный корень их». «Темный корень» жизни, ее неразборчивая стихия, — вот кто такой ОН в этой игре. Но... ОН же — вполне законченный типаж, «солдат империи», тот, кому не дано ее пережить. Вся эта паразитическая, в сущности, неприкаянность, житье нахалюву, запойная рисковость и вийоновщина — они утратили электричество и духоподъемность, как только перестали быть формой «тайной свободы», формой сопотвращения. И в этом смысле действительно: «Империя кончилась, история кончилась, жизнь кончилась — дальше все равно, что». Драма Автора — не личная драма Битова, не след его капитуляции перед «новыми временами», перед прозой жизни, внутри которой выжившие «солдаты» неплохо устроились и некуда и незачем их больше вести. Но и не драма страны, якобы прекратившей существование после утраты ложноимперского облика. Приходится признать: драма поколения (хоть и немило мне это пошлое слово). Да, все мы тогда поистратились, потеряв добрую половину души, и хоть вроде бы не совсем зря — а спасибо смешно дожидаться. Битов пишет эту боль изобретательно, динамично, весело — и честно.

Но не так-то плохо все обстоит. В отсутствие ЕГО Пишущий все же высекает из себя искру, и на лист бумаги ложится внушительный портрет обезьяньего вожака, пышущий грубой, но несомненной энергией жизни (как бы в возмещение утраты; ведь и «ОН был ловек, как обезьяна», — «крупный экземпляр, однако»). А над московской площадью, окольцованной танками и баррикадами, далеко-далеко простирается небо Преображения, исполненное ангелов, к чьим «крыльям пристал, как куриный помет, небесный мусор русских деревень, прикидываясь патиной: избы, заборы, проселки, колодцы, развалины храмов и тракторов...».

И неистребимый Павел Петрович опять выводит Автора из одиночества и беседует с ним — Боже упаси, не о «политике», а о таком биокосмическом чуде, как физиология сердца. И не ждет он ничего от «событий»: «А ни ... не будет! Слава Богу и будет». А между тем тащит-таки на баррикаду железную спинку от кровати. И правильно делает.

◆◆◆

**Читайте в следующем номере
статью Ирины Сурад
«Кто из богов мне возвратил...
(Пушкин, Пушкин и Гораций)».**

КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ФАНАТИК СКЕПТИЦИЗМА

Анна Баркова. Избранное. Из гулаговского архива. Иваново. Ивановский государственный университет. 1992. 300 стр.

Леонид Таганов. «Прости мою душу...». Иваново. Областное книжное издательство «Талка». 1993. 176 стр.

К Анне Барковой подходит эпитет «неистовая». Российская необработанная почва, случалось, рождала такие «повышенного накала» души: неистового Аввакума, неистовую Марину; да и яростный бунт Достоевского, не умевшего смириться с несправедливостью миропорядка, той же природы. Но Баркова безудержней всех безудержных. Если в «Братьях Карамазовых» Иван «почтительнейше возвращает» Господу свой билет в царство гармонии, если Цветаева, уже от собственного лица, швыряет свой — в лицо Создателю, то неистовая Анна таким жестом личного отказа удовлетворяться не склонна: «А я чего хочу? Чтобы все полетело к черту. Чтобы последний взрыв разрушил до основания и планету, и меня, и все ученья, все веры, все надежды...»

Правда, эти слова принадлежат рассказчице повести «Как делается луна», а инкриминировать автору высказывания персонажей — занятие, как известно, весьма непочтенное. Но только — слишком уж напоминает эта с многолетним стажем каторжанка саму писательницу; и слишком, слишком часто повторяются подобные мысли в стихах, прозе и дневниках Барковой.

«Мир сорвался с орбиты и с оглушительным свистом летит в пропасть... Гуманизм оплеван, осмеян, гуманизм «не выдержал». Новая, социалистическая вера и надежда (марксизм, «научный социализм») засмердили и разложились очень быстро... Христианство? Тоже одряхлело, тоже скомпрометировано и запятнано, не отчистишь... Логический вывод: гибель мира...» («Записные книжки», 1946).

Поразила бы мезью дикарской
Я тебя, завоеванный мир...

(«В бараке», 1938)

«Пусть гибнет планета... пусть это произойдет как можно скорее» («Восемь глав безумия», 1957)

Замети, замети!
Насмерть сбрось меня с пути!
И весь мир, пурга родная,
Без вина хмельным-хмельная,
В пляс погибельный спусти...

(«Пурговая, бредовая, плясовая...», 1975)

Однако пора, наверно, остановиться — и как раз парировать возможные упреки тех, для кого мученический путь, пройденный жертвами террора, представляется чуть ли не неизбежно ведущим к святости. Не эта ли аберрация заставляет Владимира Микушевича обнаруживать у Барковой подлинно христианские покаянные настроения; не потому ли первый ее биограф, Леонид Таганов, старается отвести обвинения в «мизантропии»; не потому ли и вполне дерзкий в иных случаях Лев Аннинский ищет коэффициент поправки для дьявольской печати, коей, по воспоминаниям иных мемуаристов, была мечена Баркова? Однако ж — нуждается ли в такой защите поэт, твердо знающий: «...руку жал / Мне в детстве сатана» — и спустя десятилетия ощущающий: «...навек осталась на сердце печать. / Только чья? Наверно, антихристовая»? Нет, побережем оправдания для тех, кто сам их ищет. Анна Баркова явно предпочитала ничем не укротимую честность, жестокую трезвость взгляда и предельную — беспредельную! — готовность высказать все до конца. Недаром даже и черта, собеседующего с ее героиней (и alter ego), она заставляет признать: «Вы не пугаетесь крайних выводов». Попробуем же и мы не бояться таковых.

Однако начнем с начала — с небольшой справки, ибо имя Барковой широкой известностью не пользуется. Увы, сколь многое зависит от таких ничтожных причин, как, например, нерасторопность издателей: если бы ее книги появились на заре гуманной гласности, их наверное встретила бы слава, тем более громкая, что прозорливость писательницы кажется иногда сродни прозрению. Но сборник стихов («Возвращение») вышел только в 1990 году в провинциальном Иванове. В 1991 году «Литературное обозрение» опубликовало стихи Барковой в сопровождении внушительной статьи Льва Аннинского, но это издание заведомо рассчитано на узкий круг читателей. В 1992 году в том же Иванове было опубликовано «Избранное» — а об эту пору интерес к «возвращенной» литературе почти сошел на нет, притом и смешной тираж книжки (3000) исключил возможность широкого отклика. В 1993 году Леонид Таганов, давний и преданный биограф поэта, которому Баркова, в сущности, и обязана своим «возвращением», опубликовал книгу «Прости мою душу...» — серьезное и основательное исследование ее жизни и творчества; но опять же и место издания и тираж... Посему не помешает представить Баркову заново.

Итак. Родилась в 1901 году. В 1922-м выпустила единственный прижизненный поэтический сборник «Женщина». В 1935-м — первый арест (пять лет), в 1947-м — второй (десять), в оттепельном 1957-м — третий: за написание «безусловно антисоветских, враждебных социалистическому строю» рукописей. Последние годы прожила в Москве на покое и даже при пенсии, но, разумеется, без возможности печататься. Умерла в 1976-м...

Страшная, трагическая судьба. Но поэту Анне Барковой нужна была именно такая. Недаром еще в 1921-м, заполняя предложенную на «смотре литературных сил» анкету, она на вопрос: «Какую обстановку считаете благотворной для своей литературной работы?» — ответила: «Быть свободной от всех «технических» работ, быть мало-мальски обеспеченной. А быть может, лучшая обстановка — каторга». И ведь в те годы Баркова не была еще «враждебна социалистическому строю». Напротив, ее ранние стихи полны пролетарских экстазов: страстной «веры в красную звезду», пылких гимнов винтовке и шинели. Расхожие темы времени, но они выплескивались в словах недюжинной энергии и силы. Не случайно Баркова привлекла внимание Блока, Брюсова, Пастернака, а Луначарский и вовсе предрек ей великое будущее.

Только не почувствовал умный нарком, что красноезвездная романтика служила поэту временным способом для выражения собственного «буйнокрылого» бунта. Стихийный взрыв поэтических страстей лишь до поры громыхал в такт взрывам революционного насилия:

Я — преступница, я церкви взрываю
И у пламени, буйствуя, пляшу.
По дороге к светлому раю
Я все травы, цветы иссушу.

Баркова была слишком личностью, чтобы надолго влить свой голос в общий хор. Самостийный индивидуалистический протест выбивает ее из рядов, заставляя превыше всего ценить свободную волю одного человеческого «я». И в то время как революционные романтики жаждали без остатка раствориться в массе и упоенно провозглашали свою слепую, нерассуждающую преданность веку («...если он скажет «убей» — убей!») — в это же время она безвозвратно отрекалась от «обманного пафоса революций». Юношеская вера в коммунальный коммунистический рай рассеялась, как утренний туман, и на смену пришло отрезвление. Никогда больше, ни при каких чрезвычайностях не поддастся Баркова каким-либо иным упованиям — ни патриотическому восторгу, ни победному хмелю, ни оттепельным мечтам. Отныне она — «фанатик скептицизма», отныне единственное ее достояние — «роскошь мысли», «незамутненный взор». Эта мысль поразительно сильна, отчетлива и отточена, как нож; этот взор остр и ясен. Поэт не щадит никого и ничего. Ни себя, ни эпоху, ни человека («двуногую умную тварь»), ни загадочную «тройку Русь», ни интеллигентскую святыню — народ:

Равно и ровно отныне,
Любезное стадо, пасись.
К чему счастливой скотине
Какая-то глубь и высь?

Доселе только один русский поэт осмелился высказаться с той же безжалостной определенностью — и именно на его «паситесь, мирные народы» откликается

через столетие ее голос. Но если у Пушкина это была судорога кризиса, то Баркова живёт как бы внутри чудовишной катастрофы. Ее стихи конца 20-х — начала 30-х годов обращены в недалекое будущее, описанное с абсолютной достоверностью и уверенностью: «пир голодных крыс», массовые расстрелы («Обычное, простое дело, / Не страшное ничуть...»), дружная покорность рабов, строящих «ненужный железобетонный рай», и гибель «любимых вождей», оборачивающихся «рenegатами» под взрыв общих рукоплесканий. Конечно, истинному поэту свойствен пророческий дар. Однако ж в сих строках не слышать пифийской одержимости: это не ясновидение, а именно ясное видение. Баркова не пророчит, но знает — и тем мучительнее захлестывающий кошмар, тем надрывней вырывающийся подчас какой-то утробный вой:

Веду классовую борьбу,
Молось на фабричную трубу
Б-б-бу-бу-бу.
Я уже давно в бреду
И все еще чего-то жду
У-у-у!

Нет, кто-кто, а Анна Баркова не была случайной и безвинной жертвой. Все так безусловно понимая, уж конечно же понимала она и то, какую цену придется платить за решительные слова. И судьбу свою признавала в своей:

Тебя сама я создавала,
Тобой я создана сама.
Тобой подарено немало:
И роскошь мысли, и тюрьма.

«...лучшая обстановка — каторга». Именно там Баркова принимается за планомерное осмысление истории. Судьбы и пути человечества, воплощенные в судьбах и путях выдающейся личности, тревожат ее ум. Новые темы требуют новых звуков, и от своей как бы стихийной, «неправильной» метрики поэт переходит к холмоноватому риторическому расчету. А риторика — отличный, почти хирургический инструмент анализа. Она позволяет жестко дисциплинировать мысль и аргументированно ответить на вопрос. Суть его сводится к следующему: можно ли «вести человечество в рай», или «бунт рабов» заведомо обречен и «что было, то и будет. Ничего / Нет нового под солнцем нашим жгучим»? Собственно, и вопроса нет. Есть доказательство — увы, безотрадное.

Через риторiku, через строгое рассуждение Баркова исследует преимущественно Запад, где «все линии ясные, четкие». «Аржаная» Русь является в иных интонациях, близких народному стиху, и в народных же образах, но смысл, по существу, не меняется. «Царь Иван», «Иванушка-дурачок» — «русская мечта» тоже подвергается ревизии, язвительной проверке. И кликушествовавшая, юродствующая строка столь же ясно, как стройный метр, выражает все ту же обреченность. Катастрофа караулит на всех исторических путях. А вне истории Баркова себя не мыслит.

Кажется, нет в России другого поэта, который так мало уделил бы внимания собственно лирическим темам, личному переживанию — и который так лирически лично проживал бы социальные трагедии. Отчасти в этом повинна судьба: когда «личная жизнь» проходит в бараке, когда любовь вспыхивает среди «оград колючих» — тогда, конечно, в любовный стих на равных со страстью войдут конвоиры. Но вспомним и повторим: судьбу свою Баркова действительно создавала сама, еще в 20-х выбрав дорогу, ведущую на каторгу. И именно тогда она — индивидуалистка и мятежница — навсегда связала свою свободу со свободой человечества. Не потому, чтоб ей так дорого было человечество, нет, — дело в запросе личности, которая ощущает себя на равных лишь со всемирно-историческим и не способна удовлетвориться частными смыслами и частными решениями. Для того-то она вновь и вновь испытывает прошлое, настоящее, будущее — чтобы снова убедиться в убийственной четкости вывода: «Все человеческие действия... приводят к катастрофам».

Наиболее отчетливо эти мысли звучат в ее полуфантастической прозе, которая, может быть, и была продиктована потребностью окончательного анализа. Простой, как бы намеренно лишенный образности прозаический язык пригодней для логических конструкций и позволяет выразить идеи с предельной ясностью. Повесть «Как делается луна» — беллетризованный футурологический прогноз, поражающий верностью расчета. Он произведен под впечатлением XX съезда; но будучи куда дальновидней оттепельного лидера, Баркова сверстала из своих выводов кар-

тинку не столько хрущевской, сколь горбачевской поры. Перестроечные идеи, последствия, реакции вычислены безупречно. И право же, жаль, что не явилось все это ко времени.

Однако интеллектуальные расчеты расчетами, а безудержность и «сатанизм»... нет, не сами по себе. В том и дело, что — «тошнехонько» становится Анне Барковой от ее стройных построений. И тогда — взрыв. И тогда — долой разум. И пусть торжествует открытое, выпрямившееся во весь рост зло:

Я хотела бы самого, самого страшного...
 Чтобы люди, убеленные почтенными сединами,
 Убивали и насиловали у каждых ворот,
 Чтобы мерзавцы свою гнусность поднимали, как знамя,
 И с насмешливой улыбкой шли на эшафот.

Тогда культура, искусство, красота, все гуманистические ценности собственноручно обрекаются огню, разрушению, гибели. Тогда во все концы времени и пространства разносятся приветы «величавым» кровопийцам. Тогда поэт, грезя о бесстыдной, беспощадной жестокости, рядится в исторические маски и упивается древними казнями: «Привязала б к хвосту кобылицы / Я любимых своих и врагов...» И тогда сатанеющая душа сама кидается в когти дьявола, чей пламенный след мерещится всюду:

Зло во всем: в привычном, в неизвестном,
 Зло в самой основе бытия.

Поразительно, но именно с помощью Зла Баркова оборонялась — от зла. Она как бы обретала точку опоры, противопоставляя заполонившей жизнь обыденной, скучной, безличной жестокости жестокость романтическую, «возвышенную» и грандиозную; ничтожеству народных палачей и кумиров — величие чудовищных тиранов; рабьей покорности — кровавый мятеж. Странное и страшное противопоставление. Но ни в Бога, ни в добро, ни в идеалы Анна Баркова не верила, перепроверив их логикой; оттого-то вечные антагонисты у нее сменили окраску: вместо битвы света и тьмы — борьба ослепительного мрака со скучной и скудной серостью.

Здесь она неведомо для себя переключается с Булгаковым, который ведь тоже для расправы с мелкими советскими бесами пригласил романтических дьяволов из бездны. Но в отличие от «трижды романтического Мастера», который высвистал адскую свору, в сущности, только затем, чтобы разжиться домиком в благоустроенной вечности, она жаждет не благоустройства, но — суда. И, озирая жизнь сквозь колючую проволоку, непримиримо возглашает: хорошо,

...что грозных смятений созвездия
 Слепяют весь мир и меня
 И что я доживу до возмездия,
 До великого судного дня.

Впрочем, отрицание Барковой столь тотально, что в итоге она отвергает и самого вечного отрицателя. В повести «Восемь глав безумия» дьявол выведен язвительным пенсионером, который живет на покое, ловит рыбку и отнюдь не интересуется уловлением человек. Противостояние серости и тьмы завершилось: «непобедимый дух пошлости» взял верх. И освобожденное от вышних сил человечество может уже без их участия выбрать себе смерть: погрязнуть в ничтожестве или... «Счастье... если бы... десяток могучих и умных людей атомным взрывом уничтожили бы вас и вашу историю...»

Вот здесь и поставить бы эффектную финальную точку — но истина требует иного завершения. Мятежница, не смиренная ни страхом, ни верой, ни лагерем, ничем, склонила, похоже, буйную свою голову перед старостью — самым серым для нее временем жизни. Протест отошел в прошлое; впереди остался лишь последний порог, и туда, в загробную муть, вперяется взор поэта. Серость перехлестывает границы наличного бытия, и мерещится: «Там нары кривобокие, / Не в лад с доской доска, / И там нас ждет широкая / Российская тоска...» Говорят, она боялась смерти. Не мудрено.

Но было, все-таки было и другое: рядом с «тягучим кошмаром» мелькает в последних стихах и последнее просветление. Возможно, и его истоки — в отвращении от протеста, в усмирности, себе в спутники требующей примирения с миром. Или, быть может, страх смерти, окончательного исчезновения заставляет про-

тянуть руку будущему читателю, в котором продолжится жизнь поэта. Или воистину пробудилась у врат жажда прощения и света?

Я отойду в страну удушья,
В хмарь ноября.
Прости мою ночную душу,
Любовь моя.

К кому обращены эти слова любви — к Богу? к жизни? к другу? ко мне?

Алена ЗЛОБИНА.

*

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КЕНГИРА

Л. Самойлов. Перевернутый мир. СПб. «ФАРН». 1993. 224 стр.

Традиционную рецензию со снисходительной отметкой «автору удалось» и непременно с оговоркой, что наряду с достоинствами здесь, увы, имеют место продолжающие их недостатки, — такую рецензию на очерки Л. Самойлова писать грешно. Крик души призывает к отклику. Но... и обычный диалог не годится. Чувствую, что ведет на толковище. С запретными в строгой рецензии воспоминаниями о прошлом.

На очерки Л. Самойлова в «Неве» я наталкивался еще на исходе 80-х. И конечно, задерживал на них внимание: сюжет, знакомый с детства. В четырех корпусах на Сухаревке, за больницей Склифосовского, где проходила и в «37-м» оборвалась счастливая эта пора, осталось разве что четыре квартиры, куда не вторглись бы непрошенные ночные гости. Кровно знакомый сюжет. И как раз по этой причине погружаться в очерки с головой охоты не возникало.

В конце 80-х арестантская проза и публицистика уже теряли сладко-терпкий вкус запретного плода и с оскорбительной для меня скоростью обретали запах общепитовского дежурного блюда. К тому же вопреки воле, стихийно в ту пору, видимо, начал во мне срабатывать кастовый снобизм, отупляющий, как всякая словесная спесь. Наскоро листая очерки, чтобы получить прежде всего ответ, где да когда и сколько отбухал в лагерях мемуарист, я по нескольким выхваченным из текста отрывкам сообразил, что Лев Самойлов — зэк на удивление свеженький. И срок получил даже не детский, а ясельный. Причем по статье, которую в обществе с предрассудками расшифровывать не принято. И срок-то отбывал, смешно сказать, годик или другой. Не слишком надеясь на прощение за снобизм, приведу сценку из прошлого.

Осень 1950-го. Петропавловская пересылка. Бачок с ужином давно отъехал в кухонные края. Близок отбой. В камере час усталого благодушия. Зэки ведут толковище о том о сем. Расслабляются на ночь.

— Батя, — участливо обращается к соседу, очевидно, бывалый зэк, обращается снисходительно, — смотрю на тебя, ты цельный день смурной. Молчишь да молчишь. Чего такой грустный?

Худенький, невысокого роста сосед в потертой, однако не потерявшей черноты форме железнодорожника втянул голову в плечи. Настороженно сжавшись, вроде бы уклонялся от мирного разговора, что было, вне всяких сомнений, моветонно. Добродушный мгновенье назад зачинщик беседы принял молчание как оскорбительный вызов. Сразу став агрессивным, приступил к допросу:

— Срок-то какой?

Еще мгновенье, вернее, пауза — и бедняга из МПС сдался. Скорбно прошептал:

— Три года!

Оторопь слышавших диалог продолжалась не дольше, чем первая пауза. Зэк сидевший на нарах рядом, взорвался от хохота. А вслед за ним, будто отравленная газом — говорят, есть такой смехотворящий, укладывающий и старых и малых подряд, — корчилась в приступе камера...

Дважды беглец, изменник, саботажник и прочая, схлопотавший три полных довеска — по двадцать пять — к первому приговору, ласково разъяснял трехлетке:

— Тебе, сука позорная, орден к ж... (пардон, заднице. — М. К.) прихер... (пардон, присобачили. — М. К.). Тебе бы в пляс идтить, а ты от людей морду воро-тишь, невежа. Давай махнем твои копейки на мою сотенную! Эх, чудак человек, с ходу повеселеешь.

С трудом обозримый, уходящий в сферу фантастики четвертак, выдаваемый, чтобы согнуть в три погибели и вдавить в сырую землю, одновременно освобождал приговоренных от оков психологических. «Ну, влепишь ты мне, гражданин начальничек, еще триста годков — так что? Сыпь мене на «нос» хоть мешок соли, тебе слаще не будет...»

Три года — срок потому более тяжкий, чем двадцать пять и полста, что он обозримый и, значит, реальный. В психологическом смысле он нагружен доверху, ибо свидетельствует: жизнь переломилась надвое. Сломалась навсегда — так кажется, когда тебя ломают впервые.

Отодвинув пристальное чтение журнальных очерков Льва Самойлова в туманную даль, я однажды насторожился, услышав от близкого мне человека, что очерки произвели на него большое впечатление. Вскоре услышал высокие отзывы от второго, от третьего знакомого. И когда тысячным тиражом вышла книжица «Перевернутый мир», вобравшая в себя эти очерки, я начал читать ее с пристрастием.

Первая глава, «Страх», — о предыстории ареста.

...В Оксфорде готовилось издание монографии Льва Самойлова. Наличие важных идей по множеству острых и актуальных проблем археологии подтверждалось в тексте отрывками из писем крупных ученых зарубежья. Мимоходом в тексте замечено: «Начальство очень беспокоила моя популярность на Западе».

Ах, если бы не беспокоить начальство! Да если б к тому же в вузовском учебнике, подготовленном в бывшей соцстране, не наличествовал портрет Л. Самойлова, а был отсутствующий здесь портрет Академика, возглавлявшего у нас отрасль, в которой Л. Самойлов трудился столь плодотворно. Так нет же... В теоретическом сборнике, изданном в этой же легкомысленной стране, на Л. Самойлова полсотни ссылок, на Академика же только четыре. Ох, не к добру! Академик дружен с бывшим завом отдела науки ЦК КПСС Трапезниковым, который никак не может добиться избрания в ученый ареопаг Державы (голосование-то тайное). Нет, не к добру. В каждой отрасли есть головной институт, правящая элита, установленная концепция, «Московский Академик». Целая отрасль науки отдается ему как феодальное владение, как удел на годы и десятилетия. А монополия, как известно, рождает всевластие, всевластие — произвол, произвол — эксцессы.

«Страх» можно назвать очерком бытовым, нравоописательным, исповедальным. Достоверность приведенных в нем фактов сомнений не вызывает. Выводы, которые мемуарист из них делает, едва ли оставят читателя равнодушным по той причине, что от превратностей личной судьбы он переходит к судьбам общественным. «Всю жизнь за мной бдительно и настороженно наблюдали чьи-то немигающие глаза. Всю жизнь слухи обо мне стекались в чье-то огромное ухо... Почему в собственной стране, работая на ее пользу и во славу своего народа, я все время должен был заботиться о том, чтобы меня, не дай Бог, не приняли за предателя или иностранного наймита? Почему подозрение ходило за мной по пятам?» Вопрос несколько риторический. Не надо быть крупным ученым, чтобы добраться до его разгадки. И все же — почему? «Я был не инакомыслящим, а просто *мыслящим*, и, кажется, в этом была вся моя беда. Я разделял эту беду со многими. Требовалось не мыслить самостоятельно, а *верить*. И даже не в какие-то постоянные догмы, а просто слепо верить всему, что вещает очередной партийный лидер».

Мысль знакомая и не бесспорная, потому что больше, чем вера, требовалась покорность, но дальше, дальше... Постепенно, продолжает Л. Самойлов, до него стало доходить, что его скрытый и уже наследственный страх (от отца, если не от деда) — ничто «по сравнению с тем всеобъемлющим страхом, который я внушаю моему государству»... «Страх двигал танки в Будапешт и Прагу, в Вильнюс и в Москву».

Л. Самойлов понимает, что через тридцать лет после выхода книги «Не хлебом единым», в сущности, повторил судьбу ее героя. За противостояние незримому «граду Китежу» (так Дудинцев окрестил идеологическую и оргмонополию) последовала судебная расправа, срок и — уже на свободе — хождение по кругу...

Второй очерк — «Правосудие и два креста». Тюрьма. Очеркист пишет про тупую волну спертого воздуха и влажной вони, ударившей его, когда надзиратель с грохотом и лязгом отомкнул дверь в камеру. «Очки сразу запотели». Вот-вот...

Читая про карцеры, этапы, буры, вспоминая собственные прогулки, я все реже испытываю волнение. Прелесть новизны исчезла так давно! Единственно, что до сих пор вызывает бунт на уровне клеток, — вонь. Тюремная, барачная, вагонная, летнедизентерийная, зимнепортяночная, трупная... Бр-р-р...

Принявшись за очерк «...два креста», Л. Самойлов, как видно, начал вспоминать носом. Остальное потянулось своим чередом.

Шобло, вспоминающее не о прожитом, а о выпитом — о самогоне, политуре, бормотухе... Баланда, в которой не сразу начинаешь отличать хряпу из овощей от могилы — рыбной похлебки... Мало сказать, что Л. Самойлов наблюдателен. Его отличие от рядовых коллег по жанру в том, что, фиксируя, он тотчас классифицирует. Теснота: «Шпротам в банке легче — они мертвые». Одноцветность: нет в камере голубого неба, нет зелени растений, побеждает серое: лица, стены, одежда. Агрессивность среды. От ее блажи и норова дебютант беззащитен. Впрочем, не следует сгущать краски, поскольку, кроме обычных камер, для самых отпетых существует и напряженка. О напряженке помолчим, хороши и обычные.

У парнишки по прозвищу Умка трусы разрезаны внизу, превращены в юбочку. Стоять около унитаза ему позволено, в остальную же часть камеры он должен вползать на четвереньках трижды в день — для уборки. По приказу Умка танцует, вертя задницей. По приказу поет, получая удары, если забыл слова. По приказу сгибается, и друзья по несчастью, по камере употребляют его, стараясь причинить боль. Сильную боль. Чем сильнее, тем лучше владыке. Случается, ему нужна другая поза. Пареньку в соседней камере шашкой от домино и миской аккуратно выбили передние зубы. Верхние и нижние. Чтоб не мешали обслуживать клиентов. Не хочу продолжать...

Господа Бога благодарю, что сидел в спецлагерях, в особых режимных, куда в сталинские еще годы нагнали людей, прошедших фронт и плен. Пускай изменников, власовцев, бандеровцев, лесных братьев, саботажников, вредителей, террористов... Пускай семь раз грешных и семью семь преступных. Приняв на плечи груз эпохи «войн и революций», мы все же знали цену жизни. И цену личности.

Две всемирных бойни, Великий перелом, Великий террор — словом, XX век во всей его красоте выжигал из современников нравственные начала, с великим трудом утверждавшиеся в Европе на протяжении двух тысячелетий. К концу столетия — великий поклон перестройке — развиднелось. И стало ясно, что толковать о началах нравственных пошловато. Порой наивно. Чаше глупо.

Начала эти с яростью вытапывали в душах старшего поколения. Теперь обнаружилось, что у наследников и вытапывать, кажется, нечего.

Сокамерников Умки, а имя им — легион, поскольку к ним нетрудно добавить и малолеток из «ОдлIANA» Леонида Габышева, и братишек — восьми и двенадцати лет от роду, — забивших насмерть старика в подземном переходе на Пушкинской площади, рядом с «Новым миром», «Московскими новостями», «Известиями»; и толпы героев криминальной хроники, прочно обосновавшихся на полосах сотен не только столичных изданий, — сокамерников Умки нельзя оскорбить, назвав скотами. И скотов нельзя оскорбить, назвав людьми. У животных мудрейшие инстинкты, рядом с которыми меркнет человеческий разум. Однако нравственные начала — это не их привилегия. Это наш крест.

Напрасно забегая вперед, но не желая держать себя за руку, признаю, что в главном очеркист прав. Страну победил ГУЛАГ. (Разумеется, проект его был продиктован в первую очередь социальным укладом и психологией общества и лишь в третью, в пятую — утопиями.) Тюрьма начала властно формировать волю по образу своему и подобию. Пропуская через лагерные ворота год за годом миллионы, ГУЛАГ навязывал окружающему миру свой антиправовой кодекс, воровскую мораль, благой лексикон, музыку, песни. ГУЛАГ создал именно перевернутый мир, добавив к тысячелетним ценностям обратный знак.

Не убий? Отчего же... Для убийства нужны отвага, сила, хитрость. Они доказывают твоё превосходство.

Не укради? Отчего же... Нема дурных зарабатывать хлеб в поте лица своего. Не дадут заработать. А расстарайся заработать — отнимут. Запрягут вкалывать снова, и будешь упираться рогами, пока не сдохнешь.

Люби ближнего своего как самого себя? Да на хрен он мне сто лет, этот ближний. На нарах и без него тесно. «Умри ты сегодня, а я завтра».

В исторически четких масштабах советского, за семьдесят лет обретенного опыта вера в «магическую силу труда» и благотворность коллектива перечеркнута крест-накрест очень жирным карандашом. «Педагогическая поэма» Макаренко

ничего не меняет, потому что речь идет о труде, который стал подневольным в колхозах, на заводах, в стройбатах, повсюду, где есть прописка и приказ. По той же причине и коллектив, коль скоро он не создан свободной волей его членов, стал рабским. Получил обратный знак.

Никуда не денешься, Л. Самойлов прав, когда пишет: «Полнейший провал лагерной перестройки люмпенов в трудяг — это не частная неудача одной лишь сферы внутренней политики государства. Это катастрофа в масштабах всего общества и всей страны, ее долговременные последствия неизмеримы. Пожалуй, если вдуматься, они пострашнее Чернобыля».

Мне выпало великое счастье сидеть в лагерях особых, режимных, в борах и карцерах, на штрафном как раз в тот сравнительно недолгий период, когда «политики» выползли из-под нар. Когда вместе с отпором блатному миру началось и обрело четкие формы сопротивление ГУЛАГу. Восстания в Воркуте, Норильске, Кенгире были высшими точками Сопротивления. Человек в них побеждал раба. Солженицын был совершенно прав, закончив последний том «Архипелага» именно главой о Кенгире, связав ее с бунтом вольных в Новочеркасске.

После Кенгира в лагерях потянуло свободой, забрезжило. Начался стремительный кризис ГУЛАГа, ни в каких снах не представлявшийся скорым, хотя назревший и перезревший политически, стратегически, демографически, этически, экономически, финансово и, естественно, с точки зрения правовой...

...На окраине Караганды, в Майкудуке, центральном пункте Песчанлага, повстречались разные, нередко враждебные друг другу эски, но все-таки исторически близкие. Иногда связанные только профессией, только принадлежностью к «светскому кругу», к интеллигентской «прослойке». Но разве этого мало? Если нужны имена — а они, конечно, нужны, — приведу как минимум три. Чабуа Амирэджиби — трижды беглец, накрутивший на счетчике восемьдесят лет срока, будущий автор знаменитого «Даты Туташхиа». Аркадий Белинков, схлопотавший в лагере второй срок, будущий автор книг о Тынянове, Юрии Олеше, едва ли не пионер среди беглецов последней волны эмиграции. Борис Сучков — будущий директор Института мировой литературы имени Горького, член-корреспондент Академии наук.

По возрасту Лев Самойлов и я почти одногодки, но в качестве бывшего ээка я отделен от Самойлова тремя десятилетиями с гаком. И я обречен оценивать «Перевернутый мир», а также опыт, в нем обобщенный, отталкиваясь от берегов своего прошлого. Думаю, и от позиции профсоюза именно старых ээков.

Признаюсь, мне частенько кажется, что о нем напрасно и слишком быстро забывают. Склонны забыть. Еще чаще убеждаюсь, что ускоренная смена поколений располагает эту забывчивость превращать в норму. В закон, разрешающий верить, что предков вообще не существовало. Порой на них сознательно возводят напраслину. Упрек, на мой взгляд, серьезен. Предъявляя его, нельзя обойтись без доказательств. Без некоторых общих рассуждений. Для Варлаама Шаламова эски, доставленные на Колыму на склоне тридцать восьмого, после ежовского «часа пик», верного представления о чудной планете уже не имели. Подозреваю, что Вернер Кресс, запечатлевший в «Экзамероне XX века» Колыму послевоенную, был бы оценен Шаламовым, говоря осторожно, как романтик, поглубже — как враль. Несмотря на свой честнейший немецко-австрийский позитивизм, арестант № 3-1-504 поставил перед собой задачу отыскивать в темном царстве лучи света! Это ли не надругательство над убиенными, усопшими, над правдой истории? У Шаламова были основания принимать ээков послевоенного набора, как бы это помягче — с угрюмой снисходительностью. Чуть ли не с ревностью. Он видел Освенцим без печей.

Бесспорно, сознавая масштаб и подвиг Солженицына, Шаламов в письмах таил свою вражду, как водится, помаленьку лукавил, но в разговорах не очень сдерживался. Для него любой из шараги, где сидел Солженицын (все равно кто — Лев Копелев или Димитрий Панин), — не эски, а курортники.

Не знаю, как сейчас не обидеть ээков хрущевской и брежневской поры. Глубоко уважаемый Лев Тимофеев назвал свою тюремную книгу по-журналистски броско: «Я особо опасный преступник». Эмигрант Борис Вайль (не путать с Петром Вайлем), печатая свои мемуары в «Звезде», тоже отдал дань рекламе: «Особо опасный»... Ей-ей, нетрудно перечислить здесь заголовки множества дельных, поисти-

не выстраданных книг, которые я не в силах воспринимать без скепсиса. Достойнейшие авторы детально упускают из виду коренные отличия между 20-ми, 30-ми, 40-ми.

За плечами у поздних эзков — общество, дозревшее до раскованной мысли, до внутреннего, а иногда и внешнего противостояния. За плечами у припозднившихся, молодых — постаревшая власть, чувствующая тяжесть накопленных грехов и готовая играть в либерализм.

Известнейший адвокат Дина Каминская, отправляясь на свидания со своим подопечным, захватывает отменные бутерброды и термос, а в нем горячий супчик. Подкармливает... Мать родная — и это мое Лефортово?

Однако...

Нет, оказывается, заказов госпредприятий, бушует повальная неплатежка, и лишенных работы эзков могучий ГУЛАГ не в силах кормить. Дефицит запчастей, в лагерных гаражах простаивает автотранспорт — значит, нет дармовых стройматериалов, рушатся бараки. Как сообщили «Известия», начальство некоего лагпункта, не привыкшее скудно жить и сохранившее хватку-сметку, послало доверенных бандюг на отхожий промысел. Эх, братва, гульнем по буфету!

Кто гульнет, а кто и не очень. Двадцать семь суток отсидел Вил Мирзаянов в Матросской тишине. И убедился, что приемный изолятор — это приемная преисподней. Совершив журналистский набег на тюрьму в Ельце, Евгения Пищикова сделала вывод в «Общей газете», что «филиал ада меняет статус» места заключения в России страшнее, чем десять лет назад.

Ясно, что по своей остроте кризис правосудия не уступает сегодня кризису промышленному, аграрному, политическому. Преступность одерживает победу за победой. Прокурорам и судьям тоже ведь надо жить. И по возможности пристойно, что, странное дело, не получается на зарплату. Значит, надо соглашаться на подкуп? Если же неохота, надо готовиться к любым формам давления. Читайте Игоря Королькова: «В России пытали и будут пытаться» («Известия», 16.3.94).

Затянувшийся экскурс имеет, мне кажется, прямое отношение к «Перевернутому миру» Льва Самойлова.

Эзками не рождаются. Ими становятся, пройдя, к сожалению, необходимый обжиг. Сходство солдат и эзков этим не исчерпывается. Но есть между ними и коренное различие: добровольно ушедших на фронт я встречал немало. Добровольно севших в лагерь — ни одного. В тюрьму, как известно, не бегут, а попадают. Бегут — из тюрьмы. Становятся эзками в тисках всегда изменчивых обстоятельств.

С точки зрения эзка сталинского набора, примечательность дела Самойлова уже в том, что, лишенный свободы как элемент вражеский или по крайней мере кому-то нежелательный, он оформлялся и взят был как голубой. Когда-то убежденно-советских людей клеймили и добивали как вредителей, террористов, национал-уклонистов. Потом же с похмелья, оглядываясь с опаской, политику старались не шить. Себе дороже. Следователя и подследственного, таким образом, скрепляет молчаливый, но довольно прочный, взаимовыгодный уговор: соблюдать правила игры.

Горькая пьеса, персонажем которой стал Лев Самойлов, строилась по канонам современной драматургии. В ней нет пяти актов, предписанных классикой, есть два. Место действия первого — давно и далеко известные за пределами Петербурга Кресты, второго — общий лагерь, расположенный в местах, не столь отдаленных от Ленинграда.

К чести героя пьесы, он не склонялся к сдаче на милость. И тюремная обстановка ему на удивление благоприятствовала. Заметив, что надзиратели иногда корпят над учебниками (интересно, каким образом заметил? в Крестах общая избачитальня?), арестант сделал вывод, что им предстоят зачеты-экзамены. Предложил свои услуги в качестве репетитора. Услуги были приняты без колебаний (о времени, о нравы!). Напомню, что на дворе не тридцать седьмой, не сорок восьмой, а 80-е. За сострадание благодарные ученики обеспечили учителя не только Уголовным кодексом, но даже справочником по судебной медицине.

Аристотеля читал. Спинозу читал. На Гегеле последние клетки сгубил, а узнал только у Самойлова, что склонность к однополю любви неподсудна. На суд Лев Самойлов явился вооруженным до зубов, с таблицами и диаграммами. На судебном спектакле ему отводилась роль дурачка-простофили, а он оставил в дураках своих противников. Несмотря на совершенные ошибки, которых не скрывает, он в первом и трудном раунде победил. Безусловно, он победитель — но на душе, при-

знаюсь и каюсь, осадок. Никак не могу забыть старорежимную точку зрения. Назовем ее условно «точкой Кенгира».

Чувствуя, что не в силах больше выдерживать побои и пребывание в Крестах — здоровье дороже, — молодой парень взял на себя преступления, им не совершенные. На душе муторно, поделился в камере с ученым соседом. Из благих, разумеется, побуждений, Лев Самойлов решил, что прямой его долг передоверить чужую тайну, рассказать правду следователю. Вскоре паренька из камеры увели. Что с ним дальше стряслось, неизвестно.

Прикинем, все ли в этой истории говорит в пользу очеркиста. Во-первых, у Льва Самойлова нет доказательств, что рассказ паренька достоверен. Во-вторых, Льву Самойлову неизвестно, что на основе его доноса предпримет следствие. А если следствию невыгоден пересмотр уже сляпанного дела? — пересмотр ведь означает, что следствие допустило брак в работе, пошло на подлог. Начальнику следственного отдела лучше бы выгородить своего подчиненного, а не в меру болтливому пареньку еще разок намекнуть, что язык в тюрьме лучше держать за зубами. В-третьих, неизбежно возникает вопрос, воистину ли благими являются побуждения доброхота, передоверившего чужую тайну. Неужто подследственный не рассчитывает на оплату услуг? На снисхождение к нему самому? К тому же, решаясь на донос, он сознает, что отныне он на крючке у хозяина. Где тут место для бескорыстия? Наконец, уведенный из камеры парень сообразит на первом же допросе, что господин профессор заложил его с потрохами. И, значит, по камерам тюрьмы, дальше по лагерям, обрастая подробностями, пойдет гулять параша, что господин профессор — стукач. Борьбаться с такими парашами — дело не пустяковое. В общем, с точки зрения Кенгира, у зэка Самойлова поразительное отсутствие и внешних и внутренних преград для контактов с начальством.

Шеф отряда, офицер, любивший беседовать со своим зэком о жизни и науке, как-то забеспокоился: «Не надо нам встречаться наедине. Прекратим это. Каждое утро (!) я прихожу с чувством тревоги: не случилось ли с вами беды». Допустим, взаимоприятие шефа и его зэка не больше чем случайность, объяснимая тем, что офицер молод, недавно окончил философский факультет, разговоры о науке и жизни с университетским светилом для него подарок судьбы. Тогда еще деталь.

Среди проблем, которые арестант разрабатывал на воле, особое место занимала коммуникационная теория стабильности и нестабильности культуры. Если опять попроще, то — проблема живучести традиций. Надо ли удивляться, что в лагере Лев Самойлов начал размышлять, как обескровить воровские традиции. Вопрос первостепенной общественной и государственной важности, спору нет. Зэк Самойлов направляется в штаб, стремясь поделиться идеями с начальником лагеря и дать ему «ряд практических рекомендаций». Начальник вдохновился, представив себе, какие у воруя будут морды, когда увидят...

А я, признаюсь, отнесся к благородным идеям с застарелым скепсисом. Я больше солидарен со статным и суровым полковником, прибывшим в лагерь в качестве члена проверочной комиссии.

К приезду ревизоров три дня все скребли, драили, красили. Бьет решающий час. Объявляется, что комиссия готова выслушать претензии. Прием с глазу на глаз! Вы догадались, читатель. Мимо побледневшего начальства к заветной двери направился зэк Самойлов. «На что жалуетесь?» — спросил его статный и суровый. Зэка не устраивает учет трудового соревнования. Учет надо строить рациональнее. Полковника чуть удар не хватил. «Внезапно на лице его отобразилась смесь подозрения, презрения и отвращения.

— А вас не подослало здешнее начальство?»

Тот же вопрос неизбежно должен был появиться у рабочих, воруя, надзирателей... Когда-то были, а нынче кончились дураки, способные верить, что зэка Самойлова волнует учет соревнования.

Возвращаясь к условной точке, в Кенгир, готов заверить очеркиста, что там ему снесли бы полчерепка любой железякой. И одним ударом, без художеств. За дурную болезнь — «зуд реформаторства». Не зэк — Лев Самойлов, а истинный социалист-утопист, шагнувший в ногу с перестройкой. Подсчитать бы, сколько рацпредложений внес он, разрабатывая проекты реформ.

Предлагал разгрузить следователей — тогда бы они относились к делам внимательней. Советовал отделить следствие от прокуратуры и милиции, выделить его в самостоятельное ведомство. Расширить права адвокатуры. Вернуться к суду присяжных. Сделать должность судьи пожизненной — как в Англии. Упразднить ги-

гантскую сеть архипелага ГУЛАГ. По духу — и даже букве — реформы очеркиста отвечают программному документу, составленному «Мемориалом».

Наибольшее впечатление автор произвел на рецензента в родном своем амплуа — как историк и этнограф. Как археолог, прошедший шестнадцать экспедиций. Лагерный раздел книги назван безошибочно: «Семнадцатая экспедиция». К сожалению или к счастью, но выводы четвертого очерка — второго акта пьесы — в значительной степени опровергают выводы утописта. Противоречит им. Кто никогда себе не противоречил, пусть бросит в Самойлова камень.

Зоркость ученого-этнографа объясняется не только широтой его кругозора, но и тем, что начинающий арестант застал ГУЛАГ в состоянии кризиса, на исходе брежневской поры, а писал свои очерки в период распада насквозь тоталитарной его структуры.

В отличие от большинства мемуаристов Льва Самойлова не слишком волнует, кто больше повинен в рождении и подвигах ГУЛАГа: Маркс, марксиды или, допустим, византийские, крепостнические традиции России. Вот он становится свидетелем замеса — регулярной меры, проводимой разок-другой в месяц для профилактики. Среди ночи мужиков вырывают из сна и гонят к дверям барака. Там дружина «бойцов» молотит всех подряд чем попадя. К примеру, ножками от табуреток. Затем избитые отправляются к рукомойникам и, смыв кровь, укладываются досыпать. Недельку-другую завиральные мысли о правах человека и возможности бунта против «главвора» и его команды в самую шальную голову не придут. Этнографу приходит в голову прекрасная ассоциация: так избивали рабов-илотов в Древней Спарте!

Наколки, которыми блатари, нарушая элементарную конспирацию, утверждают свой ранг и достоинство, археолог осмысливает как знаковую систему. Не ради украшения делаются наколки, поясняет этнограф. Их главная функция — служить паспортом. Анкетой. Изображение церкви означает отсиженный срок. Число глав или колоколов — число лет, отбытых в зоне. Кот в сапогах — воровской профуклон (домушник). Портрет Ленина и тигр с оскаленной пастью — отношения с дорогим правительством. Татуировка, подсказывает Самойлов, докочевала до тюремного быта, выйдя из первобытного общества. С помощью символов она там тоже фиксировала социальный статус: принадлежность к племени, заслуги. Из тех же дальних времен — суеверия, обрядность, бедный словарный запас, табу, чрезвычайно жесткое деление на три касты. На высшую — воровскую. На среднюю, к которой относятся мужики (фраера), обязанные вкалывать и кормить касту господ. На низшую — неприкасаемых, париев, обязанных выносить любые издевки и побои, исполнять самую грязную работу.

В своей «Семнадцатой экспедиции» археолог впервые увидел общество, которое раньше только раскапывал. Диагноз ясен — поздний палеолит. И разгадки его живучести налицо. Основная заключается в том, что за последние сорок тысяч лет человек биологически не изменился.

Спору нет, если что-нибудь нас спасет, то именно и только развитие культуры. Культуры в самом широком смысле слова — духовной, бытовой, производственной, правовой..

Охохонюшки... Как она, правовая, развивается, видно невооруженным глазом.

После оглавления издательство вдогонку поместило «Экспресс-постскрипtum». Из него явствует, что автор «Перевернутого мира» был обнаружен в своей квартире, оборудованной сигнализацией и бронированной дверью, связанным, с кляпом во рту и следами избиваний и пыток на лице и на теле. Среди похищенного — компьютер с научной информацией и оригиналами литературных записей. «Экспресс-постскрипtum» заставляет иначе оценить серенькую, как арестантская роба, мягкую (так дешевле) обложку: от правого верхнего угла к заголовку струится кровь...

В настоящее время ученый находится на излечении в Англии. Комментировать, продолжая спор поколений?

М. КОРАЛЛОВ.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ГОЛОС СИРЕНЫ

Искусство есть искусство есть искусство

Иосиф Бродский.

О черк Ирины Сурат «Пушкин как религиозная проблема» («Новый мир», 1994, № 1), безусловно, интересен и важен, да и написан с изяществом. Критика «воцерковления» нашего поэта и выразительна и убедительна. Так и хочется обойти молчанием некоторые неточности и небрежности этой работы ради ее несомненных достоинств. Однако именно эти недочеты угрожают прочности той смысловой конструкции, которую развернула перед нами Сурат.

Чтобы не запутывать читателя, я не буду заботиться об источниках тех или иных аргументов, какие приводит Ирина Сурат, ссылаясь на множество авторитетов. Пусть эти доводы сами постоят за себя.

В основании статьи нашей исследовательницы лежит такая схема. Поэзия свободна и внеконфессиональна и кроме себя самой иной цели не имеет, другими словами — ее забота в том, чтоб утверждать Красоту своими средствами. Красота же по своей природе божественна. Эрго, поэзия религиозна и в своем стремлении к Красоте порывается также и к Абсолюту, осуществляя тем самым свое особое служение Богу, а воплощенный идеал Красоты обладает очистительной и спасительной силой. Я же попробую показать, что автор очерка, начав одним положением, в результате его доказательства получает прямо противоположное утверждение и даже как бы не замечает этого.

Распространенные как прежде, так и ныне недоразумения, кривотолки и споры вокруг искусства порождены тем целостным мировоззрением (или его интуициями), которое мыслит Истину, Красоту и Добро как некое триединство, заключенное в совершенном существе, а именно в Боге. Пусть так. Но судьба этих сущностей в нашей земной юдоли далеко не столь проста, как нам хотелось бы. Объявляя эти энергии единственными в нашем мире, мы скорее выражаем наши чаяния, а не действительную весьма противоречивую активность этих сил в жизни.

Между тем тот очевидный факт, что Красота как творческий принцип стала исторически откровением Древней Эллады, избавляет нас от необходимости, имея в виду Красоту, говорить о спасении (простите, Федор Михайлович), если мы не хотим потерять христианской специфики этого понятия. Эллинское откровение Красоты стало основой искусства, иначе говоря — особой активности человека, создающей самодостаточные и довлеющие себе вещи Красоты. Если мы любим искусство, мы можем среди прочего утверждать, что оно действует облагораживающе, возвышающе, умиротворяюще и даже очищающе на нашу душу. Но если мы имеем хоть малейшее представление о христианстве, то мы не употребим слова «очищение» в собственно христианском смысле, говоря об искусстве, а тем более обойдем, опустив очи долу, вопрос о спасении. Что правда, то правда:

Нам с музыкой-голубою
Не страшно умереть,
А там — вороньей шубою
На вешалке висеть...

А вот спастись...

Если история даровала именно язычеству откровение Красоты, мы, даже принимая божественность ее происхождения, не можем говорить, что Абсолют Эллады был вполне тождествен Абсолюту христианского богословия. Смысловые зоны вокруг Абсолюта в язычестве и христианстве различны. Для христиан Бог — это прежде всего надмирная Личность Творца, открывшая Себя человеку, обращенная к Нему с любовью и призывающая к ответной любви. У Сурат же — слишком по-

спешный знак равенства между «неведомым богом» эллинов и неисповедимостью божественных глубин в христианстве.

По той же причине я не могу счесть подтверждением концепции Сурат слова ап. Павла, данные эпиграфом к ее эссе, о разнообразии служения одному Богу в едином Духе. Апостол разумел здесь множественность в пределах ед и н о в е р и я. Что общего у волка с овцами? Что роднит христиан с язычниками, истово чтущими своих богов кровавыми (часто человеческими) жертвами? Что сближает христиан с тем же буддизмом, который, как известно, является религиозным атеизмом, отрицающим божественное начало бытия? Мы пишем слово «Бог» с прописной буквы, чтобы подчеркнуть христианскую коннотацию этого понятия. Если Пушкин говорит о поэте как о жреце, надеется ли Сурат переквалифицировать служителя Аполлона в священника Христовой церкви?

Какой прок в признании за искусством его религиозной природы, коль скоро это религия самостийной и самодостаточной Красоты? Открытая, но неприступная, Красота является безусловным принципом искусства и не нуждается ни в каком оправдании, ибо в своем царстве она — абсолютная самодержица. Мало того, это как раз она одаряет в своих владениях все и смыслом, и подлинностью, и правотой. Если какие-то там добродетели не придут и не поклонятся ей — им же хуже. По условиям художественного сознания мы можем говорить о божественной Красоте, если воздаем ей божеские почести. Но если, сказав, что Красота божественна, мы разумеем ее принадлежность Богу или ее проистекание из Него (смещение у Сурат), то мы на этом оставляем область искусства и переезжаем в пределы вероучения, которое может быть тысячу раз справедливо, но чья позиция в нашем разговоре не стоит медного гроша. Нам-то важно познакомиться с личным, так сказать, мнением искусства по этому вопросу, желательно узнать, что у него самого на сердце лежит, какова его собственная, а не навязанная из благих побуждений конфессия. А искусство исповедует только само себя.

Проблема осуждения или защиты искусства возможна только за пределами державы Красоты, когда мы можем взглянуть на это самое искусство глазами богослова, философа, ученого, моралиста, политика и т. д. Тут со стороны нам может порой открыться такое, что волосы встанут дыбом, и уже тут-то, на новой территории, мы и начинаем предъявлять посланцам Красоты свои требования. Ирина Сурат без сомнения превыше всего ставит Красоту и более всего любит ту человеческую деятельность, что связана с безоглядным служением ей. Но принадлежа, как и большинство из нас, культуре с христианской ориентацией, наш критик горопитя приписать Красоте и все прочие достоинства Истины и Добра, чтобы оправдать искусство с нравственной и религиозной позиций. Такая попытка делает честь ее великодушию и свидетельствует о натуре благородной, готовой оплатить даже чужие счета. Но отсюда же горячность и некоторая путаница в ее суждениях. Ей-богу, у Сурат все основания повторить слова Изабеллы, обращенные к Анджели:

Прости, прости меня. Невольно я душой
Тогда лукавила. Увы! себе самой
Противуречила я, милое спасая
И ненавистное притворно извиняя.
Мы слабы.

Ибо как можно иначе понять такой оборот: «От поэта не стоит ждать благочестия, поэзия не благочестием живет, а всею полнотою человеческого»? Скажет ли христианин, что служение монаха вовсе не требует от него всей его человеческой полноты? Конечно, нет. А между тем именно это и называется благочестием в подлинном смысле. Сурат же подает нам его в каком-то стесненном и сконфуженном виде, с постной миной внешней набожности. Если наш критик имела в виду ханжество, то его не только от поэта, но и от любого другого человека мы не хотим. Посему уточним: и от поэта в его деле требуется вся его сущность целиком, и в истинном служении Богу не довольствуются лишь частью себя.

Не меняет дела и специальная оговорка нашей исследовательницы, что только особый, выделенный ею, вид искусства, который она называет реализмом и как умеет размежевывает с другими подвидами художественного творчества, способен к спасению человеческой души и служению Богу. Несмотря на разнообразные свои проявления, свободное искусство всегда едино и сплошно и, пребывая собой, всегда будет ставить Красоту на место Бога. Поэт может сколько угодно и самым искренним образом исповедовать веру в Творца, и в самом конкретном конфес-

сиональном смысле, а его любовь к Богу может быть для него неиссякаемым источником вдохновения. Но в своем одическом или лирическом излиянии по суровым законам искусства (всякий закон суров, если его приходится исполнять) Бог будет лишь факультативом Красоты. В начале своего очерка сама же Сурат признала, что любая предметность, любая тема — лишь повод для вдохновения, то есть творчество для поэта — обмен всего, чем он располагает, на звонкую монету Красоты.

Или возьмем другой сомнительный пассаж: «Творчество побуждается интуицией, а не готовым знанием, для которого нужно подобрать соответствующую форму... Поэзия на заданную религиозную тему... теряет свойства изумляющей первозданности... и т. д.». Здесь угадываются два пункта. Религиозное знание как бы статично, и в его пределах невозможно никакое творчество. Это, разумеется, не так и в чисто религиозном смысле, поскольку, имея неколебимые догматические основы, вера является живым знанием и требует от человека творческого переживания с неисчислимым разнообразием форм и смысловых озарений даже в границах ортодоксии.

Да и сама поэзия не такая трусиха. У нее есть уже свои канонические формы (сонет), которые, казалось бы, должны обрекать ее на исчерпанность темы по автоматизму нерасторжимой связи формы и содержания. Мало того, даже заданная тема (какая угодно, не только религиозная) иному поэту вовсе не помеха для подлинного вдохновения. Вспомним итальянца из «Египетских ночей», который, кстати, сказал: «Всякий талант неизясним».

Бог весть, замечу я пусть и с притворным смирением, чем побуждается творчество: некоторые птицы слаще всего поют в клетке.

Надо признать, что Ирина Сурат грациозным движением напрочь развеяла бутафорское облако «воцерковления» вокруг пресловутого обмена стихами между Филаретом и Пушкиным. Но, увы, она не удержалась от излишнего в данном месте и вполне субъективного замечания, указав, что пушкинский ответ из-за своей преднамеренности уступает по художественным достоинствам лучшим созданиям этого гения.

Как отнестись к этому упреку? Я только что привел пример преодоления заданности. Признаюсь заодно и в том, что считаю ответ Пушкина великолепным в поэтическом отношении, как и то его стихотворение, из-за которого разгорелся сыр-бор. По пути заступлюсь и за стихи самого Филарета, которые принято уничижать с горделивой надменностью. А по-моему, ничего себе стихи, душевные такие. Во всяком случае, не хуже, чем порой выходит у уважаемого Сергея Аверинцева.

Но анекдот о Пушкине и Филарете действительно размещается в самом центре спора о взаимоотношении религии и поэзии, и он чрезвычайно поучителен. Ясно также и то, что в этом конкретном случае Филарет спор проиграл, но вовсе не потому, что его стихи хуже пушкинских, а по той простой причине, что он вообще решился написать стихи. К тому же Филарет, каким бы ни было содержание его стихов, выступил в качестве эпигона Пушкина, невольно следуя нашему поэту в стилистическом плане, подтверждая этим поэтическую правоту Пушкина!

Разумеется, сама гармоническая мощь «нигилистических» стихов Пушкина («Дар напрасный...») является свидетельством художественного преодоления отчаяния. Но по таинственной двусмысленности искусства его могучая и чарующая сила делает и сам предмет изображения завораживающим. Очень часто вещи, в которых художник изживает свой пессимизм, могут быть опасны для других. Искусство не имеет своей целью воспитание или развращение человека, но по избыточной своей силе все-таки делает это. Реакция Филарета очень естественна и понятна. Сам Пушкин, отстаивая свободу искусства, все-таки признавал и человеческий долг поэта перед обществом, когда речь шла о публикации. Иногда произведение искусства может стать катализатором трагических событий. Вспомним историю «Вертера» Гёте. Нелепо говорить, что несчастные самоубийцы заразились отчаянием, потому что «не поняли» художественной сути романа и того, что искусство является «вытеснением» всевозможных комплексов. Беда в том, что искусство как раз не понимается, а переживается. Если настаивать на понимании, придется всех непосвященных ослепить и залить им уши воском. Но уповать на спасительность искусства в христианском смысле хотя бы и в узком приложении лишь к самому художнику у нас также нет оснований. Известно, с каким психическим напряжением связана жизнь большинства поэтов. Нужно ли здесь приво-

дить скорбный список дорогих для нас имен? Какое уж тут спасение! Больше доводов найдется, чтобы объявить искусство гибельным.

Способность искусства прельщать и пленять нашу душу (а не спасать ее) ведома повсеместно. Оставлять такую мощь бесхозной всем кажется просто глупостью. Истина уже в малых дозах требует умственного напряжения, которое нам не по душе. Добро (стыдно сказать), называй его хоть Благом, хоть Милостью, настолько непопулярно среди людей, что валяется себе в придорожной канаве, и никому оно даром не нужно. Зато искусство другое дело. Есть у тебя глаза — ты уже по уши влип. Есть у тебя уши, чтоб внимать сладким звукам, — ты готов на все прочее глаза закрыть. Красоту и на коне не объехать. Поэтому и хочется искусство присвоить и оприходовать. Даже представители конфессионального сознания превозносят художество в самых высоких и дерзновенных выражениях богомыслия, стремясь породнить музу с Духом Святым. Они исходят из собственного великодушия и чистосердечия, больше доверяя благому началу в человеке, уповая на то, что блудный поэт в конце концов вернется в лоно отцовское. Любовь и благодарность к Пушкину хранится ими с самого детства:

Ветер по морю гуляет
И кораблик подгоняет.

Нужно быть деревянным, чтобы забыть такое.

Предавая забвению возмутительный по своей неотменяемости нейтралитет самовластного искусства ко всему, что дорого и важно для человека, апологеты художественного творчества в чайнии таинственной связи между абсолютной Красотой и мистическими безднами отрицательного богословия пытаются создать смысловое напряжение христианства вокруг неизъяснимости Красоты. Они уже стали смотреть сквозь пальцы на своенравие и необузданность искусства. В ход пошли нежные слова и уговоры. Работа Сураг — сеанс ласкового кормления волка, который по-прежнему косится в сторону леса. Но на уровне онтологии искусства и религий, то есть их сущностей, примирение между ними на равных правах попросту невозможно. Следовательно, это не проблема вида искусства: ошибка Сураг. Напомню, что искусство ровным счетом ничего не нужно кроме себя самого. С поэтом же многое обстоит иначе. Его организация далеко не столь монолитна и непроницаема, как у невозмутимого искусства. Напротив, находясь в постоянном личностном становлении, он пронизан с головы до ног всеми стихиями жизни и может быть также способен и к религиозному переживанию бытия в самом конкретном конфессиональном смысле. Однако (*nota bene*) во время творческого наития принцип свободного и от всего отрешенного искусства должен обязательно восторжествовать, и все переживания поэта, в том числе и религиозные, буде такие случатся, неизбежно получают строго поэтическую модальность. Несомненно, что этими-то переживаниями и питается творчество. Без них оно зачахнет. Собственно, по тому, что мы у поэта находим в качестве темы, и по тому, насколько полно она художественно изживается, мы и определяем важность творчества того или иного поэта в наших глазах. Но и со сферой личного опыта поэта, хоть только здесь возможны некоторые зияния, некое узрение Божественного Лица в сплошном блистании солнца Красоты, мы не должны связывать слишком больших надежд. Ведь чаще всего дело кончается черными пятнами, если не слепотой.

Что до железных ортодоксов, они и во сне не забудут, где родилось искусство. Их сердце не отзовется на упойтельный голос сирены сладкой судорогой. Поэт навсегда останется для них поганым язычником и жрецом вавилонской блудницы. Они сочтут внешний вид художества более или менее удовлетворительным только в колючем хомуте конфессионального послушания.

Николай СЛАВЯНСКИЙ.



КОРОТКО О КНИГАХ



I. «ЖИВАЯ СТАРИНА». Журнал о русском фольклоре и традиционной культуре. 1994, № 1.

Этот журнал так долго ждали, что даже не верится, что он наконец появился. Под таким названием — «Живая старина» — с 1890 по 1917 год выходил журнал Русского географического общества. И хотя новое издание по своему духу продолжает заветы дореволюционного многопрофильного собрата, тематика его ограничена рамками традиционной культуры и народного творчества.

Нельзя сказать, что до этого фольклор у нас находился в загоне или в насильственном отторжении от читательской массы. Тот, кто жаждал приблизиться к родникам народного творчества, всегда находил интересующие его статьи, разбросанные по разным научным, научно-популярным и вовсе ненаучным изданиям. Но другое дело — журнал, сублимация живой старины, собрание русских и славянских древностей, место встречи сказки и загадки, песни и заговора, частушки и пословицы, кафедра для научных споров и открытий... «Журнал не будет развлекать читателя и популяризировать уже известные в науке факты и положения...» — заявляет в первом номере главный редактор академик Н. И. Толстой.

В нашем житье-бытье мы и сегодня связаны с народной культурой, хотя эта ниточка очень тонка и вот-вот порвется. Не приходится удивляться, когда то и дело раздаются голоса об исчезновении «фольклорных родников», «обмелении фольклорных русел». Разговоры эти не новы и далеко не беспочвенны. В середине прошлого века почти каждый собиратель старины мог бы сказать: еще два-три десятка лет — и устному творчеству народа придет конец, его вытеснит нелепая частушка, которая идет из города. Но проходили десятилетия, менялись поколения собирателей, а фольклор живет и... хотел ска-

зать — здравствует. Но это было бы преувеличением. Скорее всего он сосуществует — рядом с эстрадой, радио и телевидением, детьми беспокойными и малопонятными, хотя и родными. Однако конкуренция с их стороны довольно ощутима, она перетягивает на свою сторону тех, кто еще недавно ходил на репетиции этнографических ансамблей, участвовал в смотрах народных хоров. Вся наша жизнь с ее газетами, аэропортами, автострадами и неизбежной «дистиллированной» речью все стремительнее врывается в российскую глубинку, стирая последние следы устной памяти. Сколько раз за последние годы я пытался навестить места, где когда-то подолгу гостевал, записывал сказки, заговоры, старинный свадебный обряд, слушал семейные хоры, — жизнь здесь держалась на коренном и прочном крестьянском укладе. Но проходили одно-два десятилетия — и деревенька принимала нежилой, почти кладбищенский вид, будто сдвинулась с земной оси. Брошенные дома и пустые амбары, продуваемые навывлет коровники. Свист ветра в оборванных проводах. Зови, кричи — никто не отзовется...

Горько в этом сознаться, но думаю, так оно и будет: не устоять фольклору под натиском цивилизации. Он еще не исчез, но медленно, постепенно исчезает, оставляя на бумаге, в записях подвижников-собрателей, эфемерные свидетельства своего былого величия. Иссякает та живая вода, что издавна утоляла душу русского человека, питая профессиональный театр, музыку, литературу.

Вот почему так ценно то немногое, что удается выудить из нашей действительности. Например, во многих деревнях русско-белорусского пограничья до сих пор отмечают древний скотоводческий праздник — день первого выгона коров на пастбище. Этнограф Е. Н. Разумовская рассказывает в журнале, что святого Георгия Победоносца, который, по народным поверьям, покровитель-

ствуует домашнему скоту, жители Велижского района Смоленщины чаще всего называют Егорием, иногда Юрием, а сам праздник — Егорьевым днем. И произносятся на нем заклинания, в которых люди обращаются не только к святому, но и к домашней скотине, ведьме, колдуну, лешему и «дикому зверю»... Этнолингвист С. Е. Никитина находит в Приуралье староверку Степаниду Мироновну, которая одна-единственная в деревне знает, какому младенцу какое имя дать и что это будет значить для него в будущем... А вот неподражаемые образцы детского фольклора, записанные Т. К. Николаевой. Что это — дразнилки, считалки, потешки? Первоклассницы из города Вятка называют их щипалками. Вот послушайте:

Рельсы, рельсы,
шпалы, шпалы.
Едет поезд запоздалый.
Из последнего вагона
вышла Алла Пугачева.
Вышла Алла Пугачева
и запела букву А-А-А!
Алла, Алла Пугачева,
она съела Горбачева.
Горбачев ей изо рта:
Алла, Алла, ты куда?!

Мне кажется, издатели «Живой старины» несколько поторопились, объявив в первом номере, в своеобразной программе-манифесте, что хотели бы видеть своими читателями некую культурно-филологическую элиту, которой будут излагать «в доступной форме научные проблемы народного творчества». Думаю, такой избранный подход может обречь журнал на неудачу, не выжить ему в наши неласково-рыночные времена. Вернуть народу память о самом себе — вот главное сейчас. А для этого все жанры изложения одинаково хороши и люб-дорог каждый читатель, независимо от того, к какому культурному слою он принадлежит.

Старина-то — она ведь живая!

II. АРХАНГЕЛЬСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СЛОВАРЬ. Вып. I — VIII. Под редакцией О. Г. Гецовой. Изд-во МГУ. М. 1980 — 1993.

Я помню тихую, светлую ночь, когда впервые плыл на плоту по Пинегу. Рыба только играла у берегов, оставляя бесчисленные круги, да переговаривались, шептались сплавные бревна, когда сталкивались у бонов. И только сильный женский голос нарушал ночной покой:

— Ми-ша-а-а!.. Пар-не-чо-ок!

У самой воды стояла пожилая крестьянка и звала «парнечка» Мишу: бросай, мол, рыбалку, иди домой, ужин на столе, да и спать пора, иди скорей, пока не попало... Слово было незнакомое, я решил записать его в блокнот, чтобы спросить потом у сведущих людей. И вдруг застыл в изумлении: так это же мальчик! Конечно, мальчик. «Парнечок» значит маленький парень.

Когда, какой человек придумал это слово и выпустил его в мир? Почему оно жило прежде и почему теперь, услышав его, я ощутил щемящую радость? Потом-то я понял: это было постижение народной культуры, какой-то крошечной ее сути — древнего, но уже обмелевшего родника русской речи. И еще я подумал о том, что хотя у родника не те возможности, да и силы не те, он прародитель, основа всего живого. Представьте, что станет с рекой, если пересохнет хотя бы один источник, который питает ее? Мы потеряем что-то очень важное, необходимое, как потеряли, забыв, первородное слово «парнечок»...

Вот такие случайные, в сущности, житейские сценки и положили начало моей личной коллекции северной народной лексики, которую я пополнял из года в год, приезжая на Пинегу, Мезень, Северную Двину. Иной раз попадались слова-уникумы, слова-памятники. Не важно, что некоторые из них зафиксированы далевским и другими словарями; важно было убедиться в том, что они по-прежнему живы.

Из множества слов, услышанных мною на архангельском Севере, хотелось бы выделить несколько любопытных диалектизмов, смысл которых раскрылся для меня с самой неожиданной стороны. Кто такой, к примеру, *негоддй*? Человек, не годный для службы в армии. *Конюх* — большой деревянный ковш. *Заседатель* — засидевшаяся в девках женщина. *Тыква* — человек, который всюду сует (тычет) свой нос. *Американка* — неодобрительное выражение по отношению к женщине, которая не держит слова. *Лобирушка* — специальная лопатка для собирания ягод в тайге. *Чертеж* — приготовленный для расчистки под пашню участок леса. *Холуй* — куча мусора на берегу, принесенная половодьем... Стоит ли говорить о том, с каким первооткрывательским пылом и усердием я собирал эту лекцию. С какой затаенной радостью

лелеял каждое выловленное слово-самородок, надеясь при случае дать ему право литературного гражданства. И вот, как говорится, ждал-ждал — и переждал.

«Архангельский областной словарь», который выходит с 1980 года, дает возможность познакомиться с богатейшей и бесконечно разнообразной сокровищницей нашего языка, живого, неистощенного на выдумку, который «находится в активном употреблении жителей архангельских сел и деревень». Это уникальнейшее издание, которое по своему значению, я верю, встанет когда-нибудь вровень со знаменитым далевским четырехтомником. Но об этом пусть судят наши потомки.

Более тридцати лет отдали этому собранию ученые, аспиранты и студенты МГУ имени М. В. Ломоносова и Поморского педагогического университета в Архангельске (авторы словарных статей — Н. А. Артамонова, О. Г. Гецова, О. А. Маховая, Е. А. Нефедова и О. Г. Шляпникова). Количество собранного ими материала потрясает — более двух миллионов карточек-цитат, около тысячи полевых тетрадей (а в них — более ста тысяч страниц текста), десятки километров магнитофонной ленты.

Мне известно, что экспедиции по составлению картотеки Словаря начались в 1959 году, в них работало около тысячи человек и было обследовано более трехсот сел и деревень Архангельской области. Причем в каждой деревне нужно было обойти несколько десятков коренных жителей, в основном пенсионного возраста женщин. У них, как правило, говор более чистый, устойчивый, незамутненный, чем у мужчин. Именно от этих женщин, самобытных рассказчиц, были подслушаны бесценные блестящие народные метафоры, образы, фразеологические обороты, от них записаны ценнейшие факты из социальной истории, этнографии, фольклора, народного быта. Стирка белья, приготовление пищи, огородничество, лесной промысел, прядение и ткачество, праздники и обычаи, народная медицина — темы бесед с людьми были самыми разнообразными. Но при этом диалектологи постоянно фиксировали, какие слова устойчивые в говоре, какие появились недавно или почти утрачены, вскрывали многочисленные значения и оттенки этих слов, их взаимодействие в системе живой народной речи.

Десять лет назад в одном из толстых журналов, после выхода четвертого тома Словаря я опометчиво написал, что «отработаны первые три буквы русского алфавита». Сейчас вышел уже восьмой том, а буква В по-прежнему продолжается. Такая уж это продуктивная на слова буква! И прежде всего благодаря неисчислимому множеству приставок. Весь седьмой и большая часть восьмого тома — глаголы с приставкой *вы-*. А всего Архангельский областной словарь будет насчитывать около 130 тысяч слов. Это больше, чем в знаменитом словаре Владимира Даля. Невозможно вообразить, какая работа ожидает исследователей впереди!

III. ВИКТОР БЕРДИНСКИХ. *Россия и русские (Крестьянская цивилизация в воспоминаниях очевидцев).* Киров. ГИПП «Вятка». 1994. 287 стр.

«В XX веке Россия раскрестянилась. Ушел в прошлое огромный материк русской народной культуры, лишь сейчас осознаваемый нами как величайшая ценность. Но крестьянская цивилизация, создававшаяся в нашей стране сотни лет, имеет в лице ныне живущих стариков своих последних свидетелей. Еще живы люди, пахавшие по-единоличному, мерившие день уповодами, а год — постами и мясоедами, находившиеся внутри великого круговорота природы. Их рассказы о прошлом драгоценны, поскольку они видят тот, оставленный в прошлом, мир изнутри, а не снаружи, как мы» — так начинает свою книгу писатель из Вятки Виктор Бердинских, предупреждая читателя, что ценности крестьянского мира не зафиксированы ни в одном документе и что сейчас они выглядят для нас не менее загадочно, чем сокровища скифских курганов.

«Соха, выставленная в музее, мертва, поскольку пахарь, для которого она была частью жизни, никогда уже не покажет нам своей работы». Но пожилые люди, старики крестьяне, родившиеся в начале этого века, еще многое могут поведать. В их рассказах, собранных В. Бердинских и его помощниками — студентами-медиками Кирова, — раскрывается самое, пожалуй, ценное: отношение людей друг к другу, к природе, труду, пище, власти. Все, что пережила Россия, как в капле воды отразилось в вятской глубинке, убежден автор, история страны прошла через судьбу каждого отдельного человека.

«Сена на лугах снимали в два раза больше, чем сейчас, — вспоминает И. И. Зорин, 1918 года рождения, — 90 процентов хозяйств могли содержать лошадь, до двух коров, до десятка овец или коз, свиней. Короче говоря, круглый год обеспечивали себя мясом, маслом, молоком и еще возили продавать в город... Регулярно все, от малолетних до стариков, выходили на вырубку кустарников на лугах, зарослей возле пашен, чистку деревенских улиц, речушек, ключей... Рыбы было множество... Надо на уху — сходишь, за полчаса наловишь — и все. На сенокосе бабы снимут нижние юбки, завяжут с одного конца и таким мешком поймут с полведра рыбы, варят на всю деревню общественную уху. И не то чтобы наестись досыта, а так... попробовать для разнообразия. Не дай Бог, кто навалит мусор в речку или озеро, — насрамят...»

Природа-строительница и человек-архитектор трудились в паре, сообща, не покушаясь друг на друга. Многие из живших здесь никогда не слышали слова «экология», но в отношении к лесу, лугам, ягодникам из поколения в поколение сохранялись определенные нормы, обычаи. «Леса около деревни были вот уж сколь хороши, — говорит девяносточетырехлетняя Е. И. Платунова. — А берегли-то как! В среднем поле лес был строевой. Идешь по нему, сосны стоят одна к одной, только в вершинах пошумливает... Разделен был на полосы. Каждый и ухаживал за ним. На дрова рубили в верхнем поле, и там был у каждого заполосник. Вырубишь сколь на дрова, весь сук подберешь. Мелочь всю осенью сжигали... По заполоснику как по избе ходили, перешагивать нечего было — вот какой был порядок».

Неписанные законы сохранения своего леса действовали в деревне лучше

царских указов. И такое же отношение было к родной речке, ручью, пруду, вообще к любому водоему, не говоря уж о пахотной земле. Вятская бабушка М. С. Семенихина (1909) говорит об уважительном, сочувственном отношении к своему полю: «...пахали три раза в год: один раз весной под пар, перед сенокосом возили на него навоз и запахивали, а третий раз пахали в августе, чтобы посеять озимую рожь... хорошо пахали землю, не топтали ее, не выворачивали красную землю, старательно боронили. Я помню, как боронила за тятьей (он сеял), он не разрешал на избороненную землю ступать даже босой ногой».

Крестьянин жил, чтобы работать; работал, чтобы жить. И эта работа забирала человека целиком, она была многообразная, меняющаяся в зависимости от времени года и отнюдь не монотонная. Каждый прожитый день был единственным в своем роде, в ходе которого крестьянин творил вместе с природой. И такими же незаурядными, запоминающимися были его сезонные праздники, по сути своей скорее языческие, нежели христианские, которые справлялись с поистине царским размахом и сопровождались множеством красочных обрядов и таинственных заклинаний.

И все же, увлекаясь, В. Бердинских несколько идеализирует утраченные ценности крестьянской жизни. Облака фимиамы становятся все заметнее, когда он обильно цитирует любимых им бабушек и дедушек, воспоминания которых порой не слишком убеждают.

А в целом книга, конечно же, состоялась. Тысячелетний опыт крестьянской цивилизации в России необходимо осмыслить, чтобы выжить в будущем.

Олег Ларин.

Редакция журнала «НОВЫЙ МИР» еще раз уведомляет зарубежных книгораспространителей, что законным образом отправляются зарубежным читателям только номера «НОВОГО МИРА» в специальном экспортном исполнении — в белой (а не голубой) обложке с эмблемой «NOVY MIR».

РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ



ЕВРЕИ В КУЛЬТУРЕ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ. Сборник статей, публикаций, мемуаров и эссе. 1919 — 1939 гг. Выпуск II. Издатель и составитель М. Пархомовский. Иерусалим. 1993. 640 стр.

Представляя читателям «Нового мира» первый выпуск одноименного сборника (№ 9, 1993), мы не могли предположить, что второй появится так скоро. Хотя состав его участников не столь представительен, а герои не столь известны, в целом сборник не менее интересен, нежели первый.

В короткой заметке, открывающей сборник, составитель поднимает проблему этнической и культурной идентификации и задается вопросом, насколько соответствуют идее сборника статьи об «ассимилированных евреях, считавших себя русскими, об ушедших в христианство, а также в коммунизм, буддизм и другие измы». Ответить на этот непростой вопрос призвана работа Доры Штурман «О принадлежности Homo Novus», выполняющая роль вступительной статьи к последующим публикациям сборника и одновременно мотивирующая включение в сборник биографического очерка о В. Ф. Ходасевиче (Ю. Колкер). Рубрика «Литература. Языкознание» включает также «Потаенную биографию Саши Черного»: на основе газетно-архивных документов автор восстанавливает некоторые доселе неизвестные эпизоды гимназического детства будущего поэта (Анатолий Иванов); биография удачно дополняется публикацией автографа стихотворения Саши Черного, написанного по случаю двадцатипятилетнего юбилея литературной деятельности К. Б. Зайцева и извлеченного из архива писателя А. Клементьевым. Статья Б. Носика посвящена личным и творческим отношениям А. В. Бахраха и Марины Цветаевой; завершает раздел довольно пространная и строго документированная работа О. Малевича «Роман Якобсон в Чехословакии».

Раздел «Философия», отсутствовавший в первом сборнике, дополняет галерею деятелей русско-еврейской культуры в изгнании такими крупными фигурами, как Лев Шестов и С. Л. Франк. М. Раев представляет подборку материалов из бахметьевского архива: изложение философии Л. Шестова, выполненное в 1936 г. А. М. Лазаревым (малоизвестным философом, в 30-е гг. близко знавшим Л. Шестова), и два письма Н. А. Бердяева Л. Шестову (1923, 1924 гг.). Н. Прат задается вопросом: «Исполнил ли С. Л. Франк завещание деда?» — и в связи с этим анализирует влияние еврейского происхождения на теоретические построения русского православного философа, отмечая, в частности, интерес Франка к трудам М. Бубера и Ф. Розенцвейга. О. Ласунский продолжает начатую в первом сборнике публикацию материалов из архива владельца берлинского книжного антиквариата «Россика» Ю. Вейцмана — на этот раз читателю предлагается его работа «В мире русского любомудрия».

Вновь полон интереснейших материалов раздел «Книжное дело и периодика», в котором прежде всего отметим работу знатока русской эмигрантской печати в Прибалтийских странах Ю. Абызова, посвященную известной рижской газете «Сегодня». Не менее интересны и насыщены конкретным материалом статьи В. Каплан о парижском еженедельнике «Еврейская трибуна», издававшемся М. М. Винавером, и Л. Юниверга об «Иллюстрированной России» — наиболее красочном и распространенном издании русского зарубежья. О. Ласунский продолжает знакомить читателя с книжными собраниями эмиграции — на этот раз с собранием жившего в Эстонии Ю. Б. Генса. Раздел эффектно завершается короткой подборкой из материалов секретного бюллетеня Главлита за 1923 г., где содержатся сведения о зарубежной русско-еврейской печати (А. Блюм).

Основной объем раздела «Архивы и мемуары» составляют публикации из архива А. М. Горького в Москве: И. Вайнберг представляет переписку Владимира

(Зеева) Жаботинского с А. М. Горьким (9 писем, 1903 — 1927 гг.), а М. Пархомовский — 11 писем Зиновия Пешкова А. М. Горькому (1906 — 1934); все названные материалы кратко откомментированы и сопровождаются вступительными заметками публикаторов. «Возвращаясь к имени Зиновия Исаевича Гржебина» — под таким заглавием И. Вайнберг публикует извлеченное из РЦХИДНИ письмо Горького В. И. Ленину (июль 1921 г.), в котором автор пытается добиться пропуска книг издательства Гржебина в советскую Россию. В. Эрлих знакомит читателя с фрагментом из воспоминаний С. С. Дубновой-Эрлих, поэтессы и активистки «Бунда», написанных в 70 — 80-е гг. в Нью-Йорке и подготовляемых к полному изданию в С.-Петербурге.

Эссе Амоса Оза «Опаленные Россией, или Русские корни израильской культуры», открывающее раздел «Русские евреи в Палестине», посвящено драматическим страницам «несчастливого романа» евреев с Россией: перед читателем проходят фигуры Ашера Гинцберга, Михи Бердичевского, Аарона Гордона, Иосефа Бреннера. Портретную галерею деятелей израильского кино — выходцев из России — представляет Я. Гросс, а Я. Сорокер — подробный биографический очерк известного музыкального деятеля Йоэля Энегеля; Жаботинскому-юристу посвящена статья Я. Айзенштата.

В разделе «Искусство» любопытны фрагменты второй книги мемуаров А. Бахраха «По памяти, по записям» (доселе не опубликованной и хранящейся в архиве вдовы писателя), рассказывающие об обитателях монпарнасского «Улья» — своеобразного художественного монастыря, в котором в 20-е гг. жили и работали многие выехавшие из России живописцы и скульпторы (публикация Г. Поляка). М. Генкина делится результатами собственных поисков владельца обширной коллекции работ Л. Бакста, переданных в Музей Израиля в Иерусалиме: неизвестным дарителем оказалась Берта М. Ципкевич. Здесь же печатаются два биографических очерка: «Мане-Кац, художник из Кременчуга» и «Наум Габо (1890 — 1977) и Антуан Певзнер (1886 — 1962) — скульпторы-конструктивисты» — авторы Л. Латт и Д. Коган соответственно. Раздел завершается искусно выстроенной работой Д. Болта «Савелий Сорин в Крыму и Закавказье в 1917 — 19 годах»: впервые публикуется автопортрет художника и четыре стихотворения разных авторов, посвященных его таланту и извлеченных из альбома В. А. Судейкиной (более известна как Вера Стравинская, жена композитора); сопровождающая публикацию статья представляет самостоятельный интерес.

Среди героев заключительного раздела сборника — известные общественные деятели. В память скончавшегося Э. Капитайкина составитель перепечатывает главу из его книги «Имена», посвященную М. Винаверу, а В. Гессен предпринимает попытку собрать воедино рассеянные сведения о жизни и деятельности И. Гессена, используя при этом некоторые материалы из архива Гуверовского института. А вот Н. Елина восстановила биографию Розы Гинцберг-Осоргиной, дочери Ахадха-Ама (А. Гинцберга), бывшей некоторое время женой М. Осоргина. Хотя она и не оставила сколько-нибудь заметного следа в истории и культуре, судьба «частного человека» нередко представляет для историка не меньший интерес, нежели традиционное жизнеописание в духе памятной «ЖЗЛ». Далее следует перепечатка предисловия Жаботинского к «Запискам русского еврея» Г. Б. Слиозберга (материал представлен С. Шварцбандом) и, наконец, небольшая статья М. Пархомовского о русских добровольцах во французской армии в 1914 — 1918 гг., среди которых главной фигурой является Зиновий Пешков (на основе документов ВИА).

В завершение сборника печатается ряд полемических откликов на статью С. Дондукова «Арийские шахматы», опубликованную в первом сборнике.

Помимо традиционной информации об авторах и столь необходимого именно-го указателя к обоим выпускам составитель делится своими будущими издательскими планами: предполагает подготовить и выпустить еще четыре сборника с аналогичными рубриками, охватывающими период от второй мировой войны до нашего времени, и приглашает авторов к сотрудничеству. По всем вопросам, связанным с этим масштабным культурным предприятием, предлагают обращаться по адресу: М. Parkhomovsky. 648#4 Mishlat Str. Beit She mesh. ISRAEL. Tel.: (02) 917039.

КНИЖНАЯ ПОЛКА (5)



Авсоний. Стихотворения. Перевод с латинского. Издание подготовил М. Л. Гаспаров. В серии «Литературные памятники». М. «Наука». 1993. 356 стр. 10 000 экз.

Владимир Бурлачков. Разгадка. Рассказы, маленький роман. М. «Принтер». «Азъ». 1994. 160 стр. 2000 экз.

М. Веллер. Правила всемогущества. Таллинн. Общество русской культуры в Эстонии. 1993. 328 стр.

Сборник избранной прозы русского писателя, живущего в Эстонии.

Алексей Дидуров. Отрочество Марии. Маленькая повесть в стихах. Постфактум. Поэма. М. ТОО Фирма «Двенадцать». 1993. 104 стр. 5000 экз.

Виталий Славутинский. Я открываю Россию. Стихотворения. М. «Под знаком „П“». 1993. 197 стр. 1000 экз.

В. С. Яновский. Поля Елисейские. Книга памяти. Предисловие С. Довлатова. СПб. Пушкинский фонд. 1993. 278 стр. 6650 экз.

Первое издание в России мемуаров представителя «незамеченного поколения» русской эмиграции Василия Семеновича Яновского. Воспоминания относятся к годам, проведенным им в Париже, и воспроизводят атмосферу жизни русских литераторов в эмиграции. Даны развернутые портреты Поппавского, Вильде, Адамовича, Ходасевича, Червинской, Ремизова и других.



В. П. Вышеславцев. Этика преображенного Эроса. Вступительная статья, составление, комментарий В. В. Сапова. М. «Республика». 1994. 368 стр. 60 000 экз.

Ксенофонт. Воспоминания о Сократе. Перевод, вступительная статья, комментарий С. И. Соболевского. М. «Наука». 1993. 380 стр. 15 000 экз.

Станислав Лем. Этика технологии и технология этики. Модель культуры. Составление, предисловие, перевод с польского К. В. Душенко. Пермь. РИФ «Бегемот»; Абакан. ТОО «Центавр». М. Лаборатория теории и истории культуры ИНИОН РАН. 1993. 92 стр.

Впервые на русском языке две работы Лема, посвященные широко понимаемой философии культуры.

Маркс Тартаковский. Историософия. Мировая история как эксперимент и загадка. М. «Прометей». 1993. 336 стр. 5000 экз.

Попытка свободного плавания в акваториях, до недавнего времени закрытых для «неостепененных», идеологически не выверенных и, в определенной степени, для действительно серьезных специалистов. Данное сочинение, принадлежащее перу просто образованного и имеющего вкус к размышлениям автора, вселяет надежду на то, что монополия на изучение и публичное толкование историософских проблем кончилась.

Дора Штурман. О вождах российского коммунизма. Париж. ИМКА-Пресс. М. «Внешторгиздат». 1993. Книга I — 414 стр. Книга II — 344 стр.

Двухтомник, изданный в серии «Исследования новейшей российской истории» (т. 10), под общей редакцией А. И. Солженицына, представляет политические портреты Ленина (часть I), Бухарина (часть II) и Троцкого (часть III).

А. Эткин. Эрос невозможного. История психоанализа в России. СПб. «МЕДУЗА». 1993. 464 стр. 20 000 экз.



Летопись жизни и творчества Ф. М. Достоевского. В 3-х томах. 1821 — 1881 Том 1. 1821 — 1864. Составление И. Д. Якубович, Т. И. Орнатская. Под редакцией Н. Ф. Будановой, Г. М. Фрилендера. СПб. Гуманитарное агентство «Академический проспект». 1993. 544 стр. 10 000 экз.

От мифа к реальности. Сборник в честь 75-летия Е. М. Мелетинского. Составление С. Ю. Неклюдова, Е. С. Новик. М. Российский университет. 1993 351 стр. 10 000 экз.

Александр Познанский. Самоубийство Чайковского. Миф и реальность. К 100-летию со дня смерти Петра Ильича Чайковского. М. «Глагол». 1993. 191 стр. 50 000 экз.

Работа музыковеда из Йельского университета, тщательно проанализировавшего распространенные мифы о причинах и обстоятельствах смерти Чайковского и доказывающего несостоятельность версии о самоубийстве композитора.

Ирина Сурат. Пушкинист Владислав Ходасевич. М. «Лабиринт». 1994. 112 стр. 2000 экз.

Юрий Домбровский. Собрание сочинений в 6-ти томах. Редактор-составитель К. Турумова-Домбровская. М. Издательский центр «Терра». 25 000 экз.

Т. 1: Державин. Роман. Арест. Рассказ. Смерть лорда Байрона. Новелла. Деревянный дом на улице Гоголя. Очерк. «И я бы мог...» Статья о Пушкине. Стихотворения из цикла «Поэт и муза». 1992. 352 стр.

Т. 2: Обезьяна приходит за своим черепом. Роман. Приключения «Обязьяны». Материалы к истории романа. 1992. 464 стр.

Т. 3: Рассказы разных лет. Новеллы о Шекспире. Приложение. 1992. 368 стр.

Т. 4: Хранитель древности. Роман. 1993. 400 стр.

Т. 5: Факультет ненужных вещей. Роман. Приложение. 1993. 702 стр.

Т. 6: Гонцы. Рассказы о художниках. Моя нестерпимая быль. Стихотворения. Статьи, очерки, воспоминания. Приложение. Комментарии. 1993. 382 стр.

Издательская серия «Научная библиотека студента».

К уже выпускаемым «Издательством Московского университета» и «Высшей школой» учебникам и учебным пособиям прибавилась новая серия — «Научная библиотека студента», осуществленная силами преподавателей Российского Государственного гуманитарного университета при содействии издательства «Индрик». Тематика серии охватывает все основные области гуманитарного знания: историю, литературоведение, историю культуры, лингвистику и т. п. Предполагается публиковать спецкурсы и курсы лекций, хрестоматии и сборники учебных материалов, монографии отечественных и зарубежных ученых, реконструированные по сохранившимся записям лекции классиков гуманитарной науки, репринты этапных изданий классических источников и художественных текстов, необходимых для университетского обучения. Серию открыли книги А. Я. Гуревича и Г. С. Кнабе (см. ниже), в ближайшее время ожидается выход работы В. Н. Топорова «„Бедная Лиза“ Николая Карамзина: опыт прочтения».

А. Я. Гуревич. Исторический синтез и Школа «Анналов». М. «Индрик». 1993. 328 стр. 3000 экз.

Известный историк-медиевист А. Я. Гуревич в своей новой книге обратился к одному из ведущих в историографии XX века направлений — «Новая историческая наука» или Школа «Анналов». Основателями этого направления (Люсьен Февр, Марк Блок и другие) была сделана попытка преодолеть цеховую обособленность исторической науки от социологии, психологии, географии, истории ментальностей и т. д. Результатом стала определенная переориентация исторической науки на науку о человеке в разные эпохи его бытия. Перед нами, по сути, оригинальная авторская работа, однако обширный материал, задействованный Гуревичем, делает его книгу еще и ценным учебным пособием для изучения современного состояния историографии.

Г. С. Кнабе. Материалы к лекциям по общей теории культуры и культуре античного мира. М. «Индрик». 1994. 528 стр. 3000 экз.

Собрание статей одного из ведущих специалистов по истории и культуре античности. Для настоящего издания статьи собраны и систематизированы в соответствии с авторской программой курса, читанного в различных вузах Москвы: общетеоретическое введение, античный тип культуры, культура Древнего Рима.

SUMMARY



First in the issue are the essays of academician D. S. Likhatchev «Culture as integral system»

The poetry section is represented by the poems of Alexandre Revitch, Yuri Vinogradov, Igor Kalugin, Eduard Babayev, Leonid Grigoryan, Vladimir Fainberg, Leonard Lavlirsky and Konstantine Vanshenkin.

The new novel by Daniil Granin «Runaway to Russia» is continued (begun in № 7; supposed to be finished in № 9); also «The Story» by Galina Z-ina is published with the foreword by Oleg Chukhontsev.

In the «Publicistics» section there are two articles: Modest Kolerov's «Introspection of intelligentsia as political philosophy» and Yuliy Shreider's «Values we choose».

In the section «Publications and Reports» the new data about the persecution of orthodox clergy selected from the archives by N. N. Pokrovsky and titled «Politbureau and the Church» are published together with the memoirs of A. K. Vinogradov about his meeting with Lev Tolstoy (prepared by Stanislav Aydynyan).

In the «Literary Critics» section the article by Irina Rodnyanskaya «Overcoming of experience, or Twenty Years of Wanderings» about the prose of Andrei Bytov is published.

In the «Books Review» section Alyona Zlobina is reviewing the selection of poems by Anna Barkov; while Marlen Korallov — the book by L. Samoilov «Overturned World» about soviet prisons.

In the «From the Editor's Post» section Nikolai Slavyansky enters into polemics with the article by Irina Surat on Pushkin (№ 1, 1994).

In the «Briefly about Books» section Oleg Larin is reviewing the first issue of «Live Olden Times» magazine, Victor Berdinsky's book «Russia and Russians» and also «Archangelsk Region Dictionary».

In the section «Bookshelf» (compiled by Sergey Kostyrko) — there are lists of new books.

**Читайте в следующем номере
новую книгу Людмилы Петрушевской
«Карамзин (Деревенский дневник)»**

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Главный редактор С. П. Залыгин

Редакционная коллегия:

С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, И. П. Борисова, А. В. Василевский (ответственный секретарь), Д. А. Гранин, А. А. Ким, С. П. Костырко, С. И. Ларин, Д. С. Лихачев, А. М. Марченко, П. А. Николаев, С. В. Николаев, И. Б. Роднянская, В. И. Селюнин, З. М. Фаткудинов, В. Л. Филимонов (зам. главного редактора), М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев

Технический редактор **А. С. Гинзбург**

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г
в Министерстве печати и массовой информации РСФСР

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 20.04.94 г Подписано к печати 7.06.94 г Оригинал-макет изготовлен на компьютере
редакции журнала «Новый мир». Формат бумаги 70x108¹/₁₆ Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 16 п. л
(22,4 усл.-печ л., 22,58 усл. кр.-отг.). 28,02 уч.-изд. л.

Тираж 28 700 экз. Зак. 2197. Цена договорная.

При участии издательства «Известия» Москва, Пушкинская пл., 5
Типография имени И И Скворцова-Степанова издательства «Известия»
103798, Москва, Пушкинская пл., 5

Совместное предприятие ЕВРОСИБ СПб

Октябрьская железная дорога

СП «Евросиб СПб» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в мае 1991 года как филиал Новосибирской компании «Евросиб Интернейшнл». С мая 1992 года существует как самостоятельное акционерное общество.

В 1991 г. инженер-железнодорожник из Новосибирска Н. Никитин появился на берегах Невы, чтобы основать фирму по экспедированию грузов на транспорте. До сих пор в АО «Евросиб СПб» это направление деятельности является приоритетным, постоянно растет объем грузоперевозок. За 1993 год проэкспедировано 2 млн. грузов. «Евросиб ТЭС» (так называется теперь подразделение акционерного общества) предоставляет клиентам комплекс услуг — специализированные вагоны для перевозки автомобилей, многотоннажные контейнеры, экспедиторов, охрану, гарантирует надежность перевозок по России, Закавказью, Прибалтике и дальнему зарубежью. Эти гарантии подтверждаются полным отсутствием рекламаций от заказчиков.

Два «кита» поддерживают «Евросиб СПб» — учредитель Октябрьская железная дорога и Балтийский банк, акционером которого является фирма. Акционерное общество «Евросиб СПб» оказалось способным к динамичному развитию, это доказано двухлетней практикой его деятельности.

В России нынче принято зарабатывать деньги ради денег. «Евросиб» представляет другую политику. Восемьдесят процентов прибыли фирма отдает железной дороге, остальное вкладывает в новые проекты и новое строительство.

За год доходы петербургского филиала выросли на 175%.

На Петергофском шоссе под Стрельней фирма начала строительство коттеджного городка. На 22 гектарах вместе с престижными двухэтажными коттеджами «Евросиб» планирует возвести агропромышленный комплекс, аналогичный комплексу фирмы «Лето» в Пулкове.

В прошлом году на Боровой улице фирма открыла станцию техобслуживания автомобилей с современным диагностическим и ремонтным оборудованием. Стоимость — 2 млн. \$.

Вблизи поселка Янино «Евросибом» строится база по сортировке контейнеров и склад для автомобилей.

В Петербурге в этом году «Евросиб» открывает автомобильный салон и магазин промтоваров.

«Евросиб» «вликает» миллионы в городской бюджет, активно занимается благотворительностью, меценатством, спонсорством, широко поддерживает культуру.

Генеральный директор АО «Евросиб СПб» Николай Никитин: **«Мы никогда не останавливаемся на достигнутом!»**

Совместное предприятие ЕВРОСИБ СПб Октябрьская железная дорога

Россия 190031 С.-Петербург, Фонтанка, 117

тел: (812) 168-6984
факс: (812) 310-8477

Телекс: 121 334 ORW SU
телетайп: 321 660 РЕЛЬС